

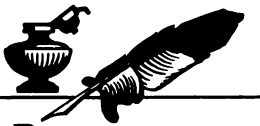
Россия
в мемуарах
дипломатов

Г.Н.МИХАЙЛОВСКИЙ

Записки

Из истории российского внешнеполитического ведомства. 1914-1920

Книга 1



Россия
в мемуарах
дипломатов

Г.Н.МИХАЙЛОВСКИЙ

Записки

Из истории российского внешнеполитического ведомства. 1914-1920

В двух книгах

Книга 1

Август 1914 — октябрь 1917

МОСКВА
«МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ»
1993

ББК 63.3(2)
М69

Михайловский Г. Н.

М69 Записки. Из истории российского внешнеполитического ведомства, 1914—1920 гг.: В 2-х кн.— Кн. 1. Август 1914 г.— октябрь 1917 г.— М.: Междунар. отношения, 1993.— 520 с.— (Россия в мемуарах дипломатов).

ISBN 5-7133-0494-9 (Кн. 1)
ISBN 5-7133-0493-0

Это первая публикация недавно обнаруженных в Архиве внешней политики России «Записок» Г. Н. Михайловского, сына известного русского писателя Н. Гарина-Михайловского. Автор прослужил в МИД России с 1914 по 1920 г. Его воспоминания — своего рода исповедь российского интеллигента, достоверное и честное свидетельство очевидца и участника событий, который имел возможность не только наблюдать за формированием внешней и внутренней политики Николая II, Временного правительства, а затем Деникина и Врангеля, но и сотрудничать со многими главными действующими лицами российской трагедии.

Книга 1 охватывает период с августа 1914 г. по октябрь 1917 г. Для широкого круга читателей.

0503020000—032
М ——————— КБ—8—42—1993 **ББК 63.3(2)**
003(01)—93

© Предисловие В. Г. Филатова, 1993
© Вступительная статья А. Н. Ермонского, 1993
© Оформление и подготовка к изданию изд-ва «Международные отношения», 1993

ISBN 5-7133-0494-9 (Кн. 1)
ISBN 5-7133-0493-0

Предисловие

Отечественная история сегодня все более привлекает внимание читателей. Особый интерес, безусловно, представляет то, что долгое время оставалось недоступным, пряталось в закрытых хранилищах или подчас пылилось на архивных полках. И вот кто-то из работников архива вдруг наталкивается на папку, тетрадь или листки, которые открывают доселе неизвестные страницы российской истории, рассказывают об интереснейших ее периодах, причем увлекательно, приводя множество неизвестных фактов, помогая узнать и понять то, о чем мы порой даже не догадывались или имели искаженное представление.

Примером тому служат недавно обнаруженные в Архиве внешней политики Российской империи МИД РФ личные записки Георгия Николаевича Михайловского — русского дипломата, юриста-международника, сына известного писателя Николая Георгиевича Гарина-Михайловского. В подлиннике «Записки» представляют собой четыре толстые тетради, в которые сброшюрован первый экземпляр машинописного текста. На тетрадях — штампы: «Русский заграничный исторический архив, Прага», «Центральный Государственный архив Октябрьской революции». Каждая тетрадь подписана автором и носит следы, по-видимому, его же собственноручной правки. Но очевидно, что Г. Н. Михайловский делал записки для себя, специально для печати их не готовил...

В мидовский архив записки Михайловского попали в 1946 г. По всей очевидности, они были переданы в Москву из так называемого русского Пражского архива, история которого еще ждет своих исследователей. С тех пор — с 1946 г.— записки лежали в архиве МИД на Большой Серпуховской улице, к ним так никто и не притронулся.

Родился Георгий Николаевич в 1890 г. Его отец, потомственный дворянин, был, кроме всего прочего, крестником императора Николая I; мать, Надежда Валерьевна, урожденная Чарыкова,— дочь минского губернатора. Г. Н. Михайловский состоял в родстве с Н. В. Чарыковым, товарищем министра иностранных дел и российским послом в Константинополе, а также с посланником в Вашингтоне Ю. П. Бахметевым и другими влиятельными лицами.

В 1911 г. Михайловский с отличием оканчивает юридический факультет Петербургского университета. Его оставляют на кафедре международного права «для подготовления к профессорскому званию», а затем командируют за границу для научной работы. По возвращении в 1914 г. в Россию он был приглашен на службу в Министерство иностранных дел. Незаурядные способности и глубокие профессиональные знания юриста-международника дали Михайловскому возможность исключительно быстро продвинуться по служебной лестнице. За год с небольшим он занял в министерстве весьма высокое положение. Будучи принятым на должность секретаря по юрисконсультской части, он вскоре становится помощником начальника этого подразделения, а затем и начальником Международно-правового отдела, одновременно исполняет обязанности юрисконсульта министерства и члена Высшего призового суда.

Обстоятельства сложились так, что с самого начала работы в МИД Михайловскому пришлось заниматься широким кругом вопросов, связанных как с международно-правовыми, так и внутригосударственными юридическими проблемами, участвовать в работе различных межведомственных комиссий, готовить материалы для Совета министров и других российских государственных учреждений, а зачастую непосредственно для министра иностранных дел и его ближайших помощников.

Такое положение позволило молодому дипломату непосредственно наблюдать за основными государственными мероприятиями, проводившимися последними царскими министрами, а затем и деятелями Временного правительства. Позднее, в годы гражданской войны, ему довелось встречаться со многими государственными и политическими деятелями: российскими — белыми и красными — и зарубежными.

«Записки» ценны и тем, что в них много места отведено деятельности российского Министерства иностранных дел как в царский период, так и в период Временного правительства и при белогвардейских правительствах Деникина и Врангеля. Здесь содержится много фактов и сведений о структуре министерства, функциях его отдельных подразделений, персональном составе, об организации работы центрального аппарата и взаимоотношениях с верховной властью, о технике подготовки и осуществления различных внешнеполитических акций, об истории составления ряда хорошо известных политико-дипломатических документов.

Приехав во Францию после врангелевской эвакуации, Г. Н. Михайловский официально уходит с дипломатической службы, решительно отвергнув предложенное ему обеспеченное существование под крышей русского посольства в Париже; он отказался участвовать в том, что называл «загробной жизнью дипломатического ведомства».

В 1921 г. след Г. Н. Михайловского теряется, сведений о его дальнейшей судьбе, к сожалению, пока найти не удалось.

Рукопись, состоящая из трех частей, названия которых говорят сами за себя — «Три года дипломатической службы при царском правительстве (август 1914 г.— февраль 1917 г.)», «Дипломатическая служба при Временном правительстве (март — октябрь 1917 г.)», «Дипломатическое ведомство и белое движение (октябрь 1917 г.— ноябрь 1920 г.)», — воспроизводится впервые в предлагаемой вниманию читателя книге полностью, без каких-либо изъятий и сокращений. Издательство лишь сделало краткие подзаголовки на полях, позво-

ляющие лучше ориентироваться в богатом материале, собранном в этих «Записках».

Можно надеяться, что труд Георгия Николаевича Михайловского поможет современному читателю в постижении сути нашей трагической и героической истории, вызовет у него глубокие размышления о судьбах великой России.

В. ФИЛАТОВ,
Чрезвычайный и Полномочный Посол

Заметки на полях рукописи, найденной в архиве...

Еще два-три года назад, даже в перестроечное время, трудно было рассчитывать на то, что, наткнувшись в архивах на эти «Записки» очевидца и участника роковых для России событий конца второго десятилетия нашего века, их можно будет издать целиком, без купюр и многословных разъяснений. И не потому только, что составлены они в явно антибольшевистском, антисоветском, как принято было еще совсем недавно выражаться, духе. И не потому, что автор «Записок» закончил свою дипломатическую карьеру в администрации белого движения.

Вся сложность и, пожалуй, даже деликатность положения состояла в том, что и в строках и между строк воспоминаний Г. Н. Михайловского слишком много горькой, какой-то оголенной, колючей, неуютной правды. Причем правды не столько о характере и механизме политической и общественной жизни России в годы и месяцы первой мировой войны и двух революций, приведших к братоубийству, сколько о людях — государственных деятелях, политиках, чиновниках, офицерах, литераторах — словом, о российских интеллигентах, тех самых людях, чья сила и бессилие, чьи взгляды, позиции и предрассудки, иллюзии и надежды, недальновидность и недостаточная политическая культура, нетерпимость и нетерпение, утопизм и равнодушное, отвлеченное «народопоклонство», фанатизм и циничный скепсис в совокупности своей тоже толкали и подтолкнули Россию и ее народ к социальной и национальной катастрофе. Тема непростая, непривычная, немодная.

Не стоит обманываться скромно-рутинным заглавием этой книги. «Записки» Г. Н. Михайловского — более чем просто «воспоминания из прошлого». Шесть с лишним лет — с августа 1914-го по декабрь 1920-го — их автор прослужил в российском дипломатическом ведомстве: сначала при Николае II, затем, с февраля по октябрь 1917-го, в МИД Временного правительства и, наконец, в администрации Деникина и Врангеля.

Молодого человека, двадцати четырех лет от роду, выпускника Петербургского университета, собирающегося посвятить себя исследованию проблем и практики морского права, весть о начале первой мировой войны застает в Париже. Через Лондон он возвращается в российскую столицу и по стечению обстоятельств попадает служить на Дворцовую площадь — там в непосредственном соседстве с Генеральным штабом располагалось российское Министерство иностранных дел. Это — завязка «Записок», развязка же наступает спустя шесть лет, тоже в Париже, куда тридцатилетний, но беспощадно потрепанный и умудренный жизнью, во многом разочаровавшийся чиновник добирается после врангелевского «исхода» из Крыма. Таковы хронологические рамки этой книги — шесть лет, в которые вместилась целая эпоха.

Она, эта эпоха, и составляет содержание, сюжет, пожалуй, даже интригу «Записок». Нелегко поверить, что написаны они человеком, которому не было еще и сорока. Но тем не менее это именно так: их автору выпало повидать многое и многих.

«При царе» Г. Н. Михайловский принимал участие в подготовке международных переговоров, в правительственных совещаниях и межведомственных встречах, в заседаниях министерской верхушки, во всякого рода «узких» обсуждениях, на которых рассматривались и решались важные, порой ключевые для тогдашней внешней и внутренней политики России вопросы (скажем, отношения с союзниками, польский, литовский и проч. и проч.).

Он встречался и сотрудничал со всеми министрами иностранных дел — царскими, Временного правительства, белого движения, с сановниками и чиновниками своего и других ве-

домств, с лидерами и авторитетами политических движений (Милюковым, Маклаковым, Струве и др.) — главными действующими лицами российской политической драмы.

Он был очевидцем первого появления в здании МИД только что назначенного наркома Л. Троцкого, которому чиновники устроили форменную обструкцию. Он активно способствовал организации антибольшевистского сопротивления петербургской служилой интеллигенции, «саботажа», который вылился в первое серьезное противоборство с нарождающейся советской властью (и, к слову, подробно описал приемы и перипетии этого противоборства, рассказал о наиболее деятельных его участниках).

Он виделся в Крыму с братом Ленина.

Он работал в деникинских Ростове и Таганроге, во врангелевском Севастополе, служил в Константинополе.

Он вдосталь поколесил по России — царской, красной, белой, помотался по военной и послевоенной Европе. Он хорошо знал «русский Париж» и «русский Лондон».

Он сталкивался, разговаривал, спорил с людьми разных профессий и положений.

И наблюдал, запоминал, размышлял.

Цепкий глаз, острая память, страсть к подробности, легкое, ироничное, порой злое и неизменно меткое перо превратили записки из истории дипломатического ведомства России (как их охарактеризовал сам Г. Н. Михайловский) в прямо-таки эпическое повествование о российской жизни в годы войны и двух революций. И, наверное, даже больше того — в убедительное и основательное исследование политических нравов и быта интеллигентского (по преимуществу) слоя традиционного российского общества в период его кризиса, развала, крушения.

Далеко ли падает яблоко от яблони?

Георгий Николаевич Михайловский происходит из родовитой дворянской семьи, многими нитями связанной со сливками российской военной и гражданской бюрократии. Это предопределило в жизни автора «Записок» многое: достаток, образование, воспитание, круг знакомств, карьеру, а стало быть,

и то, что мы потом стали называть социальным положением. Но и нечто большее — интерес к «своим корням», к прошлому России, чувство истории и желание «послужить Отечеству» — не царю, не народу, а России. Одним словом, Г. Н. Михайловский рос и формировался в среде, в которой понятия «реальное дело», профессионализм, служба естественным образом сливались с понятием «патриотизм». Немногословный, но, можно сказать, деятельный патриотизм был само собой разумеющейся сердцевиной жизненной позиции и общественного поведения немалой части российской интеллигенции.

Рассказывают, что в детстве, как это и принято во многих семьях, у Георгия Николаевича было уменьшительное имя, его называли Гаря. Оно стало литературным псевдонимом его отца Николая Георгиевича: Гарин, Гарин-Михайловский.

Михайловский-отец — фигура заметная в общественном и литературном движении России конца прошлого — начала нынешнего века. Это хороший, пользовавшийся в свое время большим успехом писатель, автор увлекательных книг — «Детство Темы», «Гимназисты», «Студенты», повестей, которые не забыты и по сию пору. К тому же (а может, и в первую очередь?) он был крупным инженером-путейцем, участвовал в строительстве Сибирской железной дороги и Батумского порта. Иначе говоря, был он человеком реального дела, каковым считал служение России. Дело это и помогло ему достаточно хорошо узнать Россию, а затем и взяться за перо, стать в 1892 году издателем журнала «Русское богатство».

Он отдал дань народничеству. Но его личный опыт «устройства рациональной жизни в деревне», о чем он писал в своих первых рассказах, оказался неудачным. Разочаровавшись в народничестве, Гарин-Михайловский качнулся к марксизму, порвал с «Русским богатством», основал легальную марксистскую газету «Самарский вестник», материально поддерживал большевиков до своей кончины в 1906 году, но сам в революционном движении участия не принимал.

Три упомянутые повести Гарина-Михайловского (к ним примыкает и четвертая — «Инженеры»,— изданная уже после смерти автора) Горький не без основания назвал «целой эпопеей русской жизни». Ибо в них, в сущности, прослеживается

судьба мальчика из интеллигентской семьи, который растет, мужает, вступает в практическую жизнь в очередное «переломное для России» время. Марксистская критика 20-х годов увидела в гаринском герое человека, который, переболев романтизмом революционных иллюзий, стал добропорядочным обывателем, чуть ли не литературного предшественника горьковского Клима Самгина. Но может быть, история Темы Карташева была историей обретения и признания российским интеллигентом ценностей и самоценности реального дела?

Сын писателя и автор предлагаемых читателю «Записок», судя по всему, извлек урок и из жизненного опыта отца, и из истории героя его во многом автобиографических повестей. Георгий Николаевич предпочел игре с революцией и в революцию добросовестную, профессиональную работу на благо России, как сам он его понимал.

В своих воспоминаниях Г. Н. Михайловский не скупится на рассказы именно об этой, служебной стороне своей жизни, и преимущественно о ней. Но, похоже, благодаря как раз этому мы так много узнаем из «Записок» о нем самом, о его миросозерцании, о его видении будущего России, хотя прямо обо всем этом автор «Записок» много распространяться не любит.

Георгий Николаевич Михайловский принадлежал к тому весьма распространенному типу русского интеллигента, которому не очень повезло в отечественной литературе. Он был человек служилый, делатель, труженик. Такие редко, а уж в чистом-то виде, кажется, никогда не были образцовыми героями наших романов. Тем не менее именно они, а не «лишние люди» и толпы их потомков, не фанатики идеи и политические трибуны, не заговорщики и террористы, были созидательной силой России. Не делание дела, не профессиональные навыки, не самодисциплина труда, а прекраснодушие, бесконечное говорение и сны о том, как может быть хорошо всем и каждому, куда чаще возносились на пьедестал. Офицер, чиновник, инженер, сельский хозяин, как правило, не получались в книгах реальными, живыми, привлекательными людьми, если они были честны, добропорядочны, удачливы. Негодяям, взяточникам, бездельникам, хвастунам, увы, везло значительно больше. Они

и в пороках своих были обаятельны, когда не были страшны.

Естественно, литература тут ни при чем. Но она не могла не отразить господствовавшего в интеллигентской среде (особенно в той ее части, которая увлекалась проектами общественной перестройки России) пренебрежения к негуманитарной сфере, к кропотливой работе, к малым, но конкретным делам на земле, на фабрике, в департаменте, в армии, в земстве — словом, пренебрежения к каждодневной работе и предпочтения одним махом, «на авось» решать вопросы бытия и судьбы великой страны. Толстовский ли Левин, чеховский ли Астров, пастернаковский ли Живаго, Воротынцев ли из солженицынского «Красного колеса» — они ведь принадлежат к разряду весьма немногочисленных исключений, которые это странное правило подтверждают.

«Записки» Г. Н. Михайловского написаны отнюдь не равнодушным пером. Их отличает своего рода страстная беспристрастность. Автор не прощает друзьям, единомышленникам, союзникам слабостей, просчетов, недальновидности, преступлений. Он пытается понять правду врагов России, которых не приемлет. Но главное — он решительный противник всех и всяческих крайностей.

Г. Н. Михайловский одинаково беспощаден и к царской бюрократии (к которой принадлежит и сам), когда она службу ради интересов России «путает» со службой ради собственных выгод и спокойствия; и к большевикам, в которых он видит угрозу свободе и культуре России; и к белым, которым он служит искренне, покуда кровь, проливаемая за Россию, по его же собственному выражению, не превращается в грязь; и к кадетам, к которым он очень близок, но политическая близорукость и неумение делать конкретное дело которых его отталкивают; и к планам расчленения России под флагом ее федерализации; и к желанию ничего не менять в ней, оставить все по-старому.

Г. Н. Михайловский — не революционер, не поклонник беспредельного самодержавия, не сторонник демократии «любой ценой». Он действительно добропорядочный, совестливый российский интеллигент, умеющий и любящий работать во

имя того, чтобы Россия стала и была свободной, сильной, благополучной и по возможности справедливой ко всем своим гражданам страной. Сегодня подобную позицию называют центристской, правой, консервативной и Бог весть как еще. Определения эти у нас давно не в чести. Но разве в словах дело? Не стоит ли за ними пушкинское «я числюсь по России»?

Давно уже повелось, что вину за то, что такой Россия стать могла, но не стала, возлагают — и во многом справедливо — прежде всего на российскую интеллигенцию. Но все-таки, кажется, менее всего в этом виновата та ее бóльшая часть, к которой принадлежали, к примеру, Левин, Астров, Живаго, Воротынцев или автор этих «Записок». И напротив, более всего виновата та ее часть, которая готова была утопить страну в крови ради собственных выгод либо собственных представлений о ее благе, будь то царские сановники, большевики или вожди «либерального направления», возглавившие после февраля 1917-го страну, но не умевшие и не хотевшие, как горько замечает в «Записках» Михайловский, даже наладить элементарное делопроизводство во Временном правительстве.

Эти «Записки» — поучительное чтение. Писавшиеся семьдесят лет назад, по горячим следам, они рассказывают о жизни, так странно и так страшно похожей на Россию конца 80-х — начала 90-х годов нашего века. Заставляя нас погрузиться в давно и необратимо случившееся, они тем не менее побуждают больше размышлять не о прошлом, а о настоящем. Может быть, оттого, что «Записки» Г. Н. Михайловского — это поразительно откровенная исповедь честного русского интеллигента, которому выпало жить в мучительное время великих и бесплодных потрясений.

Г. Н. Михайловский не был профессиональным литератором и не стремился им стать. Он был хорошим юристом и знающим свое дело чиновником. Но его «Записки», без всякого преувеличения, можно назвать художественным исследованием событий, характеров и нравов, самой атмосферы политической и общественной жизни России накануне и в дни ее крушения. Композиция «Записок» напоминает искусно продуманную и составленную мозаичную панораму.

Бытовые подробности соседствуют с педантичным и порой весьма пространным изложением злободневных тогда «вопросов» (и здесь, кстати, настоящая россыпь неожиданных, тех самых, мало кому или вовсе никому сегодня неизвестных, исторических «изюминок», которые нередко лучше многостраничных исследований помогают понять, как, кем, почему так, а не иначе решались тогда важнейшие для России вопросы).

Рассказы о личных переживаниях и тревогах автора перемежаются с весьма обстоятельными и совсем не казенными «родословными» политических карьер тех, кто вершил судьбы России, кто оказывал существенное воздействие на формирование ее внутриполитического и международного курса.

Точные и профессионально безукоризненные отчеты о переговорах, заседаниях, дискуссиях «в верхах» правительства или российского МИД чередуются с описаниями споров тогдашних политиков, высокопоставленных чиновников или «просто» интеллигентных людей о судьбах России.

И буквально не счесть красочных, четких, остроумных зарисовок с натуры, умело, уверенной рукой набросанных портретов случайных попутчиков, сослуживцев, литераторов, чиновников, политиков — хорошо известных и позабытых уже современников автора.

Однако же такое смешение жанров, тем, стилей отнюдь не приводит к хаосу. Все единят, сопрягают, стягивают в цельную картину российской жизни тех лет трезвый и неравнодушный взгляд автора, его размышления и оценки, само его постоянное «присутствие» в «Записках». История предстает в них в живых лицах и характерах, в радостях и огорчениях повседневности наших не таких уж и далеких предшественников, в волновавших и забавлявших их фактах, анекдотах и слухах, в их надеждах, заблуждениях, иллюзиях.

В «Записках» Г. Н. Михайловского живые люди, живая жизнь, еще живое, кажется, едва только успевшее остановиться время. Быть может, именно поэтому они чем-то напоминают еще один возвращенный из небытия роман «из русской жизни», герой которого — российский интеллигент в предреволюцинные и революционные годы.

Странностей, когда они входят в привычку, а тем паче становятся вровень с национальной традицией, не замечаешь. Мы, например, давно сжились с тем, что собственное наше прошлое (Отечества — почти всегда, семейное — отнюдь не редко) открывается нам, а говоря прямее, всего лишь приоткрывается, мало того что по прошествии нескольких десятилетий, но и непременно после крутых перемен в судьбе страны.

Вступление на престол каждого Романова не только порождало надежды и иллюзии, но и позволяло критически подступиться к делам, мыслям, характеру его усопшего или убитого предшественника. Это, как правило, очень и очень устраивало нового самодержца, создавая своего рода контрастный фон для неизменно обещавшихся реформ, послаблений, переустройств. Однако и общество, по крайней мере образованная его часть, в накладе не оставалось. Ибо тотчас же появлялась возможность хоть краешком глаза заглянуть в архивы, опубликовать что-нибудь из запрещавшихся прежними властями сочинений — политических, философских, художественных. О советском периоде нашей истории и упоминать нечего. Так что борьба с «белыми пятнами» у нас, кажется, в крови.

За последние полтораста лет Россия пережила уже не одну оттепель, за которой обычно следовали заморозки, застой, судорожные и кровавые потрясения. Но общество, по заведенному порядку, получало право поразмышлять обо всем этом постфактум.

«Затирание белых пятен» — процесс необходимый, но мучительно трудный и — вот парадокс! — в немалой степени бесполезный. Нам приходится без конца догонять самих себя, и эта гонка настолько захватывает, горы «вдруг дозволенного» так ошеломляют, обескураживают, придавливают, что нередко сам этот процесс ускоренного, лихорадочного освоения и присвоения собственного прошлого поглощает без остатка: он становится чуть ли не самоцелью. Не хватает ни времени, ни сил осмыслить, понять, прочувствовать судьбы людей, для которых наше прошлое было их настоящим. Но какие же тогда уроки из случившегося с ними можно извлечь?

Все это вещи достаточно хорошо — до банальности хорошо! — известные, писаные и переписанные. Но они настойчиво

напоминают о себе всякий раз, когда наталкиваешься на незаурядное, талантливое свидетельство о минувшем, которое без толку провалялось в архивах более полувека, как это было в случае с «Записками» Г. Н. Михайловского. Этой книге и цены не было бы, увидь она свет вовремя, сразу же после написания. Цены ей, думается, нет и сейчас, но то уже другая цена — цена, которую приходится платить далеким потомкам автора за то, что «Записки» эти не попали в руки и не пригодились нашим предшественникам, а стало быть, и не были переданы по наследству нам как ими осмысленный и чему-то научивший их опыт.

Нам остается лишь поспешно заполнять пробелы в собственном историческом и нравственном воспитании, уповая на то, что если и не мы сами, то наши дети и внуки извлекут урок для себя и страны из ошибок, заблуждений и надежд наших предшественников.

Трагична, запутана, до конца не разгадана судьба «Записок» Георгия Николаевича Михайловского. Комментировать, толковать, оспаривать их — дело историков, для которых эти обширнейшие мемуары могут представить, по-видимому, значительный профессиональный интерес. Да и для нынешних наших дипломатов, молодых в особенности, они могут послужить своего рода учебным пособием.

Но, конечно же, «Записки» эти рассчитаны отнюдь не только на специалистов. Прочитать их стоит всем, кому не безразличны «вчера», «сегодня» и «завтра» России.

Время и усилия не будут потрачены впустую. Ибо «Записки» эти каким-то непостижимым образом затягивают читателя, погружая его в ту жизнь, которой уже нет, но которая подготовила и открыла то, что еще так недавно именовалось эпохой войн и пролетарских революций. Тем более что книга Г. Н. Михайловского рассказывает о России, которую мы потеряли (если вообще верно, что потеряли?!), куда больше, чем многочисленные рассуждения и эссе современных политиков и публицистов.



ТРИ ГОДА СЛУЖБЫ ПРИ ЦАРСКОМ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ
(август 1914—февраль 1917 гг.)

О себе.
Цель этих записок

Настоящие беглые заметки охватывают период времени от конца августа 1914 г., когда я был приглашен на службу в министерство иностранных дел, до 28 февраля 1917 г., когда пало царское правительство и наше министерство перешло к первому министру иностранных дел, поставленному революцией,— П. Н. Милюкову.

В министерстве мне пришлось последовательно занимать должности секретаря Юрисконсультской части (при начальнике ее профессоре бароне Б. Э. Нольде, впоследствии директоре II Департамента и товарище министра), помощника начальника Юрисконсультской части, затем начальника Международно-правового отдела с возложением обязанностей юрисконсульта МИД и члена Высшего призового суда от того же министерства.

На моей обязанности лежал, между прочим, доклад министру по делам Совета министров, отнесенным к ведению Юрисконсультской части и хранившимся в ней, что заставляло меня быть всегда в курсе не только внешней, но и внутренней политики царского правительства. Если к этому прибавить постоянное участие мое в качестве представителя ведомства в многочисленных междуведомственных комиссиях по разным вопросам юридического и политического характера, связанным с войной, как-то: в комиссии по вопросам морской войны, по вопросу о положении неприятельских подданных, обследова-

нию германских и австро-венгерских торгово-промышленных предприятий, по немецкому землевладению в России, комитете по борьбе с немецким засильем, по привилегированным категориям неприятельских подданных и военнопленных (славян, румын, армян, эльзасцев, итальянцев и др.), русско-польской комиссии 1917 г. и т. д.,— то у меня не могло не оказаться достаточно ясного и полного представления о политике различных ведомств в связи с мировой войной.

Наконец, мое служебное положение в Юрисконсультской части, созданной только по штатам 1914 г., принятым по настоянию Государственной думы, и образованной за несколько недель до моего поступления на службу, ввиду новизны этой части и некоторой неопределенности ее компетенции, а также крайне напряженной работы ведомства, вызывавшей ежедневно к жизни ряд сложных и совершенно новых юридических и международно-правовых вопросов, также принуждало меня участвовать в разрешении их во всех отделах и департаментах МИД, знать хорошо всех действующих лиц и близко изучить внешнюю политику того времени в ее многосложных ответвлениях.

Мое личное положение в дипломатическом ведомстве обусловливалось также еще одним обстоятельством. Помимо того, что мои официальные обязанности открывали мне доступ во все отделы, мой дядя, бывший товарищ министра при Извольском и затем царский посол в Константинополе, Н. В. Чарыков (брат моей матери, урожденной Чарыковой), хотя и назначенный в 1912 г. в Сенат, тем не менее продолжал оставаться в списках министерства и во время войны несколько раз в придворных кругах выставлялся кандидатом на пост министра иностранных дел. Это обстоятельство было для меня и благоприятно,— так как делало меня «своим» уже по одному этому признаку (как известно, МИД представлял из себя всегда крайне замкнутую касту), не говоря уже о том, что многие личные друзья Чарыкова в ведомстве переносили симпатии и на меня самого,— и в то же время несколько неблагоприятно, так как появление моего дяди у власти было бы для некоторых немаловажных чинов нежелательно. Несмотря на это привходящее обстоятельство, приучившее меня с первых

шагов службы к большей осторожности в личных отношениях, объективная обстановка моей службы была такой, что мне волей-неволей пришлось подробно и обстоятельно вникнуть во все тайны дипломатической «кухни» и завязать тесные отношения со всеми сколько-нибудь влиятельными лицами министерства.

В петербургском обществе у меня также были, как у коренного петербуржца (я кончил Тенишевское училище и Петербургский университет), связи достаточно обширные, дополняемые широкими общественными и литературными знакомствами моего покойного отца (писателя Н. Г. Гарина-Михайловского), рассеянными по всей России. В IV Государственной думе у меня были родственники, что опять-таки в это исключительное время давало мне возможность близко наблюдать и думские настроения.

Это довольно своеобразное личное положение, как в отношении правительства, так и общества, в тот момент, когда произошло столкновение между ними обоими, открывало передо мной поле наблюдения настолько необычное, что у меня явилась потребность составления настоящих заметок, представляющих, как я указал выше, только беглые записи очевидца. Высшая петербургская бюрократия и русское общество, не полностью, но все же достаточно ярко отражаемое Государственной думой, жили в эти исторические годы собственной жизнью, по-своему переживая события мировой войны под общим куполом обветшавшей государственности великодержавной империи, не в силах справиться со страшным, всем очевидным недугом династии, не в силах предотвратить столь давно предвиденную и предсказанную катастрофу. Могли ли эти две силы — русское общество и петербургская бюрократия — найти во время величайшей в истории войны общий язык и спасти страну и народ — на этот вопрос может ответить только обстоятельное изучение всех исторических событий эпохи. Помочь этому изучению — вот цель моих записок.

Начало мировой войны застало меня в Париже, куда я приехал из Вены за неделю до сараевского убийства. В Вене я был всю весну 1914 г., находясь уже второй год за границей в научной командировке от юридического факультета Петербургского университета. Занимаясь по своей специальности международным правом в связи с избранной темой для диссертации по праву морской войны, я работал главным образом в Париже и Лондоне, а 1914 г. собирался посвятить германским ученым, начав с Венского университета. Лето 1914 г., согласно намеченному плану, я должен был провести в Гейдельберге. Однако, приехав в Париж и получив очередной чек на новую четверть года, я ввиду сильного политического возбуждения, вызванного в Европе убийством эрцгерцога Фердинанда, решил воздержаться от поездки в Германию и весь июль был в Париже, за исключением кратковременной поездки в Сен-Мало. После предъявления австрийского ультиматума Сербии я окончательно отбросил мысль о занятиях в Германии и с захватывающим вниманием следил за событиями.

Париж и Лондон в первые дни войны

Эти дни перед началом войны я не могу сравнить ни с одним другим воспоминанием исторических событий, быть может, потому, что мне пришлось переживать их в таком мировом политическом центре, как Париж. Здесь в это время происходил, между прочим, сенсационный процесс мадам Кайо, убившей Кальметта, редактора «Фигаро», и парижская публика переходила от одних острых переживаний — по поводу этого процесса — к другим — австро-сербскому конфликту, прелюдии войны. По вечерам на Больших бульварах происходили демонстрации по поводу процесса мадам Кайо и войны, роялисты (camelots du roi*) кричали ритмически: «Cailloux assassin»**, их рассеивали конные полицейские, а затем на протяжении получаса происходили антимилитаристические демонстрации с криком: «A bas la guerre!»***, рассеиваемые по преимуществу полицейскими-мотоциклистами. Владельцы ка-

---

* Сторонники королевской власти, распространяющие монархические газеты *(фр.)*.

** Кайо — убийца *(фр.)*.

*** Долой войну *(фр.)*.

фе мгновенно запирали стеклянные двери, и посетители (мне пришлось несколько раз быть в таком положении) могли безопасно наблюдать решительные действия парижской полиции.

Наконец, объявление войны Сербии, ультиматум России, русская мобилизация и назначение 31 июля н. ст. всеобщей французской мобилизации сделали Париж неузнаваемым. Зловещий симптом — исчезновение всякой мелкой разменной монеты, требование в ресторанах и кафе платы мелкими вперед, отказ магазинов менять крупные кредитные билеты в связи с нескрываемой тревогой и деловая и бестолковая суета повсюду, а главное, очевидная неминуемость войны — поставил передо мной вопрос: что делать? Решение мое, впрочем, было уже готово — ехать в Россию и идти добровольцем на войну (по своему академическому положению я был освобожден от военной службы). 31 июля н. ст., разменяв деньги — бумажные франки — на Gare du Nord* за отсутствием размена в банках, я сел в поезд и через Булонь и Фолькстон прибыл в Лондон. Начиная с Gare du Nord и по всей железной дороге во Франции всюду были войска, и в несколько часов я увидел то, о чем так много читал,— Францию во время войны.

По приезде в Англию я был прежде всего поражен и, если хотите, разочарован совершенно будничным видом так хорошо мне знакомого Лондона. Не только следов военной и предвоенной горячки или даже паники, как это было в Париже, но и вообще чего-либо особенного не было заметно. Только большие плакаты у газетчиков со стереотипными надписями «What England will do»** показывали, что город и страна находятся на распутье — великом поворотном пункте истории. Я еще раньше был очень хорошо знаком с различными политическими течениями английской прессы и теперь без труда мог следить за проявлением англосаксонских симпатий и антипатий. Однако обзор прессы мне мало давал для разъяснения возможного поведения Англии — нейтралитета или войны. 1 августа я встретился с моей старой знакомой А. П. Лебедевой, урожденной княжной Кропоткиной, дочерью знаменитого

---

* Один из парижских вокзалов.
** Как поступит Англия *(англ.)*.

революционера, лондонской старожилкой (она кончила, между прочим, Оксфордский университет), бывшей замужем за русским эмигрантом (эмигрировавшим еще в 1906 г.). А. П. рассказала мне все последние новости политики (она ими очень интересовалась всегда) и, между прочим, «со слов частного секретаря Э. Грея», уверила, что я могу быть совершенно спокоен, что Англия не оставит в этой войне Россию и Францию одних. Это был первый луч, внезапно прорвавшийся сквозь густой политический туман.

В последующие дни, живя жизнью, спокойной и мирной снаружи, читая газеты, полные искреннего недоумения, которое царило и в широких общественных кругах Лондона, вспоминая слова А. П., я пришел к мысли, что на самом деле вопрос в узких правительственных кругах предрешен и что все дело во времени. По контрасту с Парижем размен на золото продолжался беспрепятственно, и ни в магазинах, ни в ресторанах — никакого следа парижской паники. Узнал я также от А. П., что мой дядя Чарыков находится в Англии проездом в Шотландию и завтракал у Эттера, заменявшего в это время посла графа Бенкендорфа. Это известие, учитывая острое политическое положение и дружбу моего дяди с Извольским, его товарищем по лицею, с которым он вместе (в бытность Извольского министром иностранных дел) положил начало «сердечному согласию» России и Англии вопреки противодействию могущественной германофильской придворной партии, навело меня на мысль о симптоматичности появления моего дяди в Англии в эти критические дни. Надо сказать, что мой дядя воспитывался (до поступления в лицей) в Англии, служил одно время при нашем посольстве в Лондоне, говорил по-английски как англичанин (что ему на этот раз при возвращении из Англии сослужило огромную службу) и имел в Лондоне множество влиятельных друзей. Если принять также во внимание то, что по своей дипломатической службе Чарыков являлся превосходным знатоком Балкан (он был посланником в Софии, Белграде и послом в Константинополе), то, говоря абстрактно, он был самым подходящим лицом, чтобы объяснить великобританскому правительству русскую точку зрения на австро-сербский конфликт. Это было бы тем более естест-

венно, что сам граф Бенкендорф, как никто другой в посольстве в это время, не являлся специалистом по Ближнему Востоку, и когда началась Лондонская конференция по балканским делам в 1913 г., то для этой конференции пришлось выписать А. М. Петряева (впоследствии товарища министра иностранных дел при Временном правительстве), бывшего нашего консула в Македонии.

Вечером 2 августа я узнал, что Чарыков с семьей (его сын обучался в это время в одном из эдинбургских колледжей) завтракал в посольстве и выехал в Германию, направляясь в Швейцарию и Италию. Как я слышал впоследствии от моего дяди, ему удалось проскочить безопасно через Германию после объявления войны России только благодаря тому, что он сам и вся семья говорили между собой по-английски и выдавали себя за англичан. При тех отзывах, которые мне приходилось читать в германской политической литературе о деятельности моего дяди, если бы немцы могли знать, что Чарыков проезжает в это время через их территорию, ему пришлось бы несладко. Как бы то ни было, я, находясь в Лондоне, не считал удобным расспрашивать о неожиданном приезде Чарыкова и его причинах, а тем, кто этим интересовался, говорил, что, по всей вероятности, он приезжал за сыном, чтобы взять его в Россию. В МИД после моего поступления я также, в силу указанных выше соображений личного характера, не считал возможным исследовать вопрос о какой-то связи между началом войны со стороны Англии и поездкой Чарыкова. Самого его я прямо не расспрашивал о целях поездки, но он мне не раз говорил о том, что всегда был твердо уверен, что Англия никогда не позволит Германии и Австрии напасть на Россию и Францию без того, чтобы самой не вмешаться. Об англичанах он говорил также, что мы, русские, гораздо раньше поняли необходимость взаимного соглашения и дружбы, а Англия только после русско-японской войны окончательно это постигла.

Когда во время войны я в одной германской книге, посвященной Балканам, прочел, что Чарыков в 1912 г. был уволен с посольского поста в Константинополе по требованию Вильгельма за «его боевую славяно- и англофильскую поли-

тику», и спросил об этом моего дядю, он очень этим заинтересовался и сказал, что подозревал это, то есть давление Германии, как истинную причину отставки, но не имел доказательств. Сопоставляя все указанные данные, я до сих пор не могу отказаться от мысли, что поездка Чарыкова в Англию как раз в дни начала мировой войны едва ли объясняется случаем и что переговоры с англичанами были тем более возможны, что по приезде в Англию и перед отъездом оттуда он «завтракал» в посольстве, а это он едва ли стал бы делать, если бы ездил только за сыном, поскольку в качестве недавно отставленного отнюдь не был обязан посещать посольства и выказывать таким образом внимание уволившему его правительству.

Уже после объявления Англией войны Германии 4 августа я зашел по паспортным делам в наше консульство и стал свидетелем инцидента Гамбс — Васильев, впоследствии ставшего предметом запроса в Государственной думе и в Государственном совете и послужившего предлогом для отчаянной атаки правой, так называемой «национальной», печати с «Новым временем» во главе против нашего дипломатического ведомства из-за «иностранных фамилий».

Инцидент, как я его видел, заключался в следующем. Профессор А. В. Васильев, тогда член Государственного совета, стоял недалеко от меня в консульстве, ожидая своей очереди. Гамбс, наш вице-консул в Лондоне, молодой человек лет 27—28, весьма элегантной наружности (чего нельзя было сказать о Васильеве), с моноклем и в гетрах, принимал посетителей, надо сказать правду, непринужденно и даже с раздражением. Публики по случаю тревожного положения было, конечно, значительно больше обыкновенного, и прием далеко переходил за указанное на вывеске консульства время. Когда очередь дошла до Васильева, Гамбс вдруг обернулся к нему с совершенно исключительной резкостью, принимая его, повидимому, за кого-то другого: «Вы опять ко мне попрошайничать?!» А. В. Васильев даже побагровел от неожиданности такого обращения и, в гневе размахивая руками, воскликнул: «Я, член Государственного совета, профессор,— попрошайничать!» «Ваша фамилия, молодой человек?! — заревел он.— Я это так не оставлю!» Гамбс стоял, совершенно растеряв-

шись, а Васильев, узнав его фамилию, пошел прямо в посольство и потом действительно «не оставил» этого дела и вынес его на трибуну законодательных палат. Мне пришлось впоследствии ехать с ним вместе в Россию и говорить с ним и профессором академиком Стекловым (про которого в большевистские уже времена, когда Нахамкес принял фамилию Стеклова, его знакомые спрашивали, не принял ли он фамилии Нахамкеса), ехавшим вместе с Васильевым, об этом случае, и нетрудно было предвидеть, что этот «инцидент» разрастется в крупное общественное дело, так как материала для этого оказалось, увы, больше чем достаточно.

Как мне передавали мои знакомые в Лондоне, Гамбс, считавшийся одним из лучших игроков в теннис, был очень раздражен тем, что вследствие начавшейся войны должен был бросить любимый спорт и просиживать целые дни в консульстве. С другой стороны, сам Гамбс уверял, что спутал Васильева, которого он тогда видел первый раз в жизни, с каким-то надоедливым старикашкой, приставшим к нему последнее время с просьбами о «субсидии». Слово «опять», произнесенное им совершенно явственно, как будто подтверждает эту версию, но, конечно, не освобождает Гамбса от ответственности за свое поведение по отношению к публике, которая с нескрываемой радостью, как я могу засвидетельствовать, присутствовала при этом «уроке», данном Гамбсу.

Любопытно и то, что все это случилось именно в Лондоне, где сам посол граф Бенкендорф, хотя и считался одним из лучших русских дипломатов, с трудом владел русской речью и единственный из русских представителей с разрешения государя до конца жизни (1916 г.) доносил в МИД на французском языке. По-русски граф Бенкендорф говорил так, как говорили в начале XIX в. некоторые великосветские русские люди, то есть по-простонародному («пущать», например, и т. д.), а сколько-нибудь серьезный разговор мог вести только на европейских языках — французском, английском, немецком, но не по-русски. Писать по-русски он совсем не мог и однажды по случаю того, что русская публика по ошибке часто обращалась вместо посольства в его частную квартиру, вывесил следующее объявление у себя на двери: «Здесь не русское посоль-

ство, вход которой со двора». Повторяю, это анекдотическое незнание родного языка было отлично известно при дворе, где оно служило пищей для всякого рода острот, но на карьере заслуженного дипломата нисколько не отражалось. Впоследствии мне самому не раз приходилось читать и отвечать на донесения графа Бенкендорфа по разным случаям, написанные всегда на прекрасном французском языке. Не случайно и то, что националистическая печать выбрала для своих нападок по поводу «иностранных фамилий» в дипломатическом ведомстве именно Лондон, так как здесь почему-то годами в составе посольства не бывало ни одного чисто русского имени.

Вечером 4 августа я вместе с А. П. Кропоткиной-Лебедевой и ее мужем присутствовал на церемонии объявления войны. Весь Лондон был на ногах, но какое отличие этой веселой, праздничной и совершенно спокойной толпы, едва ли сознававшей всю важность для ее страны наступившей минуты, от напряженного до последней степени и хмуро-озабоченного, если не панически-тревожного, Парижа, в один день превратившегося из самого беззаботного города в Европе в огромную осажденную крепость!

Через несколько дней после объявления войны со стороны Англии я выехал через Ньюкасл в Норвегию, а оттуда в Швецию и рейсом Стокгольм — Раума в Финляндию. В мои последние дни в Лондоне характер «города городов» сильно изменился, не так молниеносно и не так ярко, как в Париже, но вереницы уходящих войск, военные упражнения в общественных садах и парках уже сами по себе были настолько необычным явлением, что давали представление о военном Лондоне. В дальнейшем прибавилась также невероятная для мирного времени полицейская регистрация иностранцев, и тогда только обнаружилось впервые для среднего лондонца, какое огромное количество немцев, рассеянных по всем профессиям, оказалось в столице Англии.

Не описывая всего путешествия, укажу, что темой для разговоров во время сравнительно короткого перехода из Ньюкасла в Норвегию вдоль берегов Шотландии были опасность германских мин и рассказы бежавших из Германии о «германских зверствах». Когда мне по моим служебным обязанностям при-

ходилось затем давать иностранцам сводку тех международных правонарушений и поистине зверств, которые совершали немецкие войска на русском фронте, я не мог без улыбки вспомнить эти разговоры о «зверствах» немцев над русскими в момент начала войны. Так психологически быстр и неожидан для масс был переход к войне, что неудивительно, если все приобретало в эти дни фантастический характер. Ломался весь уклад жизни и индивидуальной психики, но никому не верилось, что это надолго. Вместе с тем врывалось и героическое и захватывало всех.

Уже по приезде в Финляндию я не узнал России, несмотря на то что во время моей заграничной командировки я каждое рождество приезжал на короткий срок в Петербург. А когда я, наконец, попал в Петербург, который так хорошо знал и видел, хотя и мальчиком, в дни революционных движений, начиная с 9 января 1905 г. и во все время русско-японской войны, то передо мной предстал огромный военный лагерь, в котором не было ни одной живой души, так или иначе не связанной с войной. Это не был Париж с его видом осажденной крепости накануне штурма, это не был флегматичный Лондон, где сама война носила характер спорта, это был военный лагерь, живший общей жизнью с фронтом. Как раз в эти августовские дни Петербург не являлся тылом, хотя бы и правительственным, это был фронтовой лагерь в истинном смысле слова, и территориальная удаленность от места военных действий с лихвой искупалась постоянным подвозом раненых, которыми был наполнен весь Петербург. Я с удивлением увидел особняк на Захарьевской улице против Кавалергардской полковой церкви, особняк, в котором я провел добрую половину своего детства, превращенный в госпиталь. Такого обилия раненых и такого «военного» Петербурга, как в первые дни войны, я не видел впоследствии никогда.

Петербург: единение правительства и общества

Было еще и другое, что мне как старому петербуржцу сразу же бросалось в глаза — это был только военный лагерь. То противостояние общества и правительства, которое было хронической язвой всей русской жизни, внезапно куда-то исчезло. Те же люди, которые еще так недавно не могли говорить о противоположном стане общества или правительства

иначе, как с пеной у рта, в настоящий момент работали сообща, и не из тактических соображений, а работали на совесть, всем своим нутром чувствуя, что в этой совместной работе спасение всех. Я не помню ни одной скептической улыбки, ни одного иронического слова с той или другой стороны. Совершилось чудо единения если и не «царя с народом», как об этом говорили всюду разбросанные казенные жетоны и надписи, то во всяком случае правительства и общества. Какая поразительная противоположность по сравнению с японской войной! Поражающе изменилось у всех и отношение к царю и царской семье. Если до войны и говорили о Распутине, если в обществе до войны 1914 г. относились к царю без всякого энтузиазма, а очень многие обвиняли его лично в роковом тупике, в котором очутилась Россия, то теперь, в эти первые дни войны, все было ему прощено, все забыто, и так хотелось видеть в нем в эти дни действительного вождя армии и России, что самые скептические умы готовы были идти на какой угодно обман рассудка, чтобы только не потерять этой иллюзии, необходимой для ведения войны.

Величие событий преображало людей, и мне как лицу, попавшему сюда из-за границы и находившемуся под впечатлением давно размежевавшихся стихий правительственной и общественной, это было чуждо и непонятно. Я не был лично свидетелем ни тех сцен на Дворцовой площади, которые мне потом описывали очевидцы, ни знаменитого заседания Государственной думы 26 июля, когда внезапно выявилось национальное единство России и когда С. Д. Сазонов плакал на трибуне Государственной думы, не в силах сдержать себя при этом неожиданном зрелище. Все это мне было чуждо и ново, я, переживавший начало войны в Париже и Лондоне, быть может, отчетливее чувствовал мировую сущность войны, но русскую действительность этого момента я принимал как совершившееся чудо, без всякого участия в нем. Общественное настроение того времени можно выразить так: мало отвлеченного патриотического понимания момента, мало живой веры в свой народ и его историческую миссию, надо еще верить в то правительство, в тех живых физических лиц вплоть до самого монарха, в их непогрешимость и победоносность. Эта вера

тех дней в царя и его правительство, вера, что они дадут победу, от которой зависит судьба народа и государства, это прощение прошлого и был тот фон, на котором развернулись все последующие события, вплоть до падения монархии. Вот, во всяком случае, то новое, что я увидел в эти дни в петербургском обществе.

Впоследствии и в различных ведомствах, и повсюду в обществе я слышал одну и ту же стереотипную фразу, что какой он ни на есть, наш царь, а в историю он войдет Великим, наподобие Петра I или хотя бы Александра I. Другие факты, как-то: прекращение путиловскими рабочими забастовки в связи с объявлением войны и удвоенная продуктивность работ, а также изумительно прошедшая «трезвая» мобилизация — говорили о том, что война докатилась и до народного сознания, что, конечно, еще более укрепляло основное общественное ощущение необходимости не только забвения прошлого и примирения с находившимся в тот момент у власти правительством, но и чудодейственной веры в монарха как вождя, вокруг которого все должны сплотиться.

Сразу же по приезде я явился к своему патрону по кафедре международного права профессору А. А. Пиленко и моему прежнему — профессору барону М. А. Таубе, в этот момент назначенному управляющим ведомством народного просвещения (он заменял тогда Кассо), и сообщил им о своем желании идти добровольцем на войну. И тот и другой отнеслись к этому очень сочувственно, не считая возможным препятствовать мне в таком деле, но обещая, чего я не просил, оставить за мной не только мое академическое положение при Петроградском университете, но и мое содержание по заграничной командировке. И тот и другой (с Пиленко я долго говорил в редакции «Нового времени» в Эртелевском переулке, где он, по его словам, по случаю войны дневал и ночевал, а с бароном Таубе — в министерстве народного просвещения, откуда тот возвращался домой только в 10-м часу вечера) рассказывали о том, где их застигла война и как. Барон Таубе с большим вниманием выслушал мои впечатления о Лондоне (он числился в то время также в МИД), несколько раз переспрашивая о деталях, касающихся английских настроений по отношению

к войне и России. Видимо, у него были какие-то сомнения относительно искренности англичан — черта, впрочем, широко тогда распространенная в петербургском обществе, для которого вступление Англии в войну являлось каким-то чудом.

Барон Таубе тогда рассказал мне также (надо сказать, что у меня с ним были очень дружественные отношения, если так можно характеризовать отношения между профессором и учеником), как за несколько недель до войны ему удалось уговорить наше правительство взять из германских банков все золото, которое там хранилось. В самом деле, когда я поступил в МИД, я узнал, что действительно никаких русских правительственных сумм в Германии не было, и это ставили в заслугу барону Таубе, заставившему наше правительство «вовремя спохватиться». Тогда же я по долгу службы узнал, что у ряда высокопоставленных лиц и некоторых великих князей остались в Германии на текущих счетах крупные денежные суммы, которые были задержаны германским правительством, например, у вел. кн. Александра Михайловича (1 500 000 марок), вел. кн. Виктории Феодоровны, князя Горчакова, графа Шувалова и т. д.

Отмечу также, что граф Пурталес, бывший к моменту объявления войны германским послом в С.-Петербурге, уезжая, говорил одной моей знакомой даме, что в России сразу же после начала войны произойдет революция и что всем состоятельным людям надо из России бежать. Тот же самый Пурталес, как мне передавал чиновник особых поручений при С. Д. Сазонове А. А. Радкевич, в день объявления войны 19 июля по ст. ст. в растерянности вручил в 7 час. 10 мин. вечера (для одного конкретного случая по требованию Департамента таможенных сборов нам в Юрисконсультской части МИД пришлось совершенно точно определить момент начала русско-германской войны) ноту с объявлением войны в двух экземплярах — чистовом и черновом — С. Д. Сазонову и вышел из его кабинета бледнее полотна. Так эти два экземпляра знаменитой германской ноты, в средневековых выражениях объявлявшей войну России, и хранились в архиве МИД.

Однако не успел я подыскать для себя соответствующую воинскую часть, чтобы поступить на военную службу, как мои планы были опрокинуты неожиданным предложением, сделанным мне бароном Б. Э. Нольде, занимавшим тогда должность начальника Юрисконсультской части МИД, поступить в это министерство на должность секретаря Юрисконсультской части. Он мне при этом сказал, что в этой части всего три должности — начальника, его помощника и секретаря; что помощник его — не специалист по международному праву, а просто дипломатический чиновник; что ему трудно обойтись без помощника-специалиста и по служебному положению место секретаря достаточно высоко (должность считается VII класса) для того, чтобы я с первых же шагов дипломатической службы мог иметь самостоятельное положение.

Это предложение было для меня неожиданным не потому, что я в первый раз говорил с Нольде о моем поступлении в МИД (Нольде звал меня в МИД еще в 1913 г., когда я находился за границей в командировке, но тогда я хотел закончить свою работу по морскому праву и от предложения временно отказался), а по всей обстановке, так как место, мне предложенное, для недавно окончившего университет было действительно исключительное и совершенно соответствовало избранной мной специальности. Но я был еще более удивлен, когда узнал от Нольде, что в момент объявления войны на совещании высших чинов МИД, на котором присутствовал и мой бывший профессор барон Таубе, было постановлено назначить меня юрисконсультом МИД при Ставке вел. кн. Николая Николаевича и через моих родственников в С.-Петербурге были предприняты попытки узнать, где я нахожусь. Но, по сведениям моих родных, я был в Вене (на самом деле — в Париже), и вместо меня юрисконсультом при Ставке был назначен профессор В. Э. Грабарь. Такое заочное доверие ко мне со стороны МИД, как я узнал, было проявлено помимо личных рекомендаций Таубе и Нольде еще и благодаря только что полученному отчету французского профессора Луи Рэно, старшего юрисконсульта французского МИД, где он из всех молодых людей, находившихся в Париже в командировке, вы-

3 Зак. № 24

делил меня и дал лестную характеристику моим научным занятиям, назвав меня «homme de mérite»*.

Все это было для меня весьма неожиданно. Когда я рассказал Нольде о своих военных планах, он, смеясь и шутя, но очень твердо стал убеждать меня отказаться от них, утверждая, что Россия гораздо меньше нуждается сейчас в солдатах, чем в международниках-специалистах. Он прибавил, что за последние 10 лет он не мог в МИД «обучить» никого для секретарства в Юрисконсультской части, что его теперешний помощник В. М. Горлов — прежний чиновник канцелярии по принятию прошений на высочайшее имя (потом он был 1-м секретарем посольства в Париже, а впоследствии первым русским посланником в Варшаве уже при Колчаке и Деникине) и хотя он человек вполне воспитанный и опытный в канцелярском отношении, но не специалист и в помощники не годится. В тоне Нольде было столько искренности, что я ответил, что подумаю. После повторного, не менее настойчивого приглашения Нольде я отправился к нему в министерство, познакомился с В. М. Горловым, производившим, несмотря на свою светскость, впечатление вполне типичного петербургского чиновника, что отнюдь не было характерно для МИД, где служащие равнялись по разным странам, но не по Петербургу и России, и тут же согласился на предложение Нольде. Не только Нольде, но и Горлов были, видимо, этим очень довольны, так как и Горлов, как выяснилось из дальнейшего, тяготился своими обязанностями и жаждал заграничной дипломатической службы.

Горлов тут же, при первом свидании, сказал, что знает моего дядю Чарыкова, так как встречался с ним в качестве камергера при дворе (Чарыков носил звание гофмейстера) на всякого рода церемониях. Затем Горлов несколько неожиданно спросил меня, не являюсь ли я уроженцем Царства Польского, так как Михайловский (Михаловский) — фамилия очень распространенная у поляков. Я ответил, что действительно наш род старого польского происхождения, но сперва переселившийся на Украину, а впоследствии принявший

---

* Человеком, достойным похвалы *(фр.)*.

православие и перешедший на русскую военную службу; мой дед был помещик Херсонской губернии, а уже мой отец — женившись на самарской помещице — Самарской. Горлов спросил меня, знаю ли я по-польски, и, когда я ответил отрицательно, сказал, что у него майорат в Царстве Польском и что он говорит и пишет, как поляк. Чего мне не сказал Горлов, но что ему было трудно скрыть,— что он глубокий полонофоб и, по-видимому, как это стало более ясно из дальнейшего, он боялся моего, хотя и далекого, польского происхождения в тот момент, когда для России польский вопрос становился все более и более острым. Ниже я скажу, как Горлов смотрел на русско-польские отношения, отражая известные настроения некоторых правящих петербургских бюрократических кругов.

Тогда же при моем свидании с Нольде в МИД мы условились с ним о необходимых формальностях. Мне, как и каждому поступающему на дипломатическую службу, предстоял вступительный экзамен — examen de capacité. Этот экзамен по государственному и международному праву, политической географии и языкам (по французскому — перевод с русского на французский и обратно, устный и письменный) для меня мог иметь только формальный характер, так как и по своему академическому положению, и знанию иностранных языков я, естественно, был выше уровня поступающих прямо с университетской или лицейской скамьи.

Любопытно отметить, что со времени Извольского и Чарыкова этот вступительный дипломатический экзамен совершенно изменил свой характер, так как стал коллегиальным — экзамен производился совещанием, в которое входили все директора департаментов и начальники отделов, и вопрос о приеме вновь поступающего решался, таким образом, коллегиально. Целый ряд дополнительных правил (возраст не старше 27 лет, обязательное высшее образование, преимущество для юристов и лицеистов и т. д.) сделали из этого экзамена солидный фильтр, чрезвычайно благоприятно отразившийся на уровне поступающих. В МИД больше всего не любили аутсайдеров, то есть чиновников других ведомств, благодаря протекции стремившихся попасть на высшие дипломатические

должности, минуя низшие. Возрастной ценз в 27 лет был установлен специально для этой цели.

Несомненно и то, что нашумевший незадолго до войны на всю Россию процесс Долматова, молодого чиновника МИД, блестящего члена петербургского общества, попавшего на скамью подсудимых за убийство с целью грабежа и обвиненного в ряде преступлений, как-то: воровство, подлоги и пр., процесс, раскрывший крайне нездоровую атмосферу МИД для молодых людей, вынужденных годами дожидаться первого платного места и обязанных по положению в обществе вести широкий образ жизни,— тоже содействовал оздоровлению этого министерства. Извольский установил совершенно точные условия прохождения службы и устранил ряд вопиющих несправедливостей. Когда я поступил в МИД, то память о Далматове еще была жива, и мне пришлось от молодых чиновников слышать рассказы об их бывшем compagnon de jeunesse*.

В. М. Горлов, мой будущий непосредственный начальник, как раз являлся исключением из общего правила, так как был принят в МИД в возрасте 42 лет, и то только из-за ходатайства Нольде, нуждавшегося в помощнике, хотя бы и не квалифицированном с точки зрения научной. Из этого видно, что дипломатическое ведомство действительно нуждалось в этот момент в юрисконсультах-международниках, и предложение Нольде основывалось на благоприятных для меня совершенно объективных данных. В связи с этим уговоры Нольде и в особенности тот факт, что вся работа Юрисконсультской части в этот момент была тесно связана с войной и объективно была действительно недостаточно обеспечена, ложась на плечи фактически одного Нольде, побудили меня окончательно вступить в МИД и отказаться от мысли о военной службе.

Через несколько дней после экзамена, прошедшего без всяких особых формальностей в кабинете Нольде в Юрисконсультской части, я подал прошение о принятии меня на службу и предъявил в Департамент личного состава все необходимые бумаги, вплоть до формуляра отца, а затем, также без всяких церемоний, в полутемной церкви МИД в присутствии случайно

---

* Товарище их юности *(фр.)*.

бывшей там какой-то дамы в трауре принес присягу. На другой же день и уже в качестве исполняющего обязанности секретаря Юрисконсультской части приступил к работе в МИД.

Обычай требовал, чтобы поступающие представлялись высшему начальству после выхода в свет циркуляра о назначении на службу, циркуляр же издавался по мере надобности, содержа ряд перемен по службе, приблизительно раз в месяц. Я, таким образом, имел возможность до официального представления ознакомиться с главными действующими лицами и с общей обстановкой работы.

В центре правительственной деятельности

То, что бросалось в глаза каждому свежему человеку и о чем я знал и раньше, была необыкновенная простота личных отношений. МИД являлся одним из самых малочисленных ведомств: в центральных установлениях Петербурга было в это время, с нештатными служащими, всего 150—160 человек, а с заграничными — 700—730. С другой стороны, условия службы, требовавшей доверительности и близкого личного знакомства, делали из всего министерства одно большое посольство, это были все люди одного и того же круга, многие по наследству служили в этом ведомстве. Не было никаких форм и никакой особой чиновничьей дисциплины, иерархия исчерпывалась деловой близостью к министру, тогда С. Д. Сазонову; непосредственный доклад министру, вернее, право этого доклада, определяло деление служащих на младших и старших. Но я никогда не думал, поступая в МИД, что смогу получить это право доклада меньше чем через год после поступления и в неполных 25 лет. Эта, по шутливому выражению В. Б. Лопухина, директора Департамента личного состава, «наполеоновская карьера» была, конечно, возможна только благодаря войне, заставившей МИД отбросить все бюрократические предубеждения о иерархии возраста, столь въевшиеся в петербургские министерства. Дипломатическое ведомство было, без сомнения, самым культурным ведомством России, да иначе и быть не могло, так как ему приходилось иметь дело в первую голову с иностранцами, а пленять их обычным бюрократическим петербургским способом работы и общения было бы

трудно. Вот почему на нас так косились за «либерализм и иностранщину» другие ведомства.

Дипломатическое ведомство представляло из себя в этот момент крайне оживленное, интенсивно и с одушевлением работающее учреждение и по сравнению с прежним (я был в январе 1914 г. в МИД у Нольде по случаю моих статей в журнале министерства, редактором которого являлся он же) было неузнаваемо. Помимо обычного состава ведомства были и только что приехавшие из Австро-Венгрии и Германии наши отозванные оттуда по случаю войны дипломатические и консульские чины. Война и здесь властно врывалась в прежние отношения, создавая ряд новых учреждений и отделов, как-то: отдел о военнопленных, справочный отдел о русских подданных, оставшихся за границей и в особенности в неприятельских странах, отдел переводов, долженствовавший обслуживать денежную помощь лицам, оставшимся вне России, и т. д. С другой стороны, компетенция прежних отделов разбухла до чрезвычайности. Возникали, конечно, постоянные споры о разграничении этих компетенций, но опять-таки живое дело не терпело безжизненных бюрократических схем и прикрепляло эти компетенции не столько к тем или иным отделам и департаментам, сколько к живым людям.

Юрисконсультская часть в этом отношении не составляла исключения. Ее компетенция вообще была крайне неопределенна, а с войной всякое мало-мальски сложное дело немедленно приобретало «юридический» характер и попадало в Юрисконсультскую часть. Этому способствовало и то обстоятельство, что во главе ее стоял барон Б. Э. Нольде, человек молодой (ему тогда было 38—39 лет) и вполне компетентный буквально во всех вопросах, тогда поднимавшихся, так как помимо научной квалификации профессора-международника 15 лет практики в МИД делали из него выдающегося знатока-юрисконсульта. Равняться с ним могли только барон М. А. Таубе, занимавший в это время пост товарища министра народного просвещения и с головой ушедший в это ведомство, и А. Н. Мандельштам, первый драгоман посольства в Константинополе, бывший в это время в Турции. Да и среди этих трех Нольде, несомненно, был и способнее, и живее, да и моложе

двух остальных. Очутившись в министерстве, я, к своему удивлению, увидел, что Нольде играет роль, далеко выходящую за рамки компетенции Юрисконсультской части при самом расширительном толковании этой компетенции, и что он является одним из самых влиятельных лиц в министерстве, прямым советником Сазонова не только по вопросам, имеющим хотя бы отдаленное отношение к международному праву, но и по вопросам вообще международно-политическим, если только они принимали несколько необычный или тревожный контур. Благодаря тому высокому положению, которое занимал в ведомстве сам Нольде, и Юрисконсультская часть, им руководимая, както незаметно обратилась в «мозг» министерства.

Должен сказать еще, что помимо деления на те или иные отделы и департаменты в центральных установлениях министерства проводилось деление на дипломатическую и консульскую службу, консульские служащие составляли менее аристократическую касту по сравнению с дипломатической, и переход из одной категории в другую совершался с большим трудом и в виде совершенного исключения. Только на Востоке способный консул при благоприятных обстоятельствах мог попасть на дипломатический пост. Это деление, существующее во всех странах, проводилось и при самом распределении отделов и департаментов; так, например, II Департамент (директором которого впоследствии стал Нольде) был консульским, канцелярия и I Политический отдел, ведавший Европой и Америкой,— дипломатической частью и т. д. Юрисконсультская часть была построена как дипломатическая часть (внешне это различалось так: в дипломатической части были должности секретарей и начальников отделов, соответствовавшие секретарям и советникам посольств, а в консульских частях — делопроизводителей и директоров департаментов, которые соответственно приравнивались к вице-консульским и консульским должностям), и из нее в дальнейшем был ход на заграничную дипломатическую службу, так, например, Горлов ушел в посольство в Париже. Но как к «мозгу» министерства к дипломатической части обращались все части министерства, в том числе и консульские, и поскольку наш консульский состав был и по своему деловому уровню всегда ниже дипло-

матического, то консульские части, вроде, например, II Департамента, обращались к нам особенно часто. Принадлежа, таким образом, к привилегированной части министерства по своему устройству, по своему деловому положению Юрисконсультская часть стояла в самом центре, охватывая в своей всеобъемлющей компетенции все части и отделы ведомства. Мало того, Юрисконсультская часть точно так же была той частью министерства, которая исполняла функции внешнего представительства в отношении других ведомств — внутренняя политика и дела по Совету министров тоже почему-то (может быть, из-за притягательных в деловом отношении способностей Нольде) числились за нами.

Все это вместе, при атмосфере кипучей деятельности, которая сразу охватила меня всего, не только делало из моей службы в МИД приятное по осязаемым результатам исполнение своих обязанностей в такой момент, переживаемый Россией, но и перенесло меня совершенно, можно сказать, внезапно из мирного заграничного времяпрепровождения в самый центр правительственной деятельности всей империи. Если я и не мог похвастаться знанием России, то мне пришлось слишком близко коснуться деятельности центрального правительства, чтобы иметь смелость говорить о нем en connaissance de cause*. Признаюсь, когда я ближе вник в то, что делал Нольде, мне стало страшно: а вдруг я не окажусь на высоте положения и попаду в общую массу моих предшественников по должности, про которых он говорил, что при всем старании он не мог их «обучить» юрисконсультскому делу. При этом было совершенно очевидно, что Нольде ждал от меня большего, чем, например, от своего официального помощника и моего непосредственного начальника В. М. Горлова.

Один небольшой инцидент, который мог, однако, для меня плохо кончиться, раскрыл мне глаза на истинный характер той службы, для которой я был привлечен. Дело заключалось в ноте греческого правительства по поводу захвата одного греческого парохода русскими властями в Черном море. Пароход был захвачен в силу его принадлежности в момент объяв-

* Со знанием дела *(фр.)*.

ления войны германским подданным, продавшим его уже после начала войны в греческие руки. Были все основания предполагать, что сделка была фиктивной, и потому, попав в один из наших портов на Черном море, пароход был задержан. Обсудив с Нольде эту ноту, составленную, надо отметить, в довольно резких выражениях, мы пришли к убеждению в необходимости ответить на нее корректно, но вполне твердо с предоставлением решения дела севастопольскому призовому суду (греческое правительство требовало немедленного освобождения парохода). Я составил ноту и отдал распоряжение ее отправить. На другой день Нольде спросил меня, составлена ли нота. Я ответил: составлена и уже отправлена. (Надо сказать, что в дипломатической практике есть два сорта нот: в форме письма министра иностранных дел к соответственному иностранному представителю за подписью министра или в форме так наз. словесных (вербальных) нот, отправляемых от имени министерства иностранных дел и не подписываемых министром. Нота, отправленная мною, была написана в форме вербальной ноты, то есть не требовала подписи министра.) Нольде страшно заволновался — как отправлена, ее же надо показать министру! Я ему сказал, что это вербальная нота и подписи не требует. «Это безразлично, ведь и объявление войны можно сделать в вербальной ноте, и вербальные ноты требуют одобрения министра»,— ответил Нольде и попросил черновик ноты. Прочтя его, он несколько успокоился, ничего предосудительного в ней не найдя, попросил сделать чистовой экземпляр и, улыбнувшись, сказал: «Я вас не выдам и получу согласие Сазонова задним числом, но впредь прошу вас этого не делать». Так оно и было сделано. Сазонов прочел и согласился с отправленной уже нотой, и дело этим кончилось. Но я увидел, какая огромная доля доверия к самым младшим служащим МИД по существу самого дела неизбежна на дипломатической службе и как молодой чиновник, только что поступивший в министерство, может иметь влияние на международные отношения при обстоятельствах, подобных только что отмеченным. Конечно, не будь у меня таких прекрасных отношений с Нольде, этот инцидент мог бы иметь для меня неблагоприятные последствия.

Наконец, это было уже 12 сентября, вышел циркуляр, в ко-

тором содержалось мое определение на службу. На другой день, одев сюртук, как это требовал обычай, я представлялся всем высшим чинам министерства, за исключением Сазонова, который по случаю войны отменил всякие представления. В связи с этим я должен остановиться на делении нашего министерства и характеристике главных действующих лиц.

Структура МИД. Главные действующие лица

МИД к моменту моего поступления туда совершил с установлением новых штатов министерств, принятых законодательными учреждениями за несколько недель до войны, полную реформу в отношении разделения центральных установлений ведомства на отделы и встретил, таким образом, войну во всеоружии. Это разделение заключалось в следующем. Министерство делилось прежде всего на 4 политических отдела. I Политический отдел был в то же время и канцелярией министра. Во главе этого отдела (и, значит, канцелярии министра) стоял барон Маврикий Фабианович Шиллинг, и в его компетенцию входили вся Европа и Североамериканские Соединенные Штаты. II Политический отдел, во главе которого был князь Григорий Николаевич Трубецкой, только что назначенный тогда посланником в Сербию, ведал Ближним Востоком, то есть Балканами. III Политический отдел, начальником которого был Вильгельм (с 1 января 1915 г. он стал Василием) Оскарович фон Клемм, ведал Средней Азией (Персия, Афганистан, Бухара, Хива). Наконец, IV Политический отдел, занимавшийся Дальним Востоком, имел во главе Григория Александровича Козакова. II, III и IV Политические отделы выделились из знаменитого Азиатского департамента и в знак прежней своей объединенности имели общую столовую и так наз. «чайное общество», куда принимались по баллотировке. В своем устройстве они также имели общую черту — объединение в одном отделе и дипломатической, и консульской части, что вызывалось особенностями службы на Востоке. Что же касается I Политического отдела и канцелярии министра, то они ведали исключительно дипломатическими сношениями с Европой и Северной Америкой и, кроме того, придворно-церемониальной частью, приемами иностранных послов при царском дворе, а также дипломатической перепиской дома Романовых с другими монархами и, наконец, сно-

шениями министерства иностранных дел с государем. Ввиду этих особенностей отдела служба там считалась почетной, но компетенция его явно превышала наличные силы, и во всех сложных случаях неизбежно требовались ассистенты из других отделов.

Юрисконсультская часть, о которой я уже говорил, имела сложные и разнообразные функции, которые можно было бы определить как: 1) амбулаторно-клиническую помощь всем отделам по вопросам международно-правового характера и 2) участие в решении чисто международно-политических вопросов общего характера. По своему устройству она примыкала к политическим отделам. В ведении Юрисконсультской части был и юрисконсульт по гражданским делам, адвокат, являвшийся, впрочем, совершенно бездейственной фигурой.

Вне политических отделов находились: I Департамент, ведавший личным составом и хозяйственной частью, во главе с бывшим посланником в Дармштадте В. Я. Фан-дер-Флитом и II Департамент, так наз. Консульский, заведовавший консульскими сношениями Европы и САСШ, так сказать, оборотная сторона I Политического отдела и канцелярии министра, живой пример извечного бытового антагонизма дипломатической и консульской службы. Директором его был Альфред Карлович Бентковский. Вот в основных контурах схема министерства, если не считать стоявшего совершенно особняком Архива МИД — ученого учреждения с материалами огромной исторической ценности, директором коего были при мне сначала С. Горяинов, а затем князь Н. В. Голицын. Была и библиотека МИД — учреждение, тоже стоявшее особняком, но совершенно захудалое и поразительно не соответствовавшее своему названию. Отдельные чины ведомства имели часто библиотеки, значительно превышавшие по количеству томов и их ценности библиотеку министерства (например, барон Б. Э. Нольде).

Что касается делового значения и влияния отдельных частей, то они зависели (и менялись иногда довольно резко) от смены конкретных лиц, их возглавлявших. Так, например, Отдел печати, во главе которого был Ю. А. Нелидов, в начале

войны играл роль более чем скромную в общей жизни ведомства, но когда во главе его стал А. И. Лысаковский (впоследствии посланник при Ватикане), человек широкого бюрократического размаха, умевший, что называется, пускать пыль в глаза, этот отдел вдруг стал чуть ли не самым главным в ведомстве.

Из высших чинов ведомства помимо Сазонова и его товарищей А. А. Нератова и В. А. Арцимовича первую роль в политическом и бытовом отношении играл барон М. Ф. Шиллинг, в качестве начальника канцелярии министра и I Политического отдела не только знавший все тайны внешней политики России, но и являвшийся самым близким, можно даже сказать, интимным советником Сазонова. Долгая совместная служба и искренняя дружба связывали этих людей, и Шиллинг доказал свою тевтонскую верность своему сюзерену в 1916 г., когда при отставке Сазонова последовал за ним, хотя Штюрмер, сменивший Сазонова, и убеждал его остаться. Шиллинг не пожелал ни одного лишнего дня оставаться после ухода своего друга и протектора. Безукоризненно воспитанный и светский в европейском смысле человек, барон Шиллинг был образцом канцелярского и салонного знатока дипломатических обычаев и этикета. С этой точки зрения трудно было найти более подходящего начальника канцелярии любого министра иностранных дел любой великой державы. И в наружности, и в манерах Шиллинга чувствовалось нечто несовременное, казалось, он сошел с гравюры Венского конгресса 1815 г., и когда я замечал его высокую поджарую фигуру в коридорах нашего министерства, то мне казалось, что среди людей XX в. скользит привидение прежних времен. Было что-то безжизненное в этом безупречном в личном общении дипломате, типичном балтийско-немецком русском чиновнике начала и первой половины XIX столетия, и не верилось, что он, который по должности ведал всей русской внешней политикой в Европе в такой исторически неповторимый момент, как мировая война, мог бы с талейрановским коварством и блеском разрешить столь важный для России вопрос, как, например, западнославянский.

Сам Сазонов, несмотря на высокую оценку качеств Шил-

линга — его пунктуальности, житейского такта и тонкого знания всех форм дипломатического обихода и канцелярского письма, должен был призвать к нему на помощь для решения польского вопроса барона Б. Э. Нольде, а для австро-венгерского — такого антипода Шиллинга, как А. М. Петряев (впоследствии начальник Ближневосточного отдела, а при Временном правительстве — товарищ министра иностранных дел), который и выполнил труд представить русскому правительству всю многосторонность и многосложность вопросов, связанных с судьбой империи Габсбургов.

Должен прибавить, что когда вследствие инцидента Гамбс — Васильев, о котором я говорил выше, шовинистическая часть русской печати обрушилась на МИД, названный ею «министерством иностранных фамилий» за несоразмерное количество немецких имен среди самых высших чинов министерства как в центральных установлениях, так и за границей, то особенно «Новое время» нападало на Шиллинга и Нольде. При этом последний вовсе игнорировал нападки «газетчиков», а Шиллинг крайне на них обижался и в 1916 г. вызвал на дуэль редактора «Нового времени». Шиллинг, как человек феодального склада, адресовал вызов редактору, ожидая с его стороны такого же серьезного отношения к вопросам чести, какого держался и он сам. Тот же сделал из этого новую мишень для журнальных атак, опубликовав вызов, адресованный на официальном бланке канцелярии министра. При этом редактор ссылался на то, что инкриминируемая статья написана не им, а одним из сотрудников, раскрывать имя которого он не собирается, и т. д. Получился грандиозный дипломатический и общественный скандал, потушенный (настолько, насколько дело, попавшее в печать, вообще можно потушить) только заступничеством всемогущего еще тогда Сазонова.

Неизвестно, как бы это неудачное выступление Шиллинга отразилось на его дальнейшей карьере, если бы через два месяца после этого Сазонов не был отставлен, а Шиллинг сам не ушел из министерства. В личных отношениях в течение всей моей службы Шиллинг был всегда крайне предупредителен как со мной, так и со всеми другими, так что вызов на дуэль редактора «Нового времени» надо приписывать отнюдь

не бретерству Шиллинга, а уж скорее его «феодальному» отношению к тогдашней русской печати правого толка.

О других начальниках политических отделов, в совокупности представлявших из себя деловое ядро русской внешней политики на Востоке, могу заметить, что самый важный в тот момент Ближневосточный отдел к началу войны возглавлялся князем Г. Н. Трубецким, но ко времени моего вступления в МИД он был назначен посланником в Сербию, и мне пришлось с ним встретиться и работать уже после падения Временного правительства.

Когда я начал дипломатическую службу, то временно Трубецкого замещал фон Бюцов, личность совершенно бесцветная, очень быстро замененная одним из наиболее гибких русских дипломатов, бывшим советником посольства в Константинополе Константином Николаевичем Гулькевичем (впоследствии посланник в Христиании, а затем в Стокгольме). Гулькевич, явившийся предшественником такого специалиста по балканским делам, каким был Петряев, работавший в начале войны в качестве ассистента Шиллинга по австро-венгерским делам, очень, конечно, проигрывал от присутствия Петряева, будучи явно менее того осведомлен в ближневосточных делах. При Гулькевиче произошла несчастная русско-болгарская война, и тут-то и сказались истинные дипломатические способности Гулькевича, руководившего тогда Ближневосточным отделом. Ему удалось свалить всю вину за это на нашу миссию в Софии. Был даже найден «стрелочник» в лице сына бывшего обер-прокурора Саблера, который из-за болезни посланника в Болгарии Савинского управлял миссией к моменту объявления войны. Но тот, кому пришлось хотя бы раз в жизни видеть безответную и боязливую фигуру Саблера-дипломата, никогда не поверил бы, что он способен вызвать войну между двумя такими государствами, связанными узами благодарности, как Болгария и Россия.

Среднеазиатский отдел возглавлялся фон Клеммом. С наружностью более чиновничьей, чем дипломатической, Клемм, однако, был несомненным знатоком своего дела. На мировую войну он смотрел пессимистически. Помню, когда я ему представлялся, он как-то очень искренне жаловался на оптимизм

своих коллег, надеявшихся, что при счастливом исходе войны удастся разрешить все исторические задачи русской внешней политики. В частности, в отношении Средней Азии и в особенности Персии он не ждал коренных изменений. Эти слова звучали вразрез с бодрым и уверенным тоном других руководителей ведомства и произвели на меня тогда сильное впечатление. Позже я узнал, что под простодушной внешностью вполне обрусевшего немца-чиновника крылись дипломатические дерзания, которым, к счастью, не удалось осуществиться. Дело в том, что Клемм принадлежал к той группе русских дипломатов-германофилов, которые считали возможным, несмотря на политику тройственного согласия с Англией и Францией, «перестраховываться» и на Германию. В 1911 г. Клемм вместе с Сазоновым был автором так наз. Потсдамского соглашения, по которому Россия обязывалась пустить Германию в Северную Персию и разрешить постройку ветки Багдадской железной дороги к Тегерану. Тогда это вызвало крайне неблагоприятное для России впечатление в Англии и Франции. Сазонову пришлось быстро переменить фронт, и впоследствии он уже не отступал от лояльной линии поведения в отношении Франции и Англии. Но Клемм до 1917 г. продолжал оставаться начальником столь серьезного для России отдела, как Среднеазиатский.

Наконец, про Г. А. Козакова, ныне покойного (он умер в 1918 г. в Стокгольме, простудившись при переходе из Петрограда в Финляндию), можно сказать, что это был один из самых талантливых людей ведомства, отличный знаток Дальнего Востока, служивший там прежде в качестве консула, и в посольстве в Токио, и в Пекине, замеченный впервые Извольским. Он вел фактически совершенно самостоятельно свой отдел, и Сазонов слушался его беспрекословно. Это был сметливый, наблюдательный и цепкий человек «служилого сословия», которого ценило правительство и боялись иностранцы. Вид у него был «русачка», но горько ошибся бы тот, кто под этой простой русской внешностью, так мало гармонировавшей с элегантной наружностью обычного чиновника русского Foreign office*, ожидал бы встретить благодушного и покла-

* Министерства иностранных дел *(англ.)*.

дистого партнера. Козаков, в силу, между прочим, и того обстоятельства, что ни Сазонов, ни Нератов никогда на Дальнем Востоке не были, фактически был на положении третьего товарища министра — по дальневосточным делам.

Из директоров I и II Департаментов ни Фан-дер-Флит, прозванный «летучим голландцем» за его необыкновенно стремительное хождение по коридорам и лестницам, ни Бентковский, каким-то чудом со средним образованием дошедший до директора департамента и попавший в 1916 г. в Сенат, человек петербургско-бюрократической складки, говоривший только о «делах» и в «делах» говоривший только с чужого голоса, никакой решающей роли в МИД не играли. Любопытно, что причиной отставки Бентковского в 1916 г. было его невежество в области международного права — по поводу одного консульского назначения он запросил иностранное (швейцарское) правительство об «угодности» ему данного кандидата, то есть применил для консулов метод предварительного запроса, который применяется только в отношении дипломатических представителей. Если бы Бентковский завернул через коридор в Юрисконсультскую часть и спросил Нольде, то он бы не слетел. На место Бентковского был ему, так сказать, в урок назначен профессор международного права барон Нольде. Тем не менее, как я сказал выше, за долголетнюю верную службу Бентковский был произведен в сенаторы, что, впрочем, он принял как незаслуженное оскорбление и демонстративно не явился для сдачи дел.

Перечисленные выше начальники отделов и департаментов и составляли деловое ядро ведомства, руководя политикой и заведуя сообща перемещениями в личном составе в так наз. совещании о назначениях. Над ними иерархически возвышались два товарища министра и сам министр. Товарищей министра было двое, и функции их были совершенно различны. Старший товарищ министра был правой рукой министра, его прямым помощником во всех вопросах как политики, так и личного состава, младший же товарищ министра (ранее носивший звание старшего советника министра на правах товарища министра) заведовал только личным составом и хозяйственными делами. Такими товарищами министра к началу

войны были: старшим — Анатолий Анатольевич Нератов, младшим — Владимир Антонович Арцимович. Эти две фигуры играли, естественно, выдающуюся роль в жизни ведомства, хотя совсем не равноценную.

Анатолий Анатольевич Нератов

А. А. Нератов, товарищ министра иностранных дел с 1910 г., пережил на своем посту пять министров — С. Д. Сазонова, Б. В. Штюрмера, Н. Н. Покровского, П. Н. Милюкова и М. И. Терещенко, являясь живым показателем преемственности русской внешней политики во время войны и до большевистского переворота в октябре 1917 г. Он был не только правой рукой министра и ценнейшим техническим советником, но не раз, в особенности после ухода С. Д. Сазонова, с которым он был «на ты» в качестве товарища по лицею, и фактическим руководителем министерства. А при Сазонове ему пришлось в период его болезни управлять министерством более года. Нератов был не только главной внутренней пружиной ведомства и его истинным хозяином, но и символом в глазах иностранцев, в особенности же союзников. То обстоятельство, что, несмотря на смены министров и перемену формы правления, Нератов продолжал оставаться на своем посту, толковалось в союзных посольствах как наглядное доказательство неизменности основной линии поведения русского правительства в отношении к мировой войне.

Если при всем этом Нератов не стал министром иностранных дел, то это надо объяснить главным образом некоторыми личными свойствами Нератова, делавшими его неприемлемым в этой роли ни для двора, где хотели видеть или своего человека, как Штюрмер, или неспециалиста, как, например, Покровский, которого можно было бы в любой момент убрать, ни для революции, которая также не могла отдать такой важный пост в руки бюрократа старого режима, хотя бы и очень ценного техника-дипломата. Если бы еще при этом Нератов поставил вопрос об уходе при царском или при Временном правительстве, то, может быть, ему удалось бы найти общий язык с тем или другим, но такой парламентский способ действия претил всей истинно бюрократичеекой чистой натуре Нератова, при своем высоком положении отличавшегося крайней скромностью и даже застенчивостью. Его глубоко искрен-

ний патриотизм не позволял ему также опуститься до мелкого интриганства, что, конечно, в последние месяцы царского режима могло бы иметь успех. Неизменность же пребывания Нератова на своем посту устраивала всех. Что же касается его самого, то когда он попал в списки членов Государственного совета по назначению 1 января 1917 г., то так явно сиял от радости, что видно было: это осуществление самых затаенных его мечтаний.

Нератов был незаменимый специалист и добросовестнейший работник, но, быть может, на посту министра иностранных дел в такой момент он был бы тем, чем был в качестве товарища министра, то есть человеком, при всех его заслугах и опыте лишенным творческого размаха и инициативы. Но главное не в этом — и его начальники часто были этого лишены; главное было в том, что время требовало либо штюрмеровского угодничества, либо сазоновского темперамента, либо общественных связей с той Россией, которая органически была чужда Нератову.

Было еще одно обстоятельство, в высшей степени странное для такого крупного дипломата, каким несомненно был Нератов,— это то, что он за 30 лет службы в МИД ни разу не был за границей. Вот почему при всем его изумительном знакомстве с делами по архивам МИД (память Нератова в этом отношении была поразительна) у него не было живых связей с иностранцами, и он не мог рассчитывать и здесь на широкую поддержку, скажем, союзных кругов. Нератов был во многих отношениях олицетворением всего наиболее положительного, что мог дать «служилый Петербург», но для дипломата у него не хватало, грубо говоря, заграничного стажа, что требовалось от всех служащих МИД. И это отразилось в конце концов на карьере этого человека, «вынянчившего», по его собственному выражению, по крайней мере четырех министров иностранных дел, не считая Сазонова.

Об отношении к Нератову государя можно сказать, что если бы он действительно был самодержцем у себя в стране, то он, наверное, сделал бы Нератова министром. Лично ему Нератов, несомненно, нравился, и он называл его «своим лучшим докладчиком». Это свое расположение государь, например, про-

явил перед самой войной, когда поднялся скандальный процесс братьев Нератова, инженеров путей сообщения, обвиненных в подлогах и прочих подобных же преступлениях в нескольких акционерных предприятиях. Братья Нератова были осуждены (хотя впоследствии помилованы государем), и ввиду того шума, который в печати и обществе подняло это дело, Нератов, хотя нисколько к этим делам не причастный и сам, вообще говоря, кристально честный в отношении каких бы то ни было финансовых вопросов, поставил перед царем вопрос об уходе, считая для себя неудобным занимать столь высокий пост в государстве при таком скандальном семейном деле. Государь ему на это сказал, что «нет семьи без урода» и что это совершенно не уважительная причина для ухода с царской ответственной службы. Мало того, впоследствии, несомненно из расположения к Нератову, он помиловал его братьев, хотя, конечно, никаких объективных данных, заслуживавших снисхождения, в этом процессе не было.

Было и еще одно обстоятельство, бесспорно также помешавшее министерской карьере Нератова,— он как человек, более 30 лет проведший в департаментах МИД, то есть человек архибюрократического склада, не был по своему прошлому опыту пригоден для роли министра в эпоху после 1906 г., когда министру иностранных дел волей-неволей приходилось так или иначе сталкиваться с законодательными палатами. Для общения с «народным представительством» Нератов не годился уже в силу того, что не обладал никаким даром слова, а из-за личной застенчивости вне привычной департаментской обстановки, да еще на такой скользкой арене, как Государственная дума, он совершенно терялся. Поэтому, когда во время замещения Нератовым Сазонова в период болезни последнего в 1911 г. государь хотел, чтобы Нератов выступил в Государственной думе, тот категорически от этого отказался и просил в виде личной милости государя избавить его раз и навсегда от выступлений в законодательных палатах. Как бы сам Николай II ни относился к «народному представительству», положение министра иностранных дел обязывало к публичному общению с ним, и такого безмолвного министра иметь при себе было совершенно невозможно.

Эта черта Нератова была настолько общеизвестна, что когда уже в период войны требовалось выступление товарища министра иностранных дел, то выступал в Государственной думе и в Государственном совете не Нератов, а другой товарищ министра, В. А. Арцимович, игравший в действительной жизни ведомства неизмеримо меньшую роль. Так, например, по злосчастному вопросу об «иностранных фамилиях» в дипломатическом ведомстве всю тяжесть атак в обеих законодательных палатах принял на себя Арцимович, а Нератов на моей памяти никогда там не выступал. Этот курьез переходной полуконституционной-полубюрократической эпохи в лице Нератова, дипломата-бюрократа, не бывавшего за границей и управлявшего ведомством в совершенной тени по отношению к «народному представительству», служил предметом неоднократных подшучиваний со стороны коллег Нератова по ведомству, из коих большинство тоже едва ли могло бы показать себя со столыпинским блеском или просто с привычной уверенностью лиц, посвятивших себя в той или иной форме общественной деятельности. Когда кому-либо из них приходилось выступать хотя бы в бюджетной комиссии в Государственной думе, то они чувствовали себя там значительно менее уверенно, чем в любом иностранном дипломатическом салоне, где не только каждое слово, но и каждый жест на счету.

В ту эпоху, когда я поступил на дипломатическую службу, лицом, имевшим наибольшие связи и наилучшие отношения с Государственной думой, был, несомненно, сам министр Сазонов, брат которого, Николай Дмитриевич Сазонов, был, между прочим, депутатом от Казанской губернии (что способствовало, конечно, его осведомленности в отношении думских настроений). Характерно для той внимательности, с которой Сазонов следил за всем, что делалось в Думе, и то, что его личный секретарь А. А. Радкевич имел братьев — одного членом Думы, другого — в канцелярии Думы. Это обстоятельство, как мне совершенно точно известно, очень ценилось Сазоновым, до своей отставки не расставшимся с Радкевичем, хотя тот ничем не отличался в других отношениях от любого чиновника МИД и с уходом Сазонова был быстро заменен другими секретарями.

Если, однако, в отношении публичных и общественных выступлений Нератов был человек «старомодный», то, с другой стороны, он обладал незаурядной гибкостью в приспособлении к быстро менявшимся политическим течениям. На моих глазах он был товарищем министра после Сазонова при Штюрмере, Покровском, Милюкове и Терещенко, и хотя, конечно, все чиновники должны были приспосабливаться к этому, такова уж чиновничья служба, но никому из них это не удавалось в такой степени, как старшему товарищу министра Нератову.

Владимир Антонович Арцимович

Мне уже приходилось говорить о роли, отведенной обычаем и штатами второму товарищу министра. Это были дела о личном составе ведомства и дела хозяйственные, но вместе с тем председателем совещания о назначениях, которые со времени Извольского решало все вопросы, связанные с личными перемещениями по службе, и уже готовое решение подносило на апробацию министра, всегда почти его беспрекословно утверждавшего, являлся Нератов. Какова же была на самом деле роль второго товарища министра? На это можно ответить, что все зависело от личности, занимавшей этот пост.

При замещении этой должности В. А. Арцимовичем его роль сводилась чуть ли не к исполнению «особых поручений министра». В противоположность Нератову, Арцимович был человек «заграничный». Очень элегантной наружности и «дипломатической» обходительности в обращении, Арцимович был прежде всего «человеком приятным во всех отношениях». Несмотря, например, на то, что именно Арцимович являлся физическим исполнителем чьего-то довольно загадочного решения о демонстративном увольнении моего дяди Чарыкова весной 1912 г. с посольского поста в Константинополе с последующим назначением в Сенат (и даже не в Государственный совет, как это обычно делалось с послами, увольнявшимися в отставку), я не припомню ни одного случая малейшей шероховатости в отношении ко мне, хотя я из совершенно безупречного источника знал, что он крайне боялся в течение всей войны появления Чарыкова в министерской роли.

Арцимович представлял из себя феномен другого рода —

это был дипломат из консулов; при том различии консульской и дипломатической карьеры это было странно, а то, что он достиг такого крупного поста, прямо изумительно. Некоторый свет проливает на такое возвышение Арцимовича его долгое пребывание в качестве нашего генерального консула в Берлине. Арцимович имел счастье понравиться Вильгельму II и, получив, как это было точно известно в ведомстве, придворное звание камергера не без протекции германского правительства, приглашался к германскому императору во дворец, тогда как обычно консулы не имели входа туда. Честолюбивая жена-американка (Арцимович был до этого консулом в Сан-Франциско, где и женился) также много способствовала его положению в Берлине.

Из Берлина Арцимович переводится на пост директора Департамента личного состава и хозяйственных дел, а потом, перед самой войной, назначается товарищем министра. В политическом отношении у него была слава германофила, но по иронии судьбы именно он был назначен в 1916 г. членом Комитета по борьбе с немецким засильем (впоследствии он заменил там себя мною), и ему же пришлось «отдуваться» в Государственной думе и Государственном совете, а также и в националистической печати по вопросу об «иностранных фамилиях» в МИД.

По этому случаю Арцимовичу пришлось сыграть очень большую роль. При этом он проводил точку зрения Сазонова как в законодательных палатах, так и в печати настолько энергично, что получил прозвище «члена Государственной думы от МИД» и «сотрудника «Вечернего времени», где он особенно часто писал официальные «опровержения». В своем усердии Арцимович, чтобы угодить Сазонову, физически ненавидевшему «Новое время» за его непрестанные выпады против «министерства у Певческого моста»*, переходил, несомненно, пределы здравого смысла. Конечно, шовинистические круги видели в вопросе об «иностранных фамилиях» в МИД превосходную мишень для демагогии. Правда, что в нашем ведом-

* У Певческого моста в Петрограде находилось здание Министерства иностранных дел.

стве этот вопрос стоял особенно странно для свежего человека; действительно, там было до известной степени «немецкое засилье», но, спрашивается, где его не было? А во-вторых, ни одно государство не может существовать без «иностранных фамилий», и главное дело не в фамилии, очевидно, а в самом носителе этой фамилии.

Если постановка вопроса в шовинистической прессе была явно несправедлива для всех непредубежденных людей, то точка зрения Сазонова и Арцимовича, совершенно огульно и безусловно отрицавшая все, что писалось в этой прессе, также не соответствовала истине. Так, например, когда в Государственной думе и Государственном совете начались запросы по поводу инцидента Гамбс — Васильев, Сазонов и Арцимович в этом случае взяли всецело сторону Гамбса, отвергнув все обвинения, и хотя я как очевидец этого инцидента личто говорил Арцимовичу, что освещение инцидента, данное Гамбсом, нисколько не отвечает действительности, Арцимович отвечал мне, что престиж ведомства требует безусловной защиты «своего». Гамбса не только не ждал хотя бы «выговор» за непозволительное отношение к публике во время исполнения своих служебных обязанностей, но до самого пришествия большевиков он продолжал оставаться на своем посту и пользоваться наилучшим расположением начальства.

Были и другие случаи, еще более значительные уже по существу дела, а не из-за фамилии. Один из дипломатических наших чинов, 1-й секретарь миссии в Швеции барон Розен, был действительно из ярко немецкой шовинистической семьи, его родной брат сражался в рядах прусской армии, офицерами этой армии были и другие родные барона Розена. Этот факт был документально доказан и опять-таки на трибуне Государственной думы освещен с указанием явной опасности этого «семейного обстоятельства» для его, Розена, положения в Стокгольме — центре германских дипломатических интриг. В ответ на это Арцимович, присутствовавший в Государственной думе, заявил, что он «ни одной минуты не может оставить без возражения нападки на чинов МИД, носящих иностранные фамилии», и произнес пламенную речь на тему об «иностранных фамилиях» вообще. Все это дело закончилось пере-

водом Розена из Стокгольма в Христианию — мера, для него оскорбительная и не решающая вопроса для министерства, ибо одно из двух: или Розен подозрителен по существу, тогда его вообще нельзя держать на дипломатической службе, в Стокгольме или Христиании — безразлично, или он не подозрителен вовсе, и тогда к чему уступать «клеветническим нападкам» и переводить человека с одного поста на другой?

Наконец, третий случай (я, естественно, останавливаюсь на самых ярких) касался нашего поверенного в делах в Лиссабоне барона Унгерн-Штернберга, также обвинявшегося печатью в германофильстве. Я помню, как летом 1915 г. в кабинете у Сазонова в присутствии ряда высших чинов — Нератова, Шиллинга, Козакова, Клемма — Арцимович горячо защищал Унгерна, представляя на одобрение Сазонова текст очередного опровержения в «Вечернее время». Сазонов был крайне взбешен и «Новым», и «Вечерним временем» и называл их «нужниками». Унгерн был, безусловно, реабилитирован, а когда произошел большевистский переворот, то он первый (и очень долгое время единственный) из русских дипломатических представителей перешел к большевикам. На этот раз, я думаю, «Вечернее время» было право, и Арцимович, усвоив раз и навсегда угодный для начальства тон, с него уже больше и не сходил. Довольно скоро после моего поступления в министерство по целому ряду дел мне стало ясно, что, конечно, германофильство в ведомстве было, но не там, где его искало «Новое время», и под славянской фамилией другой раз крылся убежденнейший германофил. Штюрмер, конечно, сразу же, чтобы показать свое усердие в деле истребления германофильства, начал с увольнения Арцимовича. Возможно, это было бы неглупо, если бы автором такой меры не был Штюрмер, чья международно-политическая роль так и осталась невыясненной — для чего, собственно, он был назначен.

Таков был высший персонал нашего министерства. О моей личной работе с Сазоновым я скажу ниже, описывая тот период, когда мне летом 1915 г. пришлось в течение двух с лишним месяцев замещать Нольде ввиду его отъезда во всех его функциях и, между прочим, в докладах Сазонову по делам Совета министров.

Знакомство с «польским вопросом»

Один из первых вопросов большого международного значения, с которым мне пришлось познакомиться сразу же после поступления в министерство, был польский. С самого же начала войны, когда жизнь поставила его, польский вопрос был отнесен к ведению Юрисконсультской части МИД не в силу его юридического характера, а просто потому, что Сазонов больше доверял знаниям и способностям Нольде, чем Шиллинга, так как, конечно, по компетенции польский вопрос, как касающийся Европы, должен был бы вестись канцелярией министра (I Политическим отделом). Нольде, князь Г. Н. Трубецкой и Сазонов — вот трое лиц, составивших текст известного воззвания вел. кн. Николая Николаевича в качестве верховного главнокомандующего русской армии к полякам 1 августа ст. ст. 1914 г., в котором возвещалось объединение всех трех частей Польши «под русским скипетром» и с полной внутренней автономией, хотя слово «автономия» было произнесено только год спустя в правительственной декларации Горемыкина 19 июля ст. ст. 1915 г.

Проект, в сущности, воспроизводил давнишнюю мысль Александра I, и знаменательно то, что русскому правительству пришлось подобрать вожжи в польском вопросе там, где они упали сто лет тому назад на Венском конгрессе. Перед выработкой этого воззвания у Нольде был небезызвестный польский деятель А. Р. Ледницкий, который впоследствии, в 1917 г., при Временном правительстве, возглавлял так наз. Ликвидационную комиссию по делам Царства Польского — по своему составу наполовину русскую, наполовину польскую. Мне пришлось в этой комиссии, ведавшей, в сущности говоря, всем польским вопросом, быть представителем МИД и лично близко узнать Ледницкого. С Ледницким Нольде встречался, дабы осведомиться о настроениях поляков, хотя сам же мне потом говорил, что поляки не верят Ледницкому, считая его оппортунистом. По поводу знания Ледницким польского вопроса Нольде отзывался крайне пренебрежительно, уверяя, что он, Нольде, в десять раз осведомленнее Ледницкого. Мне впоследствии также пришлось убедиться в полной неосведомленности Ледницкого в том, что касалось истории и современного положения польского вопроса, а некоторые из его коллег

с польской стороны ставили всю комиссию в тупик ребяческой постановкой государственных вопросов. И это были люди, ставшие впоследствии во главе независимой Польши.

Интересно отметить, почему именно была избрана такая форма решения польского вопроса, как воззвание верховного главнокомандующего, а не, скажем, манифест императора к полякам. Этот момент подвергался живейшему обсуждению, и было признано, что, если освобождение австрийской и немецкой частей Польши не состоится, обращение царя к своим «будущим подданным» будет, несомненно, вредно для престижа царской власти, не исполнившей своих обещаний «будущим подданным». Вообще в этом не совсем обычном воззвании к полякам от имени не царя, а только военного вождя армии крылась глубокая неувязка между освободительным характером войны в отношении всего западного славянства и ее оборонительным характером, сказавшимся в манифесте Николая II о войне 1914 г., где были повторены известные слова Александра I в эпоху Отечественной войны, что «мир не будет заключен до тех пор, пока ни одной пяди русской земли не останется под вражеской властью».

Между тем, если бы новый царский манифест возвестил целью войны воссоздание Польши, то война из оборонительной превращалась бы в наступательную, хотя бы и с «освободительной целью». Вместо ясной и недвусмысленной постановки всего западнославянского вопроса русское правительство предпочитало прибегать к таким уловкам, как воззвание главнокомандующего, очевидно, менее обязательное, чем манифест царя. Сказывалась в этом и неуверенность в конечной победе над врагом, сквозившая не только в польском вопросе. Было, однако, кроме всего этого, и переданное по наследству от Московского государства традиционное предубеждение петербургской бюрократии против поляков. Надо было проявить всю энергию и темперамент Сазонова, чтобы вырвать у государя согласие на воззвание Николая Николаевича. Н. А. Маклаков, тогдашний министр внутренних дел, открыто высказывал свое недовольство этим неожиданным поворотом в польском вопросе. Про Сазонова он говорил, что «Сазонов ни одной провинции еще не завоевал, а одиннадцать губерний

отдал». В глазах известных кругов петербургской бюрократии воссоздание Польши, хотя бы под русским скипетром, означало отдачу врагам России — полякам — Царства Польского.

Н. А. Маклаков не был одинок в своих протестах против сазоновского метода решения польского вопроса, и он не бездействовал. Вскоре после опубликования упомянутого воззвания вел. кн. Николая Николаевича трое министров: внутренних дел — Маклаков, юстиции — Щегловитов и управляющий министерством народного просвещения — барон Таубе (он управлял в это время, замещая Кассо) подали секретную докладную записку государю по польскому вопросу, подробно излагая все аргументы против идеи восстановления единой Польши, хотя бы и под властью русского царя. Они настаивали на взятии обратно в той или иной форме воззвания вел. кн. Николая Николаевича и возвращении к «традиционной» русской политике, то есть к идее раздела Польши.

Желаемого результата записка не имела, первоначальное решение, торжественно возвещенное всему миру, не было отменено, но политика русского правительства в отношении поляков раздвоилась: по ведомству иностранных дел это была новая эра воссоздания единой Польши, по ведомству внутренних дел это была прежняя политика недоверия и подозрительности с несомненной скрытой целью сохранения прежнего раздела Польши.

Сазонов во всех дипломатических сношениях подчеркивал славянское решение польского вопроса как единственную цель русского правительства, Маклаков же в течение целого года до оккупации Царства Польского германскими войсками не сделал ни малейшего шага, чтобы на деле доказать наступление в польском вопросе «новой эры». Целый год воззвание вел. кн. Николая Николаевича служило только для «внешнего употребления», и, несмотря на все усилия Сазонова, во внутренней политике все оставалось в этом вопросе по-старому. Неудивительно, что у союзных дипломатов, конечно, хорошо осведомленных о разногласиях в Совете министров на этот счет, создавалось впечатление неискренности русского правительства, а между тем разве можно вести широкую славян-

скую политику, если русско-польские отношения не выльются в форму искреннего и прочного примирения?

В особенности в этом направлении старалась французская дипломатия, казалось, поставившая своей целью добиться здесь во что бы то ни стало действительно «новой эры». Но, наверное, Палеолог, бывший в то время французским послом в Петрограде, и не подозревал, как ловко пользовались Н. А. Маклаков и М. А. Таубе его заступничеством за поляков, чтобы выставить Сазонова перед государем проводником коварных затей наших «союзников», поднявших польский вопрос, дабы ослабить наше положение в Европе отторжением от России с таким трудом добытого Царства Польского.

Понятно, как это противодействие в польском вопросе внутри самого русского правительства связывало руки Сазонову в ведении и прочих славянских вопросов, неотделимых от дальнейшей судьбы Габсбургской империи. Здесь все же имелась ясная формула хотя и «единой» Польши, но так или иначе в составе Российской империи, в других же западнославянских вопросах уже приходилось идти ощупью, чтобы не наткнуться на еще большее противодействие петербургских кругов, по старой привычке думавших о возможности восстановления после войны «дружеских и добрососедских отношений» как с Германией, так и с Австро-Венгрией.

Не только в составе правительства, но и в составе той же Юрисконсультской части МИД, которая вела польский вопрос в министерстве, не было никакого единодушия. Если Нольде, являвшийся, в сущности, одним из авторов «новой эры» в этом вопросе, энергично и настойчиво поддерживал или, как злые языки говорили, «инспирировал» Сазонова в благоприятном для поляков смысле, то его ближайший помощник держался диаметрально противоположной точки зрения. Взгляды Горлова представляют интерес не потому, что они имели реальное значение для решения польского вопроса внутри МИД, а потому, что являлись отражением распространенных убеждений известной части петербургской бюрократии, да и потому, что были взглядами того самого лица, которому уже в другие времена пришлось иметь дело с той независимой Польшей, которую он так не жаловал. Надо сказать, что Горлов не толь-

ко имел майорат в Царстве Польском из конфискованных после восстания 1863 г. польских имений, но и начал свою чиновничью службу в канцелярии варшавского генерал-губернатора, то есть прошел полностью всю практическую правительственную школу «русского полонофобства».

С этим типом людей мне раньше никогда не приходилось встречаться, и я был сильно удивлен, когда вскоре после поступления в Юрисконсультскую часть Горлов спросил меня, как я отношусь к воззванию вел. кн. Николая Николаевича, и на мой положительный ответ разразился филиппикой против Сазонова и Нольде. По его мнению, это воззвание является или «пустым обещанием» в случае неудачного окончания войны, или же «обманом» в случае победы России, так как о независимости Польши не может быть и речи в этом случае, ибо Россия не может позволить себе роскошь иметь под боком такого «потенциального врага», как Польша. Что Польша неминуемо станет врагом России, Горлов выводил из характера поляков, их национальной склонности не считаться с реальной обстановкой, заноситься и т. д. Существование «независимой» Польши, как он полагал, поднимет вопрос о наших западных губерниях, если даже не считать возбуждения претензий поляков на Украину и границы 1772 г. Об общеславянском значении радикального решения польского вопроса Горлов говорил, что вообще славянского вопроса нет, есть отдельные славянские народы, интересы коих в некоторых случаях совпадают, а в других противоречат друг другу, что безусловно справедливого решения славянского вопроса не придумаешь, так как нельзя же, например, ставить вопрос украинский.

В отношении же политического эффекта провозглашенной вел. кн. Николаем Николаевичем «новой эры» в польском вопросе Горлов утверждал, что ради такого дешевого эффекта не стоило издавать воззвание верховного главнокомандующего, имеющее как-никак юридическое значение для русского правительства, и что вообще на территории, занятой русскими войсками, никаких восстаний со стороны местного населения ждать не приходится и поляки, мол, отлично помнят 63-й год. Затем следовали рассуждения о том, что сами поляки прекрас-

но понимают разницу между германским и русским способом управления польскими провинциями, что симпатии польского населения куплены русскими не воззванием Николая Николаевича, которому поляки не верят, а германскими зверствами в занятых германскими войсками частях русской Польши, сразу же оттолкнувшими от них поляков и вызвавшими симпатии к русским.

Полонофобство Горлова не имело, как я сказал, практического значения в МИД и не могло иметь в тот момент, о котором я говорю, так как Нольде не подпускал Горлова к польскому досье на пушечный выстрел, да и вообще, несмотря на то что в МИД почти не было настоящих поляков-католиков при обилии чиновников-протестантов с немецкими фамилиями, полонофобства в такой форме, как у Горлова, я не встречал. Сам Нольде не раз при мне подсмеивался над воззрениями Горлова, но, как впоследствии мне пришлось убедиться из встреч в междуведомственных комиссиях, среди представителей других ведомств, в особенности МВД, Горлов не был одинок. Не так-то легко росчерком пера уничтожить бытовые отношения, вызванные почти вековой политикой русского правительства. Первое время после моего поступления Горлов и ко мне относился недоверчиво за давнишнее мое польское происхождение и интересовался, не имею ли я связей с польской колонией в С.-Петербурге.

Подданные неприятельских государств в России

Одной из крупнейших забот нашей Юрисконсультской части было положение неприятельских подданных, правовое положение военнопленных, а также австро-германского капитала и недвижимости в России. Наша часть не только являлась в этом отношении консультативным центром для других отделов и департаментов министерства, но и законодательной лабораторией для других ведомств. Меньше месяца спустя после моего поступления в министерство мне уже пришлось быть представителем его в различных междуведомственных комиссиях и познакомиться с тем хаосом, который царил в русских учреждениях, когда шла речь об отношении к различным категориям неприятельских подданных.

До какой степени война застала врасплох наше правительство по сравнению, например, с германским, можно су-

дить по тому обстоятельству, что германский рейхстаг в течение нескольких дней принял около 220 законопроектов, касавшихся хозяйственного и правового приспособления всей жизни страны к войне. Само собой разумеется, что такие меры как, например, мобилизация промышленности или подробное регулирование положения неприятельских подданных (это законодательство первых дней представляло из себя солидный том), не могли явиться импровизацией рейхстага и что все это было давно и тщательно продумано и подготовлено. У меня по крайней мере не оставалось никакого в этом сомнения, когда я по долгу службы был вынужден самым обстоятельным образом с этим ознакомиться. Скажу между прочим, что это германское военное законодательство как для нас, так и для наших союзников послужило впоследствии весьма удачным образцом для подражания.

Что же касается России, то здесь не только не было ничего предусмотрено, но даже практика русско-японской войны в первые моменты была совершенно забыта. Особенно отличилось в этом отношении военное ведомство, проявившее из ряда вон выходящее невежество в вопросах международного права. Так, например, в самые первые дни войны, вопреки установленной всеми международными обычаями и Гаагскими конвенциями 1899 и 1907 гг. (принятыми при участии в составе русской делегации также и представителей военного министерства) неприкосновенности неприятельской частной собственности, не позволяющей, естественно, безвозмездной конфискации, военное министерство отдало сразу же после объявления войны приказ о безвозмездном отчуждении у неприятельских подданных всех перевозочных средств. Это распоряжение было утверждено государем и вызвало, конечно, немедленный протест Германии и Австро-Венгрии, грозивших принять репрессалии. Поскольку, однако, не вполне удобно было просто брать назад высочайше утвержденное распоряжение, расписываться, так сказать, в собственной неграмотности, то дело было внесено в Совет министров и на заседании 28 июля был рассмотрен вопрос о правовом положении неприятельских подданных в России и их имущества. При этом, так как Сазонов тоже не чувствовал себя достаточно уверенным в вопросах

международного права, то в виде совершенного исключения из правила на это заседание Совета министров, на котором по закону никто, кроме министров и соответственных чинов канцелярии Совета министров, ведущих делопроизводство Совета, присутствовать не может, он взял с собой Нольде, который и был докладчиком по этому вопросу в Совете министров.

На заседании было решено возложить на Нольде как начальника Юрисконсультской части МИД выработку соответственного положения о неприятельских подданных и до утверждения Советом министров разослать это положение во все заинтересованные ведомства для установления единообразной практики во всей России. Последнее было совершенно необходимо, так как все местные власти забрасывали ежедневно Петербург запросами, как им поступать с неприятельскими подданными. Между министрами было также решено, что в случае сомнения следовало запрашивать заключение нашей Юрисконсультской части. Это обращение к нам «для заключения» до такой степени въелось в петербургскую бюрократическую практику, что нас еще долго продолжали бомбардировать запросами о «заключении» по поводу конкретных случаев, совершенно точно урегулированных законоположениями, издававшимися Советом министров впоследствии по ст. 87 Основных законов. По целой категории дел у нас имелись стереотипные ответы, отнимавшие совершенно напрасно время как у нас, так и у запрашивавшего нас ведомства.

Но были и гораздо более прискорбные случаи иного рода обращения — со стороны II Департамента нашего министерства (так называемого Консульского), руководимого Бентковским, человеком, как я упоминал, совершенно невежественным в международно-правовых вопросах, который в затруднительных для него делах юридического характера предпочитал обращаться не к Нольде в Юрисконсультскую часть нашего ведомства, а в Юрисконсультскую часть министерства юстиции, которая не раз эти запросы направляла к Нольде. Таким образом, срочная бумага путешествовала иногда неделями из-за боязни г-на Бентковского уронить свой престиж обращением непосредственно к Нольде. Несмотря на неоднократные категорические запрещения обращаться в Юрисконсультскую

часть министерства юстиции минуя Нольде, Бентковский до самого ухода (в 1916 г.) продолжал эту убийственную практику, чем наносил серьезный вред делу: нам не раз приходилось констатировать вследствие обращений к нам иностранных посольств и миссий, что II Департамент нашего ведомства не знает не только международного права, но и наших законов. Неудивительно, что место Бентковского впоследствии было занято Нольде, превратившимся, таким образом, из консультанта в администратора.

Не только с международно-правовой, но и с международно-политической точки зрения война была совсем не подготовлена. В самом начале войны все категории неприятельских подданных были смешаны в одну рубрику «вражеских подданных», славяне (австрийские подданные) или эльзасцы (германские подданные) подвергались тем же ограничениям, что и коренные немцы, хотя «освободительный» славянский характер войны был ясен всем, да и само правительство, выставив воссоздание Польши как одну из целей войны, не скрывало своих замыслов об освобождении и других славян. Одной из побудительных причин к тому, чтобы разбить на категории неприятельских подданных и установить привилегированные рубрики, послужило, между прочим, прошение, поданное на высочайшее имя г-жой Крамарж, женой известного чешского борца за славянское дело. Принадлежа по рождению к «древнему купеческому роду Абрикосовых», она просила государя, ссылаясь на заслуги ее мужа перед общеславянским делом, об освобождении от секвестра, наложенного на крымскую виллу Крамаржа в качестве «недвижимой собственности неприятельского подданного». Прошение это было написано достаточно красноречиво, имя Крамаржа не менее красноречиво говорило само за себя. Прошение с благоприятной резолюцией государя было направлено к нам в Юрисконсультскую часть и там хранилось.

Мы, конечно, сейчас же снеслись с военным ведомством о снятии секвестра и подняли перед Сазоновым вопрос о необходимости ввиду именно «освободительно-славянского» характера войны создать для всех славян — австро-венгерских и германских подданных — привилегированное положение сре-

ди других «неприятельских подданных», так как нельзя же было этих славян считать «врагами» России. При этом мы настаивали на необходимости общего решения, а не только ad hoc*, и на создании особого юридического статуса для этого рода подданных Австро-Венгрии и Германии, указав в особой докладной записке министру по этому предмету на воззвание вел. кн. Николая Николаевича к полякам, открывшее не только польский, но и общеславянский вопрос, а также на политическое значение выделения славян в привилегированное положение с точки зрения отношения к нам славян Австрии и Германии.

Эта записка, ставившая впервые в эту войну общеславянский вопрос на практическую почву, совпала по времени ее подачи Сазонову с нотой французского посольства, просившего о выделении в особое положение германских подданных — уроженцев Эльзаса и Лотарингии. Сазонов отнесся, конечно, вполне одобрительно и к тому и к другому документу, и соответственное представление от его имени было изготовлено нашей Юрисконсультской частью для Совета министров. Несмотря, однако, на то, что и Совет министров отнесся к этому вполне сочувственно, техническое обсуждение этого вопроса, поднятого в сентябре 1914 г., в соответственных междуведомственных комиссиях протянулось до нового года и указ об этом был подписан государем только 2 января 1915 г. Тезис об «освободительном» характере войны тем самым воплотился в жизнь.

Любопытно отметить, что за французским ходатайством за эльзасцев — германских подданных довольно скоро последовало и итальянское ходатайство за австрийских подданных «итальянской национальности», то есть уроженцев Триеста и прочих частей австрийской «ирредены»**. Такого рода обращение было более чем странно, так как Италия в это время еще не состояла в войне с Австрией, а, наоборот, совсем недавно была ее союзницей. Подобный шаг, неоправданный юридически, так как Италия явно не имела права заступаться за

---

* Для определенного случая *(лат.)*.

** Территории с италоязычным населением, не вошедшие в состав Италии в ходе образования единого итальянского государства.

«чужих» подданных, раскрывал также и карты итальянского правительства, учитывавшего совершенно спокойно предстоящее распадение Австро-Венгрии и желавшего сейчас же, с самого начала войны, заявить свои права на «австрийское наследство».

Укажу и на то, что маркиз Карлотти, итальянский посол в Петрограде, в это время буквально осаждал наше министерство. Он отнимал время не только у Сазонова, но и в особенности у Нератова. Мы его звали «вечный гость» Нератова, так как он проводил у него целые дни. «Дел» русско-итальянских было не так уж много — все это была чистая «политика», чтобы подчеркнуть как можно ярче свое расположение к русскому правительству и союзникам. Так проводил Карлотти русофильскую политику, в то время когда, по определению Сазонова, были «triple alliance, triple entente и triple attente»* — Италии, Румынии и Болгарии. Из этих трех стран Румыния потом, правда, значительно позже Италии, но тоже до объявления войны Австрии и Германии, обратилась к русскому правительству с просьбой о защите трансильванских румын, выделенных также в привилегированную категорию неприятельских подданных и военнопленных.

«Немцеедство»

Я говорил выше об отрицательном отношении Маклакова и Щегловитова к воззванию вел. кн. Николая Николаевича к полякам и вообще к полонофильской политике Сазонова. Такая позиция их обоих была названа Сазоновым «германофильской». Чтобы избежать такого обвинения, и Маклаков и Щегловитов выступили с идеей весьма радикального искоренения «немецкого засилья» в России, а именно уничтожения так наз. «немецкого землевладения». Это было грандиозное начинание, исходившее из известного германского закона, допускавшего двуподданство и распространявшегося не только на немецких подданных (т. е. подданных Австро-Венгрии и Германии германского или венгерского происхождения), но и на германо-австро-венгерских выходцев до третьего поколения включительно. Этот проект должен был существенно подорвать землевладение не только германских магнатов, но и

* Тройственный союз, тройственное согласие, тройственное ожидание *(фр.)*.

почти миллионного населения немцев-колонистов. Проект, вначале довольно простой, в дальнейшем разросся в обширный законодательный акт 1 февраля 1915 г. со многими последующими «новеллами». Однако, несмотря на эти «новеллы», он все же на практике вызывал бесчисленные недоумения, так как допускал многочисленные исключения, как-то: брак немецкого выходца с русской, боевые отличия и т. д.

Для разъяснения всех этих недоумений, связанных с применением на практике исключений, было образовано целое междуведомственное совещание в министерстве юстиции под председательством товарища министра Ильяшенко. Мне выпала обязанность представлять в нем МИД и больше двух лет пришлось там заседать два раза в месяц, тратя время на головоломную юридическую эквилибристику, ибо, по совести могу сказать, проведение этого закона в жизнь вызывало много сложнейших юридических проблем. Целый ряд немецких колоний в России возник на основании специальных пожалований царской власти, приглашавшей этих колонистов в Россию, и надо было сообразовать акт 1 февраля 1915 г. с особым характером подобного землевладения немецких колонистов. Кроме того, некоторые моменты совершенно не были предусмотрены, а в других случаях этот акт настолько оскорблял здравый смысл и этическое чувство, что исполнители закона становились в тупик и передавали дело в комиссию Ильяшенко. Явно несправедливым в этом акте было то, что «немецкий колонист» — русский подданный — шел в качестве русского солдата на войну, рисковал своей жизнью, а в это время в тылу у него отбирали землю. С другой стороны, вопрос о германском влиянии в довоенной России был настолько вопиющ, что с началом войны с Германией в 1914 г. из чувства национального самосохранения этому, можно сказать, прямому вмешательству в русские дела соседнего, ныне враждебного, государства надо было как-то положить конец. По логике вещей, германскую чистку надо было начать сверху, но ввиду той громадной роли, которую играли люди, так или иначе связанные с Германией в высшей петербургской бюрократии, это было совершенно немыслимо.

Проектам борьбы с «немецким засильем», созревшим в

недрах министерств внутренних дел и юстиции еще осенью 1914 г., была противопоставлена, хотя по необходимости скрытая, оппозиция МИД в лице Сазонова и, как это ни странно, министерства земледелия в лице Кривошеина. Сазонов, проводивший во внешних делах достаточно широкую славянофильскую политику, считал «немцеедство» демагогическим шагом крайних правых и относился к нему весьма отрицательно. На такую германофильскую позицию во внутренней политике, как мне довольно скоро стало ясно, толкали Сазонова и личные связи с явно германским по своему происхождению, а отчасти и по симпатиям, большинством его ближайших любимых сотрудников по МИД. Иная позиция была прямо невозможна при сохранении этих лиц в дипломатическом аппарате на ответственных местах. Сазонов же по всему складу своего характера был человеком, для которого личные отношения играли огромную роль в его правительственной деятельности.

Позиция Кривошеина была существенно иная, а именно: он боялся, что отчуждение земель, пусть даже и за вознаграждение, в таком почти всероссийском масштабе может вызвать у населения желание поднять аграрный вопрос во всей его широте. Он считал, что удар, наносимый немцам, может неожиданно обрушиться и на русское помещичье землевладение и что поднимать такой вопрос во время войны крайне опасно. Кривошеин не только сам был этого мнения, но и все его ближайшие сотрудники держались того же взгляда. Я помню, как еще в 1916 г. в междуведомственной комиссии Ильяшенко, о которой я упоминал, вице-директор министерства земледелия Зноско-Боровский произносил пространные и неслыханно резкие речи против своевременности этих мер, говоря о «забытом призраке 1905 года».

При обсуждении указа 1 февраля 1915 г. в Совете министров четыре министра — Сазонов, Кривошеин, Рухлов и князь Щербатов — высказались против проекта Маклакова и Щегловитова, государю были поданы две докладные записки — большинства и меньшинства Совета министров, и он, хотя не без колебания, утвердил в конце концов мнение большинства министров во главе с Маклаковым и Щегловитовым. Борьба по этому предмету велась с сентября 1914 г. по фев-

раль 1915 г. и после этого продолжалась и далее, но уже в подчиненных инстанциях и особенно во всякого рода междуведомственных совещаниях по вопросам, так или иначе затрагивавшим интересы германских подданных в России, чему мне не только пришлось быть свидетелем, но и участником в качестве представителя МИД.

Укажу на несколько фактов, характеризующих позицию отдельных министров по вопросу о борьбе с германским влиянием в России. Так, например, на Кавказе до войны действовало могущественное акционерное общество с германским капиталом и германским составом высшей администрации для разработки марганцевой руды под наименованием «Дейчер Кайзер», после войны переименованное в акционерное общество «Гельзенкирхенское». Военное ведомство, считая на основании всех имевшихся у него данных германский характер этого предприятия, действовавшего по утвержденному русским правительством уставу и считавшегося юридически русской акционерной компанией, достаточно точно установленным, наложило секвестр на все предприятия этого общества и потребовало удаления ряда лиц из администрации компании, а также контроля над выдачей дивиденда и т. д. Между тем, как это имело место и в ряде других случаев, германские владельцы акций этого общества передали их шведским банковским кругам.

Фиктивный характер подобного рода сделок был совершенно ясен, и русское правительство обычно не считалось с такого рода передачей акций в нейтральные руки, если эта передача имела место после начала войны. В данном случае, однако, Сазонов на основании сообщений, исходивших от нашего посланника в Стокгольме Неклюдова, счел нужным вмешаться в это дело, так как Неклюдов, вообще слишком снисходительно относившийся к явно выходящей за пределы нейтралитета деятельности шведского правительства, указывал на то, что в данном деле заинтересована одна банкирская контора, находящаяся в самых близких отношениях с правительством, и что отрицательное решение русского правительства по данному делу может вызвать перелом в русско-шведских отношениях в неблагоприятную для нас сторону.

Неклюдов присылал соответствующие вырезки из газет. В то же самое время наш военный агент в Стокгольме доносил, что близость правительства Швеции к делу сильно преувеличена и что в данном случае, как и в других, мы имеем фиктивную германскую сделку, подкрепляя эти сообщения необходимыми документами. Ввиду этих разноречивых сообщений и разногласий военного ведомства и ведомства иностранных дел вопрос был передан на рассмотрение Совета министров, где Сазонов занял непримиримую позицию, угрожая серьезным ухудшением, если не разрывом, русско-шведских отношений.

Дело осложнялось вмешательством вел. кн. Николая Николаевича в качестве верховного главнокомандующего, настаивавшего с точки зрения военной обороны на принятии мер против столь явно германского предприятия, как «Дейчер Кайзер». Сазонов в ответ на это вмешательство Ставки заявил, что он отказывается обсуждать государственные дела под таким давлением, и произнес даже при обсуждении этого вопроса слово «диктатура». В городе в эти дни носились весьма симптоматичные слухи о «вызове Сазонова на дуэль со стороны вел. кн. Николая Николаевича», конечно, совершенно фантастические. Дело было решено государем в пользу военного ведомства, но, несмотря на это, МИД несколько раз пытался вновь поднять этот вопрос, и «досье», которое велось в Юрисконсультской части у Нольде, разбухло в увесистый том дипломатической и междуведомственной переписки. Довольно-таки часто ходил к Нольде поверенный этого общества, некто Фишман, подолгу убеждая Нольде, который смотрел на это дело глазами Неклюдова и говорил, что весь сыр-бор загорелся из-за «идиотского» названия общества («Дейчер Кайзер»).

Мне в качестве члена междуведомственной комиссии, обследовавшей торгово-промышленные предприятия с участием германского и австро-венгерского капитала, пришлось познакомиться с деятельностью этого общества не только по нашему досье, а и по целому ряду других данных, и мне было совершенно очевидно, что Сазонов, Неклюдов и Нольде были жертвой международного шантажа. Горлов, имевший, как я указал выше, большие связи в петербургских бюрократических кру-

гах и, следовательно, возможность достаточно широкой информации, открыто говорил о неправильной позиции Сазонова в данном деле.

Другое, еще более крупное дело в этом же роде — вопрос об участи акционерного общества электрического освещения, так наз. «Общества 1886 г.», тесно связанного с германской компанией «Всеобщая компания электричества», общества, имевшего ряд отделений в России и освещавшего, например, Москву. В этом деле, где участие германского капитала и связи с Германией были несомненны, роль шведских посредников выполняли швейцарские граждане и банки. Здесь роль Неклюдова играл престарелый русский посланник Бахерахт, про которого говорили, что он все еще «бахерахтается» в Швейцарии. Авторитет его был ничтожен в МИД, и с ним мало считались. Но швейцарская миссия в Петрограде упорно отстаивала это дело, доказывая наличие в нем интересов швейцарских граждан. Дело приняло такой серьезный оборот, что даже Сазонов, так недолюбливавший борьбу с «немецким засильем», должен был вернуть назад ноту Одье, швейцарскому посланнику в Петрограде, из-за ее неслыханно резкого тона. Любопытно, что Одье не только не обиделся на это возвращение ноты, но в течение 24 часов представил новую ноту по тому же вопросу во вполне почтительных и мирных тонах, да и вообще этот жест Сазонова на него подействовал умиротворяюще.

В междуведомственных комиссиях самую боевую позицию против немцев занимали представители министерства юстиции (в особенности С. И. Веселаго из Юрисконсультской части) и морского ведомства; благожелательную позицию последовательно выдерживало министерство торговли и промышленности. Об отношении МИД я уже упоминал, но так как в этих комиссиях представлять его приходилось мне, то, если я не был связан совершенно определенной инструкцией в данном деле, я не препятствовал проведению решительных мер в этой области ввиду той информации, которую имел по долгу службы об отношении к русским самих немцев.

Мало того, в борьбе с германским влиянием в России, несмотря на все скептическое отношение к этой борьбе Нольде (он не раз говорил, что видит после войны вновь приехавшего

графа Пурталеса в качестве посла «дружественной» державы, который будет требовать отчета от МИД за все «пакости», причиненные во время войны немцам), он сам и руководимая им Юрисконсультская часть сыграли решающую роль, так как у нас получали все законодательные положения о неприятельских странах из Германии и Австро-Венгрии, а также из союзных стран, и здесь же составлялся перевод этих актов, служивших материалом и образцом для соответствующего русского законодательства. Мы шли в хвосте Германии и союзников, хотя и союзники, в особенности в начале войны, шли в хвосте Германии, едва успевая перепечатывать все их новые законы «военного времени». Даже знаменитый вопрос о лишении неприятельских подданных права судебной защиты, решенный у нас в Сенате в 1916 г., был в сущности сколком аналогичного германского закона.

Отмена Лондонской декларации 1909 г.

Однако наша Юрисконсультская часть была законодательной лабораторией в вопросах, касавшихся не только неприятельских подданных, но и военного законодательства в международно-правовом смысле слова. Так, например, область военно-морского права была в ведении нашей части, и во все время нахождения Нольде на посту начальника этой части он был постоянным председателем образованного при МИД междуведомственного совещания по вопросам морской войны. В этом совещании я был и секретарем, и одним из наиболее осведомленных членов, так как работал для диссертации по морскому праву за границей и был в курсе всего морского законодательства наших врагов и союзников (см. мои статьи в 1915 и 1916 гг. в «Известиях МИД»).

Из морского ведомства представителями были автор нашего Призового положения 1895 г., старший юрисконсульт морского министерства, человек казуистического склада, но очень знающий (мне приходилось с ним горячо спорить во время наших совещаний из-за его крайнего пристрастия и благоговения перед нашим довольно-таки устарелым призовым законодательством), Иван Егорович Стеблин-Каменский, а также Иван Александрович Овчинников, зять Горемыкина, бывший представителем морского ведомства на Гаагских конференциях, впоследствии зверски убитый на Кавказе большевиками

вместе с Горемыкиным, человек, специально посвятивший себя военно-морскому праву, занимавший соответствующую кафедру в Военно-морской академии. Представителем министерства торговли и промышленности был начальник Отдела торгового мореплавания Н. В. Линден, бывший наш представитель на Лондонской морской конференции.

Этот состав очень квалифицированного совещания имел для меня то значение, что из-за него я и попал впоследствии на место члена Высшего призового суда от МИД — место, во время русско-японской войны занимаемое Ф. Ф. Мартенсом, а в начале войны 1914 г. бароном М. А. Таубе. Это совещание играло роль законодательной комиссии. Все наше законодательство о призах, о военной контрабанде, об отмене Лондонской декларации было подготовлено и в деталях разработано и вносилось в Совет министров от имени министра иностранных дел. Нольде, зная мое пристрастие к этой области, предоставлял мне писать объяснительные записки в Совет министров по этим вопросам, а в 1916 г., когда Нольде стал директором II Департамента, мне пришлось писать, вследствие пометы государя по вопросу об отмене Лондонской декларации 1909 г., подробный доклад, поданный лично государю Нератовым.

Вопрос об отмене Лондонской декларации был понят Англией, и, несмотря на то что Россия в свое время положила немало труда, для того чтобы заставить Англию принять эту декларацию, мы отказались от нее в силу общего соглашения всех союзников о гегемонии Англии в морских делах. Все наше военно-морское законодательство во время войны было сознательно проникнуто подражательным духом в отношении Англии. Сазонов считал необходимым в военно-морском деле, второстепенном по сравнению с сухопутным театром военных действий, во всем следовать примеру Англии. Эта черта его была до такой степени известна, что однажды голландский посланник, которому особенно часто приходилось обращаться в наш МИД по морским делам, сказал по этому поводу Нольде: «C'est ce qu'on appelle*, «английское засилье». Английское засилье в этой области действительно было.

* Это называется *(фр.)*.

Сазонов, знавший о моих специальных знаниях в области военно-морского права, часто впоследствии вызывал меня во время переговоров с союзными послами, чтобы задать, например, такой вопрос: «Входит ли такой-то предмет в состав военной контрабанды, и какой — абсолютной или относительной?» Из содержания этих вопросов можно было видеть, что Сазонов крайне невнимательно читал те самые записки в Совет министров, которые там с таким пылом защищал.

В противоположность Нератову, который меньше двух раз ни одной бумаги не читал, прежде чем подписать, Сазонов, если только дело не шло о каком-нибудь исключительно злободневном политическом вопросе, с трудом мог дочитать первую страницу длинной записки или письма, улыбаясь, говорил: «Вы ручаетесь — все правильно» и подписывал. В 1916 г. мне пришлось встретить в приемной у Штюрмера дожидавшегося там знаменитого губернатора Веретенникова, который подписал, не читая, таким образом свое прошение об отставке «по неспособности». Я всегда боялся, что нечто подобное случится с Сазоновым, но его выручала добросовестность Нератова.

Государь и МИД

Здесь уместно также сказать об отношении к дипломатической работе МИД, то есть к внешней политике в техническом смысле слова, государя. Информацией царя обо всем, что делается в МИД, заведовала канцелярия министра, и в частности вице-директор ее Николай Александрович Базили, молодой человек 34 лет, но уже камергер, человек необыкновенно ловкий и честолюбивый, но явно пустоватый. Он был в большом фаворе у Шиллинга и Сазонова; у всех старших чинов министерства отношение к нему было скептическое. В канцелярии министра он ведал самыми боевыми вопросами, и без Базили ни одно важное дело не делалось. Он очень часто бывал у нас в Юрисконсультской части и любил советоваться с Нольде, с которым был на «ты». Почему-то ему, например, осенью 1914 г. был поручен вопрос о Константинополе и Черноморских проливах, весной 1915 г. он подготовил в высшей степени неудачный с точки зрения славянского вопроса так называемый Лондонский договор (секретный) 26(13) апреля 1915 г. Франции, Англии, России с Италией, по которому Хор-

ватия должна была быть независимой от Сербии, а Далмация — отойти к Италии; Сербии же предоставлялся только выход в Адриатическое море.

Весьма привлекательной наружности, можно прямо сказать, красавец, Базили всячески культивировал свои отношения со двором и носился с постройкой особого автомобильного шоссе в Царское Село, по которому могли бы ездить только правительственные и придворные автомобили. Во время Февральской революции Базили удалось попасть в советники посольства в Париже к Маклакову и занять затем заметные позиции в так называемом белом движении. Непосвященному во все тонкости закулисных влияний МИД было совершенно непонятно, почему Базили играл такую видную политическую роль и даже, правда, на очень короткий срок, попал на пост директора дипломатической канцелярии при Ставке, но был отозван вел. кн. Николаем Николаевичем, приказавшим «убрать этого левантийца». Базили каждый день составлял так наз. «царский пакет», то есть делал выборку из наиболее значительных в политическом отношении телеграмм и донесений наших дипломатических представителей за границей, и такой «салат» со специальным курьером посылал в Царское Село государю.

За исключением обычных министерских докладов, которые имел министр иностранных дел у государя, и посылки «царского пакета», составленного Базили, государь не получал никаких систематических обзоров периодического характера от МИД. Ни годового, ни более краткого отчета о своей деятельности дипломатическое ведомство не составляло. Прежние обязательные годовые отчеты министра иностранных дел, представляющие такой огромный интерес для изучения истории внешней политики России в XIX в., к моменту войны 1914 г. совершенно прекратились. Если что-либо обращало на себя внимание государя, он делал на этой бумаге пометку, и она с этой пометкой шла обратно в канцелярию министра иностранных дел, а оттуда, смотря по содержанию, в тот или иной отдел МИД. Пометки обычно носили вопросительный характер — «В чем дело?», «Прошу разъяснить» и т. д. Эти вопросительные пометки показывали, что при такого рода

слишком широкой, а с другой стороны, совершенно бессистемной информации до государя доходили часто одни середины или концы какого-нибудь дела. О начале или ходе всего дела он не имел ни малейшего понятия. Отсюда, естественно, вместо руководства, хотя бы самого общего, русской дипломатией у царя рождалось лишь недоумение.

На подобного рода высочайшие пометки сейчас же составлялась так наз. «всеподданнейшая записка». Достоинства этих записок заключались в их крайней лаконичности и обычном стиле того языка, с которым подданные обращались к царю. Не раз мне приходилось писать такие записки, и было нелегко укладывать сложную историю какого-либо технического вопроса (например, почему надо было отменить Лондонскую декларацию) в 40 или 50 строк. Иногда бумага возвращалась с неожиданным уже решением, например: «Согласовать наше поведение с союзниками» или «Дать нашему послу в Риме инструкцию в положительном духе». Это означало, что у государя по этому делу был кто-то, кто ему это дело разъяснил в определенном смысле, и МИД приходилось только исполнять это решение. Иногда, если решение давалось вразрез с ходом дела, приходилось Сазонову лично докладывать все дело государю с просьбой о перемене принятого решения. Надо ли говорить, что такого рода доклад был крайне неприятен для министра, но это была оборотная сторона совершенно не государственного, можно сказать, отношения МИД к вопросу об информации царя по делам внешней политики.

Несмотря на чуть ли не ежедневные запросы МИД по отдельным делам в разной стадии их развития (при этом нередко МИД ставил государя перед совершившимся фактом), никакого единения у МИД со своим монархом не было. Прежние патриархальные отношения, когда царь был в известном смысле своим собственным министром иностранных дел, а министр — его секретарем и исполнителем, определенно кончились. Министру давалась довольно большая свобода в ведении дел, но он никогда не знал, что может ему сойти и что нет. Пример Сазонова, так неожиданно уволенного, показывает ненормальность отношений между министром иностранных дел и го-

сударем. Часто неопределенность отношений, столь характерная для всего этого периода, приводила к неприятным столкновениям. Союзные послы, не исключая Бьюкенена и Палеолога, очень любили прямо обращаться к государю, минуя МИД, и как раз по наиболее важным делам, например о судьбе Константинополя, о западных славянах, а Сазонову приходилось царские обещания так или иначе аннулировать, ибо они совершенно не отвечали общему тону русской внешней политики. Поэтому неудивительно, что должность министра иностранных дел считалась по сравнению с посольской крайне тягостной, и мечтой всякого министра было посольское место. Так было с Извольским, уехавшим в Париж, так было с Чарыковым, предпочитавшим посольство в Константинополе министерскому посту, так же было и с Сазоновым, стремившимся в Лондон. Несомненно, самым больным местом деятельности дипломатического царского аппарата были именно взаимоотношения царя со своим министром. Позже в связи с отставкой Сазонова я коснусь и роли двора и Распутина во внешней политике России.

Совершенно особую роль играли те или иные бумаги общегосударственного значения, а также губернаторские ежегодные отчеты с высочайшими пометками, которые на общем основании и в секретном порядке вносились в Совет министров. Если бумага шла на общем основании, то и обсуждение, и хранение этой бумаги совершались в обычном порядке, то есть вместе с остальными делами в каждом ведомстве. Если же это была секретная бумага, то она рассылалась с особой обложкой, в которой помимо указания на секретность бумаги отмечалось, что по окончании заседания Совета министров бумага должна быть передана обратно каждым министром в канцелярию Совета министров, где она и должна была храниться в секретном архиве. В теории от такой бумаги с секретными пометками государя мог оставаться след только в канцелярии Совета министров, где она размножалась в определенном количестве экземпляров, которые все должны были вернуться назад. На практике же Сазонов, например, никогда почти не возвращал такие бумаги, а всегда по рассеянности привозил их назад, и они хранились в нашем общем архиве с другими

делами Совета министров (т. е. вопреки правилу канцелярии Совета министров оставались в ведомстве).

«Жидо-масонская крамола»

Сазонов и впоследствии Покровский глубоко ненавидели эти секретные записки, носившие довольно стереотипный характер: то это были соответственные челобитные отделений «Союза русского народа», или же «Михаила Архангела», или просто «православных русских людей» такого-то губернского города за известным количеством, иногда и небольшим, подписей (в этом случае приводилась подпись только первого подписавшего, лица совершенно неизвестного, с простой русской фамилией, и указывалось количество подписавших). Если бумага была от какой-нибудь черносотенной организации, то подписывался весь президиум, и только.

Содержание их было однотонно, но случаи, по которым они писались, были разнообразны: иногда это были просто «верноподданнические донесения» о состоянии умов и наветы на отдельных известных общественных деятелей (почему-то особенно часто упоминалось имя Гучкова, про кадетов иначе не говорилось, как «жидо-масоны», из кадетских имен чаще всего указывалось на Милюкова, Винавера и Родичева) или же «слухи об ответственном министерстве», «посягательстве на самодержавие». О Думе говорили с пеной у рта, причем обычно никакого различия не делалось между отдельными партиями. В более квалифицированных случаях, когда имелись рассуждения об общем ходе войны или другие высокие материи, делались искусные различия между заблуждающимися националистами и «прямыми изменниками».

В таких записках чувствовалась уже рука лица, вполне посвященного во все парламентские интриги. Из общественных организаций фокусом нападений были Земгор* и Военно-промышленный комитет, в особенности последний, как «главный штаб жидо-масонской смуты». Такого рода записки, обра-

---

* Земгор — Главный комитет по снабжению армии, образовавшийся в 1915 г. в результате слияния двух общероссийских организаций — Всероссийского земского союза и Всероссийского городского союза. Земгор имел свои комитеты при земских и городских управах и уполномоченных на фронтах. После Октябрьской революции отделение Земгора находилось в Париже.

щенные на высочайшее имя и переданные государем в Совет министров, обязательно всплывали раз в два-три месяца, но в 1916 г. они участились — чуть ли не каждый месяц — и по содержанию становились все определеннее и глубокомысленнее.

Особенно врезалась мне в память записка киевского отделения Союза русского народа в декабре 1916 г., после убийства Распутина. Там уже все называлось своими именами, говорилось, что и день уже назначен для «жидо-масонского погрома русских православных людей», приводился целый список общественных организаций во главе с Военно-промышленным комитетом. Список был обширный, но малоубедительный, так как там были, например, такие организации, как правительственный Красный Крест и почему-то советы присяжных поверенных. Говорилось о «крамоле» в каждом ведомстве и о том, что «жидо-масоны» имелись даже среди чинов двора. Но что отличало эту записку от других, так это наличие совершенно определенной программы положительных действий. Наряду с советами кровавой расправы со всеми «главарями» правительству рекомендовалось вникнуть в те причины, из-за которых «крамола» могла так ужасающе разрастись, охватив все государство, а именно «утомление затянувшейся не по вине доблестной русской армии войной», осторожно намекалось на возможность «общего сговора о мире» всех союзников, из которых некоторые до сих пор только и рассчитывают на «доблесть русского солдата», а «своей шкурой дорожат». Если сепаратный мир с Германией и не предлагался, то говорилось, что русский император, щадя свой народ, должен решительно настоять на «справедливом распределении военных сил», чтобы снять с плеч русской армии «непосильное бремя» воевать за всех. О дипломатических представителях союзников говорилось, что они занимаются не тем, чем надо, не только-де не доносят о гибельном положении России, но и «снюхиваются» с «изменниками престолу и отечеству».

Наконец, записка очень обстоятельно останавливалась на аграрном вопросе, давая совершенно своеобразное его решение. В ней говорилось, что надо «войти в душу» русского солдата-мужика, который за свои подвиги на фронте должен быть

отплачен государством землей из «особого военного земельного фонда», образованного из отчуждаемых «немецких земель» плюс «некоторые помещичьи земли», так как не все помещики, даже дворяне, являются опорой правительства и государя, а иные, просто «лодыри и бездельники», помогают «жидо-масонской крамоле», а об имениях и хозяйстве не думают, да и от военной службы отлынивают, все больше числятся «земгусарами» и всякими уполномоченными. Если бы над такими «негодными помещиками» учредить расследование и отобрать у них землю, то можно было бы и «дух армии» поднять, и войну с победой окончить, и мужиков привязать к царю, «единственному их благодетелю». Кроме этого политического сыска над помещиками, связанными с земством, в отношении Государственной думы и «ныне полукрамольного» (намек на выборную половину) Государственного совета предлагалось немедленно их распустить и не созывать до победоносного окончания войны, зорко следя за ними, «дабы снова в Выборг не собрались».

Эта записка, несмотря на свое «провинциальное» происхождение, носила явно протопоповский характер, что, конечно, отлично было известно Совету министров. По своему объему она тоже резко отличалась от обычного размера прежних записок, редко превышавших 8—10 страниц обычного канцелярского размера. В этой записке было больше 40 страниц. О такого рода записках я докладывал вкратце министру, указывая на их общеполитический характер. Сазонов обычно не стеснялся и ругал «губернаторов», которым все равно, на чем делать карьеру; когда же я доложил об этой записке Н. Н. Покровскому, бывшему тогда министром иностранных дел, он меня перебил словами: «Я уже все знаю» и схватился за голову. Очевидно, протопоповский «пробный шар» ему не только был известен, но и успел осточертеть.

Самым любопытным в этих записках были пометки государя. Обычно они носили более или менее лаконичный характер, вроде подчеркивания отдельных фраз, выражений и слов, отметок «совершенно верно», «да», «правильно», «я тоже так думаю», «надо обратить внимание», «решительность — самое лучшее средство», «недопустимо» и т. д. Иногда эти пометки

6 Зак. № 24

носили характер более пространных сентенций об «исторической роли всеохраняющей самодержавной власти монарха», об «авторитете власти» в отношении «населения», о «тайных врагах» и о «лицемерных друзьях» (здесь имелась в виду умеренно-либеральная общественность, которая не всегда была у государя в фаворе), об «истинном соотношении законодательных учреждений и правительственной власти» (здесь развивались типичные для так наз. конституционно-дуалистических монархий рассуждения о недопустимости вторжения законодательной власти в область исполнительную); по национальному вопросу часто упоминалось о «национальной целостности русского народа», но тщательно избегалась точная формулировка в отношении того, что надо понимать под выражением «русский народ». По еврейскому вопросу государь предпочитал подчеркивать, иногда троекратно, с какой-нибудь краткой пометкой вроде «предписываю властям непреклонность», самые разухабистые утверждения «истинно русских» организаций.

За пространными сентенциями чувствовалась уже чужая рука, и В. М. Горлов всякий раз, когда при нем попадалась такая сентенция, рассказывал Нольде и мне различные случаи из практики канцелярии по подаче прошений на высочайшее имя, где он раньше служил: как заготовлялись подобные сентенции, как государь списывал их, будучи с глазу на глаз со своим министром или кем-либо другим, а подлинная записка уничтожалась, так чтобы не осталось никаких следов. Как бы то ни было, были ли эти пометки выражением собственных впечатлений и чувствований или же чужой мысли и воли, поражало невольно их крайне реакционное содержание.

Атмосфера, непосредственно окружавшая государя, все время была сгущенно-боевая, и Совет министров, в особенности в первую половину войны, до Штюрмера, находился в довольно заметном расхождении с тесным придворным кругом и самим государем. Иногда это расхождение принимало форму явного конфликта, как то было летом 1915 г., как раз когда мне пришлось заменить на время Нольде по докладам по делам Совета министров у Сазонова. Задолго до 1917 г. из упомянутых секретных записок и их обсуждений без протокола в Совете министров мне было ясно, что не только об ответ-

ственном министерстве, но и просто об умеренно-либеральном составе кабинета мечтать не приходилось. Наоборот, каждую минуту можно было опасаться решительного наскока на законодательные палаты, лозунг «беречь Думу» никогда не был таким жизненным, как именно в эти годы войны. Сазонов несколько раз пробовал решительно противодействовать усилению реакционного влияния, так не соответствовавшего нашему союзному ведению войны, но эта попытка кончилась для него самого плачевно. Об отношении Сазонова к еврейскому вопросу я скажу после, в связи с моими докладами ему летом 1915 г.

Дело о Константинополе

В октябре 1914 г., когда Турция, обстреляв Черноморское побережье, вызвала по японскому прецеденту 1904 г.* войну с Россией, наше министерство оживилось приездом нашего посольства в Константинополь во главе с послом М. Н. Гирсом, впоследствии назначенным послом в Рим, и его советником К. Н. Гулькевичем, занявшим вакантный после отъезда князя Г. Н. Трубецкого очень важный в ведомстве пост начальника Ближневосточного политического отдела. Характерно было то, что на этот боевой пост назначался Гулькевич, человек довольно поверхностно знакомый с Балканами, а будущий его заместитель, специалист по Балканам А. М. Петряев, оставался пока в тени, работая, правда, по австро-венгерским делам у Шиллинга. То, что попал на этот пост Гулькевич, у которого были связи при дворе и который, в отличие от Петряева, бывшего раньше консулом, был чистым дипломатом без всякого консульского стажа, тоже не случайность. В смысле серьезного отношения к делу Гулькевич далеко уступал Петряеву, что не мешало, однако, первому до назначения Петряева держать в своих руках все нити ближневосточной политики, так волновавшей тогда все русское общество.

Как человек, лишенный самостоятельного взгляда и плана, Гулькевич довольно умело, с чисто дипломатической любезностью, распределил целый ряд своих функций между своими коллегами. Некоторые из них, как водится, попали в нашу Юрисконсультскую часть к Нольде. При Гулькевиче нас ста-

* В январе 1904 г. Япония без объявления войны совершила нападение на русскую эскадру в Порт-Артуре, что послужило началом русско-японской войны 1904—1905 гг.

ли не только осаждать гораздо чаще, чем это было раньше, консультациями по консульским делам, иногда не имевшим никакого юридического характера, но и центральный вопрос для России в ее турецкой политике — вопрос о Константинополе — тоже почему-то очутился у Нольде. Гулькевич обратился в Юрисконсультскую часть, прося наших «lumières»*, но не без задней мысли, дабы впоследствии в случае неудачи свалить всю ответственность на Нольде, а в случае удачи присвоить авторство проекта себе, так как Нольде приглашался в качестве консультанта.

Любопытно также, что с М. Н. Гирсом приехал не только весь состав константинопольского посольства, но и весь наш консульский состав в Турции, в том числе и известный специалист, ориенталист-международник А. Н. Мандельштам, доктор международного права, занимавший в Константинополе пост 1-го драгомана посольства. Еврейская фамилия помешала Мандельштаму (он был значительно старше Нольде по возрасту и ученой степени) занять место начальника Юрисконсультской части, да и в константинопольском посольстве, несмотря на его знания и работу, ему долго не давали ходу, и только после долгих хлопот Чарыкова Мандельштама сделали 1-м драгоманом, за что на Чарыкова дулись старые чиновники, находившие вообще ненужным пускать евреев, хотя бы и принявших православие, в русскую дипломатию.

Между Нольде и Мандельштамом были приятельские отношения, прикрывавшие, однако, жестокую ведомственную борьбу. По логике вещей, судьбу Константинополя, казалось бы, должен был решать скорее Мандельштам, приехавший вместе с Гирсом и, в отличие от и без того перегруженного Нольде, совершенно свободный. Но Сазонов, не лишенный суеверия, считал, что Мандельштам имеет «несчастливую руку», погубил уже трех послов в Константинополе — Зиновьева, Чарыкова и Гирса — и что, если ему довериться, обязательно погибнешь. Так как вопросу о Константинополе Сазонов придавал первостепенное значение, то решено было Мандельштама к нему не подпускать. Мандельштаму предло-

* Советов *(фр.)*.

жено было заняться вопросом о «германских зверствах» на русском фронте, и он занялся им со свойственным ему пылом. В то же время Нольде предложил ему писать о праве войны в редактировавшемся им журнале «Известия МИД». Тем не менее суеверные предчувствия Сазонова, что Мандельштам не принесет ему добра, неожиданно оправдались, хотя и в другой области.

Нольде взялся за дело о Константинополе, которое он вел с крайней секретностью, не только не без удовольствия, но и с особенным увлечением. К нам сразу же принесли все самые секретные досье из Ближневосточного отдела и канцелярии министра, и вся картина русской внешней политики в этом кардинальном пункте за последние 10 лет, начиная с русско-японской войны, развернулась перед нами: планы Извольского и Чарыкова получить Константинополь, хотя бы в виде «нейтрализованного и свободного города», никому не принадлежащего, но с русскими пушками на Босфоре в обмен на согласие с австрийской аннексией Боснии и Герцеговины, планы Чарыкова о Всебалканской федерации с Турцией во главе, с сепаратным соглашением Турции с Россией наподобие Ункиар-Искелесского 1833 г., позднейшие надежды на Константинополь в связи с Балканскими войнами 1912—13 гг. и планы русского десанта, тщательно, но все же довольно-фантастично разработанные русскими стратегами и дипломатами в то время (оккупация Константинополя должна была быть обязательно произведена почему-то казачьими частями),— все, что не осуществилось, да и не могло тогда осуществиться.

Главным недостатком всех этих проектов было то, что они игнорировали недружелюбное отношение к вопросу Англии, и в эпоху 1908 г., и в эпоху 1912—13 гг. расстроившей своим сопротивлением русские планы. Сердечное согласие России и Англии в начале войны не носило характера универсального соглашения; два вопроса решались более или менее ясно — среднеазиатский по соглашению 1907 г. и, менее определенно, примыкание Англии к России и Франции против Тройственного союза в делах европейских, вопрос же о Константинополе был самым больным местом русско-английских отношений, теперь уже скрепленных соглашением о незаключении сепа-

ратного мира с Германией (Англия, Россия, Франция и Япония заключили это соглашение в сентября 1914 г.).

Нольде, составив исторический обзор предшествующих проектов о судьбе Константинополя и отметив их слабую сторону — отсутствие согласия Англии, предложил два подробно разработанных проекта решения вопроса. По первому Россия должна была на правах суверенного и исключительного владения иметь Константинополь с известной полосой и на азиатском, и на европейском берегу, а также Дарданеллы с такой же полосой европейской и азиатской, при этом международная гарантия закрытия Проливов для плавания всех военных судов, за исключением русских, конечно, должна была оставаться в полной силе. Значит, Россия по этому проекту не только должна была получить возможность свободно впускать и выпускать из Черного моря русский флот, но и была бы международным образом застрахована от попыток проникновения в Черное море со стороны других держав. Второй проект был гораздо скромнее по форме и носил все следы предшествующих попыток и хитроумных комбинаций. Нольде не принадлежал к типу людей, ослепленных или увлеченных до ослепления какой-либо излюбленной идеей, для него Константинополь был одной из целей войны, но не единственной, и при этом такой, достижение которой всецело зависит от данной международной конъюнктуры. Он даже допускал мысль, что война 1914 г. кончится вничью и все останется по-прежнему. Вот почему наряду с первым проектом, отвечавшим общественным русским стремлениям, с одной стороны, и желанию правительственных кругов — с другой, он представил другой, более осторожный и весьма разочаровавший даже высшие круги МИД. Этот проект предусматривал «фактический военный русский контроль над Черноморскими проливами», а также наличие достаточных русских морских и сухопутных сил на берегах Босфора и Дарданелл для обеспечения этого контроля. Сам Константинополь должен был оставаться в номинальном владении Турции, а его управление — быть интернациональным, с датской или голландской полицией; кроме того, известные полосы — европейская и азиатская по берегам Босфора и Дарданелл — должны были быть нейтра-

лизованы, а нейтралитет охраняться опять-таки русскими военными силами.

В сущности, оба проекта были идентичны в том, что русские сухопутные и морские силы должны были обосноваться на берегах Черноморских проливов, но в первом случае это была бы бесповоротная аннексия, а во втором — оккупация Константинополя и Проливов со всеми отрицательными в юридическом отношении качествами оккупации — ее неопределенностью и возможностью вмешательства.

По рассмотрении обоих проектов Сазонов, конечно, не только принял первый, но и самым решительным образом восстал против второго. Второй проект был, по его мнению, «шитая белыми нитками дипломатическая хитрость», совершенно не отвечавшая характеру мировой войны. Теперь или никогда, заявлял Сазонов. Если мы получим согласие Англии (Франция, считал тогда Сазонов, не будет протестовать), то безотносительно к аннексии или оккупации Константинополя, а если не получим, то и вообще воевать России не из-за чего. Сазонов, как и все русские дипломаты старой школы, видел прежде всего Балканы, и, как это было видно из секретных переговоров с союзниками в 1915 г. по поводу целей войны, общеславянский вопрос в Австро-Венгрии рисовался ему еще в весьма туманных очертаниях. Сазонов не только сам не допускал мысли о неудачном исходе войны, но и всякую такую мысль принимал чуть ли не за измену.

Второй проект Нольде не получил одобрения, а сам Нольде, несмотря на свое важное положение в министерстве, попал на некоторое время в немилость. Со свойственной Сазонову прямотой в личных отношениях он не скрыл от Нольде своего раздражения, а прямо высказывал ему все. Нольде же искренне недоумевал и посмеивался над «наивностью» Сазонова, думавшего в эту войну получить то, что России не удалось в течение ее тысячелетней истории. Мысли Нольде в это время разделялись многими старшими чинами МИД, но редко кто из них решался высказывать их. И если в конце концов это раздражение Сазонова против Нольде не приняло больших размеров и серьезно не поколебало положения Нольде, то только потому, что заменить Нольде было буквально невозможно.

Дальнейшее развитие вопроса о Константинополе попало уже в руки Гулькевича, который не замедлил в споре Сазонов — Нольде стать решительно на сторону Сазонова и отвергнул даже предложение Нольде принять его первый проект как программу-максимум в переговорах с союзниками, а второй проект как программу-минимум. Затем этот вопрос, которым так интересовались и думские круги, вступил в полосу длительных дипломатических переговоров, наткнувшись не только на ожидавшееся сопротивление Англии, но и на неожиданное отсутствие должной поддержки со стороны Франции. Франция довольно долго отказывалась оказать надлежащее давление на Англию и тем ставила в крайне затруднительное положение Сазонова, выдавшего уже соответственные векселя по вопросу о Константинополе Думе и Ставке.

Это дело разрешилось только в марте 1915 г., после того как Франция в лице Палеолога, узнав о шатком положении Сазонова при дворе и боясь появления на посту министра иностранных дел человека менее лояльного в отношении сепаратного мира с Германией, оказала, наконец, давно просимое давление на Англию и та согласилась на аннексию Россией Константинополя. Я помню, как с торжествующим видом Гулькевич принес Нольде английский aide-mémoire*, никем не подписанный, но лично переданный Бьюкененом Сазонову, в котором Великобритания безоговорочно признала суверенитет России над Константинополем, Босфором и Дарданеллами с соответственной европейской и азиатской территориальной полосой и международной гарантией закрытия Проливов для всех военных судов, кроме русских.

Сазонов был в восторге, Нольде сильно озадачен, а Гулькевич сиял и, несмотря на всю «тайну» дела, дал осторожно знать об этом в те думские и военные круги, которые серьезно интересовались Константинополем. Сазонова это согласие на время поддержало при дворе, где опасались не столько Сазонова, сколько тех, кто за ним стоял, но когда пришел роковой час в 1916 г., эта дипломатическая победа в таком вопросе ему не помогла, и он все же должен был уйти. Бьюкенен и Палеолог

* Памятную записку *(фр.)*.

не скрыли от государя при этой отставке, что Константинополь был обещан России ввиду твердого и лояльного отношения к союзникам во время войны лично Сазонова. Делая подобные заявления, французский и английский послы думали, конечно, укрепить положение Сазонова, а на самом деле они его ослабили, так как возбудили в государе подозрение, что Сазонов ищет у союзников поддержки против двора.

Пока Сазонов совместно с Нольде и Гулькевичем в обход Мандельштама решал константинопольский вопрос, совершенно неожиданно из спокойного занятия, которое определили Мандельштаму по «германским зверствам» на русском фронте, возник дипломатический конфликт. «Несчастливая рука» Мандельштама в конце концов не избежала Сазонова.

Дело заключалось в следующем. Мандельштам, имевший большой досуг и жаждавший деятельности, сначала решил заняться общественной пропагандой правительственных взглядов по вопросам внешней политики. Была назначена его публичная лекция в Петроградской городской думе, на которой присутствовали весь состав МИД, иностранные дипломатические представители и очень мало просто публики. На этой лекции мне пришлось, между прочим, познакомиться с моим коллегой из очень молодых дипломатов Сукиным, которому довелось впоследствии быть министром иностранных дел при Колчаке. Ему было в это время 28—29 лет, а может быть, и меньше, он был 3-м секретарем посольства в Константинополе и мечтал в этот момент попасть куда-нибудь 2-м секретарем посольства, в Париж или Лондон, но так как для этого поста имелось немало кандидатов с большими связями, чем у Сукина, то это ему не удалось. Лицеист по образованию, Сукин был полуеврейского происхождения, его мать была еврейка. Это обстоятельство несколько охлаждало начальство в смысле особого покровительства Сукину, да и своими знаниями и способностями он мало выделялся из общей массы молодых дипломатических чиновников, зато обладал несомненным желанием попасть на более заметный пост. Его товарищи по лицею не говорили о нем иначе, как Сукин filioque*.

---

* Вероятно, от французского «fils» (сын).

В своей лекции Мандельштам выступил ярым туркофобом, доказывал полное отсутствие творчества у турецкого народа и предлагал его окончательно изгнать из Европы. Это обстоятельство было несколько неожиданно, так как Мандельштам за время своей почти двадцатилетней службы в Константинополе считался самым решительным туркофилом. Эта лекция, однако, произвела не то впечатление, какое было надо. Она задумана была как разъяснение целей ближневосточной политики для широкой русской публики, но именно «широкая публика» на лекцию не явилась, а дипломатический состав слушателей, русский и иностранный, нашел, что желание России владеть Константинополем в устах официального лица, каким был Мандельштам, выражено в слишком недвусмысленной и резкой форме.

На другой день после лекции Бьюкенен, с которым велись тогда самые доверительные переговоры о Константинополе и Проливах, в деликатной форме просил разъяснить ему, как надо понимать выступление Мандельштама: как программу деятельности русского правительства или же обращение к русскому общественному мнению за поддержкой в этом вопросе? Сазонову ничего не оставалось, как сказать, что выступление Мандельштама было вызвано желанием дать русскому обществу более или менее компетентное понятие о вопросе и что оно не только не имело целью вызвать «поддержку общественного мнения», а, наоборот, рассеять крайние «шовинистические и панславистские» изложения и освещения вопроса о Проливах; что стенограмма этой лекции до ее опубликования будет просмотрена МИД и что эта стенограмма и станет единственным подлинным текстом, о котором можно будет говорить. На самом деле никакой стенограммы лекции Мандельштама не существовало, и, для того чтобы не раздувать инцидента с английским посольством, решено было текста лекции не печатать и вообще всячески эту лекцию замалчивать, а впредь Мандельштама на кафедру с боевыми вопросами текущей политики не выпускать.

Этот инцидент показал Сазонову, какие трудности предстоят ему в деле получения согласия Англии на овладение Россией Константинополем и Черноморскими проливами и как

тогда (в конце ноября 1914 г.) еще сильны были английские предубеждения против России в таком важном для нее вопросе. С другой стороны, русское общественное мнение в лице националистических и умеренно либеральных кругов считало тогда уже Константинополь русским Царьградом и не допускало мысли о другом решении этого вопроса.

Цена «языковой» ошибки

Но не только здесь проявилась «несчастливая рука» Мандельштама. С ним связан весьма характерный дипломатический инцидент, чуть было не отразившийся на всей обстановке войны. Это было выполнение Мандельштамом данного ему поручения о расследовании «германских зверств» на русском фронте. Мандельштам добросовестно обработал все имевшиеся в распоряжении МИД богатые материалы по этому вопросу, доставленные Ставкой, и составил обширный меморандум на французском языке, предназначенный для самого широкого распространения за границей. Первый экземпляр меморандума с особой напечатанной препроводительной нотой испанскому посольству в Петрограде для сообщения германскому правительству (Испания охраняла наши интересы в Германии и Австро-Венгрии) был направлен испанскому послу в Петрограде; одновременно меморандум вместе с нотой был разослан во все посольства и миссии в Петрограде, долженствуя стать торжественным и документально обоснованным протестом России перед всем цивилизованным миром против варварского и незаконного с точки зрения международного права способа ведения войны.

Эта нота исходила от Юрисконсультской части МИД (хотя Мандельштам и не был официально причислен к нашей части), как того отдела министерства, на обязанности которого лежала охрана международно-правовых начал как в мирное, так и в военное время. Но так как протест рассылался от имени «российского императорского правительства», то помимо просмотра Нольде эта нота и меморандум поступили на санкцию Нератова и Сазонова, а последним были доведены до сведения и одобрены Советом министров. Таким образом, это было не только ведомственное выступление, а чисто правительственное, сообразно важности содержания этого акта.

Между тем (дело было перед самыми святками 1914 г.) на другой день после рассылки меморандума и телеграфного извещения об этом всей иностранной и русской прессы к Сазонову является раздраженный до последней степени испанский посол с требованием немедленного отзыва из всех иностранных посольств и миссий только что разосланной ноты под угрозой разрыва дипломатических сношений Испании с Россией. Этот испанский ультиматум в такой неслыханной для отношений второстепенного государства, каким была Испания, с великой державой, какой являлась тогда Россия, форме свалился как снег на голову Сазонову, долго не понимавшему испанского посла, который на самом ясном в мире языке, французском, объяснял ему причину «ультиматума». Причина крылась в том, что Мандельштам в препроводительной ноте к испанскому посольству употребил выражение, кощунственно звучавшее для испанского уха, а именно, говоря о цели посылки ноты, выразился: «...pour éclairer la religion du gouvernement espagnol»*. По мнению посла, это было оскорбление религии, господствующей в Испании, а с другой стороны, вся нота и весь меморандум получали характер акта, стремящегося «просветить испанское правительство», с препровождением при этом всем иностранным миссиям и посольствам, то есть протеста не против бесчеловечных германских методов войны, а против якобы двусмысленной позиции испанского правительства, взявшегося за защиту интересов русских подданных в Германии и Австро-Венгрии и не охраняющего их на самом деле.

Действительно, когда после ухода испанского посла Сазонов вызвал Нератова и Нольде для штудирования этой препроводительной ноты, то оказалось, что испанский посол был совершенно прав, что русское правительство вместо благодарности за испанскую защиту русских подданных, говоря вульгарно, отплатило испанскому правительству «оплеухой». Непонятным образом Мандельштам, так хорошо знающий французский язык, употребил действительно могущее казаться

---

* «Для разъяснения веры испанского правительства» *(фр.)*, «Religion» имеет также значение «долг», «обязанность».

кощунственным выражение, и еще менее понятно, почему он направил обвинения против испанского правительства вместо германского и австро-венгерского. Но столь же непостижимо было, как Нольде, Нератов и Сазонов могли это просмотреть. Этот действительно незаурядный промах русской дипломатической кухни имел самые оскорбительные для престижа россии последствия.

Не успел отбыть от Сазонова испанский посол, как появился Палеолог, уже, по-видимому, настроенный испанским послом. Он с той же нотой в руках осторожно, но решительно высказал Сазонову, что если у русского правительства имеются какие-либо «rancunes»* против испанского, то теперь во всяком случае не время сводить счеты с испанцами; что если Испания, конечно, представляет сама по себе второстепенный интерес для России, то для Франции совершенно не безразлична позиция Испании в этой войне и победа, скажем, весьма могущественной в Испании германофильской партии, и без того раздраженной принятием Испанией на себя защиты русских интересов в Германии и Австро-Венгрии, может иметь самые катастрофические последствия для Франции, а тем самым и для всего хода войны, в частности же и для России.

Напрасно Сазонов уверял Палеолога, что никаких поводов для неприятностей между Россией и Испанией нет и быть не может, что, если бы — а это невероятно — таковые существовали, он отлично понимает, что момент для сведения счетов совершенно неподходящий и что он не менее Палеолога учитывает особое положение Франции в отношении Испании и сознает всю важность поддержания наилучших отношений с испанским правительством. Палеолог, как потом выяснилось из дипломатических петроградских кругов, ушел в полной уверенности, что ему удалось устранить крупный дипломатический испано-русский конфликт. Конечно, весь этот инцидент объясняется также и тем, что испанский посол в Петрограде, державший антантофильскую линию поведения, находился всецело под впечатлением той ожесточенной борьбы из-за позиции Испании в войне, которая велась в его отечестве, и

* «Претензии, обиды» *(фр.)*.

страшно боялся, как бы германофильская партия не победила.

После этих двух визитов Сазонов, совершенно вне себя, созвал совещание всех ответственных чинов МИД (т. е. начальников политических отделов, Нератова и Нольде), на котором было не только решено взять обратно меморандум и ноту (которые, кстати сказать, были отпечатаны в типографии министерства), но и переработать ноту таким образом, чтобы ни малейшего намека на испанское правительство в ней не содержалось. Переработка ноты была поручена Нольде. Что же касается испанского посла, то он был на другой день приглашен к завтраку у Сазонова с высшими чинами МИД, а также на вечер интимного характера, где были все союзные послы и посланники, чтобы продемонстрировать дружественность русско-испанских отношений. На новогоднем приеме по случаю наступившего 1915 г. государь был особенно приветлив с испанским послом и просил передать испанскому королю свою глубокую благодарность за защиту Испанией русских интересов в неприятельских странах.

На другой же день после визита испанского посла мне пришлось по телефону снестись как с 1-м секретарем испанского посольства, так и с другими посольствами и миссиями, прося их ввиду «вкравшихся типографических ошибок» возвратить ноту и меморандум. В переработанном виде меморандум о «германских зверствах» был разослан через месяц нашим посольствам и миссиям за границей для сообщения иностранным союзным и нейтральным правительствам. Испанскому послу Сазонов лично передал меморандум, таким образом избежав даже особой «препроводиловки», дабы изгладить самую память об инциденте.

Сознаюсь, после этого случая у меня совершенно изменилось отношение к нашему ведомству, и хотя я был всего четыре месяца в министерстве, мне стали понятны крайне пессимистические отзывы моего дяди, сделанные им как-то в очень интимном кругу в бытность его товарищем министра, об убожестве русской дипломатической техники. Не только это убожество сказалось в подобном инциденте, но и вся шаткость международного положения России, вынужденной, несмотря на свою территорию и численность населения, при-

нимать ультиматумы от Испании. Неудивительна стала мне и боязнь Нольде, который опасался, как бы «озорство» русского правительства в отношении немцев (вопрос о борьбе с так наз. «немецким засильем») не вызвало впоследствии неудовольствия будущего германского посла в Петрограде.

Для Мандельштама его неудачная лекция о Константинополе и еще более неудачная нота о «германских зверствах» явились надгробным камнем на дипломатической карьере при царском правительстве. Не только летом 1915 г., когда Нольде уехал в двухмесячный отпуск, Юрисконсультская часть была поручена мне, совсем молодому служащему, а не ему, но и впоследствии, когда в 1916 г. Нольде занял пост директора II Департамента и оказался вакантным пост начальника Юрисконсультской части, на который Мандельштам в свое время конкурировал с Нольде, был назначен не он, а лицо, совершенно постороннее ведомству,— профессор М. И. Догель.

К концу 1914 г. наша Юрисконсультская часть обогатилась еще одним служащим — молодым, только что кончившим Петроградский университет с серебряной медалью за сочинение по международному праву Дмитрием Степановичем Серебряковым. Сын богатого петербургского нотариуса, Д. С. Серебряков не был оставлен при университете и не собирался идти по научной части, и если Нольде тем не менее принял его к нам в часть, то только из-за страшной ее перегруженности. Горлову и мне приходилось очень много времени посвящать службе, но и этого было недостаточно, так как меня слишком часто всевозможные междуведомственные совещания заставляли отсутствовать и секретарская работа падала на Горлова, который сам мечтал о заграничной дипломатической службе.

Ввиду предстоявшего рано или поздно ухода Горлова Нольде мне сказал прямо, что он желал бы видеть меня на месте Горлова, и надо было найти заместителя и мне. Моему родственнику, его коллеге по Петроградскому политехническому институту и члену Государственной думы П. П. Гронскому Нольде говорил, что крайне доволен мною, что я будто бы «выше всяких похвал» и прочие комплименты. Из характера все более и более ответственных ведомственных поручений я действительно чувствовал не только искреннее расположе-

ние ко мне Нольде, но и явное упрочение своего служебного положения. После указа 2 января 1915 г. касательно тех льгот, которые русское правительство предоставляло привилегированным категориям неприятельских подданных — славян, эльзасцев, итальянцев и т. п., а также указа 1 февраля о «немецком землевладении», открывших эру славянофильской внутренней политики русского правительства, мне все чаще и чаще не только приходилось, иногда без всяких инструкций, представлять наше ведомство, но и детально помогать в разработке тех или иных законодательных актов, проходивших впоследствии через Совет министров и получавших силу по ст. 87 Основного закона, а между тем количество обращений в Юрисконсультскую часть со стороны других отделов и департаментов нашего министерства все увеличивалось.

Я очень обрадовался поступлению Д. С. Серебрякова, нашел в нем компанейского молодого человека, вначале более трудолюбивого, чем потом, когда он лучше освоился с обстановкой ведомства и стал вращаться среди более старших, чем он, и не всегда «удачников», но, увы, со средними способностями. Правда, в 1915 г., когда мне пришлось замещать Нольде, он был моим единственным помощником, но использовать его вместо себя во всякого рода междуведомственных совещаниях было невозможно, так как он совершенно для этого не созрел.

Любопытно, однако, что незадолго до поступления Серебрякова к нам в Юрисконсультскую часть держал вступительный экзамен магистрант Гельсингфорсского университета финляндец Идельман, который, успешно выдержав испытание, не смог, однако, грамотно и ясно написать требуемый перевод с французского на русский, а на устных испытаниях едва связывал фразы, делая комические ошибки в своем своеобразном русском языке. Этот господин, не умевший ни говорить, ни писать по-русски, не только был допущен к испытанию на дипломатическую должность, но о нем совершенно серьезно говорилось в совещании о назначениях, что его можно принять «условно», с тем чтобы он в течение известного срока «подучил» русский язык. Однако против этого восстал Сазонов, сказавший: «У нас не Персия» и заявивший, что, пока он русский

министр иностранных дел, в ведомство не будут приниматься лица, не знающие в совершенстве русского языка. Нольде довольно сконфуженно пришлось отказать Идельману.

Планы расчленения Австро-Венгрии

Весной 1915 г. случилось событие величайшей важности, а именно так долго ожидавшееся вступление Италии в войну на стороне союзников. Этому предшествовали длительные переговоры, и, в частности, нашему МИД выпала большая и сложная работа, закончившаяся секретным договором, заключенным в Лондоне 13(26) апреля 1915 г. Участниками договора были Россия, Англия, Франция и Италия, содержание его — определение территориальных приращений Италии за счет Австро-Венгрии в случае удачного исхода войны, а также решалась судьба большинства славянских земель Габсбургской монархии. Этот договор обусловил вступление в войну Италии, но на Версальском конгрессе 1919 г. он был признан ничтожным, так как Североамериканские Соединенные Штаты не участвовали в этом соглашении, а президент Вильсон находил его, совершенно справедливо, противоречащим принципу самоопределения народов.

С русской стороны помимо Сазонова и Нератова авторами соглашения являлись Шиллинг, Петряев, Базили, а в качестве консультантов приглашались Нольде и Гулькевич (последний не столько в качестве начальника Ближневосточного отдела, сколько в роли дипломата, долго служившего в Италии).

Наиболее решительным сторонником расчленения Австро-Венгрии и освобождения всех славянских народов, находившихся под властью Габсбургов, являлся Петряев. Он же был противником чрезмерных уступок итальянским притязаниям на все восточное побережье Адриатического моря. Из всех перечисленных лиц Петряев был и самым осведомленным. Гулькевич, Шиллинг и сам Сазонов — все трое служившие долго в Италии и прекрасно знавшие итальянскую точку зрения на адриатический вопрос, но плохо знакомые с этнографической стороной дела и не знавшие основательно славянской стороны вопроса — считали вполне естественными итальянские требования. Базили не столько участвовал в выработке соглашения, сколько с таинственным видом расхаживал по всем отделам ведомства и «собирал материалы». Однако и он

7 Зак. № 24

не был сторонником адриатического панславизма и всецело примыкал по своим взглядам к группе Сазонова, Шиллинга и Гулькевича. Нератов более примыкал к Петряеву, но тем не менее в решительную минуту стал на сторону Сазонова «из общих соображений о важности вступления в войну Италии». Наконец, Нольде приглашался главным образом не для решения вопроса по существу, а для надлежащего юридического оформления Лондонского соглашения. Граф Бенкендорф, наш посол в Лондоне, играл только исполнительную роль, хотя договор в окончательной форме и был подписан им от имени России.

Все переговоры велись в полном секрете между четырьмя упомянутыми правительствами, и сербская миссия в Петрограде была совершенно устранена от переговоров, хотя Лондонский договор прямо ее касался. Россия, таким образом, была единственной представительницей славянских интересов и решала все славянские вопросы единолично и безапелляционно, без ведома даже такого верного союзника, как Сербия. Это было предварительным условием переговоров о вступлении Италии в войну, выставленным римским правительством. Согласно Лондонскому договору, Италия получала не только итальянские земли Австро-Венгрии, так наз. ирреденту, но и всю Далмацию и Истрию. Сербия получала только выход в Адриатическое море, к ней присоединялись Босния и Герцеговина, но Хорватия должна была быть от нее независимой, так же как от Австро-Венгрии.

О Чехословакии в Лондонском договоре ничего не говорилось. Это была, таким образом, единственная славянская народность, с которой к тому времени не существовало между Россией и союзниками никаких международных соглашений: об образовании единой Польши, хотя бы и «под русским скипетром», громогласно возвещало воззвание вел. кн. Николая Николаевича 1 августа 1914 г., составленное с ведома и согласия Англии и Франции, о югославянских землях имелся Лондонский договор 1915 г., о Чехословакии — только обещания государя русским чехам, данные им при аудиенции в сентябре 1914 г. Русское правительство до Февральской революции, хотя и имело определенные планы относительно Чехии и Сло-

вакии, сознательно не желало связывать себя соглашениями с союзниками, приберегая эти земли в неустановленной еще форме для себя.

Надо сказать, что Лондонский договор, конечно, представлял из себя вопиющую несправедливость. Судьба чисто славянской Далмации, отдаваемой, как это было до 1797 г., под итальянское (тогда венецианское) владычество, была совершенно непонятна. Буря негодования, обрушившаяся на Сазонова в 1919 г. со стороны югославянских кругов во время Версальского конгресса, когда Лондонский договор был извлечен из недр дипломатических архивов, была, таким образом, совершенно им заслужена. Петряев, между прочим, решительно возражал как против отдачи Далмации Италии, так и против отделения Хорватии от Сербии. По его плану, Далмация и Хорватия на федеративных началах должны были быть соединены с Сербией. Петряев же настаивал также на включении в Лондонский договор постановления о Чехо-Словакии, считая, что чем скорее Россия заключит соответствующее соглашение с союзниками, тем меньше трений будет впоследствии по вопросу об этой столь важной части Габсбургской империи. Мало того, Петряев считал необходимым оговорить в Лондонском же договоре возможность особых соглашений России с вновь освобожденными славянскими частями Австро-Венгрии, о сухопутном транзите и о том или ином выходе и для России на Адриатическое море — то, что Базили пренебрежительно называл «адриатический панславизм».

Нератов, говоривший не раз при мне о «чешском корне» своего рода (от фамилии Неруда), вначале поддерживал Петряева, но затем перешел на сторону Сазонова, который был буквально ослеплен константинопольским вопросом и считал адриатический второстепенным для России. В то же время Сазонов честно исполнил свое обещание перед итальянским правительством не осведомлять о содержании переговоров сербское правительство и сербскую миссию в Петрограде. Не надо было быть проницательным дипломатом, чтобы понять, хотя бы по чуть ли не ежедневным наездам итальянского посла маркиза Карлотти к Сазонову и Нератову, что Италия сама жизненно заинтересована во вступлении в войну на сторо-

не союзников и что руководители нашего МИД совершенно напрасно награждали Италию славянскими землями Австро-Венгрии и отделяли по живому телу Хорватию от Сербии. Ошибку Сазонова исправил американец Вильсон. Я должен сказать, что не только Петряев и отчасти Нератов сознавали «промахи» Лондонского договора, но и некоторые высшие чины ведомства, вроде начальника Дальневосточного отдела Козакова, открыто говорили Нератову, что Сазонов совершает явную оплошность, так неосновательно уступая итальянцам, да и наше посольство в Риме писало о том, что итальянцы и без того вступят в войну под давлением своего общественного мнения. Все это, однако, не удержало Сазонова от Лондонского соглашения, и когда, наконец, Италия выступила, то в этот день все авторы соглашения — и Сазонов, и Шиллинг, и Гулькевич, и Базили — сияли, празднуя «крупнейшую дипломатическую победу России», как говорил Гулькевич.

Между тем в мае 1915 г. Горлов получил долгосрочный отпуск за границу, в Швейцарию, и уехал. Мне пришлось стать прямым помощником Нольде, и тогда в первый раз за время моей службы Нольде сказал мне, что рано или поздно ему придется расстаться с Юрисконсультской частью. «Я хочу поехать или в Пекин, или в Тегеран»,— сказал он смеясь, и если мне это по душе, то он будет рекомендовать меня на пост начальника Юрисконсультской части, конечно, прибавил он, не через год или два, а оттуда я могу рассчитывать на пост посланника, куда захочу... Этот разговор был неожидан для меня и весьма преждевременен, так как я отлично знал, что любое начальство в МИД еще долго не пожелает расстаться с таким ценным человеком, как Нольде. Отмечу здесь, что действительно в 1916 г. Нольде добивался места посланника в Персии или в Китае, но получил в вежливой и даже лестной форме отказ под тем предлогом, что ему готовится большой пост в центральном управлении ведомства.

Очень скоро после отъезда Горлова в конце июня 1915 г. и Нольде получил тоже двухмесячный отпуск, а Юрисконсультская часть, равнявшаяся по служебному положению департаменту, а по своей перегруженности не уступавшая нашим департаментам, вопреки всем бюрократическим традициям

была вверена не кому-либо из старших чинов — вакантному, например, тогда Мандельштаму, а мне, официально исполнявшему обязанности секретаря, человеку, служившему меньше года, а по возрасту не достигшему 25 лет. Уезжая, Нольде в напутствие сказал мне, чтобы я делал «все, что он делал», и прибавил, улыбаясь, что «есть такое качество — внимание, о котором не следует забывать». Мое назначение произвело большое впечатление, так как было беспрецедентно, а самое главное — благодаря докладу по делам Совета министров устанавливало прямые отношения между Сазоновым и мной, то есть ставило меня в разряд высших чинов министерства.

Для меня это был поворотный пункт в моей службе, так как он раскрывал святая святых нашего ведомства. Конечно, такое назначение, при всей его временности, было возможно только благодаря вышеотмеченным дипломатическим неудачам Мандельштама и авторитету Нольде, давшему мне самую лестную аттестацию Сазонову. Кроме Мандельштама и барона Таубе, тогда уже не принимавшего участия в работе ведомства, никто и не мог заменить Нольде. Тем не менее Нольде, уезжая, все же сказал, что в затруднительных случаях я могу или писать ему в Рязанскую губернию, или же обращаться к Мандельштаму, «если бы вы считали, что он может быть вам полезен». Я действительно раза два писал по делам Нольде, не зная некоторых его предшествовавших действий, но к Мандельштаму не обращался, хотя он вначале, после отъезда Нольде, несколько раз заходил ко мне и очень предупредительно расспрашивал о текущих делах. За эти два месяца крайне напряженной работы ни Нератов, ни Сазонов не вспоминали Мандельштама, и нетрудно было догадаться, что Мандельштам пока что «конченый человек».

Сергей Дмитриевич Сазонов

Из всех чинов ведомства до этого времени я не знал лично только Сергея Дмитриевича Сазонова, хотя по рассказам моего дяди и всему, что видел в министерстве, мог составить о нем представление. Когда я пришел к нему первый раз по делам Совета министров, то тут уже был Нератов. Сазонов спросил меня о моем дяде, которого очень хорошо знал, спросил, в какой губернии находятся «мои интересы», и, узнав, что в Самарской, очень похвалил ее, сказав, что он ее довольно хорошо

знал когда-то. После этого он сразу же перешел к делам и на прощание просил обязательно передать привет Чарыкову и всегда сообщать, когда буду иметь от него известия.

Простой и приветливый прием Сазонова, его манера задавать быстрые и краткие вопросы, прямо касавшиеся существа дела, и наружность скорее профессорская, чем дипломатическая,— все это располагало к нему. Была у него и другая черта — постоянство в личных отношениях, но в то же время импульсивность характера и темперамента, несмотря на наружную холодность, заставляла всегда быть начеку и давать быстрый и решительный ответ. Это обстоятельство сразу же придавало ответственность каждому слову, так как Сазонов во всех вопросах, не имеющих определенно политической и при этом первостепенной важности, слепо верил своим сотрудникам и действовал с энергией и решительностью в указанном направлении. Мне сразу стало понятно, почему Нольде так легко добивался того направления дела, которое он хотел, и как, иногда вопреки логике вещей, Сазонов употреблял свой огромный авторитет для проведения довольно спорного положения. Сазоновым, когда он не имел в данном вопросе собственного мнения, было очень легко повелевать, и в особенности если данное дело не касалось области так наз. «высокой политики», то есть злобы дня.

Моя роль, согласно прежде установленному Нольде прецеденту, в делах Совета министров сводилась к тому, что я должен был, ознакомившись с содержанием всех дел на данное заседание Совета министров, отметить все касавшееся так или иначе внешней политики или вообще нашего ведомства и, снесшись по специальности с директором департамента или же начальником политического отдела и получив от них в виде краткой записки их мнение, затем все относившееся к Юрисконсультской части (а у нас, как я указывал выше, была крайне широкая и неопределенная компетенция), сам отмечать и писать «шпаргалку» Сазонову. Точно так же все относившееся к внутренней политике, если это имело более или менее выдающееся значение, должно было отмечаться мною и иногда излагаться в виде краткого содержания желательного решения вопроса. Никаких правил насчет состав-

ления этих «шпаргалок», само собой разумеется, быть не могло, и надо было очень хорошо знать состояние всей политики правительства и направление нашего ведомства, чтобы попасть в тон и в то же время отстоять правильное решение вопроса. Для этого у меня была подготовка в виде знания наших ведомственных взглядов и главных действующих лиц.

После первых же докладов у Сазонова я увидел, что в моем настоящем положении от меня требуется самостоятельность, и я, говоря откровенно, был этому очень рад, так как, несмотря на прекрасные личные отношения с Нольде, придерживался диаметрально противоположных взглядов как по вопросам общего характера, так и по поводу отдельных конкретных вопросов. Каюсь, что я не держался прежней линии поведения, а решал все дела так, как считал это правильным. Сазонов слишком был поглощен тогда вопросами большой дипломатии, чтобы чувствовать различие оттенков по сравнению с Нольде, а когда он это замечал, то довольно добродушно говорил: «А это не противоречит нашим прежним заявлениям?» И потом, после моих объяснений, соглашался. Быть может, это объяснялось и тем, что он сам не раз слишком много уступал Нольде вопреки внутреннему убеждению и мое понимание больше сходилось с его взглядами. Да и Нератов, очень часто, если не всегда, присутствовавший на моих докладах, не раз давал понять, что Нольде перегибает палку в смысле недостаточного учета славянского вопроса.

Должен сказать, что за эти два месяца между Сазоновым и мной не произошло ни одного сколько-нибудь серьезного разноречия. Быть может, это объясняется крайне радикальной позицией Сазонова как раз в это время по всем вопросам внутренней политики, за что он и поплатился отставкой. Мне было не только легко работать в моральном отношении, но и действительно радостно видеть, что благодаря доверию Сазонова я мог проводить в довольно обширном круге дел свою линию поведения.

Единственное, что нервировало,— это крайняя спешность работы. Заседания Совета министров в это время вместо одного раза в неделю по вторникам, как это было до войны,

стали все учащаться, а в августе одно время стали ежедневными. Ведомость с делами доставлялась рано утром. Приходя в 10 час. утра, я на своем столе уже имел запечатанный конверт от канцелярии Совета министров, надо было все эти дела привести, согласно ведомости, в порядок, при этом часть дел, иногда самых важных, доставлялась дополнительно с 11-часовой курьерской почтой или иногда и в половине двенадцатого, в половине первого дела к данному заседанию Совета министров должны были быть уже доложены Сазонову, который в час дня завтракал, а в половине третьего уже начиналось заседание Совета министров в Мариинском дворце.

Утром с 10 до 12 час. 30 мин. я и должен был все эти дела (обычно 60—70) просмотреть самым внимательным образом и переслоить их чужими и своими «шпаргалками» для Сазонова. Принимая во внимание, что все высшие чины МИД являлись в министерство к 11 час. утра, мне приходилось все делать с молниеносной быстротой. Поскольку при этом дела Совета министров не были единственным моим занятием, то меня каждую секунду отрывали по текущим делам. Мне приходилось не только подражать Нольде по существу, но и копировать его удивительную способность вести сразу несколько дел и держать в голове все нити неотложных и весьма срочных решений.

Помню, как в одном из самых первых заседаний Совета министров рассматривалось Положение о военнопленных, прямо касавшееся нашей Юрисконсультской части, выработанное военным ведомством и состоявшее из более 150 статей со ссылками на всякие законодательные акты военных и военно-морских постановлений. К счастью, в нашей небольшой, но тщательно подобранной библиотеке Юрисконсультской части эти акты имелись. Надо было все их просмотреть, сравнить с Гаагской конвенцией 1907 г. и пожеланиями отдельных посольств и миссий, а также нашими собственными законодательными актами во время войны, так как полагаться на юридические познания военного министерства не приходилось, написать записку решающего характера, и все это в промежуток между 11 час. утра и половиной первого. В Поло-

жении я нашел ряд вопиющих неправильностей и нарушений Гаагской конвенции. В этом смысле мною была составлена «шпаргалка» Сазонову с решительным veto по отношению к Положению. Сазонов, надо отдать ему справедливость, на заседании Совета министров энергично восстал против Положения о военнопленных, сводившего их фактически на положение арестантов, и заставил Поливанова взять его обратно для переработки с нашей Юрисконсультской частью. Мало того, он настоял на том, чтобы все подобные акты предварительно обсуждались с нашей Юрисконсультской частью.

В делах Совета министров, возвращенных мне Сазоновым на другой день, имелась его карандашная заметка о том, что Положение будет пересмотрено по соглашению с Юрисконсультской частью МИД и впредь будет принят указанный выше порядок предварительного запроса о согласии нашей части. В тот же день меня посетил личный адъютант Поливанова полковник Генерального штаба Мочульский с пространным извинением по поводу того, что Положение не было предварительно направлено в нашу часть, и приглашением на специальное междуведомственное совещание по этому вопросу. После энергичного выступления Сазонова в Совете министров не только военное ведомство, но и другие, даже с чрезмерной предупредительностью, всякого рода акты, имевшие хотя бы отдаленное международно-правовое значение, посылали на предварительную цензуру к нам в Юрисконсультскую часть.

Вследствие такого отношения к нам происходили и неожиданные сюрпризы, характерные для высшей петербургской бюрократии. Через несколько дней после этого в нашу Юрисконсультскую часть поступило экстренное предложение принять участие в секретном совещании по вопросу о тех зонах, на которые по военно-стратегическим соображениям следовало бы распространить законы об уничтожении немецкого землевладения. Я, конечно, сейчас же обратился к Нератову, который, как оказалось, вместе с Сазоновым получил приглашение явиться на это совещание. Не долго думая, Нератов поручил мне представлять в нем наше министерство.

В 2 часа дня я отправился в военное министерство, где меня немедленно ввели в кабинет начальника Генерального штаба генерала Беляева, и Беляев сам любезно пододвинул мне кресло рядом с собой. Хотя я уже успел привыкнуть ко всякого рода совещаниям, однако меня не мог не поразить его состав. Я увидел массивную фигуру Щегловитова, будущего министра земледелия Риттиха и Кривошеина, ряд товарищей министра и в качестве секретаря совещания генерала Леонтьева, впоследствии нашего военного агента в Чехословакии. Я почувствовал себя несколько не в своей тарелке, так как был лет на 20 моложе самого молодого члена совещания, а между тем Беляев все время обращался ко мне, чтобы узнать мнение МИД. Я попросил Леонтьева дать мне положение о совещании и тут только узнал, что по закону участвовать в совещании могут либо сами министры, либо их товарищи, но не ниже. Таким образом, я оказывался каким-то кандидатом в товарищи министра иностранных дел. Помню, как на мне с любопытством останавливались взоры Кривошеина и Щегловитова, а также и других, кроме тех, с которыми мне приходилось уже встречаться раньше.

Но, раз уж я попал в такую компанию, приходилось держать себя соответственно. Прежде всего я передал извинения Сазонова и Нератова, которые из-за дипломатических приемов иностранных представителей не могли сами прийти, но поручили мне заявить, что в этом вопросе, как они считают, военно-стратегические соображения должны иметь преимущество перед всеми другими; что МИД, однако, оставляет за собой право, когда эти зоны будут окончательно установлены, сделать в Совете министров особые замечания в связи с дальнейшим поведением неприятельских войск, вступивших уже в это время в пределы Царства Польского. Беляев страшно обрадовался моему заявлению и, уже ссылаясь на него, стал развивать свои соображения относительно тех или иных губерний. При этом Кривошеин и Риттих вступили с ним в горячий спор, из которого мне лишний раз стало ясно, что министерство земледелия определенно патронирует немцев (в 1918 г. А. В. Кривошеин занял четкую германофильскую позицию). Не знаю, как поступил бы на моем месте Нольде

или Сазонов, принципиально бывший против «немцеедства», но мое заявление, бесспорно, имело значение в том смысле, что те министерства, у которых не было своего мнения по этому вопросу, пошли за военным и дипломатическим, зоны запрещения немецкого землевладения были значительно расширены после долгих прений, в которых Кривошеин и Риттих остались в конце концов в меньшинстве. Прощаясь, Беляев благодарил меня за поддержку военного министерства.

В тот же день, уже под вечер, я рассказал Нератову все подробности этого совещания, где я так неожиданно исполнял роль товарища министра. Нератов от души смеялся, говоря, что это хороший знак для моей карьеры, и одобрил мои заявления. Тогда же он мне в первый раз совершенно откровенно сказал, что Нольде «сбивает» Сазонова слишком мягким отношением к немцам, которые и до сих пор являются «язвой русского государства». В устах осторожного Нератова такая фраза была для меня неожиданной. Она являлась, как я узнал потом, отражением борьбы Нератова с Нольде по немецкому вопросу в России.

Судьбы Польши в российской политике

Одним из крупнейших вопросов, поглощавшим много внимания Совета министров, был польский. Хотя наше отступление из пределов Царства Польского делало академическими вопросы о проведении тех или иных мероприятий или реформ, но совершенно не академическим было то или иное отношение России к Польше во внешней политике. В связи с известными союзникам германскими планами об объявлении независимости русской части Польши с дипломатической точки зрения было совершенно необходимо прибегнуть к какому-нибудь декларативному политическому акту, который должен был показать, что союзники, в особенности же Россия, твердо намерены устроить судьбу Польши согласно желаниям населения.

Между тем в Совете министров шла по этому вопросу жестокая борьба. Маклаков и Щегловитов после их коллективной записки государю по польскому вопросу продолжали занимать полонофобскую позицию и всячески противились малейшему изменению status quo в Польше, всякого рода даже академические декларации вызывали у них резкое противо-

действие. Сазонов же, зная международную обстановку, наоборот, самым решительным образом настаивал на принятии недвусмысленных шагов для разрешения польского вопроса в освободительном духе. Конечно, и он не допускал мысли о полном отделении Польши от России, но желал, чтобы русское правительство теперь же, в такой критический момент войны, провозгласило принцип полного невмешательства России во внутреннюю жизнь Польши. Считавшееся так долго крамольным в отношении Польши слово «автономия», по глубокому убеждению Сазонова, должно было, наконец, быть произнесено русским правительством. Эта борьба, которую Сазонов вел в составе Совета министров почти год, осложнялась все время колеблющейся позицией Горемыкина. Старый бюрократ никак не мог решиться отступить от заветов прежней политики правительства, а между тем за ним как за главой правительства было решающее слово. По бюрократической привычке он оттягивал под всяческими предлогами решение вопроса, но приближалась вторая годовщина войны, правительство должно было выступить перед Государственной думой с декларацией, в которой нельзя было просто умолчать о польском вопросе.

Наконец Сазонов решился на крайнее средство. Он обратился лично к государю с жалобой на Горемыкина и привел донесения наших представителей за границей о деятельном приготовлении Германии к провозглашению независимости Царства Польского. На государя это произвело впечатление, и он вызвал Горемыкина для объяснений. Действительно, это средство помогло, и в декларации, прочтенной Горемыкиным перед Государственной думой, впервые было сказано сакраментальное слово «автономия» в применении к Царству Польскому и всей будущей «единой Польше».

Как выяснилось из последующей дипломатической переписки, то, чего с таким трудом добился Сазонов от государя и Горемыкина, это самое слово «автономия», которое еще год тому назад, быть может, вызвало бы восторг у поляков, теперь, при совершенно изменившейся обстановке, породило только разочарование и недоверие. Такое же слабое впечатление произвело это горемыкинское заявление и на союз-

ников, хотя, конечно, и Бьюкенен и Палеолог знали, чего стоило Сазонову добиться и этих скромных уступок полонофильству. Положительно Сазонов благодаря своим решительным выступлениям все больше и больше терял почву под ногами при дворе. Я присутствовал на заседании Думы 19 июля 1915 г. и должен констатировать, что прежний подъем уступил все нараставшему пессимизму, горемыкинская декларация прозвучала бесцветно и малоутешительно.

Довольно скоро после этого мы уже получили определенное доказательство нового курса Германии в польском вопросе. Это был указ Вильгельма II о безвозмездной частичной конфискации земель отсутствующих помещиков русского происхождения в Царстве Польском. Получив текст этого указа, Сазонов вызвал меня, и тут же в присутствии Нератова мы стали его разбирать. Сазонов сказал мне, что намерен внести этот указ на обсуждение сегодняшнего заседания Совета министров, и спросил, что я об этом указе думаю. Я ему ответил, что считаю это крупнейшим нарушением международного права, и сослался на Гаагскую конвенцию 1907 г. о законах и обычаях сухопутной войны, где в нескольких статьях гарантируется неприкосновенность неприятельской частной собственности, а безвозмездная конфискация прямо и expressis verbis* запрещается. Кроме того, я сослался на положения той же конвенции относительно оккупации неприятельских земель, говорящие то же самое.

Тогда Сазонов спросил меня, что же, согласно международному праву, можно предпринять для того, чтобы парализовать этот указ. На это я сказал, что единственный путь — репрессалии, а именно безвозмездная конфискация германской частной земельной собственности в России. Сазонов страшно обрадовался и, шагая по кабинету, обратился ко мне и Нератову: «Ну, на этот раз они обожгутся! Если Вильгельм не возьмет своего указа обратно, мы конфискуем всю германскую собственность немецких помещиков в России». И потом со смехом добавил: «То-то обрадуется Щегловитов, ему все хочется что-нибудь конфисковать». Уходя из каби-

---

* С полной ясностью, недвусмысленно *(лат.)*.

нета Сазонова, я вспомнил, что он сам помещик Гродненской губернии и что этот указ прямо касается его имения. На другое утро Сазонов мне сказал, что Совет министров накануне обсуждал указ Вильгельма II и решил послать германскому правительству ультиматум — предложение взять его назад в течение месячного срока под угрозой безвозмездной конфискации всей германской недвижимой собственности во всей Российской империи, и поручил мне составить соответствующую ноту испанскому посольству в Петрограде для передачи немцам.

Этот решительный язык, которым Сазонов умел иногда обращаться к неприятелю, был мною закреплен тогда же в ноте к испанцам, подписанной в тот же день Сазоновым, а через две недели пришел благоприятный ответ германского правительства, сообщавшего об официальном взятии назад упомянутого указа Вильгельма II. Сазонов по получении этого сообщения немедленно показал его в Совете министров и отправил с написанной мною объяснительной запиской государю, который лично выразил Сазонову свое удовольствие по поводу «энергичной и успешной защиты русских интересов в Царстве Польском». Сазонов был доволен втройне: как дипломатическому успеху над Германией, который он, конечно, довел до сведения союзников, лично, как гродненский помещик, и, наконец, его репутация ярого полонофила была сглажена защитой им именно русских интересов в Царстве Польском.

Неожиданно это коснулось и меня, так как на одном из очередных докладов по делам Совета министров Сазонов спросил меня, не хотел бы я поехать в Лондон в качестве 2-го секретаря посольства. По понятиям тогдашней дипломатической службы, это предложение в отношении молодого человека, меньше года бывшего в ведомстве, являлось верхом дипломатических мечтаний. Я и сам был бы рад попасть в Лондон, тем более что оттуда открывалась уже возможность большой дипломатической дороги. Но не успел я согласиться, как сидевший тут же Нератов сказал, что до окончания войны он считает совершенно невозможным меня отсылать за границу, так как Нольде не в силах один делать всю юрискон-

сультскую работу, а другого помощника ему «не выдумаешь». Тогда Сазонов при мне сказал: «Будем вас готовить в заместители Нольде». Несколько раз потом, оказывается, Сазонов поднимал вопрос о моем заграничном назначении, но Нератов всякий раз возражал. Это было не только проявлением хорошего отношения ко мне Сазонова; как позже выяснилось, именно в 1915 и в начале 1916 г. он сам мечтал о посольском посте в Лондоне и подбирал себе заранее штат служащих.

Положение евреев в России и ее отношения с САСШ

Другим вопросом, внезапно обострившимся в дипломатическом отношении, и довольно неожиданно, в период моего управления Юрисконсультской частью, оказался вопрос еврейский. Начало ему положил начальник американского Красного Креста в России, явившийся как-то к нашему товарищу министра В. А. Арцимовичу и оставивший ему довольно безобидный по внешнему виду меморандум, в котором американский Красный Крест осторожно сообщал, что его операции в России могли бы принять значительно больший размах, если бы не ...оппозиция некоторых американских кругов, а именно еврейских, обвиняющих русское правительство будто бы в том, что хотя евреи — русские подданные несут во всех отношениях одинаковые с коренным русским населением повинности, и в частности военные, но в то же время они до сих пор не пользуются в России целым рядом общечеловеческих прав, как-то: правом свободного передвижения, свободного выбора места жительства, не допускаются на равных правах с русскими в учебные заведения, на государственную службу, на общественные должности, да и вообще русское правительство на каждом шагу проявляет свое недоброжелательство к еврейской народности.

К меморандуму он приложил также пачку американских вырезок, свидетельствовавших о широкой и упорной газетной кампании против русского царского правительства. На словах этот же американец жаловался на то, как трудно ему в связи с этим доставать нужные средства, что помощь, оказываемая американским Красным Крестом Англии, Франции и Италии, несравнима с той практически ничтожной помощью, которую получает Россия. Он указал также на то, что по своему настроению широкие круги американского общества самым

искренним образом расположены к русскому народу, что они очень мало осведомлены о деятельности русского правительства и что он, конечно, ни малейшим образом не солидаризируется с газетными обвинениями русского правительства в юдофобии, но при сложившихся обстоятельствах ему невозможно игнорировать эту часть американской прессы и общества; что, если бы русский МИД предоставил в его распоряжение официальные материалы, которые могли бы ему помочь показать «в истинном свете» отношение русского правительства к евреям, это было бы крайне полезно «для развития в более широком размере операций американского Красного Креста».

Хотя, конечно, все это было высказано и написано в форме, которую трудно было бы назвать попыткой американского вмешательства в русские внутренние дела, но в связи с крайне несдержанным характером газетных нападок на русское правительство на самом деле это было так. Американский Красный Крест в России был в самых тесных отношениях с американским послом в Петрограде Френсисом, и было совершенно ясно, что без ведома и согласия американского посольства, а следовательно, и вашингтонского правительства такое выступление было бы немыслимо. Это был самый банальный способ начать переговоры с русским правительством по такому больному вопросу, как еврейский. Ясно было также, что речь идет не о «расширении операций американского Красного Креста в России», а о чем-то неизмеримо большем. Неудивительно было также и обращение именно к Арцимовичу, а не к Нератову и Сазонову. В иностранных дипломатических кругах Петрограда было, конечно, прекрасно известно, что Арцимович «политикой не занимается», и это было удобно для придания большей скромности американскому шагу. В то же время Арцимович был женат на американке и был своим человеком в американском посольстве в Петрограде.

Все это вместе было очень удачно для бесшумного поднятия вопроса, которому САСШ придавали огромное значение. Достаточно вспомнить, что вступление Северной Америки в войну последовало почти немедленно за Февральской рево-

люцией в России, и это событие сыграло огромную роль в решении вашингтонского правительства отказаться, наконец, от непопулярной позиции нейтралитета. Тем интереснее становится попытка в 1915 г. найти общий язык между царским правительством и САСШ.

Арцимович тут же ответил своему американскому собеседнику, что, как видно из беглого обзора меморандума, обвинения части американской прессы сводятся к законодательным ограничениям в правах евреев и к недоброжелательному и пристрастному отношению русского правительства к евреям — русским подданным. Что касается первого, то закон может быть отменен только силой закона, значит, эта часть пожеланий американских евреев может быть осуществлена только через народное представительство, согласно нашим основным законам. Правда, правительство имеет право инициативы, но в конечном счете все-таки все зависит от народного представительства. Во-вторых, в отношении недоброжелательства к евреям со стороны правительства он, Арцимович, самым решительным образом утверждает, что это неверно. Правительство не делает никакого различия между русскими подданными в зависимости от исповедания или же национальности, оно только связано законом, который не оно установило и который оно собственной властью изменить не в силах. Но во всех многочисленных случаях заграничной ли или же внутрирусской материальной помощи русским подданным, пострадавшим так или иначе от войны, никакого различия между евреями и коренным русским населением не делается. Например, в широкой помощи застигнутым войной за границей русским подданным, оказанной МИД, было полное равенство в отношении всех национальностей, прямо предписанное циркулярами ведомства. В отношении беженцев из занятых неприятельскими войсками мест Российской империи точно так же соответствующие ведомства никакого различия между отдельными народностями России не делают. Наконец, МИД предписал нашим консульским агентам в Палестине оказать русским евреям всяческую поддержку в смысле возвращения в Россию по их желанию, и по сию пору в Египте, например, такая помощь оказывается.

На прощание Арцимович обещал представить в распоряжение американского Красного Креста достаточно убедительный в этом отношении официальный материал и, кроме того, самым внимательным образом отнестись к поднятому американской прессой вопросу, так как и русское общество, и правительство выражают самую искреннюю благодарность за оказанную до сих пор Североамериканскими Соединенными Штатами помощь и вообще традиционно с величайшей симпатией относятся к американскому народу. Однако Арцимович сказал, что вообще, если взять расовые и национальные вопросы во всех странах, даже независимо от законодательных положений в самых цивилизованных из них (он сослался на свои наблюдения в бытность русским консулом в Сан-Франциско в отношениях американцев к желтой и черной расам), общество до сих пор еще относится к ним не так, как следует, но, конечно, правительства должны стоять выше этого и по мере возможности направлять общественное мнение; он, Арцимович, надеется, что вашингтонское правительство, ознакомившись с официальными русскими материалами, окажет необходимое моральное давление на американскую прессу и общество.

На этом разговор и кончался. Конечно, можно было отнестись к поднятому американцами в такой осторожной и деликатной форме еврейскому вопросу формально и ответить трафаретным образом, что «по конституции» вопрос о еврейских ограничениях зависит от законодательных палат, значит, не от правительства, а правительство можно было бы реабилитировать рядом административных циркуляров о равноправии евреев с русскими во всех случаях, когда это прямо не запрещено законом. Можно было, кроме того, сказать, что еврейский вопрос — чисто «внутреннее дело» России, что никакое «иностранное вмешательство» формально в него недопустимо, и сослаться на отношение американцев к неграм, японцам и китайцам. Так, конечно, и поступало раньше русское правительство, так оно, может быть, поступило бы и теперь, но момент и обстановка для такого хотя бы и вежливого, но решительного формального отказа даже обсуждать этот вопрос были для России совершенно неподходящи.

Первый год войны заканчивался под тяжелым впечатлением отступления 1915 г., на Западном фронте также трудно было ожидать быстрой перемены военного положения в благоприятном направлении, и при этих условиях вступление Америки в войну представляло огромную важность для России. Конечно, если бы удалось путем искренних переговоров и решительных уступок в еврейском вопросе купить помощь Североамериканских Соединенных Штатов, то весь ход войны совершенно изменился бы. Вступление Америки в 1915, а не в 1917 г., когда Россия вошла в полосу революции, из которой не так-то легко было выбраться, как показали дальнейшие события, означало бы новый фазис войны тогда именно, когда русская армия еще не разложилась, как это уже было в 1916 г.

Естественно, что когда Арцимович немедленно сообщил Сазонову и Нератову о разговоре с американским начальником Красного Креста, это произвело на них обоих сильнейшее впечатление. Возможность привлечения Америки путем уступок по еврейскому вопросу была настолько соблазнительна, что, несмотря на то что ни Нератов, ни Сазонов не были, вообще говоря, юдофилами, они оба самым решительным образом принялись за еврейский вопрос. Но тут весь ужас российской действительности вставал перед ними. При существовании Маклакова и Щегловитова в качестве министров внутренних дел и юстиции, при таком реакционном премьере, как Горемыкин, при настроении государя, так ясно проявлявшемся в его пометках на всякого рода черносотенной литературе, подсовываемой ему в качестве программы деятельности Совета министров, о чем я подробно говорил выше, при крайне правых устремлениях двора, который был гораздо ближе к государю, чем Совет министров, можно ли было ставить еврейский вопрос так, чтобы громогласным провалом дела, в особенности при значительном правом элементе в Государственной думе, не говоря уже о Государственном совете, окончательно не испортить русско-американских отношений? С другой стороны, ограничиться полумерами, прибегнуть к банальным обещаниям сразу же после войны поставить еврейский вопрос и т. д. означало бы явно не достичь

цели. Только решительный поворот в этом деле мог дать требуемый дипломатический эффект, то есть вступление Америки в войну.

Надо было действовать, и при этом решительно, но осторожно, дабы преждевременно не разглашать дела. Чтобы сломить грандиозное сопротивление, надо было поставить на карту не только свою карьеру, но для успеха дела проявить железный характер Бисмарка или по крайней мере Столыпина. Сазонов, beau-frère* Столыпина, был его горячим поклонником, его портрет всегда находился на его письменном столе в кабинете министерства, и во многом он ему подражал. Только что вырванная победа по польскому вопросу показала, что он и теперь не боялся идти на решительные шаги. Но, во-первых, в этот момент Царство Польское было занято уже немецкими войсками и слово «автономия» не могло иметь сейчас же практических последствий, а, во-вторых, еврейский вопрос был краеугольным камнем всей столыпинской политики, и Сазонову пришлось бы проявить столыпинскую решительность — пойти полностью вразрез со столыпинскими традициями. Не надо было закрывать глаза и на то, что нельзя же было ограничиться в угоду Североамериканским Соединенным Штатам уступками только по еврейскому вопросу, следовало, значит, менять вообще весь курс внутренней политики; другими словами, уничтожать все сделанное Столыпиным. Для этого, конечно, Сазонов не годился. Все, что он мог сделать, это испортить самым бесповоротным образом свою репутацию среди правых, что и произошло.

О начале этого дела я узнал дня через два после визита американца к Арцимовичу. В это время происходили только совещания в страшном секрете между Сазоновым, Нератовым и Арцимовичем, да еще была послана пространная телеграмма Ю. П. Бахметеву, моему дальнему родственнику, бывшему тогда послом в Вашингтоне, чтобы он дал самую подробную картину отношения американского общества и правительства к еврейскому вопросу в России, с поручением осторожно и

---

* Свояк *(фр.)*. Столыпин и Сазонов были женаты на двух сестрах — Ольге и Анне Нейдгардт.

частным образом, не связывая себя какими-либо определенными обещаниями, выяснить, какое значение может иметь решительный поворот русского правительства в еврейском вопросе для вступления Северной Америки в войну. Узнал я обо всем этом от Арцимовича, который передал мне упомянутый выше меморандум с газетными американскими вырезками и просил хранить его в нашей части в «секретном архиве».

Кроме того, посвятив меня в это дело в самом доверительном порядке, он просил меня составить 1) справку о том, какие, по нашим законам, ограничения существуют для евреев, и 2) составить в форме aide-mémoire обстоятельную записку с использованием всех материалов, имеющихся в МИД по еврейскому вопросу, а также дел Совета министров, хранящихся в нашей Юрисконсультской части, для перечисления всех мер русского правительства, в которых подчеркивались бы или специальное благоволение к евреям, или же принцип полного их равенства с другими народностями России. Все статистические данные, которые я мог бы по этому вопросу найти, надо было привести в этой записке, которая должна была быть написана по-французски, то есть получить общедипломатическое значение. Обращаться за материалами в другие ведомства Арцимович мне категорически запретил, дабы там даже и подозрения не возникало, что наше министерство этим вопросом интересуется.

Должен сказать, что мне и раньше приходилось довольно часто иметь дело с Арцимовичем по разным поводам, но со времени моего управления Юрисконсультской частью мне кроме этого приходилось еженедельно докладывать ему по делам так наз. Малого совета министров, то есть по тем делам Совета министров, которые не имели политического характера и слушались в Совете товарищей министров под председательством государственного контролера. Этот Малый совет министров решал те дела, которые когда-то находились в ведении Комитета министров, то есть утверждение уставов акционерных обществ, всевозможные концессии, пенсии для высших чинов, когда между ведомствами не возникало разногласий (в этом случае они вносились в Большой совет мини-

стров) и т. п. Эти дела не имели спешного и злободневного характера, и Нератов, крайне занятый текущей работой в министерстве, передал их Арцимовичу. Последний очень внимательно к ним относился, просил ему заранее доставлять дела и ведомости и любил беседовать со мной по этим делам, хотя они обычно нашего министерства не касались.

Свою просьбу о записке по еврейскому вопросу Арцимович оговорил тем, что справка о русских законах касательно евреев вещь спешная, между тем как в aide-mémoire не столько важна спешность его составления, сколько полнота материала. На это я сразу же сказал, что сомневаюсь, чтобы в нашем ведомстве можно было найти сколько-нибудь значительный материал, и при этом убедительный для американцев. Арцимович ответил: «Тем лучше. Чем меньше сделано, тем больше мотивов делать», и тут же добавил, что только в случае провала всего дела в Совете министров эта записка будет послана, чтобы как-нибудь сгладить отрицательное впечатление в Америке, и что, конечно, весь бой по еврейскому вопросу будет вестись в Совете министров. Тогда я попросил Арцимовича разрешить мне пока только собирать материал для записки, так как, по-видимому, в нашем ведомстве еще не знали, что писать. Я знал, что Арцимович любил всякого рода докладные записки. С другой стороны, мне было очевидно, что ни Арцимович, ни Сазонов еще сами не знают, какой ответ они дадут американцам. На этом и решили.

Я действительно на другой же день передал справку о русских законах по еврейскому вопросу и вечером того же дня увидел ее в руках у Сазонова, который мне сказал, чтобы завтра при докладе в Совете министров я дал ему еще один экземпляр для Кривошеина, который тоже этим вопросом интересуется. После заседания в Совете министров Сазонов попросил у меня еще два экземпляра этой справки — для Горемыкина и Барка. Тогда я спросил, не лучше ли размножить на ротаторе, но Сазонов возразил, сказав, что канцелярия Совета министров через два дня вместе с историческим очерком развития русского законодательства по еврейскому вопросу напечатает эту справку в приложении. Таким образом, еврейский вопрос вступил в полосу обсуждения в Совете министров.

Вместе с этим Сазонов просил меня, как только я получу эту записку из канцелярии Совета министров, тщательно проверить ее с точки зрения правильности освещения вопроса. «Я Горемыкину и его канцелярии не верю»,— сказал Сазонов.

Действительно, не через два, а через четыре дня пришла из канцелярии Совета министров отпечатанная обычным образом записка по еврейскому вопросу, не помеченная в ведомости дел,— это был, так сказать, подготовительный материал, который мог послужить основанием для суждений Совета министров, но не обязывал к принятию каких-либо решений, подлежащих внесению в протокол. По своему содержанию эта довольно обширная и внешне гладко изложенная записка заключала сжатый исторический обзор русского законодательства по еврейскому вопросу, в виде приложения фигурировала моя справка о действующих законах, без всяких изменений или дополнений. Умелой, но бессовестной рукой были подобраны факты, показывавшие, как всякое ослабление законодательных ограничений вызывало подъем революционного брожения в России. Здесь не было, конечно, лубочных черносотенных стереотипных указаний на «жидомасонство» и т. п., но было нечто худшее — сознательное искажение всей фактической стороны дела, вплоть до явных передержек и хронологических ошибок.

По прочтении этой записки мне стало совершенно ясно, что Горемыкин ни в коем случае не на стороне Сазонова, а зная горемыкинскую манеру безошибочно угадывать то решение вопроса, которое в конечном счете одержит верх, можно было утверждать, что только чудо могло дать Сазонову шансы на успех. Отметив главные погрешности против фактической стороны дела, я сейчас же с этой запиской и очередными делами Совета министров отправился к Сазонову. Мне пришлось подождать, так как у него сидели в это время Палеолог и Бьюкенен. Когда они ушли, я прошел к Сазонову. Там же был Нератов, присутствовавший на этот раз при совещании Сазонова с послами, хотя он это обычно не делал,— его, очевидно, Сазонов вызвал специально. Когда я показал Сазонову записку, тот в большом возбуждении сказал: «Я узнаю об этой записке последний, Палеолог и Бьюкенен уже знают

о ней раньше меня. Канцелярия Совета министров — дырявое сито, у нас не может быть тайн от иностранцев, пока Горемыкин у власти». Затем он быстро прочел всю записку и, ни слова не говоря, передал Нератову. Тот читал ее медленно и со свойственной ему внимательностью. Наконец они переглянулись, и Сазонов, обратясь к Нератову, спросил: «Что ты об этом памфлете думаешь?» Тот с улыбкой сказал: «Очередной горемыкинский подвох».

После этого Сазонов спросил меня, успел ли я проверить содержание записки. Я с карандашной заметкой в руках отметил главные передержки. Сазонов, как всегда, когда был взволнован, стал ходить по кабинету, все время говоря: «Это шулерство! Это недобросовестно! Так мы никогда не выиграем войну». Нератов же сидел спокойно и по своей привычке читал записку второй раз, затем сделал сам собой напрашивавшийся вывод: «Все погибло». Тут как-то сразу Сазонов успокоился и вызвал по телефону Кривошеина, прося его до заседания Совета министров заехать к нему. При этом он предложил Нератову остаться завтракать у него, а меня попросил самым спешным и кратким образом составить замечания на записку, отметив хотя бы то, о чем я ему говорил, и просил через курьера в запечатанном конверте на его, Сазонова, имя передать ему до двух часов дня, когда должен был приехать Кривошеин.

Когда я вышел от Сазонова, было около часа дня, времени, таким образом, оставалось мало. Я сел прямо за машинку и к двум часам приготовил контрзамечания на четырех страницах малого формата. Хотя это, конечно, была очень краткая заметка, тем не менее все главное было отмечено. Когда я спустился вниз, Кривошеина еще не было, а Сазонов и Нератов были в кабинете. Сазонов очень удивился, что я успел так много написать, и весьма любезно просил извинения, что задержал меня в неурочное время (от часа до трех часов дня у нас служебный перерыв для завтрака). В этот момент курьер доложил о приезде Кривошеина, и я не без удовольствия ушел, так как эта спешная и ответственная работа требовала все же большого напряжения нервов.

Должен сказать, что вернувшись после завтрака в минис-

терство, я на этот раз отложил всю текущую работу и занялся снова еврейским вопросом. При той головоломной спешке, при которой решались в это время дела такой политической важности, не было бы ничего удивительного, если бы в мою справку вкрались ошибки, а между тем недостаточно мотивированное выступление Сазонова по еврейскому вопросу безусловно самым пагубным образом отразилось бы на его и без того безнадежном предприятии. Вот почему я еще раз проверил на основании всех имевшихся у меня материалов правильность написанного, и хотя у меня не было под рукой записки канцелярии Совета министров, я отлично помнил все ее основные положения. Поскольку еврейский вопрос только случайным образом попал вдруг в круг моих дел, то, естественно, при дальнейшем развитии дела мне самому было необходимо в него углубиться. Кроме того, надо было резюмировать все материалы, собранные мною в МИД в связи с просьбой Арцимовича, хотя последний и не торопил меня, зная, что судьба вопроса будет решена в зависимости от удачи или неудачи сазоновской борьбы в Совете министров.

То, что я мог найти в наших различных департаментах или отделах, было довольно жидко. Что касается помощи русским подданным за границей, то точных статистических данных о распределении помощи по национальностям не было, хотя все необработанные материалы были уже около года в руках МИД. Зато более утешительные сведения находились в Ближневосточном политическом отделе в связи с русской помощью русским евреям из Палестины. Но все же это был единичный факт. В общем и целом наше ведомство не держалось ни юдофобской, ни юдофильской позиции, да и вообще по давнишней традиции считало этот вопрос чисто внутренним. При дальнейшем изучении дела я обнаружил еще ряд неточностей и передержек в записке канцелярии Совета министров и отметил их на всякий случай. Еврейское досье Юрисконсультской части, таким образом, возросло уже довольно значительно.

Вечером в седьмом часу я был по другому делу у Нератова и застал у него уже папку с делами сегодняшнего заседания Совета министров, вернувшуюся от Сазонова. По уста-

новившемуся обычаю, Сазонов после каждого заседания Совета министров возвращал дела Нератову с собственными пометками о главных решениях, тот их читал, чтобы быть в курсе дела, а затем возвращал по принадлежности нам, в Юрисконсультскую часть. После очередных текущих дел Нератов вернул мне дела Совета министров и сказал, что еврейский вопрос разбирался только вскользь, так как, оказывается, не все министры получили записку канцелярии Совета министров, в том числе Барк и Кривошеин. Сазонов нашел ее «тенденциозной и односторонне составленной», а кроме того, указал на ряд ошибок и неправильностей, а Горемыкин сказал, что он тоже недостаточно с ней ознакомился.

Решено было каждому из заинтересованных ведомств составить справку о еврейском вопросе с точки зрения данного ведомства. Эти справки, однако, не следовало печатать в обычной форме, они должны были служить только материалом для обсуждения министрами в секретном порядке, то есть без внесения в протокол и без присутствия чинов канцелярии Совета министров. Нератов, как и следовало ожидать, попросил меня составить новую, уже третью по счету записку, если считать справку о законах по еврейскому вопросу, составленную мной. Я, конечно, не отказался, но заметил, что, хотя мне это никакого труда не составит, так как я уже все равно этим занимаюсь, но боюсь, что здесь вопрос о записках играет второстепенную роль, поскольку и Маклаков, и Щегловитов не могут не знать основных мотивов и оснований прежней политики русского правительства.

В ответ Нератов показал мне только что полученную депешу от Бахметева из Вашингтона, где тот очень обстоятельно и подробно отвечал на поставленный ему Сазоновым вопрос о значении русских уступок по еврейскому вопросу для помощи России со стороны Северной Америки и, в частности, о вступлении ее в войну на стороне союзников. Бахметев привел достаточно полную анкету, причем из нее следовало, что решительный поворот в этом деле отразился бы немедленно и самым осязательным образом на русско-американских отношениях. Может ли этот поворот вызвать мгновенное объявление войны Центрально-европейскому блоку, этого, конечно, нельзя

предсказать, но, учитывая несомненное и очень сильное влияние еврейскх американских кругов, стоящих в общем сейчас на позиции благожелательного нейтралитета в отношении союзников, можно с уверенностью говорить в этом случае о неминуемости вступления Североамериканских Соединенных Штатов в войну на стороне союзников, так как военная партия крепнет с каждым днем благодаря безрассудной подводной войне Германии, вызывающей открытое возмущение американского общества. С другой стороны, и помимо еврейских кругов Соединенных Штатов этот жест русского правительства будет понят как первый шаг к окончательному переходу России к системе конституционного и либерального режима. Таким образом, у противников военной партии вырывался главный аргумент в споре об участии в «освободительной войне» против тевтонского милитаризма, а именно наличие среди союзников полуавтократического государства — России, еще менее демократического, чем Пруссия и Австрия.

Конечно, я передаю только сущность обширной телеграммы Бахметева. Ни один посол императорской России не решился бы в 1915 г. писать в Петроград о желательности в видах внешней политики преобразовать Россию в «либерально-демократическое парламентарное государство», и уж последний из них был бы Юрий Петрович Бахметев, один из немногих наших дипломатических представителей, ушедших в отставку из-за своих монархических убеждений сразу же после Февральской революции. Само собой разумеется, все содержание телеграммы было тщательно завуалировано, с устранением всего, что могло бы иметь характер «совета», но тем существеннее было то, что писал Бахметев, так как это исходило от преданного слуги монарха. Как ни затушевывал он мнение американских государственных деятелей, из всей телеграммы было ясно, что чем искреннее и шире будет проведен «новый курс налево», тем это будет ощутимее для русско-американских отношений и, в частности, для вопроса о вступлении Соединенных Штатов в войну на стороне союзников. При идеологическом направлении политики Вильсона это заявление Бахметева получало большой политический вес.

Говоря откровенно, Сазонов, зная отнюдь не либеральные убеждения Бахметева, боялся с его стороны какого-нибудь подвоха и поэтому, конечно, страшно обрадовался, найдя в его сообщении незаменимую поддержку. Нератов, передавая мне эту телеграмму, несмотря на свой скептицизм, сказал: «Это сильно меняет положение; хотя Сергей Дмитриевич (т. е. Сазонов) и говорит, что от наших ихтиозавров всего можно ждать, но игнорировать такую страну, как Америка, в такой момент они не смогут». Я очень удивился этим словам и спросил Нератова, неужели «ихтиозавры» согласятся и на ответственное министерство, и вообще на требования, довольно радикальные, если не большинства Государственной думы, то большинства ее оппозиции, ведь сам Сазонов говорил, что нельзя будет только облагодетельствовать поляков, «жидов» и армян и оставить все коренное русское население в прежнем неизменном положении. Значит, надо будет открыть вообще «левый курс», а как же можно было об этом думать при наличии Горемыкина, Маклакова и Щегловитова. Нератов ответил на это одной из тех фраз, которые говорят, но в которые говорящий не верит, а именно: можно все «делать постепенно». Дальше он, помолчав, добавил, что, конечно, «это так легко не пройдет». На том наш разговор прекратился. Я получил, таким образом, поручение изготовить новую записку, так как она понадобится «через три-четыре дня, после того как Сазонов повидает государя». Значит, Сазонов, как и в польском вопросе, по-видимому, главную свою ставку делал на государя, которого он, очевидно, хотел убедить бахметевской телеграммой.

К назначенному сроку у меня были изготовлены довольно обширная записка по еврейскому вопросу и проект французского aide-mémoire, где я главным образом оперировал фактическими данными из практики нашего министерства и его заграничных представителей, но что касается, так сказать, «соуса» к этому aide-mémoire, то есть выводов и более или менее определенных обещаний, то я оставил пустое место, так как наше министерство не могло самовольно выдавать векселя по вопросам внутренней политики. Я передал aide-mémoire Арцимовичу, тот очень этому обрадовался, но когда

я ему показал этот документ, не содержавший ничего, кроме фактического материала, и объяснил, почему я так именно его составил, Арцимовичу оставалось лишь согласиться с тем, что «вопрос еще не созрел».

Когда же я отправился к Сазонову и вручил ему записку по еврейскому вопросу, то нашел его в крайне подавленном состоянии, по-видимому, «ихтиозавры» не желали ему уступать. Он поблагодарил меня, но ни слова не сказал, приняв записку. Нератова не было, а между тем вошел Шиллинг с делами. Когда я в тот же день был у Нератова и сказал, что уже передал записку Сазонову, он почти весело заметил: «Думаю, что этот вопрос придется отложить, у нас осложнения с Болгарией». Но Нератов ничего не сказал мне об аудиенции Сазонова у государя, конечно, щадя своего начальника и друга.

О том, что произошло в Царском Селе, узнал я довольно скоро и совершенно случайно от моего хорошего знакомого Н. Н. Нахимова, бывшего в это время, вместе с Юрьевым, секретарем Горемыкина. Я встретил его у одних моих родственников, где он часто бывал, и как только он меня увидел, первыми словами его были: «Ну Сазонов ваш — вот дипломат!» И, весело смеясь, он тут же, в присутствии моих родственников — молодых людей, служивших в кредитной канцелярии министерства финансов, рассказал подробно о посещении Сазоновым государя. По его словам, как только Сазонов открыл рот по еврейскому вопросу, государь сразу же его остановил: «Вы думаете, что, если мы дадим им равноправие, они на этом остановятся? Завтра же начнутся требования ответственного министерства и всяческих реформ. И где предел уступкам? Сегодня требуют американцы, завтра будут требовать англичане. Я считаю, что внутренняя политика должна быть совершенно отделена от внешней. Еврейский вопрос — чисто внутреннее дело правительства, и никаким иностранцам нет до этого никакого дела».

Впоследствии в разных вариациях я слышал те же самые слова, которые затем несколько раз были в связи с еврейским вопросом собственноручно написаны государем в виде пометок на всякого рода черносотенных докладных записках, слушав-

шихся в конце 1915 г. и в течение 1916 г. в Совете министров. Когда Сазонов показал государю депешу Бахметева, то государь нашел, что со стороны Бахметева было бестактно даже в частном порядке осведомляться о взглядах американцев на еврейский вопрос в России. Сазонов в ответ на это должен был рассказать всю историю вопроса. Игнорировать выступление председателя американского Красного Креста в МИД Сазонов не мог и вынужден был проверить его через Бахметева. Эти объяснения Сазонова носили, однако, характер скорее оправданий, чем убеждения государя. Хотя в конце концов государь и сказал Сазонову, что подумает, но на другой день Горемыкин в Совете министров передал распоряжение государя не поднимать «в настоящий момент» ни прямо, ни косвенно еврейского вопроса и американцам ничего по этому поводу не заявлять ни в положительном, ни в отрицательном смысле. После этого Сазонову, конечно, пришлось отказаться от всей своей затеи.

Нахимов дальше говорил, что Горемыкину государь высказывал свое недовольство постоянным вмешательством Сазонова во внутреннюю политику и заявил, что если бы мы пошли на уступки по еврейскому вопросу под давлением иностранцев, то это был бы «опаснейший прецедент» для последующего вмешательства иностранных посольств в русские внутренние дела. По-видимому, дипломатическая сторона вопроса, а именно то значение, которое имело бы новое направление политики русского правительства в отношении евреев для Североамериканских Соединенных Штатов, и тот факт, что оно могло бы не только содействовать вступлению их в войну на стороне союзников России, но и значительно ускорить его,— соображения, которым Сазонов придавал такое первостепенное значение,— все это совершенно не было принято во внимание государем.

Так и окончилась эта попытка вовлечь Северную Америку в войну уступками по еврейскому вопросу в августе 1915 г. Моя записка по еврейскому вопросу вернулась с делами Совета министров с карандашной пометкой Сазонова «отложено», и больше вопрос до Февральской революции не возбуждался. Составленный мною по-французски aide-mémoire,

переданный Арцимовичу, так и пошел без всякого политического «соуса», с одними фактическими данными — малоубедительными и недостаточно ярко свидетельствовавшими даже о беспристрастии и равном отношении ко всем русским подданным, независимо от исповедания и национальности, со стороны нашего ведомства. Конечно, если бы этот материал был преподнесен в документе, где более или менее ясно были бы высказаны обещания перемены общей политики в отношении евреев, то он был бы уместен. Здесь же он носил характер отписки по такому вопросу, по которому русское правительство явно не желало поднимать обязывающих его к чему бы то ни было разговоров. Не было даже сделано никакого намека на то, что война, скажем, мешает в настоящее время правительству поднимать сколько-нибудь щекотливые национальные вопросы. В. А. Арцимович тоже был подавлен этим оборотом дела, и, зная, насколько отрицательно правые круги при дворе отнеслись к выступлению Сазонова по еврейскому вопросу, я не был удивлен, что одним из первых шагов Штюрмера, когда он заменил Сазонова, было увольнение Арцимовича, хотя тот по своей должности был очень далек от политики, занимаясь главным образом вопросами хозяйственными и назначениями, да и то на младших дипломатических постах. Арцимович стал жертвой своей близости к американскому посольству, и правые были глубоко убеждены, что именно Арцимович «подстроил» все это американское выступление, чтобы получить затем пост посла в Вашингтоне, на который тот действительно метил.

Осложнения с Болгарией

«Осложнения с Болгарией» заключались в том, что военная партия и военные настроения в Болгарии росли в связи с ухудшением положения союзников на фронте и, в частности, Сербии. По донесениям нашей миссии в Сербии и по сведениям сербской миссии в Петрограде, Фердинанд только ждал, когда военное положение Сербии настолько ухудшится, что выступление против нее Болгарии будет абсолютно безопасным, что вопрос о выступлении Болгарии против нас уже давно решен в положительном смысле, что совершенно фантастично думать о возможности победы сторонников нейтралитета и единственное средство парализовать военно-стратегические

последствия этого болгарского выступления — это самим напасть на Болгарию, выбрав для этого подходящий момент.

В августе 1915 г. сербское правительство особенно настаивало на разрешении ему со стороны России и союзников напасть на Болгарию и быстрым и решительным ударом ликвидировать болгарскую опасность. Когда Сазонов узнал о планах Сербии, то он первым делом запросил нашего посланника в Софии Савинского, бывшего начальника канцелярии министерства иностранных дел при Извольском. Государю приписывали «mot»*, которое он будто бы произнес при назначении Савинского шталмейстером: «Ну вот у нас имеется и шталмейстерша» (намек на влечение Савинского к мужскому полу). Савинский не пользовался репутацией серьезного дипломата, но, кроме этого, он в то время был болен, и миссией управлял 1-й секретарь Саблер, сын бывшего обер-прокурора Святейшего Синода (впоследствии переименовавшийся в Саблера-Десятовского). По приезде всей нашей миссии в Болгарии из Софии в Петроград я познакомился с этим самым Саблером, которому пришлось вручать Болгарии ультиматум России о войне. Могу сказать, что из всего состава нашего ведомства это был самый забитый и запуганный чиновник. Достаточно было провести с ним 10 минут, чтобы понять, что такой человек физически не мог управлять русской миссией в Болгарии в такой момент. Все, что он мог делать,— это передавать тусклым канцелярским языком то, что ему говорили его болгарские собеседники. Кроме больного Савинского и Саблера было двое совсем молодых людей для шифра — и это все, дальше шел уже консульский состав.

Понятно, что при таком составе нашей миссии в Софии ждать толкового освещения того, что там делается, не приходилось. Тем не менее по обрывкам разговоров, которые передавал Саблер, да и под впечатлением действительно русофильски настроенной болгарской миссии в Петрограде Сазонов счел «бесчеловечным» и «братоубийственным» с точки зрения славянской план сербского правительства, самым решительным образом протестуя против мысли о нападении Сербии

* Высказывание, остроту *(фр.)*.

на Болгарию. Сазонов считал тогда, так же как отчасти и перед русско-турецкой войной 1914 г., что вина за войну должна всегда падать на противника и ни один из союзников не может без риска ослабления освободительного характера войны против австро-венгерско-германского милитаризма расширять из-за соображений военно-стратегической временной выгоды круг воюющих государств. Если же Сербия, государство-жертва, за которую в 1914 г. так великодушно заступилась Россия, теперь сама без очевидной всем необходимости нападет на Болгарию, то в глазах русского народа, проливающего кровь за Сербию, вся война примет действительно хищнический характер.

Напрасно сербская миссия в Петрограде и князь Григорий Николаевич Трубецкой из Белграда говорили и писали, что то, что возможно сейчас, через несколько месяцев или даже недель станет уже невозможным. Напрасно также давали Сазонову всякого рода фактические доказательства агрессивных намерений болгарского правительства и бесчисленных нарушений нейтралитета в пользу австро-германо-турецкого союза. Сазонов смотрел на этот сербо-болгарский конфликт с точки зрения роли России как общего протектора и арбитра славянских государств и в этот момент считал Сербию совершенно неправой. Конечно, помимо всех этих чисто идеологических соображений Сазонов просто не верил в возможность вступления Болгарии в войну против России, такая мысль казалась ему настолько чудовищной, что он никак не мог ее допустить и не верил сербским доказательствам вероломства Фердинанда, и когда он через Саблера решительно заявлял болгарскому правительству, что выступление Болгарии против Сербии вызовет объявление войны Болгарии со стороны России, то он совершенно искренне считал, что такая перспектива остановит Болгарию.

Сделав такого рода сообщение болгарам, Сазонов обратил всю силу своей энергии против Сербии. Он не только рекомендовал сербской миссии в Петрограде воздержаться от каких-либо мер, которые могли бы быть сочтены с болгарской стороны нападением, но и прямо заявил сербскому правительству, что Россия такой атаки не разрешает под угрозой сохранения

9 Зак. № 24

нейтралитета в сербо-болгарской войне, и в этом духе послал телеграмму Трубецкому в Белград.

Конечно, такая позиция России разрушала все планы сербского правительства и обрекала на гибель рано или поздно всю сербскую армию. Со стороны сербов, естественно, раздались вопли отчаяния, которые Сазонов, однако, подавил с беспощадностью. Я помню, как после одного из визитов сербского посланника Сазонов вышел в так наз. «чайную комнату», где между 5 и 6 часами собирались высшие чины ведомства пить чай (я как замещавший Нольде пользовался той же привилегией) и обсуждали политические новости дня, и, раздраженный до последней степени, отдал распоряжение А. А. Радкевичу сейчас же послать телеграмму Трубецкому в Белград, чтобы тот «нажал изо всех сил на сербское правительство», дабы прекратились всякие военные приготовления против Болгарии.

Отданный в такой абсолютной форме запрет Сербии выступить в августе 1915 г. против Болгарии и приказание ожидать нападения со стороны Болгарии имели следующие последствия: в начале октября н. ст., через два дня после того как австро-венгерские войска заняли Белград, Фердинанд объявил войну Сербии и перешел сербскую границу. Сербское правительство, находившееся всецело в руках России и союзников, не могло, конечно, ослушаться приказа Сазонова, но болгарское правительство хладнокровно перешагнуло через угрозу войны с Россией; действительно, все предсказания сербов и князя Г. Н. Трубецкого о предрешенности вступления Болгарии в войну против союзников в первый же подходящий момент оправдались, и при этом неожиданно быстро, через каких-нибудь два месяца. Вся последующая героическая и драматическая эпопея сербской армии, прошедшей со страшными потерями через Албанию, все ужасы голода и истощения, занятие Сербии неприятельскими войсками — все это, несомненно, последствия несчастного решения Сазонова воспрепятствовать нападению Сербии на Болгарию.

Потом, когда, к искреннему удивлению Сазонова, Болгария не испугалась угрозы войны с Россией и сама напала на Сербию, Сазонов во всем обвинил нашу миссию в Софии.

Саблер, неудачный вручитель русского ультиматума, был засажен в самый скучный отдел II (консульского) Департамента и не смел появляться на глаза начальству. Но на самом деле сам Сазонов был во всем виноват. Как это ни странно, но выходило, что государь был как будто прав: Сазонов слишком увлекался внутренней политикой, а во внешней совершил такую оплошность, допустив выступление Болгарии. Как бы ни оправдывать участие Сазонова во внутренней политике, этой болгарской ошибки ему при дворе не простили и, связав его настойчивость в еврейском и польском вопросах с невниманием в болгарском вопросе, вывели заключение, что Сазонов любит мешаться в чужие дела, а свои собственные ведет неважно. По моему мнению, Сазонов действительно в это время был крайне нервирован своими неудачами в борьбе с «ихтиозаврами» и недостаточно вник в сербо-болгарские отношения. Если же принять во внимание и весьма неудачный Лондонский договор в апреле 1915 г., где судьба славянских народов Австрии была решена им в высшей степени странно, то все вместе свидетельствует, конечно, об отсутствии у него ясных и точных планов и представлений о славянских отношениях в целом и значении славянского вопроса.

Сазонову, по его предшествующей общеевропейской дипломатической карьере, гораздо легче было найти верный тон отношений с Францией, Англией, Соединенными Штатами Северной Америки, и по миросозерцанию он, конечно, был «европеец», а не «ихтиозавр», но зато в славянском вопросе, как показал опыт, он не понимал ни балканских славян, ни западных, то есть народы Австро-Венгрии, за исключением разве поляков. Удивительно было и то, что, имея под рукой такого знатока Балкан и, в частности, сербо-болгарских отношений, как А. М. Петряев, который в течение ряда лет был русским консулом в Македонии и проводником европейских реформ и знал отлично всю этнографическую подноготную македонского вопроса, Сазонов ни разу за все время, предшествовавшее объявлению Болгарией войны, к нему не обратился. Таков был характер этого человека.

Чтобы не испортить отношений с К. Н. Гулькевичем, бывшим в это время начальником Ближневосточного отдела, Сазо-

нов предпочитал пользоваться Петряевым в вопросах будущей судьбы Австро-Венгрии, а по вопросу, в котором он был действительно специалистом, Сазонов даже не потрудился у него проконсультироваться. Потом, когда гроза уже разразилась, Гулькевич, нашедший, как я отметил выше, свое оправдание в том, что обвинил нашу миссию в Софии в предоставлении недостаточно верной и полной информации, получил пост посланника в Христиании, а А. М. Петряев был назначен начальником Ближневосточного отдела. Мой дядя Чарыков, узнав об этом назначении, сказал мне: «Я на этот пост прочил Петряева восемь лет тому назад». Надо было случиться такой катастрофе, как русско-болгарская война, чтобы, наконец, это назначение совершилось. Секрет того, почему так задержалось назначение Петряева, заключался в том, что Петряев был человеком self-made* и не имел никаких связей при дворе, а все его предшественники, вроде Гулькевича, например, этими связями обладали. Пост же начальника Ближневосточного отдела МИД по справедливости считался одним из важнейших в дипломатическом ведомстве.

Будни дипломатической службы

В августе 1915 г. под председательством В. А. Арцимовича было организовано междуведомственное совещание по вопросам, связанным с англо-французской конвенцией о призах, взятых совместно союзниками, к которой 20 февраля (5 марта) 1915 г. присоединилась и Россия. На этом совещании был рассмотрен и утвержден подготовленный мною законопроект о соответствующем изменении «Положения о призах». 10 августа этот проект, пройдя через Совет министров, был утвержден государем и получил законную силу. Хотя никакого особенно важного политического значения этот указ не имеет, но интересно то, что мы благодаря признанию английской гегемонии в морской войне вступили в полосу отказа от наших традиционных взглядов на морскую войну, ранее всегда противоположных английским.

Я при докладе дела Сазонову это отметил и указал на кроющуюся здесь опасность, но Сазонов, который никак не мог понять, какое значение это может иметь для нас в будущем,

* Всем обязанным самому себе *(англ.)*.

сказал мне: «В вопросах морских мы должны слепо следовать за англичанами, какую бы глупость они ни выдумали. Это вопрос стратегии». Почти ровно через год, придерживаясь этой тактики, мы вынуждены были отказаться от Лондонской декларации 1909 г. о морской войне, которая тогда (т. е. в 1909 г.) считалась крупной русской победой. Одновременно указом 10 августа были дополнены наши правила о контрабанде, опять-таки исключительно по английским образцам. К счастью, в этот момент такое подражание Англии не имело неблагоприятных практических последствий, оно могло оказаться для нас вредным только в будущем, так как Англия могла бы нас всегда парализовать «прецедентами 1914—1915 гг.», но это была такая техническая деталь, которой никто в МИД в то время не понимал.

Другой вопрос, гораздо более злободневный в то время, также стал уделом нашей Юрисконсультской части и потребовал деятельного участия Сазонова. Дело заключалось в ходатайстве французского посольства в Петрограде о пересмотре нашего законодательства о процентных государственных бумагах на предъявителя в связи с похищением германскими войсками при оккупации Германией Бельгии и северных департаментов Франции ряда облигаций у французских и бельгийских держателей русских бумаг. Бельгийская миссия и Палеолог настаивали на том, чтобы наше законодательство, рассчитанное на предъявителя, было изменено в том смысле, чтобы сохранить похищенные бумаги за их прежними французскими и бельгийскими владельцами. Для этой цели нам предлагалось произвести крайне сложную регистрацию этих бумаг в Государственном банке и перейти в конце концов с системы «на предъявителя» к именной системе.

Этот вопрос, возникший до моего управления Юрисконсультской частью, вел Нольде, и в особом совещании при министерстве юстиции рассуждали о том, как бы, не изменяя всего характера нашего законодательства,— реформа, которую невозможно было провести по причинам технического характера на территории всей Российской империи, и, кроме того, неизвестно было, как она отразится на доверии населения к государственным бумагам,— в то же время оградить инте-

ресы французов и бельгийцев. В результате весьма сложных прений был выработан компромиссный проект, вводивший частичную регистрацию у заграничных держателей государственных бумаг, в частности у французов и бельгийцев.

Это сложное юридическое дело, которому французское посольство и бельгийская миссия в Петрограде придавали, однако, большое политическое значение, было назначено к слушанию в Комитете финансов под председательством Горемыкина, где по закону представителем МИД являлся министр, то есть Сазонов. Получив накануне под вечер всю папку из канцелярии Совета министров, я, ввиду сложности дела и краткости времени, против обыкновения, взял все дело на дом и больше шести-семи часов читал толстый том, содержавший все протоколы заседаний этого совещания.

В 11 час. утра я уже докладывал дело Сазонову в присутствии Нератова. Сначала Сазонов слушал внимательно, но, узнав, что ему самому придется распутывать это сложное дело в Комитете финансов, где его оппонентами могут быть и министр финансов, и министр юстиции, категорически отказался ехать. «Я ничего в этом деле не понимаю и не согласен, как дурак, сидеть в комитете»,— таковы были буквальные его слова. На это я сказал Сазонову, что если он не поедет, то все дело провалится, так как и министерство финансов, и министерство юстиции против нас, а, с другой стороны, наши союзнические узы с Францией и Бельгией требуют внимательного отношения к интересам французских и бельгийских держателей бумаг.

Сазонов действительно вспомнил, как Палеолог совсем недавно настаивал на пересмотре нашего законодательства в этом вопросе. «А вы не можете ехать?» — спросил он меня. К этому вопросу я был готов и показал Сазонову Положение о Финансовом комитете, где всякое заместительство министра иностранных дел не допускается. Я ему сказал при этом, что Комитет финансов рассматривает только важнейшие в государственном отношении вопросы финансового характера и министр иностранных дел играет роль эксперта по международным отношениям России. Но Сазонов наотрез отказался ехать в комитет.

Походив несколько минут по кабинету, Сазонов наконец нашел выход, весьма для него типичный. Не ехать он не мог, так как и Франция, и Бельгия были слишком заинтересованы в этом деле, а ехать боялся, так как чувствовал свой тощий багаж юридических и финансовых знаний и не хотел попасть впросак. Выход, придуманный Сазоновым, заключался в том, что он, соединившись по прямому телефонному проводу с Горемыкиным и извинившись, что по дипломатическим причинам не может лично присутствовать на сегодняшнем заседании Комитета финансов, просил его развить и провести через комитет свою точку зрения.

Горемыкин, будучи в курсе дела, стал ему задавать вопросы, тогда Сазонов обратился ко мне, и мне пришлось пункт за пунктом изложить взгляд нашего министерства на этот вопрос, а Сазонов немедленно и текстуально каждое мое слово передавал Горемыкину. Так продолжался больше часа этот триалог, в котором на мою долю выпала роль суфлера. Когда он кончился, Сазонов обратился ко мне с вопросом: «Вы довольны?» Мне оставалось только поблагодарить Сазонова, который так точно и добросовестно передавал Горемыкину все, что мне пришлось надумать в течение позднего вечера накануне.

Когда я позже вспоминал этот необычный в петербургском бюрократическом обиходе диалог министра иностранных дел с председателем Совета министров «под суфлера», мне стали ясны и все ошибки и промахи Сазонова — в конце концов, за редкими исключениями, Сазонов слишком доверял своим ближайшим советникам — Шиллингу, Гулькевичу и другим и покрывал их мнения и взгляды своим огромным авторитетом. Думается мне, и в данном случае он мог бы вникнуть в дело сам и поехать в Комитет финансов, однако он предпочел использовать мой доклад непосредственно в разговоре с Горемыкиным, слепо веря в правильность моего понимания дела. Правда, как и всегда, если бы я что-то напутал, вся вина пала бы на меня, я это отлично знал и был благодарен Сазонову за такое отношение ко мне.

У меня была и carte blanche* по Юрисконсультской части,

* Полная свобода действий, неограниченные полномочия *(фр.)*.

и это было единственное, что я ценил. Беда заключалась в том, что каждый начальник отдела или директор департамента пользовался такой же безграничной властью в своей области, и так как состав ближайших сотрудников Сазонова определялся его личными симпатиями и вкусами, часто его обманывавшими, то получался разнобой, вроде, например, случая с русско-болгарской войной. «Общее руководство» отсутствовало, у Сазонова его заменял «нератовский фильтр», обычно процеживавший в деловом отношении все нужное. То, что почему-либо не попадало в этот фильтр, бывало полно неожиданностей.

Должен добавить, что мое управление Юрисконсультской частью ввиду моего возраста было таким противоречием со всеми традициями министерства, что когда я пришел как-то докладывать по делам Совета министров к Сазонову, то заменявший тогда А. А. Радкевича светлейший князь П. П. Волконский спросил меня с удивлением: «Как это могло случиться, что вы, такой молодой, докладываете министру? За всю мою службу я вижу это первый раз». У моих сверстников, работавших больше по шифровальной части, это вызывало и удивление, и естественную зависть, так как обычно движение в МИД было медленное и кандидатов на каждый сколько-нибудь заметный пост было больше чем достаточно. Поэтому неудивительно, что через два месяца моего управления Юрисконсультской частью появились желающие в ней служить, и Нольде пришлось впоследствии кое-кому из таких желающих отказать. Кроме того, Бентковский, директор II Департамента, через год назначенный сенатором, ненавидевший Нольде, который действительно оказался его преемником, вдруг перенес свою ненависть на меня и вступил со мной в явную борьбу.

Незадолго до своего отъезда Нольде разослал нашим миссиям и консульствам за границей циркуляр о свидетельствовании нотариальных актов в связи с изданными нами законами и распоряжениями касательно неприятельских подданных. Теперь в мое уже управление Бентковский разослал «контрциркуляр», ссылаясь на какое-то заключение Юрисконсультской части министерства юстиции. Оба циркуляра были скреплены подписью Сазонова. Полное недоумение за

границей, скандал. Бентковский конечно, скрыл от нашей Юрисконсультской части факт посылки контрциркуляра. Как только я об этом узнал, то, недолго думая, съездил в министерство юстиции, где у меня были друзья, получил на руки копию с заключения Юрисконсультской части министерства юстиции, на которое Бентковский ссылался, и, убедившись, что Бентковский сделал из него ненадлежащие выводы и «передернул», я доложил все дело Сазонову, заявив, что лишь временно управляю Юрисконсультской частью в отсутствие Нольде, но, защищая интересы дела, не могу допустить рассылки II Департаментом контрциркуляров по юридическим вопросам, в которых этот департамент ничего не понимает. Сазонов, авторитет которого, несомненно, подрывался наличием его подписи под противоречащими друг другу документами, страшно рассердился и по телеграфу отменил циркуляр Бентковского. Так слабости человеческой природы врывались в и без того сложную, напряженную и не всегда счастливую работу МИД в это горячее время.

«Щекотливый вопрос» внутренней политики

Перед самым приездом Нольде тот же Арцимович, которому так не повезло в еврейском вопросе, снова дал мне поручение из области чисто внутренней политики. Дело шло об изменении Положения о Государственной думе и Государственном совете в отношении «права интерпелляции», то есть права запросов. Арцимович мне сказал, что, по имеющимся у Сазонова сведениям, в думских кругах есть мысль о расширении права запросов у Государственной думы, что сам Сазонов очень сочувствует такому расширению и хотел бы внести соответствующий законопроект.

Я был очень удивлен не тем обстоятельством, что Сазонов этим вопросом интересуется, а тем, что он думает внести законопроект. Поэтому, когда Арцимович предложил мне составить записку и проект соответствующих изменений на основании парламентской практики западноевропейских стран, я ответил, что при всем моем сочувствии не представляю, как у Сазонова поднимется рука внести подобный проект в Совете министров, ведь там «ихтиозавры» его живьем съедят за такое вмешательство министра иностранных дел во внутренние дела. Я говорил на основании тех сведений, которые имел из кан-

целярии Совета министров насчет положения Сазонова в правительстве. На это Арцимович, довольно туманно, надо заметить, понимавший роль министра иностранных дел в императорском правительстве, ответил, что Сазонов еще не решил окончательно, в какой форме поднять этот «щекотливый вопрос», но что он его интересует и что ему важно «существо дела». На языке реальной политики это означало, что Сазонов, устав получать щелчки от правой части Совета министров, решил опереться на Государственную думу, которая когда-то, 26 июля 1914 г., по случаю начала мировой войны, оказала ему такое доверие и полную поддержку.

Зная по опыту, что Арцимович не решает самостоятельно такие вопросы, как изменение конституции, я в тот же вечер, будучи у Нератова в связи с очередными делами, между прочим сказал ему о поручении Арцимовича. Нератов был уже в курсе дела и ответил, что он об этом деле знает, придает ему значение, но считает, что Сазонову не нужно прямо в него впутываться и тем более вносить законопроект. Но вместе с тем он подтвердил поручение Арцимовича и просил одновременно показать мою записку также и ему. Характерно было то, к чему я уже привык за эти два месяца,— мне давались поручения такого серьезного характера без всяких «руководящих начал».

Что касается «расширения права запросов», то для меня как для юриста очевидно вставал вопрос: до какого предела? Ведь под этим расширением можно было ввести фактически и ответственность министров перед Государственной думой. При таком положении дела мне была предоставлена полная свобода действий, проистекавшая отчасти и из отсутствия точных и определенных намерений у Сазонова. Он, насколько я уже успел его изучить, не столько думал о какой-либо серьезной реформе конституционного характера, сколько просто искал сочувствия и поддержки в думских кругах.

Через три дня я представил Нератову и Арцимовичу два документа: 1) объяснительную записку, в которой излагалось право парламентских запросов в важнейших европейских государствах, как с парламентским режимом, так и с так наз. конституционно-дуалистическим, то есть без парламентской

ответственности, и 2) проект изменений действовавшего тогда права запросов Государственной думы и Государственного совета. В этом втором документе я руководствовался двумя соображениями: первое, что Основные законы, которые могли быть изменены только по инициативе государя, остаются неприкосновенными, и второе, что в пределах этих Основных законов Государственной думе предоставляется максимум прав в области интерпелляции правительства. Другими словами, не отступая от основного положения нашей конституции касательно ответственности правительства только перед монархом (о чем, конечно, Сазонов в это время не думал и для чего требовалось согласие государя), я проектировал возможность широкого контроля Думы над всеми действиями правительства, что являлось первой серьезной ступенью к парламентскому режиму.

Зная, с другой стороны, истинное положение дел благодаря знакомствам, образовавшимся у меня к этому времени в различных ведомствах, я лично мало верил в осуществимость и удачу «пробного шара» Сазонова, но, сочувствуя ему, старался облечь этот проект в такие формы, чтобы нельзя было придраться к тому, что «изменяются Основные законы». В объяснительной записке помимо права интерпелляций я коснулся и других способов контроля со стороны парламента за деятельностью правительства, как-то: «парламентских анкетных комиссий» и т. п. В проект изменений наших действующих правил я это не вносил, но на словах сказал Нератову и Арцимовичу, что если Сазонов захочет, то я могу это немедленно сделать. Оба ответили, что это «преждевременно, надо посмотреть, как пройдет вопрос о запросах».

На другой день при докладе дел по Совету министров Сазонов сам обратился ко мне по поводу моей записки и проекта о запросах и поблагодарил за обстоятельность изложения. Он сказал: «Мне теперь совершенно ясно, как нужно действовать». Я спросил его, не нужно ли дополнить проект другими положениями, о которых я упоминал в записке, но Сазонов сказал, что «пока» вполне достаточно и этого. Он при мне положил записку и проект в дела Совета министров, не для доклада, конечно, но, по всей вероятности, чтобы показать

их своим единомышленникам, из которых в это время главным был А. В. Кривошеин.

Продолжать это дело о думских запросах пришлось уже приехавшему в самом конце августа 1915 г. Нольде. Его приезду я обрадовался очень, так как вести всю эту ответственную и напряженную работу при таких тяжелых для положения Сазонова условиях в Совете министров было мне иногда прямо невыносимо. Нольде, получив от меня полный отчет во всех моих действиях, был сильно удивлен, что мне так много пришлось заниматься внутренней политикой. В особенности его поразило возбуждение еврейского вопроса и вопроса о расширении права запросов Государственной думы. По поводу поведения в этих вопросах Сазонова он сказал, что у него есть «столыпинская импульсивность» и что, вообще говоря, «Сазонов не трус», но что у него не хватает ни столыпинских талантов, ни столыпинского положения; что «Сазонов постоянно зарывается», забывая, что во главе правительства уже нет больше его свояка. Затем Нольде принял от меня все очередные дела и отправился к начальству.

Под вечер этого дня Нольде, вернувшись из сакраментальной «чайной комнаты», сказал мне, что он очень рад, что я «всем понравился» в ведомстве и что Сазонов очень меня хвалил за доклады по делам Совета министров и за скорость моей работы и ученость. Нольде, смеясь, сказал мне, что теперь я посвящен во все тайны бюрократической эквилибристики и стал крупным чиновником, что у меня нет никаких препятствий для карьеры в МИД и что он очень рад, что его выбор все одобрили. Этот милый разговор закончился получением отпуска на один месяц, так как, оказывается, В. М. Горлов заболел, и серьезно, в Швейцарии. Я имел право на более продолжительный отпуск, но, вопреки настояниям Нольде, считавшего, что я должен воспользоваться обычным двухмесячным отпуском, я, зная тяжелое положение Юрисконсультской части из-за количества работы, ограничился одним месяцем. Через два дня я уже прощался с Петроградом и ехал в Крым, где у нас под Севастополем были именьице и дача и где я не был с 1911 г., находясь в 1912—1914 гг. в заграничной командировке.

Сентябрь 1915 г.: настроения в армии

Этот месяц — сентябрь 1915 г.,— проведенный мною в Крыму, вдали от правительственного центра, но в центре черноморских военно-морских сил, где связь с фронтом благодаря беспрестанному приезду всякого рода военных на побывку или же на излечение была неизмеримо крепче, чем в Петрограде; где у нас за 15 лет нашего владения дачей образовалось немало местных связей, было много знакомых офицеров Черноморского флота и даже родственников в Севастополе; где, наконец, наша дача располагалась у устья реки Бельбек, в нескольких верстах от стоянки Л. Н. Толстого во время Крымской кампании и рядом с бывшим имением генерала Перовского, отца Софии Перовской, участвовавшей в убийстве Александра II (теперь это имение принадлежало наследникам бывшего управляющего Перовского Штаалям), в двух верстах от выстроенной перед самой войной батареи и в четырех верстах от гидро-авиационной школы,— все это сразу же после моего приезда дало мне полное и точное представление о том, что думают и чувствуют на фронте.

Должен сказать, что внешний вид Севастополя был в это время неузнаваем из-за необычного военного оживления, а также из-за всякого рода военных строгостей. Помню, как я однажды, гуляя по берегу моря на Бельбекском побережье и попав в запретную зону, о которой я, как сравнительно давно не бывавший в этих местах, не знал, был арестован каким-то вахмистром и, так как при мне, конечно, не было паспорта, отправлен, к большому удивлению моей матери, под эскортом к нам на дачу. Тут недоразумение выяснилось, и вахмистр с извинением удалился. Шпиономания была в полном ходу, и появление неизвестного для местных властей лица было достаточным поводом для ареста, несмотря на то что эти власти знали отлично и нашу дачу, и мою мать, и других членов нашей семьи.

Я сам за это время бывал на Южном берегу Крыма, да и к нам на Бельбек часто приезжали, и я был поражен единодушием оценки положения на фронте и в стране. Общий тон был не только пессимистическим, но и «революционным», хотя и в совсем другом смысле, чем это было в 1917 г. Я не слышал в это время рассказов о разложении фронта, о демора-

лизации солдат, об отсутствии подъема. Наоборот, несмотря на военные неудачи и отступления летом 1915 г., в отношении духа и состояния армии все обстояло благополучно, в особенности же имя вел. кн. Николая Николаевича пользовалось огромной популярностью и непререкаемым авторитетом, ему безусловно верили все сверху донизу, но, правда, вера этим одним именем и ограничивалась. Все остальные вожди армии по сравнению с верховным главнокомандующим отступали на второй план.

Но то, что я называю «революционным» настроением 1915 г. в самых широких офицерских кругах и обществе, было самое недвусмысленное отношение к царю и в особенности к царице в связи с Распутиным, а засим и к правительству. Надо, конечно, отметить, что в 1915 г. кадровые офицеры, хотя и не были уничтожены, но были совершенно задавлены огромной численностью новоиспеченных прапорщиков и офицеров запаса. Вчерашние штатские задавали в значительной степени тон всей армии, в особенности в смысле настроений политического характера. Но гораздо важнее было настроение старых офицерских кадров, которые в это время выражали свои чувства с совершенно необычной для профессионального военного откровенностью.

Мне особенно врезался в память один разговор, уже на обратном пути моем в Петроград, с моим старым знакомым, типичным военным доброго старого времени, презиравшим политику, гвардейским полковником Мезенцовым, который мне прямо сказал, что «государь ведет страну к катастрофе» и что «поголовно все так думают на фронте и даже в Ставке». Что понимал мой собеседник под словом «катастрофа», я думаю, было не совсем ясно ему самому, но гибельность пути, принятого царем и правительством, была ему совершенно ясна.

Он говорил, что нельзя требовать от страны величайшего напряжения в этой войне и в то же время продолжать «политику реакционных дрязг», что авторитет Государственной думы очень силен в армии, но что нельзя на этом останавливаться, после войны-де необходимы «настоящая конституция» и «настоящая свобода», что германофильство высшей придворной

бюрократии и самого двора делает невозможной победу, что надо искоренять измену «начиная сверху», что «государь — обреченный человек» и что ему «все равно войны не выиграть, так как он никому не верит и ему никто не верит».

В особенности же боялся Мезенцов (да и все, кого я встречал из военных) смещения Николая Николаевича и главного командования государя. С совершенно недопустимой в устах гвардейского офицера прежнего времени несдержанностью говорил он об этой возможности. Он приводил мне тысячи примеров, показывавших, что государь наш не только не годится в полководцы, но что с этого момента вместо главного командования будет «пустое место», что интриганство, в корне пресеченное Николаем Николаевичем, при государе расцветет самым пышным цветом, что «протекция и непотизм» поглотят все личные заслуги и что никто не гарантирован от «сепаратного мира с Германией, когда государыня добьется устранения Николая Николаевича».

Многое, что говорил Мезенцов, я слышал в это время в тысячах вариаций, очень часто в явно легендарной и даже суеверной форме, так, например, не раз, и при этом от вполне почтенных старых военных, я слышал, что после каждого приезда Александры Федоровны в Ставку мы на фронте терпели поражение; об отношениях, самого грязного свойства, Распутина ко всей царской семье с ведома и попустительства государя говорили все, хотя, как известно, это и не подтвердилось. Все эти признания кончались стереотипно: «Расскажите об этом в Петрограде».

В Петрограде знали о настроениях армии, но не придавали этой армии никакого политического значения, а между тем я, например, только очутившись совершенно вне петербургско-бюрократической самоуверенности, в Крыму, почувствовал, какая непроходимая пропасть была между общественными и военными настроениями 1914 г., в момент начала войны, и теперь, год спустя. Правительственный же Петроград все еще оставался под впечатлением национального единства 1914 г., и когда я в начале октября 1915 г. вернулся в Петроград и раскрыл опять ведомость дел Совета министров, то мне

иметь с ним дело в связи с правонарушениями, которые позволяла себе Турция на Черном море, то мне стало ясно почему. Петряев, человек большого консульского опыта на Востоке и солидных знаний, настолько выделялся из среды его сверстников, что, попав на видный пост начальника Ближневосточного отдела, мог, как нетрудно было предвидеть, пойти и дальше. Вместе с тем это был довольно редкий пример перехода из консульской службы на дипломатическую, и в случае удачи он стал бы весьма опасным прецедентом для всей существовавшей в министерстве системы прохождения службы, основанной на полном разделении двух карьер — дипломатической и консульской. Обычный тип безукоризненного в светском отношении дипломата с весьма легким багажом знаний и настоящего политического опыта грозил замениться менее блестящим в салонном смысле, но гораздо более приспособленным к современности типом людей, обладающих и достаточными теоретическими знаниями, и практическим опытом — не только дипломатическим, но и консульским.

Петряев, кроме того, имел неосторожность открыть карты в отношении своих намерений в будущем, потребовав от своих подчиненных молодых секретарей составления периодических докладных записок по отдельным вопросам, касающимся международных отношений на Ближнем Востоке, с соответствующими статистическими данными и историческими обследованиями. Эти новшества ясно говорили о недовольстве Петряева существующей постановкой дипломатической службы и угрожали в случае дальнейшего его успеха по службе превратиться в настоящую реформу министерства. Даже такой просвещенный человек, как Нольде, довольно скептически относившийся к существовавшим у нас порядкам и сам выработавший превосходный проект реформы МИД, оставшийся из-за войны 1914 г. под сукном, находил, что Петряев «перебарщивает» и грозит нарушить все традиции ведомства.

По всем этим причинам вокруг Петряева, несмотря на его высокий пост, сложилась враждебная коалиция остальных высших чинов министерства, которая не давала ему дальнейшего хода при царском правительстве. Надо к тому же добавить, что у Петряева не было никаких связей при дворе, и если

10 Зак. № 24

он все же удержался впоследствии, при появлении Штюрмера, то объясняется это тем, что положение дел на турецком Востоке требовало наличия в составе ведомства во всех отношениях надежного специалиста, а таким был только Петряев. Это довольно странное положение Петряева как человека, с одной стороны, необходимого, а с другой — маложелательного для правящего кружка в ведомстве, делало для него совершенно невозможным простирать свое влияние за пределы Ближневосточного отдела, а в составе отдела ему не позволялось проводить никаких перемещений личного состава.

Только при Терещенко, став товарищем министра, Петряев получает возможность приняться за реорганизацию ведомства как в смысле личного состава, так и всей постановки службы, но довольно скоро эта энергичная реформа Петряева прерывается октябрьским переворотом большевиков. Нет сомнения, что если бы Сазонов послушался Петряева осенью 1915 г. и предпринял серьезное преобразование ведомства, то к 1917 г. мы имели бы возможность получить действительно прекрасно оборудованный в техническом отношении дипломатический, как центральный (который не был уж вовсе плох), так и заграничный (который был совсем неудачен), аппарат и наши переговоры с союзниками касательно их участия в войне в этот тревожный год велись бы на надлежащем уровне. Так как этого не случилось, то в министерстве в связи с появлением Петряева на посту начальника Ближневосточного отдела ничего не произошло, кроме исчезновения Гулькевича.

Скажу здесь то, что было секретом Полишинеля в ведомстве: состав его был в конце концов далеко не безнадежно плох, но только размещение на местах было проведено вопреки самому элементарному здравому смыслу. Вот почему и Государственная дума, и даже другие ведомства считали наше министерство совсем не отвечающим потребностям времени. Лично я до моих деловых сношений совсем почти не знал Петряева и был приятно поражен его незаурядно серьезным отношением к делу. Работать с ним было легко и даже весело, так как эту работу он знал и отдавался ей целиком. Позже, когда он стал товарищем министра, мои отношения с ним

продолжались в том же духе, как и прежде, что вообще было чрезвычайно типично для Петряева.

Протеже Распутина

Здесь уместно коснуться вопроса об отношении к нашему ведомству Распутина. К этому времени, то есть к концу 1915 г., как я сказал, положение Сазонова в связи с его «либеральничаниями» по польскому, еврейскому и думскому вопросам и в связи с неудачами на Балканах сильно пошатнулось как при дворе, так и в Совете министров. Несколько раз по министерству распространялся слух касательно ухода Сазонова. Назывались разные кандидаты и между ними мой дядя Чарыков. Горлов, вернувшийся, наконец, из Швейцарии в совершенно неузнаваемом виде, больной на ревматической почве, с трудом владевший своими ногами, но по-прежнему в полном курсе того, что делается в петербургских бюрократических кругах, прямо говорил мне, что министром вместо Сазонова будет или Чарыков, или же какой-нибудь аутсайдер, имени которого он, однако, не знал.

В связи с этим ухудшением положения Сазонова Распутин как-то приблизился к нашему министерству. До этого времени я не помню случая, когда бы Распутин прямо обратился к Сазонову или в министерство. Влияние на внешнюю политику оказывал иными путями: через государя, государыню, придворных. Официально Сазонову не приходилось с ним иметь никакого дела, и он мог закрывать глаза на его существование.

Однажды на придворном приеме Палеолог или Бьюкенен, указывая на странную фигуру Распутина, ожидавшего вместе с придворными выхода государя, обратились к Сазонову с вопросом: «Кто это?» Сазонов ответил: «C'est un saint»*. Конечно, и Палеолог и Бьюкенен отлично знали о Распутине и могли догадаться и сами, но их интересовало, по-видимому, отношение к нему Сазонова. Если Сазонов имел смелость так говорить иностранным, хотя бы и союзным, послам, то в своем кругу в министерстве он не стеснялся и называл вещи своими именами.

В период, о котором я сейчас говорю,— в конце 1915 г.,

* Это святой *(фр.)*.

к нему пришел какой-то чиновник министерства внутренних дел, пожелавший «по личному делу» видеть Сазонова. Чиновник стал просить у него какого-либо дипломатического поста за границей, и когда удивленный Сазонов спросил его, какое он имел раньше отношение к дипломатической карьере и знает ли он о существующих правилах приема в дипломатическое ведомство, по которым лица старше 27 лет (а просителю было за 40) не принимаются, а из других ведомств не принимаются вообще, чиновник вынул записку от Распутина и дал Сазонову, ни слова не говоря. Эту записку Сазонов сохранил, и она ходила по рукам у высших чинов ведомства.

Видел эту записку и я — на клочке почтовой бумаги хорошего качества карандашом широким мужицким почерком было нацарапано сверху: «енералу Сазанаву», а внизу: «устрой милай дарагой прашу» и подпись «Григорей». Эти несколько неровных крупных строк несомненно принадлежали Распутину, как удостоверили некоторые наши чиновники, знавшие его руку. Сазонов, прочтя записку с самым невозмутимым видом, спросил, от кого эта «безграмотная мазня». Тот вытаращил на Сазонова глаза и стал говорить, что это от «старца». Тогда Сазонов сказал, что он никакого «старца Григория» не знает. Изумленный чиновник, наконец, прямо назвал Распутина. Сазонов тогда в том же бесстрастном тоне заметил, что он в первый раз слышит эту фамилию. Обомлевший от такой смелости Сазонова чиновник ушел, оставив на руках у Сазонова этот документ, впоследствии хранившийся в канцелярии министра иностранных дел.

Само собой разумеется, этот инцидент сейчас же стал известен всему министерству и вызвал панику. Все, конечно, одобряли поведение Сазонова, но его отказ в такой форме рождал тревогу за будущее, так как было очевидно, что оскорбленный чиновник, несомненно, донесет Распутину. Инцидент не имел непосредственных последствий, чиновник больше не появлялся в министерстве и никаких собственноручных записок Распутина больше Сазонову не посылалось, однако такое прямое обращение Распутина к министру иностранных дел было крайне симптоматично, и распутинская история сделалась самой оживленной темой бесед в министерстве.

Как-то вскоре после этого инцидента Нольде устроил у себя завтрак с некоторой помпой, в отличие от завтраков «запросто», то есть со всей своей семьей, на которых я время от времени у него бывал. Были приглашены А. Н. Мандельштам и я, были Нольде и его жена (урожденная Искрицкая, сестра члена Государственной думы от Черниговской губернии). За столом сначала по-французски, а потом почему-то по-русски, несмотря на прислуживавшего лакея в белых перчатках, начался столь типичный для Петрограда в это время разговор о Распутине. Мандельштам прямо заявил, что у него есть доказательства личной связи государыни с Распутиным, Нольде рассказал, как он налетел во время одного светского визита на «мужика, который пил за чайным столом водку», и когда он узнал, что это Распутин, то ушел, не попрощавшись с хозяйкой дома. Баронесса говорила о том, как Горлов на днях обедал в одной аристократической семье и сидел рядом с Распутиным, причем каждый из них, то есть Горлов и Распутин, говорил друг другу «ты». Я рассказал про одного моего родственника, который в каком-то писчебумажном магазине среди открыток нашел фотографию Распутина в кругу его светских почитателей на коленях у его знакомой, княгини К., причем все были в самых невероятных позах. Он приобрел фотографию за 50 коп. Я сам видел эту фотографию, под которой мой родственник подписал фамилии тех, кто был на ней снят — все из высшего бюрократического круга. Затем я передал свои крымские впечатления, являвшиеся, несомненно, отражением настроений фронта.

Нольде говорил о том, как «деморализовано русское общество», что он знает не только чиновников, но и профессоров, которые не гнушаются выпрашивать у Распутина то, что им нужно, и что в Петрограде скоро один Сазонов не будет «признавать» Распутина, но в конце концов это кончится печально для царской семьи, так как у него в имении в Рязанской губернии простые мужики спрашивали, правда ли, будто царь ушел в монастырь, а мужик Гришка живет с царицей и управляет за царя и будто «настоящий царь» дал ему «запись» на царствование и пр. На это Мандельштам стал возражать, что так всегда было и будет, что двор и монархи не только у нас в России,

но и в Западной Европе, не исключая и Англию, знают примеры подобных Распутиных и тем не менее никакой опасности для династии это не представляло. Нольде не соглашался с Мандельштамом, он сослался на одну книгу, в которой указывалось, как за одно XIX столетие повысились требования подданных к своим монархам, и то, что еще совершенно не осуждалось в XVIII в., стало невозможным для монархов XIX столетия.

Кончился этот разговор в крайне минорном тоне, так как ни у кого не оставалось никакого сомнения: распутинская история приняла такие размеры, что скрывать ее от кого бы то ни было стало невозможно; что, несомненно, это отражается и на политике, и на войне и что тень брошена на всю царскую семью, в особенности же царских дочерей; что для простого народа эта сторона крайне опасна. А когда после завтрака мы все перешли в кабинет Нольде, то он сказал, что иностранные посольства и миссии в Петрограде имеют специальных лиц, «аккредитованных» при Распутине, и что они следят и интересуются им больше, чем государем; что Сазонова послы и посланники стараются поймать врасплох каким-нибудь вопросом о Распутине; что Сазонову очень трудно и он не всегда «сдерживается».

Говоря о Сазонове, Нольде не без язвительности заметил, что он скорее умрет, чем заключит сепаратный мир с Германией, и что Сазонов «более лоялен, чем умен в политике». Открытая вражда к Сазонову, так ярко сказавшаяся впоследствии у Нольде в связи с его общими германофильскими симпатиями и его отношением к войне, в эту эпоху только иногда проскальзывала, но чего не скрывал Нольде, так это своего изумления перед «невежеством» Сазонова в общегосударственных делах. Он удивлялся, как такой человек мог быть министром и так категорически высказываться по всем вопросам в Совете министров. Мандельштам, смеясь, сказал, что «всякий министр имеет своего Нольде». Про Нератова Нольде заметил, что он очень внимательно читает все бумаги в министерстве, но за 30 лет службы, как говорят его самые близкие друзья, не прочел ни одной книги. Нольде говорил не без горечи, так как при столь легковесном составе высшего начальства

ему было особенно тяжело получить отказ в своем домогательстве посланнического поста за границей.

Перемены в Юрисконсультской части

Наступил 1916 г., принесший нам двукратную смену министров. Начался этот последний год царского дипломатического ведомства с перемен как раз в нашей Юрисконсультской части. А. К. Бентковский, директор II Департамента, ведавшего главным образом консульскими делами в Европе и Америке, до такой степени скомпрометировал себя своим невежеством в международном праве и постоянным интриганством против Нольде, что Сазонов, не любивший, вообще говоря, всякого рода перемещений в высшем составе, вынужден был наконец решиться выбрать между Нольде и Бентковским. Предпочтение было оказано Нольде, Бентковский был смещен с поста директора II Департамента, и ему, несмотря на все его провинности, предложили место посланника в Бразилии или в иной, второстепенной, впрочем, стране, так как на более видный пост он явно не годился. Бентковский отказался. Тогда его сделали сенатором. Несмотря на эту все-таки почетную отставку, Бентковский не явился для сдачи дел и вернул ключи Сазонову через курьера. Нольде был назначен директором II Департамента на место Бентковского.

Место начальника Юрисконсультской части, которую Нольде сумел сделать одной из самых важных пружин ведомства, освобождалось. Как мне потом рассказывал Нольде, первым движением Сазонова было предложить меня на это место, так как Горлов, больной и почти не принимавший участия в работе Юрисконсультской части со времени своего отъезда в Швейцарию, просил о назначении за границу, да и за отсутствием академического ценза не годился на такой пост. Но, предложив меня, Сазонов сам скоро испугался, так как, по тогдашним понятиям, у меня было менее двух лет службы и возраст, не дозволявший думать о назначении на «генеральское место», то есть равное месту директора департамента. К этому прибавлялось и то, что при подобном назначении я сравнялся бы в служебном отношении с Нольде, то есть то, чего он достиг за 20 лет службы, я получил бы меньше чем за два года. Все это представляло такое вопиющее нарушение всех традиций дипломатической службы и вызвало

бы такое волнение среди других служащих, что моя кандидатура была оставлена, с тем, однако, что меня решили назначить на место Горлова (равнявшееся вице-директору департамента), как только тот получит заграничное назначение (последнее случилось уже при Штюрмере).

С другой стороны, был естественный кандидат, который по своему ученому цензу и 25-летнему дипломатическому опыту, во всяком случае формально, ни в чем не уступал Нольде,— А. Н. Мандельштам. Однако, как это ни странно, никакого разговора об этой кандидатуре даже не поднималось, и если Сазонов еще колебался в вопросе о назначении меня на место Нольде в Юрисконсультскую часть, то по поводу Мандельштама он держался, как я уже отмечал, суеверного взгляда в отношении «несчастливой руки» последнего и категорически отказался иметь его в качестве своего ближайшего сотрудника. Эта явная несправедливость по отношению к Мандельштаму, который всю жизнь мечтал об этом назначении и который в свое время был потрясен тем, что вместо него в 1914 г. был назначен Нольде, со стороны других сотрудников Сазонова, например, Нератова, встречала сочувствие из-за... еврейского происхождения Мандельштама. В виде компенсации Мандельштам был на пасху 1916 г. произведен в чин действительного статского советника, что для доктора международного права едва ли было идеалом. Мандельштам, рассчитывавший занять место Нольде в министерстве, был так обижен тем, что этого назначения не получил, что уехал в Швейцарию и так и не возвращался в Россию до большевистского переворота 1917 г.

Приходилось, таким образом, искать людей вне ведомства, чтобы заместить Нольде. Последний рекомендовал профессора И. А. Ивановского, это было отвергнуто, и после долгих поисков остановились на beau-frére Нератова, профессоре Юрьевского университета Михаиле Ивановиче Догеле, международнике по специальности и сыне известного физиолога. Соображения, вызвавшие это назначение, которое имело самые пагубные последствия для нашей Юрисконсультской части и отразилось политически не столько при Сазонове, сколько при Штюрмере, заключались только в том, что Нератов и

Догель были женаты на родных сестрах (Молостовых, помещицах Казанской губернии). О его деловых качествах сам Нератов сказал, что «М. И. Догель неопытен в делах», и просил, чтобы я взял на себя руководящую роль.

Сразу же после этого неожиданного назначения мне пришлось познакомиться и узнать Догеля. После Нольде это, конечно, был для меня большой удар, так как, несмотря на то что по специальности мое новое начальство было моим академическим коллегой, я не мог не заметить, что его специальность ни в малейшей мере его не интересовала и что он уже давно перестал следить за литературой. Не обладая, кроме того, даром юридического анализа и находчивостью, лишенный привычки к труду и желания работать, Догель был любезным, хотя и несносно болтливым собеседником, который о самой незначительной бумажонке готов был дискутировать бесконечно.

Надо отдать ему должное, с первых же слов он дал мне carte blanche, и я не помню случая, чтобы в делах он мне в чем-либо противодействовал. Принимая во внимание болезнь Горлова, вся Юрисконсультская часть фактически очутилась на моих плечах, с тем, однако, неприятным обстоятельством, что на Догеле все же лежали некоторые обязанности, как-то: личный доклад по делам Совета министров, где я официально не имел права его заменять. Правда, я заготовлял «шпаргалки» Сазонову, а впоследствии Штюрмеру и Покровскому, но Догель их докладывал и часто путал. Сазонов сразу же обозвал его «микроцефалом» и попросил Нератова избавить его от догелевских докладов. Выход был найден в конце концов в том, что Догелю приходилось часто отлучаться в Юрьев, где он преподавал в университете административное право, или же бывать в Управлении по делам печати, где он исправлял обязанности цензора, и мне за его отсутствием приходилось замещать его и в этой функции.

Для Догеля его служба в министерстве была одной из синекур, которыми он любил пользоваться. Нератов нисколько не обманывался насчет деловой ценности Догеля, но, чтобы не допустить А. Н. Мандельштама, готов был терпеть при себе своего непригодного для работы родственника. О том,

как это отразилось политически, я скажу ниже при изложении штюрмеровского периода. Поскольку Сазонов не любил Догеля, тот не пользовался у него никаким авторитетом и во всех сколько-нибудь сложных вопросах Сазонов, не считаясь со служебной иерархией, обращался ко мне, минуя Догеля. Нольде, со своей стороны, видя мое незавидное положение, предложил мне перейти к нему во II Департамент, обещая быстрое движение и интересную работу.

Я все же остался в Юрисконсультской части, так как с отъездом Мандельштама Юрисконсультская часть с одним Догелем и Горловым, готовившимся уже к отъезду, просто погибла бы, а кроме того, несмотря на такой балласт, как Догель, в этой части силою вещей был нервный узел многих и многих политических решений, и работать здесь было поэтому неизмеримо интереснее, чем вершить консульские дела во II Департаменте. В результате я отказался, хотя Нольде и впоследствии несколько раз предлагал мне перейти к нему, и никогда в своем решении не раскаивался, так как опыт показал, что перемещение Нольде способствовало процветанию департамента, но мало отразилось на уменьшении политического веса Юрисконсультской части.

Комитет Стишинского

Одним из первых мероприятий правительства в 1916 г. было учреждение «Высочайшего комитета по борьбе с немецким засильем» под председательством члена Государственного совета, лидера правых Стишинского. Комитет этот, по идее, должен был быть образован из высших чинов правительства, министров и их товарищей, и стать центральной лабораторией всякого рода мер, направленных против немцев. Но неясность постановки дела заключалась в том, что, с одной стороны, провозглашалась решительная борьба с германским влиянием в России, а, с другой стороны, не определялось, что же под этим германским влиянием (или официально «немецким засильем») надо понимать. Официально ведению комитета подлежали все законы и распоряжения, издаваемые правительством против германских и австрийских подданных, причем для борьбы с двуподданством натурализация этих лиц не признавалась до третьего поколения включительно. В этом

отношении правительство, по всей видимости, было настроено крайне решительно.

Встал вопрос о праве германских подданных на судебную защиту. Это право было прямо оговорено в Гаагской конвенции о законах сухопутной войны 1907 г., и лишение их судебной защиты в России являлось, таким образом, явным нарушением международного права. Когда Сазонов спросил мое мнение по этому вопросу еще в 1915 г., то я сказал ему, что неправомерность лишения неприятельских подданных судебной защиты неоспорима, но вместе с тем я привел ему все постановления германского военного законодательства касательно права обращения в суд неприятельских подданных, которые фактически совершенно аннулировали их судебную защиту. Далее я сказал, что если Германия прибегнет к репрессалиям в этой области, для нас это не страшно, так как наши подданные в Германии при настоящих условиях лишены возможности обращения в германский суд. Оставалось, таким образом, принять в расчет только декларативную сторону и неблагоприятное впечатление, которое произведет такое правонарушение с нашей стороны на нейтральные государства.

Когда Сазонов убедился, что германский режим ничем не отличается от предположенного официального лишения германских подданных судебной защиты в России, он совсем перестал этим интересоваться, считая этот вопрос исключительно юридическим, и снял свои возражения. Этот мой разговор с Сазоновым имел место летом 1915 г., когда я замещал Нольде. Последний, однако, стоял на той точке зрения, что лишение немцев судебной защиты создаст затруднения для будущих русско-германских отношений. Это было основное противоречие во взглядах на задачи войны между Нольде и мной, и Сазонов, как Нольде его ни убеждал, остался пассивным. Дело было решено окончательно в Сенате.

Накануне «Новое время», занимавшее германофобскую позицию, опубликовало списки сенаторов с германскими фамилиями. Таких было огромное количество, и эффект этой публикации был тот, что Сенат подавляющим большинством высказался за лишение германских подданных судебной защиты. Нольде был сильно разочарован этим решением. Хотя

он не мог не знать фактического положения русских в Германии в это время, он часто после этого говорил, что «неполитично сжигать за собой мосты» и что «когда-нибудь да кончится война и надо будет снова налаживать отношения с Германией».

Укажу при этом, что германофобская кампания «Нового времени» была в этот момент настолько сильна, что Нольде обратился ко мне с конфиденциальной просьбой о том, чтобы я стал инициатором письменного протеста в газеты от группы чиновников МИД с русскими фамилиями касательно лояльности остальных чиновников, с иностранными фамилиями, которых в министерстве было большинство. Я, конечно, выразил свое согласие, хотя и был крайне удивлен этим предложением. Но вечером того же дня Нольде просил меня прекратить все шаги в этом направлении, так как Сазонов сказал, что считает совершенно недопустимым, чтобы одна часть министерства защищала публично другую часть. Он считал это «деморализацией ведомства». Излишне говорить, какое тяжелое впечатление произвело бы это выступление за границей, и хотя мне невозможно было в силу моих дружеских отношений с Нольде отказаться от этого предложения, в особенности ввиду слов Нольде, сказанных шутливо, но все же сказанных им: «...чтобы общество поверило, что мы не изменники», или вообще отговорить его от этого предприятия, но в душе я был очень рад отрицательному решению Сазонова.

Возвращаясь к деятельности «Комитета по борьбе с немецким засильем», должен отметить, что после первых же торжественных заседаний в Мариинском дворце и перехода к делу я встретил почти всех своих знакомых чиновников по прежним междуведомственным совещаниям о неприятельских подданных. Роль Стишинского свелась довольно быстро к обычной роли председателя подобных совещаний, и на деле комитет вместо боевой политической деятельности занялся административной и законодательной «вермишелью». Не только не было создано никакой общей политической программы в этом вопросе, но, наоборот, Стишинский, несмотря на все свое желание всех обворожить, тщательно избегал общих обсуждений вопроса. Главный пункт — относительно наших

Балтийских провинций — был самым решительным образом изъят из обсуждения. Таким образом, оставалось применять искоренительные меры только к натурализованным немцам и искать «стрелочников».

Петроградская бюрократия даже в момент войны с Германией не могла пойти на мужественное решение вопроса, так как она сама наполовину состояла из русских немцев. Поэтому работа комитета, несмотря на торжественность первых заседаний, не могла, в силу данного ей сверху задания не колебать основы существующего способа управления империи и в силу высшего личного состава бюрократии, привести к положительным результатам и утомляла своих членов бессодержательной казуистикой в рассмотрении индивидуальных случаев. Надо к тому же сказать, что Стишинский, человек петербургских привычек большого сановника, по образу жизни был «ночной птицей», то есть после заседаний комитета, начинавшихся официально в 8 час. вечера, а фактически около 9 час. и кончавшихся обычно в полночь, а часто и позже, ехал в клуб и играл там в бильярд до 6 час. утра. Причем, если говорить о периоде Штюрмера, тот в это время вставал и был, таким образом, полной противоположностью Стишинского.

В личных отношениях Стишинский был безукоризнен. В 1916 г. он был в апогее своего служебного положения, но политически его роль в комитете, которая могла бы стать исторической при ином отношении к этому учреждению правительства и самого Стишинского, заключалась в том, чтобы свести к минимуму всю «борьбу с немецким засильем» и служить предохранительным клапаном для националистической печати. Как будто правительство учреждением комитета объявляло решительную борьбу германизму в России, а на самом деле комитет сдерживал слишком усердных чиновников, которые могли понять à la lettre* широковещательные меры правительства против германских подданных. Учреждением этого комитета и участием в нем представителей МИД достигалась и дипломатическая цель — успокоить союзников насчет наме-

* Буквально *(фр.)*.

рений правительства в германском вопросе. По существу же, все, что делалось в этом направлении, делалось в других инстанциях, а комитет лишь исправлял те или иные частные решения.

Наше министерство к учреждению комитета отнеслось скептически и пассивно. Сам Сазонов, как я указывал выше, к искоренению немецкого влияния в России относился или равнодушно, или иногда враждебно, например в вопросе о немецком землевладении. Арцимович был на первом торжественном заседании и дальше перестал бывать, Нольде не был ни разу, хотя его назначили заместителем Арцимовича. Только я один представлял министерство, но, хотя мне не раз приходилось говорить со Стишинским о необходимости планомерной и объединительной деятельности, тот, улыбаясь, разводил руками и отвечал, что «сами ведомства виноваты — перегружают нас частными случаями, чтобы снять с себя ответственность». Однажды Стишинский сделал попытку освободить комитет от этих частных случаев, образовав особую подкомиссию для рассмотрения и подготовки всего материала, но доклад этой подкомиссии занимал центральное место на заседаниях комитета, и для общих мер и плана борьбы с германским влиянием оставалось мало времени к концу вечернего заседания, когда и без того все члены комитета, кроме Стишинского, были утомлены и дневной работой, и этим вечерним заседанием.

В силу всех этих причин комитет не оправдал своего названия и не использовал имевшихся у него на бумаге чуть ли не диктаторских полномочий. Нетрудно было догадаться, что слишком много личных интересов, созданных вековой дружбой с немцами, мешало правительству выступить с решительными мерами против германского влияния, но «Новое время» и его подголоски несколько умерили свой тон против правительства в связи с учреждением комитета Стишинского, тем более что во главе стоял такой благонадежный правый, как сам Стишинский, и в этом отношении цель правительства была достигнута. Комитет просуществовал до Февральской революции.

Сазоновская программа российско-польской унии

Польский вопрос в связи с объявленным в октябре 1915 г. намерением Австро-Венгрии и Германии дать Польше независимость и конституцию с монархической формой правления (причем оставался открытым вопрос о том, примкнет ли Польша к Германской империи на правах Баварии или Саксонии или в той или иной форме образует одно целое с Австро-Венгрией, Познань и Галиция определенно исключались из состава будущего Польского государства, которое, таким образом, составлялось только из русской части Польши) снова поднимался перед нашим правительством и нашим министерством.

По имевшимся у нас сведениям, не только местные поляки, оставшиеся под неприятельскими войсками в Царстве Польском, не были удовлетворены этим способом решения польского вопроса, но и польские деятели за границей, в особенности же во Франции, Италии, Англии и Североамериканских Соединенных Штатах, протестовали против остающегося расчленения Польши и связей с австро-германской коалицией. С другой стороны, провозглашенный 19 июля 1915 г. русским правительством принцип автономии всей объединенной Польши тоже не удовлетворял польских вождей, тем более что Царство Польское было занято неприятельскими войсками, а по опыту они знали, какую цену имеют заявления русского правительства. Из двух решений — фиктивной независимости части Польши под фактической властью либо Гогенцоллернов, либо Габсбургов или автономии всей Польши под русским скипетром — вероятно, большинство поляков предпочло бы второе, но трагедия заключалась в том, что поляки потеряли веру в обещания русского правительства по поводу автономии, которой они так добивались в годы перед войной в I, II и III Государственных думах.

Сазонов, получивший с таким трудом это заветное слово «автономия» от Горемыкина, делал искренние попытки в Петрограде, Париже, Риме, Лондоне и Вашингтоне, чтобы уверить поляков в незыблемости принятого русским правительством решения не вмешиваться более во внутренние дела Польши и раз и навсегда оставить химерическую систему «обрусения», но, к несчастью, поляки были слишком хорошо осведомлены

о том, что Сазонов по польскому вопросу находится в меньшинстве в правительстве и что министерство внутренних дел, например, по-прежнему настроено полонофобски, так же как и министерства народного просвещения, юстиции и другие не менее важные отрасли государственного управления.

Точно так же союзники, Франция и Англия в особенности, намекали Сазонову, что автономия Польши в настоящий момент недостаточна и что русское правительство, дабы завоевать симпатии всего польского народа, должно дать наглядные доказательства своих дружеских чувств. Сазонов формально возражал, указывая на оккупацию Царства Польского австро-германцами: сделать что-либо реальное невозможно, а в смысле деклараций воззвание вел. кн. Николая Николаевича к полякам и правительственная декларация 1915 г. говорят совершенно недвусмысленно о намерениях русского правительства в польском вопросе; что же до русского народа, то, продолжая борьбу с врагом за освобождение оккупированной Польши, он дает лучшее реальное доказательство своих освободительных стремлений.

Конечно, если бы все зависело только от Сазонова, он нашел бы возможность заставить поляков поверить в искренность русского правительства, так как сам он действительно вел твердую линию в отношении поляков, но после всех своих неудач, о которых я говорил выше, и в особенности после болгарской, его авторитет, и без того небольшой в горемыкинском кабинете, совсем упал. Поскольку Сазонов продолжал, однако, оставаться главой дипломатического ведомства, то при той разрозненности отдельных ведомств, которая столь характерна как для достолыпинского, так и для послестолыпинского периода, он располагал большими ресурсами для того, чтобы проявить свое расположение к полякам. Он сделал это в двух направлениях: 1) по его инициативе была предпринята и осуществлена широкая помощь русского правительства местному населению оккупированной части русской Польши через американский Красный Крест и 2) он разослал нашим представителям за границей подробные инструкции по польскому вопросу, содержавшие определенные данные о будущем устройстве Польши и долженствовавшие служить

гарантиями русского невмешательства во внутреннюю жизнь Польши.

Что касается помощи Красного Креста, то первое междуведомственное совещание по этому предмету состоялось в кабинете барона Нольде, тогда уже директора II Департамента, и под его председательством. Присутствовали представители военного министерства, министерств финансов, торговли и промышленности, юстиции, нашего Красного Креста, а также представители частей нашего министерства, ведавших так или иначе польским вопросом. От нашей Юрисконсультской части был я. Поражало отсутствие представителя министерства внутренних дел, которого не пригласили под формальным предлогом, что дело не имеет будто бы политического характера, а ввиду оккупации Царства Польского содействия местных русских властей не требуется. На самом же деле Сазонов, зная отрицательный взгляд этого ведомства на польский вопрос, не хотел вводить его в это дело. Тем не менее представитель министерства юстиции протестовал против помощи русским полякам, боясь, что она пойдет немцам. Остальные члены совещания высказались положительно, в том числе и представитель военного ведомства, поставивший, однако, условием гарантию американцев, что эта помощь действительно будет предназначена местному польскому населению, а не попадет каким-либо образом в руки германских властей. Американцы действительно такого рода гарантию дали, и русская правительственная помощь русским полякам была оказана, что, несомненно, содействовало установлению более тесных русско-польских отношений.

Что же касается дипломатических инструкций по польскому вопросу, то ввиду ухода Нольде из Юрисконсультской части (а по польскому вопросу Сазонов привык обращаться к нам), несмотря на свою личную антипатию к Догелю, министр все же обратился именно к нему. Для Догеля это была в то же время проба его политических способностей. Проба оказалась совершенно неудачной. Догель дня три что-то писал, изредка задавая мне те или иные вопросы из области польских дел, имевшихся в Юрисконсультской части, и затем отнес свою записку, переписанную от руки ввиду ее секрет-

ности, прямо Нератову, так как Сазонова он побаивался.

Надо сказать, что Догель был вообще человек весьма архаических взглядов. Жена его имела какое-то родственное отношение к Столыпину, и в период столыпинского всемогущества Догель в качестве родственника явился к Столыпину, как известно, широко размещавшему своих даже отдаленных родственников на все свободные и несвободные ответственные посты. Столыпин, как мне передавал Догель, предложил ему весьма видный пост, а именно начальника главного управления по делам печати. Догель чуть было не согласился, но Нератов, зная неспособность Догеля к какой бы то ни было серьезной работе, уговорил его отказаться. При этом Догель говорил, что даже Столыпин ужаснулся его политическому кредо, которое тот считал своим долгом ему развить.

Своими взглядами по польскому вопросу Догель мало чем отличался от Горлова, считая химерой польскую независимость. Все то, что Догель весьма пространно и неоднократно развивал в Юрисконсультской части, он преподнес начальству под видом «инструкции» Сазонова нашим заграничным представителям. При этом Догель знал точку зрения нашего ведомства на польский вопрос, но считал ее неправильной и наивно думал убедить Сазонова отказаться от нее. Дело закончилось крайне неприятными объяснениями Догеля не только с Сазоновым, но и с протежировавшим его Нератовым, нашедшим записку совершенно «невразумительной, несерьезной и противоречащей всему нашему поведению в польском вопросе». Он вынужден был передать ее Сазонову, а тот был до такой степени возмущен содержанием записки, что, несмотря на нарушение иерархического начала, передал ее Нольде «для исправления». Но тот, в свою очередь, отказался ее исправить ввиду совершенного несогласия со взглядами Догеля. Кончилось это тем, что записка была возвращена через Нератова Догелю с соответствующими пояснениями нелестного характера, а Нольде было поручено составление инструкций, которые и были затем разосланы за границу и служили до Февральской революции программой русского правительства вовне для решения польского вопроса.

По этим инструкциям русский император должен был быть польским королем (царем) в качестве главного звена неразрывной реальной унии России с Польшей. Польша должна была иметь собственные законодательные учреждения и участвовать в общеимперском бюджете по военным расходам, иностранным и финансовым делам, а также в том, что касалось путей сообщения, двора и цивильного листа императора. В остальном Польша имела свой собственный бюджет. Армия, казначейство и финансы, управление путей сообщения, иностранные дела, министерство двора и некоторые учреждения вроде главного управления уделами должны были быть общими. Во всех остальных отношениях Польша могла совершенно не зависеть от русских учреждений и русского правительства. Однако ввиду опыта с Финляндией устанавливалось полное равенство прав русских и польских подданных, и в известных случаях, то есть когда, например, проводились новые законы, требовавшие так или иначе содействия русских властей или же общеимперских средств, для этих законов необходима была санкция русских законодательных учреждений.

Инструкции эти, несмотря на свой радикализм, делавший из будущей Польши не столько автономные земли Российской империи, сколько полуфедеративное государство, конечно, оставляли много вопросов неясными. Они, например, устанавливали участие польских представителей в общеимперских законодательных учреждениях, но совсем не говорили о разграничении компетенции между польскими и общеимперскими законодательными палатами, за исключением вышеотмеченного. Во всяком случае, основные пункты были ясны — общая армия, общая граница, финансы, дипломатия, пути сообщения (на этом пункте настаивали военные, и об этом наше министерство было предуведомлено), двор, уделы и неразрывная связь между Россией и Польшей под одной и той же династией.

Инструкции сознательно умалчивали о внутренней границе Польши с Россией — этнографический принцип был выдвинут уже Временным правительством в связи с воззванием к полякам 15 марта 1917 г. До того времени эти инструкции были

действительны не только при Сазонове, но и при Штюрмере и Покровском, причем отдельным дипломатическим представителям были даны указания в зависимости от обстоятельств подчеркивать те или иные места, в особенности же было рекомендовано успокаивать поляков касательно парламента, польских административных учреждений, полной свободы в отношении языка, просвещения, религии, но категорическим образом ограждались права русских в Польше, в частности русское землевладение должно было остаться в прежнем виде, что должно было быть обеспечено соответствующими положениями в будущей польской конституции.

Слова «польская конституция» прямо упоминались в инструкции, и это был геройский акт со стороны Сазонова, знавшего, что если бы эта инструкция попала в Совет министров, то вызвала бы там бурю возмущения. Но в своем ведомстве, по тогдашней традиции, Сазонов был полным хозяином, чем он и воспользовался для проведения своих взглядов в польском вопросе.

Неудача Догеля в польском вопросе повлекла за собой фактическое устранение его от всяких сколько-нибудь важных политических дел, так как показала его полное неумение ориентироваться в политике ведомства. При Сазонове Догель, таким образом, стал фиктивным начальником Юрисконсультской части, и Сазонов во всех затруднениях обращался или к Нольде, или ко мне.

Образование Славянского стола. Приклонский

Здесь нельзя не коснуться другого чрезвычайно важного момента, случившегося под самый конец сазоновского правления, а именно образования Славянского стола в составе нашей канцелярии министра и I Политического отдела, ведавших европейскими и американскими политическими делами. До этого времени в составе нашего ведомства не было ни одной части, ни одного отделения, ни одного даже стола, которые ведали бы славянским вопросом как таковым. Это объяснялось прежде всего территориальным распределением компетенций (I Политический отдел заведовал дипломатическими сношениями Европы, Америки и Африки, II, III и IV, образовавшиеся из бывшего Азиатского департамента,— Ближним, Средним и Дальним Востоком), но, с другой стороны, и дип-

ломатическими соображениями: царское правительство до войны не желало иметь такой славянский отдел, который был бы явно направлен против Австро-Венгрии и Германии. Но если до войны 1914 г. можно было объяснить отсутствие славянского отдела, то после начала войны такое отсутствие было совершенно необъяснимо.

Помню, когда я после поступления на службу в сентябре 1914 г. знакомился с распределением компетенций, я был поражен, что в составе министерства нет ни одной части и даже ни одного лица, которые занимались бы славянским вопросом, а между тем вся заграничная, да и наша большая пресса совершенно справедливо считала этот вопрос центральным для всей внешней политики России. Славянский вопрос как таковой не существовал в МИД, несмотря на то что русские войска уже почти два года вели с австро-германской коалицией кровопролитную войну, единственное оправдание которой в глазах всех иностранных политиков и русских общественных деятелей, помогавших правительству, заключалось в освобождении западных славян от тевтонского и мадьярского ига.

Рутина и все традиции дружбы с Германией и Австрией были сильнее здравого смысла, и славянский вопрос был в ведении разных отделов — балканскими славянами заведовал Ближневосточный отдел, славянскими народами Австро-Венгрии ведала в общей массе всех других европейских дел канцелярия министра (I Политический отдел), польским вопросом занимался вперемежку с массой других дел Нольде. Наиболее упорядоченной частью славянского вопроса были, конечно, балканские славяне — здесь в составе II Политического отдела (Ближневосточного) имелся Болгарский и Сербский стол. Наименее упорядоченным был вопрос о славянах Австро-Венгрии. Когда разразилась война, то Шиллинг, незнакомый с этим вопросом, использовал Петряева для этой цели, но никаких чешских, хорватских, словенских столов не было образовано, а А. М. Петряеву было поручено дать общий историко-политический обзор со статистическими и географическими данными всей Габсбургской империи.

По выполнении этой работы, опять-таки в составе кан-

целярии, никому специально не было поручено заняться славянами, находившимися под Австро-Венгрией, и когда, наконец, весной 1915 г. в связи с заключением Лондонского договора 26 (13) апреля о вступлении в войну Италии решалась участь Хорватии, Далмации, Боснии и Герцеговины, то есть значительной части западного славянства, то у Сазонова было много советников вроде Шиллинга, Базили, Гулькевича, Нольде, Петряева, но никто из них не рассматривал вопрос под общеславянским углом зрения. Один Петряев считал необходимым включить в Лондонское соглашение статьи о Чехословакии, но его слабо поддержал Нератов, и, как я отмечал выше, Лондонский договор молчит о чехах и словаках. Наконец, как показал 1915 г., когда России был обещан союзниками Константинополь, в то самое время по Лондонскому договору Россия отдавала Далмацию Италии, а хорватов отделяла от сербов и умалчивала о Чехословакии.

Сазонов вел внешнюю политику прежними традиционными путями Нессельроде и Горчакова, видя в Константинополе главную цель войны, и настолько мало разбирался в международной обстановке войны, что не видел необходимости в выделении славянского вопроса в целом. Отсюда и получался разнобой, к каждому из славянских народов применялись разные мерки. Мало того, из болгарской катастрофы можно было видеть, что и на Ближнем Востоке Сазонов не учитывал реальное положение вещей и был слишком доверчив в отношении таких сотрудников, как Гулькевич, например. Правая рука Сазонова, его любимец и доверенный — Шиллинг и его ближайший помощник Базили не знали, не понимали и не желали ставить славянский вопрос. Все эти люди средних способностей, игравшие такую роль при Сазонове, были воспитаны в прежних традициях, где славянский вопрос считался как таковой исключенным из круга задач внешней политики России.

Сам Сазонов, кроме польского вопроса, в отношении остальных славян не смог подняться до принципиальной постановки проблемы так, как этого требовали обстоятельства, и хотя он обладал несомненным мужеством вне своего ведомства, но в министерстве был целиком в плену у своих сотруд-

ников. Человека, которого он с успехом мог бы использовать для надлежащей постановки славянского вопроса, А. М. Петряева, он мало слушался до болгарского выступления, а после этого, определив его в Ближневосточный отдел начальником, никогда не советовался с ним вне круга непосредственно балканских дел. Главным советником до самого его ухода из министерства оставался Шиллинг, совершенно индифферентный к славянскому делу. Нератов не был человеком инициативы, но все же он в славянском вопросе был более чуток, чем Шиллинг или же Нольде, занимавшийся польским вопросом, но не увлекавшийся никакими панславистскими иллюзиями, которые, по его мнению, противоречили правильно понятым интересам России. Нольде не раз в беседах со мной восторгался политикой Нессельроде, который, как известно, не был славянофилом.

И если все же, несмотря на столь равнодушную атмосферу, в МИД мог образоваться Славянский стол, то произошло это благодаря двум случайно совпавшим обстоятельствам, не имевшим никакого принципиального характера. Первым из них было то, что появление Нольде во главе II Департамента, где дела при Бентковском находились в крайне запущенном состоянии, привело не только к новой постановке дела, но и к некоторым личным переменам, давно назревавшим. В частности, два вице-директора департамента — Березников и Вейнер — покинули департамент, а вместо них были назначены А. А. Доливо-Добровольский и князь Л. В. Урусов. Ушли некоторые начальники отделений, не пожелавшие оставаться при Нольде, да тот их и не удерживал, считая виновниками запущенного состояния дел в департаменте. Таким образом, оказался известный свободный состав служащих, которых надо было так или иначе разместить. Кое-кому были даны заграничные назначения, но часть оставалась не у дел. Вторым обстоятельством было появление в Петрограде нашего бывшего консула в Будапеште Приклонского, считавшегося знатоком Австро-Венгрии. На этой личности, которой суждено было сыграть такую значительную роль во внешней политике России в славянском вопросе, следует остановиться.

Приклонский, человек уже пожилой, имевший некоторые связи при дворе, где он носил звание камергера, был, что называется, «славянофилом» в старом смысле слова. У него был несомненный интерес к славянству, но из неоднократных бесед с ним я вывел заключение, что он самым превратным образом понимает то самое западное славянство, знатоком которого он слыл. Сам себя я не считал ни в какой мере специалистом по Австро-Венгрии, но все же мне приходилось живать до войны и в Вене, и в Далмации, и я имел в основных чертах представление о настроениях и чаяниях славянских народов Габсбургской империи. Приклонский в конце концов придерживался старой формулы «самодержавие, православие и народность». Славянский вопрос он понимал как известный способ территориального расширения России и укрепления ее положения в Европе. При этом считал, что освобождение этих народов от ига Австрии и Венгрии должно бросить их безраздельно в объятия русской культуры и русского православия. Он полагал, что «исторические препятствия» для полного слияния России и западных славян этим исчезновением немецко-мадьярского ига полностью уничтожались и что Россия так же поглотит чехов, словаков, хорватов, как она поглотила украинцев и белорусов.

Надо сказать, что Приклонский понимал «русскую культуру» в московском славянофильском смысле и поэтому считал западнославянскую интеллигенцию не столько орудием этого слияния с Россией, сколько препятствием. Он с ужасом относился к социалистическим течениям и говорил, что единственное темное пятно в славянском вопросе — это западнославянские социалисты, которые в случае объединения западных славян с Россией усилят левое крыло нашей общественности, и без того, по мнению Приклонского, чрезмерно могущественное. Другими словами, Приклонский был реакционером старого типа в своих воззрениях на Россию и на славянство. От западных славян он ожидал, после падения Габсбургов и освобождения, полного слияния с Россией, отказа от заблуждений радикально-социалистической западнославянской интеллигенции, широкого распространения православия. Ввиду несомненной потребности масс в иной религии, чем

непопулярная католическая с ее приверженностью австровенгерской власти, он ожидал повсеместного принятия русской культуры с проникновением чувств преданности Романовской династии, в 1914 г. ставшей во главе русского народа против австро-германского союза на защиту западных славян.

Взгляды Приклонского не вызывали сочувствия у многих и даже у большинства его коллег. Нольде называл его «черносотенцем и сумасбродом», Козаков, начальник Дальневосточного отдела, один из умнейших чиновников министерства, считал его «вредным человеком», а деятельность его — «опасной для русско-славянских отношений». Степень политической проницательности Приклонского расценивалась в среде ближайших сотрудников Сазонова очень низко, и при разговорах о нем всегда появлялась скептическая улыбка. Не раз в «чайной комнате» министерства дело доходило до горячих споров. Но беда заключалась в том, что Приклонский был единственным человеком, который сделал себе из славянского вопроса, à tort ou à raison*, специальность, все остальные занимались отдельными славянскими народами между массой других дел и занимались этим без особенного энтузиазма, так как вся предшествующая политика МИД к этому не предрасполагала.

Таким образом, когда к лету 1916 г. появился Приклонский и стал настаивать на необходимости создания славянского отдела, совершенно независимого от других политических отделов, игравших такую большую роль в составе ведомства, то Сазонов и Нератов, чтобы дать занятие Приклонскому и обуздать его славянофильский пыл, устроили для него Славянский стол в составе I Политического отдела, во главе которого стоял Шиллинг, дав Приклонскому право некоторые дела непосредственно докладывать Нератову и Сазонову. Тем самым Шиллинга освободили от славянских дел, которые, как показал опыт переговоров, предшествовавших Лондонскому договору 1915 г. с Италией, он не любил и плохо понимал. В качестве помощников к Приклонскому определили Обнорского, делавшего, впрочем, без особого блеска, загра-

* Справедливо или нет *(фр.)*.

ничную дипломатическую карьеру (Обнорский стал в 1917 г. начальником Славянского стола, когда Февральская революция сделала невозможным пребывание в составе министерства в Петрограде Приклонского), и Кратирова, бывшего начальником одного из отделений II Департамента и ушедшего оттуда после назначения Нольде директором департамента. Так образовался Славянский стол, дав занятие трем чиновникам, которых надо было куда-нибудь пристроить.

Напрасно было бы, однако, думать, что этот далеко не блиставший своим личным составом Славянский стол играл действительно роль объединяющего и направляющего центра по славянскому вопросу. Как бы ни относились к этому вопросу правящие чины министерства, они совсем не желали передавать что-либо из своей компетенции Приклонскому, на которого смотрели сверху вниз. Балканские славяне поэтому остались в ведении Ближневосточного отдела под руководством знающего и опытного Петряева, польским вопросом частью по-прежнему ведал Шиллинг, терпевший, впрочем, «советы» Приклонского, частью Нольде, частью наша Юрисконсультская часть (но не Догель, которого после его неудачной записки по польскому вопросу больше не тревожили). Так что Приклонскому с его Славянским столом оставались лишь чехословацкий и хорватский вопросы. Сюда он и направил свою энергию, хотя по складу его мыслей это был последний человек, которому можно было бы поручить эти вопросы.

Я уже отмечал выше, что в начале войны А. М. Петряев делал доклады Сазонову в качестве временного помощника Шиллинга по Австро-Венгрии и что при заключении апрельского Лондонского договора 1915 г. он настаивал на определении судьбы Чехословакии, но Сазонов, Шиллинг и Гулькевич отвергли его предложения. Теперь роль докладчика по австро-венгерским делам выпала Приклонскому, и если Петряев был человеком широко образованным и прогрессивно настроенным, то ни того, ни другого нельзя было сказать про Приклонского. Когда же Штюрмер заменил Сазонова, а Татищев Шиллинга, Приклонский получил полную свободу действий. Штюрмер не только прислушивался к докладам Приклонского, но тот буквально расцвел в политическом

отношении. Период министерства Штюрмера и Покровского был периодом бесконтрольного господства Приклонского не только в Славянском столе, но и в западнославянском вопросе, за исключением польского, где и в эту эпоху удержался Нольде. Только балканские славяне оставались вне влияния Приклонского, числясь и при Штюрмере и при Покровском попрежнему за Ближневосточным отделом.

Свою деятельность в качестве начальника Славянского стола Приклонский начал с того, что пришел к нам в Юрисконсультскую часть и потребовал «масонское дело». Под этим названием в нашей части хранилась не лишенная интереса объемистая папка, заключавшая в себе дипломатическую анкету, произведенную в 1905—1906 гг. по поручению министерства нашими заграничными дипломатическими представителями. Анкета в строго секретном порядке должна была выяснить природу и современное политическое значение масонства. Этот вопрос в те годы очень интересовал русское правительство, и результаты анкеты были доложены государю и в Совете министров, а сама анкета почему-то хранилась в Юрисконсультской части, может быть, потому, что ею очень интересовался Нольде.

«Масонское дело» представляло ко времени моего поступления в министерство скорее исторический интерес, чем актуально-политический, так как анкета после указанных годов больше не повторялась. Тем не менее на моей памяти дело это раза четыре-пять требовалось, каждый раз с разрешения Нольде, в тот или иной политический отдел. После своего назначения во II Департамент Нольде забрал с собой в департамент и это дело, а когда впоследствии он ушел из министерства, то я видел его у него в кабинете (он его взял, как он мне говорил, из «исторического интереса»), и на мой удивленный вопрос, как можно после отставки брать с собой казенные дела, Нольде рассказал мне про своего отца, который считался образцовым чиновником и у которого после его смерти оказалось полторы тысячи казенных дел (отец барона Б. Э. Нольде был управляющим делами Совета министров при Витте). Признаюсь, это объяснение летом 1917 г., когда еще действовало Временное правительство и сохранялась функция рус-

ской государственной власти в прежнем объеме, мне не понравилось, и я не ожидал этого от Нольде, хотя и знал, что многие петербургские сановники, уходя в отставку, имели обыкновение брать с собой те или иные казенные дела, которые им почему-либо не хотелось оставлять после себя в министерстве.

Когда Приклонский обратился ко мне за «масонским делом» и я ответил ему, что оно находится у Нольде, Приклонский остался этим крайне недоволен и сказал, что от Нольде «его не выцарапаешь». И действительно, когда он обратился к Нольде, то получил от него категорический отказ под тем предлогом, что раньше он давал это дело по первому требованию в различные отделы ведомства, но затем стал замечать, что дело уменьшается, и куда исчез ряд документов, он не мог установить.

Затем Приклонский обратился ко мне с требованием передать ему все дела, касающиеся славян. На это опять-таки я не согласился, так как сам был постоянным представителем в ряде междуведомственных совещаний, касающихся тех или иных славянских народов, например в комиссии по положению привилегированных категорий военнопленных, где славяне были на первом месте, и др. Польское дело я тоже отказался выдать Приклонскому без прямого приказания Сазонова, так как отлично знал, что если все наши бумаги попадут к Приклонскому в Славянский стол, то ничего хорошего для славянского дела не получится, да и, кроме того, я совершенно не собирался уступать свои обязанности Приклонскому, относительно взглядов которого и положения в министерстве я был достаточно хорошо осведомлен. Приклонский устроил мне сцену, но я остался при своем отказе, и, несмотря на то что Приклонский хотел жаловаться Нератову и Сазонову на мое нежелание передавать мои дела ему, я так и не получил от последних никакого распоряжения касательно передачи дел Приклонскому.

Должен сказать, что, действуя так, я поступал не из желания во что бы то ни стало удержать все, несомненно чрезмерные, обязанности, выпавшие в силу вещей на Юрисконсультскую часть, а потому, что сам Приклонский имел неосторож-

ность высказывать свои взгляды, в частности по поводу необходимости «политической обработки» военнопленных славян, с тем чтобы они, вернувшись домой, на родину, были проводниками русско-славянского слияния, а также чтобы распространить среди них православие и научить их монархическим чувствам, в частности привязанности к царствующей династии в России. Зная отсутствие такта и стремительность Приклонского, я опасался, что с таким трудом налаженное наконец дело действительно братского отношения к военнопленным могло быть в корне испорчено «истинно русской» пропагандой Приклонского, и тогда же в разговоре с ним сказал, что лучшая пропаганда русско-славянского слияния — это полная свобода, предоставленная военнопленным славянам, которые, узнав Россию, не смогут не полюбить русский народ и расскажут об этом своим соотечественникам.

Все доклады с мест свидетельствовали о том, что, действительно, пленные чехи, словаки, хорваты прекрасно уживаются с русским населением и отлично друг друга понимают. Правительственное же навязывание династической привязанности или православия, несомненно, было бы понято этими пленными как столь ненавистная нашим окраинам политика насильственного «обрусения», достигавшая как раз обратных результатов. К счастью, проекты Приклонского, не пользовавшегося при Сазонове авторитетом ни внутри, ни вне министерства, не осуществились. О том, как он проявил себя при Штюрмере, я скажу ниже при изложении этого периода жизни нашего ведомства.

В отношении нашей Юрисконсультской части не все обстояло благополучно. Помимо того что Догель оказался совсем неработоспособным, Горлов продолжал болеть, и хотя он все же посещал министерство, но работал мало, дожидаясь заграничного назначения. Сазонов, однако, не знал, куда его в таком виде послать, и Горлов в ожидании решения Сазонова поехал подлечиться в Евпаторию, надеясь на благодетельный крымский климат. Догель с наступлением лета тоже томился без всякого толка. В конце концов я, видя его страстное желание покинуть столицу хотя бы ненадолго, предложил ему заместить его. Догель сначала отказался велико-

душно, указывая на отсутствие Горлова, но я опять-таки сослался на пример 1915 г., когда я оставался с одним моим помощником Серебряковым, заменяя Нольде. Догель тогда согласился и уехал на три недели к себе в деревню в Казанскую губернию, а я вздохнул свободно, очутившись снова распорядителем не только фактическим, но и юридическим в нашей части.

Я спешил разрешить целый ряд дел, по которым Догель по лености или неопытности никак не мог принять определенное решение, и в то же время стал по-прежнему регулярно докладывать по делам Совета министров, чему Сазонов искренне обрадовался. Он сказал мне прямо в лицо, что очень жалеет, что моя молодость помешала ему назначить меня начальником Юрисконсультской части, но так как молодость — недостаток, который уменьшается с каждым днем, то он надеется, что в самом ближайшем будущем я получу возможность быть полным хозяином в той части, где я нахожусь. Эти приятные, но загадочные слова Сазонова, однако, не сбылись при его министерстве, так как через несколько дней после этого разговора Сазонов внезапно и без всякой видимой причины был уволен в отставку.

Отставка Сазонова

Дня через два после этого разговора я докладывал Сазонову дела для заседания Совета министров, после которого он собирался уехать на несколько дней, а может быть, если все будет благополучно, на месяц в Финляндию отдохнуть. В его кабинете были Шиллинг, Нератов и еще два-три начальника политических отделов. Дел, касающихся непосредственно министерства, в этом заседании Совета министров было очень мало, и, когда я закончил мой на этот раз столь короткий доклад, Сазонов сказал мне: «Vous avez la main légère»* и, улыбаясь, простился.

Это был последний Совет министров, на котором он присутствовал в качестве министра. Уехав на другой день в Финляндию и передав временно министерство Нератову, Сазонов через три дня узнал из газет о том, что он уже больше не министр, а член Государственного совета. В министерстве Нера-

* У вас легкая рука *(фр.)*.

тов, ближайший друг Сазонова, а также и все сотрудники Сазонова точно так же узнали из «Правительственного вестника» об отставке Сазонова и назначении на его место Штюрмера, который одновременно оставался премьер-министром. Накануне никаких признаков такой молниеносной опалы Сазонова у ко всему приученной петербургской бюрократии не было, как раз напротив, высочайшее разрешение Сазонову воспользоваться кратковременным отпуском всеми было сочтено за укрепление его положения при дворе, а последняя аудиенция была полна самого сердечного внимания. Но когда катастрофа разразилась, повторяю, без всякой видимой причины, ибо как раз в самое последнее время государь особенно охотно соглашался с Сазоновым и тот даже имел неосторожность об этом сказать союзным послам, то всем стало ясно, что решение уволить Сазонова было принято кругами, близкими к государю, уже давно и хладнокровно осуществлено именно в тот момент, когда Сазонов, действительно переутомленный работой, поехал с разрешения государя в отпуск.

Макиавеллистический прием, к сожалению, прекрасно известный всей высшей бюрократии! Николай II по слабости своего характера не наносил прямого удара опостылевшему почему-либо сановнику, но был неподражаем в бесшумных и надлежаще подготовленных опалах. Быть может, он боялся также, что Сазонов, узнав о готовящейся отставке, прибегнет к заступничеству союзных послов, чтобы сохранить за собой власть. Теперь же указ об отставке и назначении Штюрмера ставили и Сазонова, и союзников перед свершившимся фактом, и времени, потребного для приезда Сазонова из Финляндии, было совершенно достаточно для того, чтобы приучить иностранцев к мысли, что уже возвратившийся Сазонов во всех отношениях «конченый человек».

В самом деле, как ни торопился Сазонов, но когда он приехал, то Штюрмер, не подождав еще отъезда Сазонова из министерской квартиры, уже прислал своих курьеров с распоряжением произвести в этой квартире известные изменения согласно своим вкусам. Эта торопливость, которая в нормальных условиях была бы величайшей бестактностью, в этот

момент имела символическое значение. Как я узнал позже от Нахимова, ставшего секретарем Штюрмера по должности, так же как он был раньше секретарем Горемыкина, Штюрмер чрезвычайно боялся, чтобы наше ведомство, которое он совсем не знал, не устроило ему какой-либо неожиданности, и посылкой своих курьеров хотел дать понять, что с момента появления указа о его назначении он является единственным хозяином ведомства.

Впечатление, произведенное увольнением Сазонова и назначением Штюрмера одновременно и председателем Совета министров, и министром иностранных дел, Штюрмера, который до тех пор делал только административную и придворную карьеру, но к дипломатии никогда никакого отношения не имел, было ошеломляющее. Ошеломила эта новость не только наше ведомство и иностранные, в особенности союзные посольства, но и нечиновный и общественный Петроград, всех тех, кто сколько-нибудь был посвящен в политику, так как не надо забывать, что Сазонов был широко известен как убежденный сторонник продолжения войны бок о бок с союзниками до победного конца и неумолимый противник идеи сепаратного мира с Германией.

Известно было далеко за пределами нашего ведомства, что Сазонов несколько раз в течение 1915 и 1916 гг. с негодованием отвергал все попытки Германии и Австро-Венгрии вызвать сепаратные переговоры о мире через всякого рода посредников и немедленно сообщал о них нашим союзникам, не останавливаясь перед раскрытием полностью всех этих посреднических агентов австро-германской коалиции. Зная столь непреклонную лояльность Сазонова, союзные послы Палеолог и Бьюкенен сразу после опубликования указа в тот же день приехали в министерство, чтобы справиться, в чем дело. Вид у них был не на шутку встревоженный, так как оба они подозревали, что это увольнение есть неизбежная прелюдия к выходу России из войны. Была им известна также неприязнь Распутина к Сазонову, которого тот считал главным препятствием для прекращения войны. В то же самое время постоянное демонстративно пренебрежительное отношение Сазонова к Распутину, несомненно, провоцировало

последнего, о чем Сазонову, конечно, было прекрасно известно и чем он бравировал перед союзниками.

Все это вместе достаточно объясняло их опять-таки показавшийся бы при других условиях бестактным шаг. Но в министерстве, где царила паника, это появление не только никого не удивило, но, наоборот, подняло было надежды на возможность возвращения Сазонова. Нератов на поставленный ему послами прямой вопрос, чем объясняется отставка Сазонова и не есть ли это поворот России в отношении к союзникам и к продолжению войны, ответил на первый вопрос искренним незнанием причин увольнения Сазонова, а на второй сказал, что если бы действительно такого рода поворот в отношении к союзникам и войне был у нового премьера, то он, Нератов, немедленно оставил бы свой пост. Этот ответ несколько успокоил союзных послов, так как Нератова они знали как ближайшего друга, помощника и доверенного Сазонова и могли действительно верить, что он не будет проводником совершенно противоположной политики Штюрмера. Но кто из них мог поручиться, что и Нератова через некоторое время не уволят так же неожиданно, как Сазонова?

Для нашего ведомства отставка Сазонова была первым серьезным испытанием, и для тех из нас, кому довелось близко работать с Сазоновым, центр тяжести заключался не в его увольнении, а в назначении в такой напряженный момент войны совершенно нового человека, аутсайдера Штюрмера, репутация которого была самой убийственной. Именно такой человек и мог совершить предательский удар, которого каждый из нас так боялся все это врмя, а именно выхода России из войны. До тех пор пока во главе ведомства стоял Сазонов, мы были спокойны, мало того, нас уж не так тревожил бы его уход, если бы он был заменен каким-нибудь профессиональным дипломатом, разделявшим отношение Сазонова к союзникам и войне. Несколько раз уже в 1916 г. по министерству ходили слухи об уходе Сазонова и назывались кандидаты — Извольский, Чарыков, реже М. Н. Гирс, которого не считали даровитым дипломатом.

Помню, как приблизительно за месяц до ухода Сазонова Догель расспрашивал меня о моем дяде Чарыкове и сказал

12 Зак. № 24

мне, что он из очень осведомленного источника узнал, что его прочат в министры на место Сазонова. Но раз на место Сазонова назначался не его единомышленник и коллега по профессии, а лицо более чем подозрительное в отношении к главному вопросу внешней политики того времени, а именно к войне, то для нас уход Сазонова вырастал в историческое событие, и, как показал опыт, мы были правы в своем восприятии этой отставки, так как Сазонов оказался последним министром иностранных дел России из профессиональных дипломатов.

До сих пор, если мы и не считали Сазонова гениальным политиком, если нам, ближайшим его сотрудникам, особенно ясны были его поверхностные знания во многих важных отраслях внешней политики, если такой основной для русской дипломатии вопрос, как славянский, Сазонов мало знал и еще меньше понимал, если, наконец, его слабости в отношении определенных лиц, Шиллинга, Базили и других, не вполне достойных того внимания, которое им уделял Сазонов, были общеизвестны, то все же, во-первых, Сазонов был в министерстве своим человеком, которому лично все доверяли и большинство недостатков которого было недостатками общераспространенными в этой среде, и, во-вторых, Сазонов был честным русским человеком, про которого мы знали, что он Россию не предаст, а про Штюрмера этого сказать было нельзя.

Вот по этим двум основаниям уход Сазонова создал в министерстве панику — все текущие дела приостановились, и мы тщетно справлялись друг у друга и у Нератова, что все это может значить. Кошмар сепаратного мира с Германией вставал воочию перед нами, и каждому из нас, как в момент большевистского переворота, надо было ответить, что же в этом случае делать. Шиллинг, занимавший должность директора канцелярии министра и начальника наиболее ответственного I Политического отдела, ведавшего Европой в дипломатическом отношении, лично более других связанный с Сазоновым, сразу же после получения в ведомстве известия об уходе Сазонова, не дожидаясь приезда последнего, заявил Нератову, что не считает для себя возможным оставаться. Этот шаг

Шиллинга никого не удивил, но и не вызвал подражания, так как то, что Нератов сказал послам, он повторил и нам: если он действительно заметит в Штюрмере поворот в сторону отрицательного отношения к войне, то он сам немедленно же подаст в отставку. Для нас это заявление Нератова было гарантией неизменности прежнего курса политики, и мы решили действовать по его примеру.

Этот пример Нератова стал для нас прецедентом и в последующих министерских сменах. Как при царском, так и при Временном правительстве и вплоть до большевистского переворота главным образом из-за твердого поведения Нератова весь состав ведомства и в Петрограде, и за границей оставался, за незначительными исключениями, на своих местах. Но вместе с тем Нератов превращался уже из просто старшего по чину коллеги в известный символ, который можно было бы определить так: «лояльность в отношении союзников и незаключение сепаратного мира с Германией».

Наконец, когда первое впечатление изумления рассеялось, то нам, в особенности тем, кто знал о линии поведения Сазонова во внутренней политике, стало понятным, что в той «министерской чехарде», которую так метко определил этим крылатым словом Пуришкевич, законная очередь пришла и за Сазоновым. Открытый протест Сазонова, вместе с некоторыми другими министрами, по поводу смещения вел. кн. Николая Николаевича с поста верховного главнокомандующего (хотя надо сказать, что лично Сазонов ни в каких дружественных отношениях с великим князем не состоял), его настойчивость в польском и в особенности в еврейском вопросах, его стремление найти общий язык с Государственной думой и, наконец, его нескрываемое отрицательное отношение к Распутину — всего этого, вместе с дипломатическими неудачами, главной из которых было болгарское выступление против России (и в ней не без основания обвиняли лично Сазонова), было совершенно достаточно, чтобы объяснить истинные мотивы отставки Сазонова в условиях, сложившихся к лету 1916 г.

Для нас необъяснимого в увольнении Сазонова было мало, но лишний раз вскрылось коварство государя, которого за

эту малодушную жестокость в отношении своих ближайших сотрудников и неверность в личных отношениях высшая петербургская бюрократия ненавидела не менее, чем самые ожесточенные революционеры. Но в особенности это было убийственно тогда, когда обстановка войны требовала безусловной преданности и послушания царю со стороны высших чинов этой бюрократии. Этим своеобразным макиавеллизмом объясняется тот странный на первый взгляд факт, что у самых убежденных монархистов-бюрократов при вести об отречении Николая II в марте 1917 г. вырвался вздох облегчения.

Предчувствие катастрофы впервые в осязательной форме появилось у нас именно в момент отставки Сазонова, и некоторые из наиболее дальновидных чинов нашего министерства, вроде, например, Нольде, уже искали себе частной службы — на всякий случай. Нольде, в эти дни собиравшийся ехать в Англию, где он намеревался прочесть ряд лекций в Кембриджском университете вместе с П. Б. Струве и покойным академиком Лаппо-Данилевским, отложил свой отъезд и, смеясь, говорил мне, что не знает, какое из двух предложенных ему частных мест в двух банках выбрать. Из других источников я знал, что, действительно, Нольде были сделаны совершенно точно сформулированные в материальном отношении предложения, и раз уж он затеял такой разговор с банками, то, зная характер Нольде, я мог предполагать, что или ему лично, или всему нашему ведомству приход Штюрмера грозит многими бедами.

При таком подавленном состоянии министерства на второй день после отставки к вечеру приехал Сазонов. На перроне Финляндского вокзала его ожидала группа человек 15 ближайших сотрудников по министерству, в том числе Нератов, Арцимович, Шиллинг, Нольде и другие. Сазонов вышел совершенно спокойный и пошутил по поводу внезапного возвращения из отпуска для отдыха. «Теперь,— сказал он,— надеюсь, мне никто не помешает отдыхать». Поговорив, как всегда, просто и любезно со всеми, он довольно скоро поехал с Нератовым, Арцимовичем и Шиллингом в министерском ландо в свою министерскую квартиру.

Чтобы не огорчать Сазонова, решили скрыть от него визит штюрмеровских курьеров в его квартиру, но по странной случайности, когда он подъезжал к министерству и остановился, как всегда, у так называемого министерского подъезда, отличного от общеведомственного подъезда на Певческом мосту, из швейцарской вышли эти же самые штюрмеровские курьеры, вторично наведавшиеся в сазоновскую квартиру. Сазонов их увидел. Несмотря на свое самообладание, он не удержался и с изменившимся лицом обратился к Нератову: «Меня, кажется, собираются выселять с полицией».

Сазонов был министром иностранных дел с 1910 г., то есть по времени своего пребывания на этом посту был самым долговечным министром иностранных дел при Николае II, а по своему положению в качестве beau-frère Столыпина и самым могущественным по влиянию, но ни один из министров иностранных дел Николая II не получил своей отставки в столь унизительной форме, как он (правда, его преемник при Временном правительстве М. И. Терещенко был отправлен прямо из Зимнего дворца в Петропавловскую крепость). Случай со штюрмеровскими курьерами и реплика Сазонова произвели на всех нас самое гнетущее впечатление тогда, когда еще так живы были воспоминания о сазоновском всемогуществе и когда, несмотря на приказ об отставке, не верилось, что этот приказ осуществится.

Прошло, однако, около недели, прежде чем Сазонов выехал из министерства. Нератов управлял министерством, изредка навещая Штюрмера в Мариинском дворце. Накануне отъезда Сазонова в так называемой Помпейской зале были собраны все чиновники министерства. Нератов читал пространный адрес, где отмечались усердие и патриотизм Сазонова, его вера в великое дело войны, отмечалось также — и в этом была политическая часть адреса,— что все его сотрудники от мала до велика одушевлены одинаковыми чувствами к доблестным союзным войскам, проливающим кровь вместе с русской армией «за общее дело», подчеркивалось неуклонное непримиримое отношение к врагу, пытавшемуся вызвать Россию на путь сепаратного соглашения, от чего Сазонов всегда отказывался в самой резкой форме, и говорилось, что минис-

терство и впредь будет стоять твердо и нерушимо на этой позиции.

Эти слова вызвали в нас и чувство облегчения, и изумление перед мужеством Нератова, осмелившегося прямо сказать о сепаратном соглашении. Единодушные и горячие аплодисменты на миг превратили это собрание чиновников, провожавших своего министра, в революционное собрание. Сазонов выслушал этот адрес с видимым удовлетворением и ответил благодарственной речью, в которой говорил об испытаниях, посылаемых историей, и призывал продолжать нашу работу, ставя выше всего Россию и преданность императору. Эти последние слова, конечно, были для него обязательными, но он постарался вложить в них искренность, которую едва ли имел на самом деле.

Так как в прочитанном Нератовым от имени всех служащих министерства адресе имя государя совершенно не упоминалось, то Нератов после слов Сазонова, чтобы не подчеркивать этого опущения, произнес тоже несколько слов на тему о «верноподданнической» преданности «нашему великому государю». Слова эти звучали после всего боевого, несмотря на его обычную казенную форму, адреса Сазонову явно фальшиво. После этого Сазонов обходил всех и благодарил каждого пожатием руки за «верную службу государю и государству». Так мы расстались с Сазоновым.

Водворение Штюрмера

Приход Штюрмера ознаменовался прежде всего внешними фактами, совершенно противоречившими традициям нашего ведомства и вносившими чуждый ему дух общепетроградской бюрократизации. Нас заставили сделать «визит» новому министру, то есть собственноручно расписаться в книге у швейцара министерского подъезда с указанием адреса. На другой день мы все получили ответные визитные карточки Штюрмера. После этого был назначен день представления Штюрмеру. Это представление заключалось в том, что Штюрмер с Нератовым обошли всех чиновников министерства, причем все должны были быть в сюртуках и у своих столов. Штюрмер с каждым знакомился лично и расспрашивал. Церемония длилась несколько часов.

Придя в нашу Юрисконсультскую часть и узнав, что я

имею отношение к Петроградскому университету, Штюрмер спросил, кто оставил меня при университете, где я был в заграничной командировке, и вспоминал своих профессоров, когда он сам был в Петербургском университете. На прощание он пожелал мне успеха в ученой и министерской карьере. Все это было любезно, но в этой любезности поражала прежде всего необыкновенная помпезность. Штюрмер величественно кивал головой и двигался своим грузным телом с нарочитой торжественностью, от его рыжей завитой бороды и нафабренных усов веяло «оберцеремониймейстером», каким он и был, но мало верилось в присутствие мозгов в этой важной голове.

Когда обход кончился, то, обсуждая неизбежные смешные инциденты и то, что каждому сказал новый министр, все сошлись в одном: или это министерство не принесет ничего, или же, наоборот, очень много. Мнения разделились поровну, так как было совершенно ясно, что Штюрмер будет министром не в фактическом, как был Сазонов, но в формальном смысле слова. В частности, Штюрмер сказал начальникам политических отделов, что он человек новый в ведомстве и что он будет «во всем подчиняться традициям ведомства», каждого он просил о «дружественном сотрудничестве», а Нольде, например, сказал, что читал все его сочинения и рассчитывает на его «ценный опыт» и помощь. Нольде несколько ободрился после этих слов Штюрмера, но в Англию Штюрмер Нольде не отпустил, и эта его поездка не состоялась.

Даже в отношении Шиллинга Штюрмер простер свою любезность до приглашения его на завтрак и целый час уговаривал его остаться, обещая в самом непродолжительном будущем большой заграничный пост. Но Шиллинг остался при своем отрицательном решении и был затем назначен в Сенат. На его место был назначен Борис Алексеевич Татищев, тогда первый секретарь посольства в Париже, правая рука Извольского. Это назначение сопровождалось, однако, весьма пикантной подробностью, а именно когда Татищеву в Париж была послана телеграмма из министерства о его новом назначении, то от Извольского была получена ответная телеграмма, что Татищев уже пять дней как выехал в Петро-

град «по семейным обстоятельствам». И действительно, одновременно с этой телеграммой Извольского приехал в министерство и сам Татищев. Как потом выяснилось, в то время как Штюрмер убеждал Шиллинга остаться на своем посту, в Париже уже получили через военную агентуру секретную телеграмму на имя Татищева, в которой Штюрмер извещал его о назначении на место Шиллинга и просил немедленно выехать в Петроград, не говоря Извольскому о назначении. Татищев так и поступил, полагая, что Штюрмер скрывает его назначение лишь от посольства в Париже, чтобы там не просили его остаться. Но когда по приезде в Петроград он узнал, что Штюрмер послал ему телеграмму до его официального назначения и без ведома министерства, то чистосердечно признался во всем Нератову.

Эта подробность произвела самое охлаждающее впечатление на все ведомство, так как лицемерие Штюрмера стало совершенно очевидно. Теперь каждый служащий был начеку, и, конечно, это настроение немедленно же отразилось на течении дел. Все приняло сразу формально-чиновничий характер, столь не соответствующий всей сути дипломатической службы.

Наконец Штюрмер установил приемные часы для начальников отделов. Когда же Нератов разъяснил ему, что это невозможно ввиду того, что политические сношения часто не терпят отлагательства, Штюрмер, страшно удивленный, спросил, как же работал Сазонов. И Нератову пришлось обучать Штюрмера азбуке дипломатического искусства, причем он обнаружил в своем начальстве такую наивность и такое незнание современных международных отношений, что Штюрмер в конце концов уполномочил Нератова вести министерство на прежних основаниях и решать по своему усмотрению, за исключением «всего, что касается войны». Под этим туманным выражением Штюрмер понимал наши сношения с союзниками, но так как во время войны такого размера, как мировая, все в конце концов так или иначе касалось войны, за исключением второстепенных консульских дел, а кроме того, по закону ряд дел требовал подписи министра, то к Штюрмеру, несмотря на все старания Нератова, хлынул поток бумаг, и нам пришлось столкнуться с самим главой ведомства.

Должен сказать, что Штюрмер совмещал обязанности председателя Совета министров с обязанностями министра иностранных дел. Внешне это выражалось в присутствии в нашем министерстве двух секретарей Штюрмера по Совету министров — Юрьева и Нахимова, о котором я уже упоминал. Эти секретари в вицмундирах в нашем штатском ведомстве, где, кроме курьеров, никто не носил формы, составляли наглядное доказательство присутствия среди нас главы правительства. Помещались они по другую, внешнюю половину министерской квартиры. Кабинет министра был расположен таким образом, что соединялся и с внутренней половиной квартиры, сообщавшейся с нашим министерством, и с внешней, которая заканчивалась коридором и выходом на министерский подъезд, которым пользовались лишь министр и два его товарища, а также все те, кто попадал к министру помимо нашего ведомства. Это позволяло Штюрмеру иметь у своего кабинета две приемные — нашу ведомственную, в которой дежурил ведомственный секретарь министра и собирались все мы, шедшие по делам к министру, и другую, в которой помещались Юрьев и Нахимов и посторонние посетители Штюрмера, как мы их называли, «с улицы».

Наконец, в смысле времени Штюрмер тоже желал отделить свои дипломатические функции от общеправительственных, установив прием для посетителей «с улицы» с 8 до 11 час. утра, а с 11 час. начинался у него прием по нашему ведомству. Теоретически правая рука не должна была знать, что делает левая, и премьер Штюрмер совершенно отделялся в принципе от Штюрмера — министра иностранных дел, но, располагая секретарями в двойном количестве, которые каждое утро сходились и обменивались своими впечатлениями и имели знакомства со служащими ведомства, как, например, Нахимов со мной, трудно было скрыть полностью тайны общеправительственные от ведомственных очей.

Помню, у меня очень скоро после водворения у нас Штюрмера было дело в министерстве рано утром. Часов в 9 утра я зашел вниз в квартиру Штюрмера, чтобы поймать Нахимова и предупредить его о заседании Совета министров, где предстояло рассмотреть одно спешное ведомственное дело. Я про-

шел на внешнюю половину квартиры в приемную, где заседали Нахимов и Юрьев, окруженные весьма живописной группой в поддевках и с подозрительными «истинно русскими» физиономиями, вынырнувшими из какой-нибудь провинциальной чайной Михаила Архангела. Я отозвал Нахимова в сторону и, рассказав ему дело, из-за которого пришел, спросил, что это за люди. Нахимов, смеясь, ответил, что это «депутаты с мест». Оказывается, Штюрмер очень любил подобные депутации, приезжавшие по наряду примерно раза два в неделю. После депутаций пахло смазанными сапогами. Запах этот не раз проникал и во внутренние покои штюрмеровской квартиры, так как в особо секретных случаях, а такие бывали частенько, Штюрмер принимал подобные депутации у себя в спальне.

У нас самым упорным образом говорили, что среди всякого рода депутатов и просителей бывал и сам Распутин. Нахимов, которому я задавал этот щекотливый вопрос, отвечал, что это неправда, но ввиду того, что все, что касалось Распутина, в это время было государственной тайной, то тут можно было Нахимову и не верить. Во всяком случае, ранняя публика «с улицы» носила явно охранно-полицейский характер и ничего общего не имела с обычными приемами главы всероссийского императорского правительства, то есть сановниками и вообще приличной публикой. Таковая обычно бывала у Штюрмера во вторую половину дня либо у нас в министерстве, либо в Мариинском дворце, где Штюрмер также принимал, исключительно уже по делам Совета министров.

Личный характер штюрмеровского управления нашим министерством сказался прежде всего в том, что по всем делам, требовавшим решения и ответственности, Штюрмер или вообще до бесконечности оттягивал это решение, или же давал уклончивый ответ. Ведомству он не доверял, доверенных он не имел, рассчитывал он, по-видимому, сделать из Татищева своего человека, но тот, прекрасный канцелярский работник и недурной редактор, был, однако, слишком связан со своими коллегами по ведомству и слишком мало верил в прочность штюрмеровского управления, чтобы связывать с ним свою судьбу. Полное незнание дипломатических сношений и неуме-

ние ориентироваться в международной обстановке, вечная боязнь совершить faux pas* — все это делало из Штюрмера чрезвычайно медлительного и боязливого министра. Несомненно, имел он и свои цели, которые не решался никому открывать, зная союзническую ориентацию огромного большинства ведомства.

Но в чем был силен Штюрмер по сравнению с Сазоновым — так это в знании настроений двора и государя. Мне пришлось быть свидетелем стольких неудач Сазонова в Совете министров, даже в наилучшую пору его министерства, например в первый год войны, что нетрудно было видеть, что часто Сазонов самым грубым образом ошибался в том или ином приеме его излюбленных мыслей и чаяний. Сазонов не имел тех интимных отношений с некоторыми лицами при дворе и государе (а также и государыне), которые являлись таким прекрасным источником осведомления у Штюрмера. Я не помню за все время штюрмеровского министерства, чтобы хоть раз в каком-нибудь вопросе Штюрмеру было в чем-то отказано. Он, между прочим, всегда брал с собой в Совет министров Нератова, который и представлял там из себя министра иностранных дел, а Штюрмер председательствовал. Нератов, получив по какому-нибудь вопросу положительное мнение Штюрмера, считал дело выигранным, так как не было случая малейшей оппозиции сверху.

Можно сказать, что за все время войны никогда не было такого единодушия и единомыслия между государем и Советом министров, как во времена Штюрмера. Проистекало все это, конечно, не из продуманности штюрмеровской программы действий, каковой не было, а оттого, что он был свой человек во всех тех темных кругах двора, куда даже такие министры, как Горемыкин, пугались заглядывать. Ниже я укажу некоторые признаки, по которым можно было считать, что Штюрмер недаром был послан в наше министерство, и, не обернись дело так неудачно с Государственной думой и останься он дольше министром иностранных дел, скачок в неизвестность в виде сепаратных соглашений с австро-герман-

* Ложный шаг, оплошность *(фр.)*.

ской коалицией был бы сделан еще при царствовании Николая II.

В начале осени 1916 г. этот скачок был психологически невозможен, и Штюрмер в качестве министра иностранных дел не раз с негодованием говорил о том, что его подозревают в нелояльности к союзникам и что все это — «злостная клевета», как сказывал он однажды Нератову. Мало того, первым его политическим шагом было вовлечение в войну Румынии. В этом отношении он проявил большую энергию и заставил румын переправить в Москву королевские драгоценности и золото, как думали те, кто был убежден, что и здесь Штюрмер хотел иметь в руках Румынию, чтобы, как в 1877—1878 гг., за счет союзницы получить известные компенсации при мире с Германией. Как бы то ни было, в этом отношении не Сазонов подготовил вступление Румынии в войну, а Штюрмер «приказал» ей выступить, грозя самыми реальными бедами в случае отказа Румынии повиноваться приказу.

Нахимов в самые первые дни штюрмеровского управления объявил мне это, и я с удивлением через несколько дней увидел, что именно сюда и направилась штюрмеровская энергия. Этот шаг тогда у нас многие не одобряли, считая, что, растягивая и без того широкий фронт, Румыния нас стратегически не только не укрепляет, но ослабляет, возлагая на русские войска обязанность ее защищать, а в победоносные качества румынской армии никто не верил. Во всяком случае, здесь штюрмеровская политика увенчалась успехом, и начало было, по видимости, как будто совсем в прежнем, сазоновском духе.

Штюрмер показывает когти

На нашей Юрисконсультской части, вообще на мне лично штюрмеровское управление отразилось самым непосредственным образом, так как на место Татищева в Париж был назначен Горлов, а на место Горлова в качестве помощника начальника Юрисконсультской части был назначен я. Для Горлова в его возрасте (44 года) назначение первым секретарем посольства в Париж было небольшим успехом, но ввиду того, что он совсем недавно поступил в министерство и к дипломатической службе по своей прошлой карьере никакого отношения не имел, то это все же было видное место.

Установилась традиция, что из первых секретарей парижского посольства попадали потом в начальники канцелярии министра (Шиллинг, Татищев), а это был уже очень ответственный пост, открывавший неограниченные возможности. Горлов не обладал никакими выдающимися знаниями или талантами, и если он получил это назначение при Штюрмере, то только потому, что назначение Татищева произошло молниеносно быстро и другие кандидаты не успели о себе заявить, а Горлов обладал связями как раз в тех кругах петербургской бюрократии, близкой к министерству внутренних дел, которые были близки и к Штюрмеру. При Сазонове Горлов несколько раз поднимал вопрос о своем назначении в Париж, но тот категорически его отклонял, считая такое назначение неуместным ввиду ярого полонофобства Горлова. Кроме того, Сазонов скептически относился к дипломатическому будущему Горлова. Любопытно, что в 1919 г., при Деникине, тот же самый Сазонов послал того же самого Горлова, которого летом 1916 г. боялся пустить в Париж из-за его нелюбви к полякам, в Варшаву в качестве посланника от Юга России. Неудивительно, что при Деникине и Врангеле отношения Польши с Добровольческой армией никак не могли наладиться, и все изумлялись этому назначению. Но Сазонов при царском правительстве и Сазонов во время гражданской войны, как, впрочем, и многие другие в это время, были два совершенно разных человека.

Как бы то ни было, назначение Горлова освобождало место, занимаемое им в Юрисконсультской части, и я остался единственным кандидатом. Совещание по назначениям, состоявшее из директоров департаментов и начальников политических отделов нашего ведомства, единогласно приняло это назначение, и циркуляр о назначениях под № 1 при штюрмеровском министерстве был подан министру для подписи. При Сазонове дело решалось в коллегиальном порядке, за исключением очень ответственных назначений, Сазонову подносился не проект циркуляра, а сам циркуляр в печатном виде. Когда же циркуляр был преподнесен Штюрмеру, тот был изумлен таким предвосхищением его решения и прямо сказал Нератову, что не только вопросы о внутрен-

них перемещениях, но и о приеме на службу в министерство молодых людей прямо со студенческой скамьи должны предварительно разрешаться им, Штюрмером, а после уже поступать в совещание по назначениям. На это Нератов заметил, что установленное еще во время Извольского совещание это, действующее на основании соответственных высочайше утвержденных циркуляров министра, не может противополагать себя министру и имеет исключительно совещательный характер; что Штюрмер может изменить порядок назначения на службу или порядок прохождения службы, но с разрешения государя. Что же касается данного проекта циркуляра, то, само собой разумеется, он не имеет и не может иметь юридически никакой обязательности для министра; если у него есть иные кандидаты, то пусть он издаст распоряжение, и циркуляр немедленно будет переделан. На это Штюрмер сказал: «Я подумаю» и оставил циркуляр неподписанным у себя на столе.

В приемной Горлов, явно волнуясь, ждал выхода Нератова, чтобы получить подтверждение давнишних своих заветных желаний, но когда Нератов вышел с пустыми руками, Горлов, совершенно подавленный сообщением Нератова, пришел к нам в Юрисконсультскую часть и с ужасом передал мне, что Штюрмер не подписал циркуляра и что вообще он намерен лично решать вопрос о самых пустячных назначениях, вплоть до приема на дипломатическую службу молодых чиновников, чего, конечно, ни один министр иностранных дел ни в одной благоустроенной стране такого калибра, как Россия, при нормальных условиях сам не решает. Я сказал Горлову, что для меня ничего удивительного не будет, если Штюрмер осуществит систему «личного режима» и сверху донизу наполнит ведомство своими ставленниками.

Догель тоже был крайне взволнован этой отсрочкой и разговором Штюрмера с Нератовым. Он, приехав только что из деревни и отсутствовав в момент увольнения Сазонова, никак не мог примириться с мыслью о перемене министра и страшно боялся, что за Сазоновым настанет очередь Нератова, который, по мнению Догеля, скомпрометировал себя в глазах Штюрмера слишком откровенными словами Сазонову о

недопустимости разрыва с союзниками и сепаратного соглашения с Германией. В то же время этот инцидент с циркуляром взволновал все ведомство, так как, по выражению одного из чиновников, «Штюрмер показал свои когти».

Волновались, конечно, не из-за Горлова или из-за меня, а каждый за себя и все вместе — за разлаживавшуюся совершенно явственно дипломатическую машину. Возникали самые пессимистические предположения, вплоть до того, что у Штюрмера есть совершенно готовый личный состав ведомства для проведения его таинственных планов, в существовании которых никто не сомневался. Это уже была очевидная фантазия — откуда Штюрмер мог бы набрать этот состав? Но характерно было то, что многие в этот момент в нее верили. На этот раз, впрочем, дело обошлось благополучно. Штюрмер «подумал» ровно сутки и утвердил циркуляр № 1 в том виде, в каком он был ему преподнесен. Но на будущее он все же просил Нератова предупреждать его обо всех предполагаемых назначениях до обсуждения их в нашем министерском совещании.

Старый, действовавший 10 лет порядок назначения, составивший в свое время крупную заслугу Извольского и несомненно повысивший во всех отношениях уровень личного состава дипломатического ведомства, фактически упразднялся. Мы возвращались к временам Ламздорфа и его предшественников, когда твердые нормы службы и все объективные данные для оценки способностей кандидатов и их годности на тот или иной пост всецело заменялись личными симпатиями и вкусами данного главы ведомства.

Штюрмер также отдал приказ об обязательном представлении ему чиновников при каждом новом назначении и даже при определении на службу. Действительно, было неожиданно видеть в приемной Штюрмера, наряду с директорами департаментов и высшими чинами ведомства, не без волнения дожидающихся представления министру только что поступивших в МИД лицеистов, правоведов и универсантов. Штюрмер особенно любил эти приемы молодых людей и держал их не менее 20—25 минут в самый разгар напряженной политической работы.

Конечно, «личный режим», внесенный Штюрмером в управление ведомством, вызывал и соответственное приспособление ко вкусам нового министра со стороны нашего I Департамента, управлявшегося в то время В. Б. Лопухиным. Так, например, Юрьев, один из двух секретарей Штюрмера, работавших в помещении нашего министерства, имел родного брата в нашем ведомстве, занимавшего скромный консульский пост на Востоке. Несмотря на то что я не мог бы обвинить Лопухина в сервилизме, такова была общая обстановка при Штюрмере, что об этом ничем особо не примечательном Юрьеве-консуле Департамент личного состава вспомнил и стал готовить ему соответственный положению его брата при Штюрмере дипломатический пост. Но пока собирались справки и подыскивалось надлежащее место, произошел уход Штюрмера, и об этом Юрьеве в нашем министерстве снова забыли, да так и не вспоминали даже при Временном правительстве.

Представления Штюрмеру Горлов и я сделали, по обычаю, в день выхода циркуляра в свет, и поскольку не так давно Штюрмер нас расспрашивал при обходе министерства и знал в общем, с кем имеет дело, то при представлении Горлова он говорил с ним о том, какое важное место в дипломатическом отношении занимает наше посольство в Париже, а со мной — о том, какую важную роль играет Юрисконсультская часть в нашем министерстве, о чем ему, очевидно, рассказал Нератов. В этих напыщенных фразах и общих местах, которые он произносил с соответственной величественностью и торжественностью, еще нагляднее проявлялось убожество личности Штюрмера. Но в то же время в некоторых вскользь брошенных словах о том, что «вам лично предстоит гигантская работа при заключении мира», слово «мир» сильно резало тогда слух и, произнесенное без всяких оговорок, возбудило у всех нас давнишние подозрения, что оно было сказано не зря. Спустя месяц, в конце сентября 1916 г., этот разговор о «мире» и роли нашей Юрисконсультской части повторился в настолько ясной и симптоматичной форме, что я вынужден был воспроизвести его от слова до слова Нератову, который тогда не на шутку разволновался.

Разговор в спальне

Дело происходило во время «болезни» Штюрмера, дипломатической или настоящей — не берусь судить. Догель уехал на некоторое время в Юрьев, где он читал лекции, и я его замещал. По одному крайне срочному делу мне потребовалась подпись Штюрмера. Я отправился к Нератову, чтобы посоветоваться, как мне эту подпись достать, несмотря на болезнь Штюрмера. Нератов взялся сам пройти к Штюрмеру в спальню, так как он там подписывал не терпящие отлагательства бумаги, но в этот момент ему доложили о приходе Бьюкенена, и он, извинившись передо мной, посоветовал мне пойти к Штюрмеру самому. Так я и сделал, поскольку откладывать было невозможно.

Курьер доложил Штюрмеру, и я вошел к нему в спальню. Первое, что бросалось в глаза,— грандиозное количество икон, занимавших не только весь киот в углу, но и стол и этажерки, убранные не без некоторого изящества. Лампады перед образами создавали впечатление алтаря в храме. Обложенный подушками, но, как всегда, нафабренный и с завитыми бородой и усами, возлежал Штюрмер. Он приподнялся, протянул руку и, как всегда, величественно предложил сесть на стул, стоявший рядом с постелью. Доложив возможно короче самое дело и получив подпись, я уже собирался откланяться, но Штюрмер меня остановил и стал сначала расспрашивать о нашей Юрисконсультской части: из кого она состоит, чем в настоящий момент занимается и каковы ее отношения с канцелярией министра, то есть с Татищевым. Затем он лично занялся мной и сказал, что Нератов ему не раз говорил обо мне в самых лестных выражениях и что он, Штюрмер, считает меня единственным кандидатом на пост начальника Юрисконсультской части, конечно, «тогда, когда он освободится». Я поблагодарил за это условное обещание, малокорректное в отношении Догеля, которого, несмотря на сходство убеждений во многих отношениях, Штюрмер не любил, должно быть, зная бесполезность Догеля с точки зрения его возможного использования в министерстве.

Вдруг Штюрмер меня спросил: «Что ваша часть делает для подготовки мира?» На этот довольно смелый вопрос Штюрмера я ответил, что вся наша деятельность является

13 Зак. № 24

«подготовкой мира», и я ему в общих чертах рассказал расположение всех наших дел и их отношение к будущему мирному трактату, думая, что Штюрмер продолжает оставаться в плоскости ничего не значащих общих мест, в которых он был непревзойденным мастером. Но это не удовлетворило Штюрмера. Он спросил меня уже без обиняков, «сколько времени потребовалось бы нашей части на изготовление мирного договора». Тут только я увидел, что Штюрмер перешел на деловую почву и что он недаром меня задерживает.

На поставленный вопрос я ответил, что изготовление трактата такого значения, как мирный, в эту войну в силу многосторонности его содержания не может быть произведено одной нашей Юрисконсультской частью, но требует содействия других отделов и департаментов и не может быть предпринято без предварительного опроса иных ведомств, как-то: финансов, торговли и промышленности и т. д. Относительно нашей части я сказал, что помимо юридических вопросов, также весьма сложных, нам предстояло бы облечь в надлежащую форму все политические, финансовые, экономические и прочие положения, а для этого надо знать, в чем эти положения заключаются. Кроме того, надо знать расположение духа противника в смысле безнадежности его военно-стратегического положения. «Продиктовать» мир требует меньше времени (но и то не такая быстрая вещь); если же «сговариваться» на началах хотя бы приблизительного равноправия или не полной безнадежности в положении врага, то это довольно продолжительная дипломатическая волокита. Я сослался на пример Венского конгресса, продолжавшегося семь месяцев. Наконец, если считать еще союзников и переговоры с ними, то в условиях мировой войны сговориться между собой займет не меньше времени, чем с неприятелем.

На слово «союзники» Штюрмер реагировал репликой: «Ну, об этом можно не думать, я говорю только про наши условия». Эта двусмысленная фраза могла означать все что угодно. Я постарался не вскрывать ее истинного смысла и ответил, что при всем желании не думать о союзниках нельзя, иначе, например, в финансовой стороне войны межсоюзные военные долги лягут на нас слишком тяжелым бременем.

Штюрмер поспешил сказать: «Ну, конечно, переговоры будут, но ведь не все же сразу. Я говорю о мире с нашим неприятелем».

На это я, чувствуя, что Штюрмер хочет узнать от меня всю технику составления мирного трактата и что это займет слишком много времени и тема имеет тот практический характер, которого я все время крайне опасался при всех моих докладах по другим делам у Штюрмера, ответил, что обычно, а в условиях настоящей войны это тем более вероятно,— мирный договор составляется из прелиминарных условий и окончательных. Окончательные условия не могут быть выработаны раньше двух-трех месяцев, а что касается прелиминарных условий, то при благополучной военно-стратегической стороне дела они могут быть выработаны в течение одной недели. Этого Штюрмер, по-видимому, и ждал, так как он приподнялся с кровати и с искренним удовлетворением переспросил о недельном сроке.

Но и после этого он меня не отпустил, расспрашивая о технических условиях мирного договора. После этой длинной аудиенции он мне на прощание сказал, чтобы я еще раз хорошенько обдумал все способы заключения наиболее быстрого мира, так как «никто не знает, когда это случится», а он, Штюрмер, ответственен перед государем «за вверенное ему ведомство, которое всегда должно быть ко всему готово».

Наконец, я смог уйти и прямо направился к Нератову. Ему я рассказал все подробности этого разговора и спросил, что же мне делать. Нератов знал, что я не буду заниматься подготовкой сепаратного мира с Германией, на что при всей своей осторожности намекал Штюрмер; с другой стороны, то, чего мы так в душе боялись, по-видимому, на нас надвигалось. Особенно странно звучало упоминание имени государя, тогда как до сих пор, несмотря на все слухи и подозрения, мы были убеждены, что государь верен союзникам. Нератов, в разговоре с которым я подчеркнул этот финал нашей беседы, был крайне подавлен и сказал: «Или это пробный шар, или начало конца». Но, зная точную осведомленность Штюрмера о настроениях двора и государя, Нератов не мог не ужаснуться, что Штюрмер решился связать слово «мир» с именем государя. Он, по

свойственной ему привычке, расспросил меня о деталях всего разговора и заметил: «Все это надо будет проверить, но пока во всяком случае ничего не изменяйте в вашей части и лучше никому об этом не говорите». После этого он обещал мне в самом ближайшем будущем сказать, в чем тут дело, а пока мы решили обо всем молчать.

Конечно, я вполне доверял Нератову, который действительно «скомпрометировал» себя адресом Сазонову; для нас всех и, в частности, для меня было совершенно очевидно, что Нератов уйдет в тот момент, когда Штюрмер раскроет свои карты касательно сепаратного соглашения с Германией. Уходя, я все-таки спросил Нератова, заметил ли он какой-либо поворот у Штюрмера в отношении к союзникам за самое последнее время и были ли какие-либо объективные основания думать, что военно-стратегическая обстановка изменится в ту или другую сторону настолько, что откроет перспективу мира.

Нератов мне сказал, что Штюрмер ничего дурного по адресу союзников в эти дни не говорил, а что касается военных дел, то Германия действительно обнаруживает склонность к миру на гораздо более приемлемых условиях, чем раньше, но что союзники решительно не желают вести с ней никаких мирных переговоров.

Угроза «сепаратного мира»

Этот разговор со Штюрмером имел место в 20-х числах сентября 1916 г. Разумеется, я никому ничего не сказал и выжидал, что предпримет Нератов. Как раз в эти дни наш прежний состав Юрисконсультской части — то есть Нольде, Горлов, Серебряков и я — собрался на товарищеский ужин у Контана, дабы отметить назначение всех нас четырех, начиная с Нольде и Горлова. Мы уже давно собирались почтить Нольде, еще в связи с его назначением директором департамента, но то болел Горлов, то уезжал Нольде, то, наконец, появление Штюрмера в министерстве заставило нас отложить чествование, так как Нольде был настроен крайне пессимистично и нам не хотелось в такой момент напоминать ему о его прежних днях работы с Сазоновым в период его, Нольде, всемогущества. Но теперь уже получилось некоторое более устойчивое положение, во всяком случае лично по отношению

к Нольде, которого, по-видимому, Штюрмер решил оставить в покое, а Горлов скоро уже должен был отбыть в Париж.

Под впечатлением разговора со Штюрмером, о котором я не мог им рассказать, не рискуя вызвать крупнейший дипломатический инцидент, я шел на этот ужин без всякой радости, думая, что то, что нас так связывало, несмотря на различие в оттенках,— это мысль о продолжении войны до достойного конца,— скоро уже может нас разобщить. Нольде тогда, в конце сентября 1916 г., хотя и посмеивался над непреклонностью союзников, но безусловно не был сторонником изолированного выхода России из войны. На этом ужине нас было только четверо, причем двое из нас — Нольде и Горлов — покинули Юрисконсультскую часть, где за столь короткий срок нашей совместной работы так все изменилось.

Вспоминая, что было, и переходя к печальному и гнетущему настоящему, Нольде, самый старший из нас по своему пребыванию в дипломатическом ведомстве, дал подробную характеристику всех тех министров, которых он застал,— графа Ламздорфа, Извольского, Сазонова. Рассказал он и о том, как перед II Гаагской конференцией разъезжал с Мартенсом в начале 1907 г. по европейским дворам, чтобы подготовить эту конференцию, и о приемах Вильгельма II и Франца-Иосифа. Про Вильгельма II он заметил, что это «крупный европеец» по внешности, грубоватый, но «откровенный». Несмотря на присутствие Мартенса, он прямо сказал русской делегации, что «уничтожения войны можно добиться только уничтожением человечества» — острота весьма двусмысленная. Нольде, однако, прибавил, что, по его мнению, Вильгельм II «милитарист, но пацифист», и изложил довольно парадоксальную теорию «пацифизма» Вильгельма II, вся политика которого сводилась «к бряцанию оружием и языком», но на деле Вильгельм II не хотел воевать. В доказательство он приводил рассуждения Вильгельма II с Мартенсом на обеде в честь русской делегации в 1907 г. о возможности русско-германской войны и способах ее избежать.

Эти слова Нольде о Вильгельме II в связи со стремлениями Германии вступить в сепаратные соглашения с союзниками, о чем мне только что говорил Нератов, и в связи с тем, что я

выслушал о «мире» от Штюрмера, были настолько злободневны, что я не удержался и спросил Нольде о том, о чем у нас ежедневно говорили в министерстве,— что он думает о Штюрмере и о цели его назначения министром. Нольде ответил без обиняков, что считает назначение Штюрмера «темным» с точки зрения его дипломатического смысла. В отношении личности Штюрмера он сказал, что, насколько он, Нольде, узнал его из постоянных деловых с ним сношений, Штюрмер в делах желал бы, чтобы «все делалось само собой, без его, Штюрмера, участия», и что когда приходится требовать от него активности, то это совершенно безнадежно.

Эта характеристика Штюрмера была общеизвестна, но в отношении самого щекотливого вопроса — касательно сепаратного мира — Нольде сказал, что он в это не верит, что для этого нужен человек совершенно другого калибра и что Штюрмер ни разу с ним в беседах не позволил себе ни малейшего намека на эту тему. Признание Нольде было бы убедительно, если бы он не добавил, что в последнее время «Штюрмер горько жалуется на союзников, которые не понимают положения России и не хотят видеть несомненные признаки отрезвления Германии». Горлов спросил Нольде, не говорил ли Штюрмер конкретнее. Нольде несколько смутился и сказал: «Ведь нельзя же так просто взять да и выпрыгнуть из войны, можно и ноги поломать, я это прямо Штюрмеру сказал».

Расспрашивать далее было бы явно неделикатно, и в другое время мне и в голову не пришло бы на «чествовании» Нольде его допрашивать, но под влиянием моего собственного разговора со Штюрмером, который в смысле конкретности носил гораздо более рельефный характер, я увидел, что мои подозрения все же имели некоторые основания, так как не стал бы Нольде ни с того ни с сего говорить о «выпрыгивании» России из войны со Штюрмером. Затем разговор опять перешел на дипломатические и ведомственные темы, но уже гораздо менее злободневные.

Прежде чем я узнал от Нератова о причинах и подоплеке разговора со мной Штюрмера, одно немаловажное событие произошло в жизни нашего министерства, а именно внезапное увольнение В. А. Арцимовича с поста товарища министра и

назначение на его место Александра Александровича Половцова. Арцимович не играл большой политической роли в министерстве именно ввиду того, что его пост был предназначен не для политики, которой занимался Нератов, а для вопросов личного состава и хозяйственных дел, которых было немало, если отнести к этому и дела консульские. Лично Арцимович был обязан своим назначением Сазонову, и преданность его Сазонову могла служить мотивом для увольнения Арцимовича Штюрмером, но при более вдумчивом отношении это объяснение никуда не годилось.

В самом деле, в нашем ведомстве было немало людей, обязанных своей карьерой Сазонову, министерство которого продолжалось шесть лет. Нератов, например, был гораздо преданнее Сазонову и гораздо опаснее для Штюрмера, чем безобидный по своему фактическому положению в ведомстве Арцимович, который политически не мог и шагу сделать без Нератова. Мало того, если слухи о сепаратном мире как истинной цели назначения Штюрмера министром имели некоторое основание, а у меня в этом не было сомнения, то как понять увольнение Арцимовича, который считался у нас германофилом?

Чтобы понять этот шахматный ход Штюрмера, надо было знать не отношения Штюрмера с Арцимовичем, каковых и не было, а отношение Штюрмера к Половцову. Нам всем было очевидно, что Штюрмер с самого начала своего министерства хотел найти доверенное лицо в ведомстве, достаточно могущественное по своему служебному положению. Этим лицом мог бы быть Татищев, если бы захотел, его положение начальника I Политического отдела, ведавшего дипломатическими сношениями всей Европы и Америки и сношениями министерства с государем, было подходящим. Я отмечал выше странную обстановку назначения Татищева, вызванного Штюрмером из Парижа секретным от нашего ведомства образом. Татищев сам впоследствии говорил, что Штюрмер довольно прозрачно намекал ему на возможность для него быстрой и головокружительной карьеры, то есть места Нератова, если только он всецело станет орудием в руках Штюрмера. Татищев, сверстник Нольде, молодой еще для своего теперешнего

поста, однако, не соблазнился этим предложением и остался глух ко всем штюрмеровским намекам.

Теперь, если предположить, что Половцов назначался на место Арцимовича, чтобы войти в полный курс «дипломатической кухни», а затем ему намечалось место Нератова, то есть правой руки Штюрмера, то вся комбинация с увольнением Арцимовича становилась ясной. В этом смысле мы ее и поняли, и опять подавленное настроение, явившееся в момент ухода Сазонова и несколько успокоенное внешне корректным поведением Штюрмера в отношении личного состава ведомства, охватило все министерство. Интриги Штюрмера вырвали еще одного человека. Опять-таки искреннее сожаление об уходе Арцимовича относилось не столько к его личности, сколько к тому неизвестному, что приходило к нам с А. А. Половцовым. На этом последнем, ввиду той роли, которая ему предназначалась, а именно заместителя Нератова и правой руки Штюрмера, следует остановиться.

Александр Александрович Половцов

А. А. Половцов не был незнакомцем ни для нашего ведомства, ни для петроградского общества. Сын известного сановника, личного друга Александра II и Александра III, он, будучи молодым офицером Конногвардейского полка, прославился в свое время избиением князя Мещерского, редактора «Гражданина», которое он произвел совместно со своим братом, офицером того же полка, за непочтительную статью Мещерского, оскорблявшую память их отца. За это избиение оба были исключены из полка, и тогда А. А. Половцов поступил в МИД, где получил малозначительное по общему дипломатическому масштабу, но не лишенное интереса по существу назначение — чиновника нашего министерства при туркестанском генерал-губернаторе. Прослужив в этой должности два года, он по собственному желанию получил назначение консулом в Бомбей, где, приехав в ту пору года, в которую европейцы бегут из этого города из-за невыносимых климатических условий, он, по собственному выражению в разговоре со мной, «чуть не подох», то есть очень серьезно заболел.

Такое неудачное начало дипломатической карьеры побудило его подать в отставку, и с этого момента он занялся исклю-

чительно коммерческими делами, умножив свое и без того значительное состояние главным образом на уральской горнопромышленности. Известен был А. А. Половцов и весьма шумной и малосимпатичной историей развода со своей первой женой графиней Софьей Владимировной Паниной. Причиной развода послужили гомосексуальные наклонности А. А. Половцова. К моменту назначения его на пост товарища министра иностранных дел он был очень состоятельным дельцом, хорошо известным в промышленных кругах, но бюрократический стаж его был настолько ничтожен, что в циркуляре о назначении его чин не был упомянут, а на аудиенции у государя он был в мундире ведомства с одним-единственным орденом Станислава 3-й степени, что, конечно, для товарища министра царского режима было немного.

Связи Половцова с министерством носили характер далекого воспоминания его самого и его сослуживцев. Он непосредственно не был связан никакими узами личной дружбы ни с одним из тех начальников политических отделов, которые фактически держали в своих руках нити внешней политики России. Поэтому он прекрасно подходил к той роли, которую так явственно готовил ему Штюрмер. Половцов был как будто и «свой», и в то же время фактически уже совершенно оторвался от нашего ведомства.

Из наших видных чиновников он ближе всех стоял к Нольде, который был знаком раньше и с ним, и с его второй женой, а теперь афишировал свою дружбу со своим непосредственным начальством. Половцову было в это время 42 года, то есть он был немногим старше Нольде, и, по всей видимости, очень его ценил. Судьбе было угодно, чтобы во время Февральской революции именно Нольде занял место своего «друга» Половцова, причем тот как штюрмеровский ставленник не получил никакого назначения от Временного правительства, несмотря на то что Нольде хлопотал ему место посла в Испании. Брат Александра Александровича Петр Александрович Половцов был при Временном правительстве начальником Петроградского гарнизона и играл тогда и политическую роль, но Александр Александрович при Временном правительстве никакой политической роли не играл. Объяснялось это очень

просто, так как именно в последние минуты царского режима А. А. Половцов при Штюрмере и Покровском начал блестящую бюрократическую и придворную карьеру.

Через две недели после своего назначения он, минуя все промежуточные чины (он был в чине не то надворного, не то коллежского советника), получил действительного статского советника, а к 1 января 1917 г., не имея до этого никакого придворного звания,— звание шталмейстера. Мало того, Нератов получил в этот же срок назначение членом Государственного совета с «временным» сохранением своих обязанностей товарища министра иностранных дел. Таким образом, не случись Февральская революция, Нератов ушел бы окончательно, а Половцов неминуемо занял бы его место. Отсюда видно, до какой степени были правы те, кто при самом назначении Половцова на место Арцимовича угадал его истинную роль в будущем.

Мне лично в деловом отношении пришлось очень близко столкнуться с Половцовым как по обязанностям лица, фактически игравшего главную роль в Юрисконсультской части (Догель при всех этих кинематографически быстрых смещениях высших чинов ведомства и министров все больше и больше передавал мне заведование нашей частью), так и по Парижской экономической конференции союзников, где Половцов был представителем русского правительства, а Нольде и мне пришлось разрабатывать ему инструкции — Нольде по экономической части, а мне по юридическим вопросам, связанным с работой конференции.

Если Штюрмер явно не мог быть настоящим министром иностранных дел, который бы сам вникал в сложные международные отношения и определял те или иные линии нашего поведения в международной политике, то Половцов, человек, несомненно, умный и способный, не лишенный инициативы и смелости и привыкший в частной деловой жизни к быстрым и ответственным решениям, и был тем лицом, которое могло стать, говоря языком нашего ведомства, «штюрмеровским Нератовым». Каковы были сокровенные пружины этого неожиданного назначения Половцова и его молниеносного продвижения по правительственной лестнице, в точности мы не

знали, но было совершенно очевидно, что не объективные заслуги его перед нашим ведомством, которых не было, и не исключительные таланты его, которые могли бы оправдать это «освежение» ведомства, а тесная связь с очень небольшим придворным кружком, группировавшимся непосредственно вокруг государя,— вот что было причиной внезапного появления на дипломатическом поприще конца 1916 и начала 1917 г. А. А. Половцова.

Двойственная фигура нового товарища министра, который всеми своими жестами управления хотел подчеркнуть связь с нами как «товарища по профессии» и который, естественно, был чужд излишней бюрократичности, так неприятно поражавшей нас в Штюрмере, однако, не внушала ни малейшего доверия. Отношения оставались натянутыми и неискренними, так как все мы жили под угрозой сепаратного мира и знали, что Половцов мог быть тем «спецом», говоря языком большевистского времени, который мог бы вести соответствующие переговоры. Конечно, Половцов держал себя в высшей степени сдержанно в отношении к союзникам и войне при Штюрмере, и эта-то сдержанность и была тем отличительным признаком, который так характерен для штюрмеровского управления.

После первых же докладов я вместе с признаками нарочитого завоевания симпатий ведомства отметил у Половцова эту полную замкнутость в вопросах общего направления нашей внешней политики, так отличавшуюся от сазоновской искренности и лояльности. При Н. Н. Покровском с его антантофильскими настроениями в начале его министерства Половцов держал себя иначе, на Парижской конференции он выступил после неудачного начала уже открытым противником Германии, а в первые минуты Временного правительства пытался найти общий язык и с последним. Но при Штюрмере я не помню, несмотря на то что мне не раз приходилось касаться щекотливых вопросов, чтобы Половцов хотя бы раз проявил свое германофобство. Он не прерывал моего изложения, но никогда не высказывал и согласия с моими неизбежными по ходу дела теми или иными положениями, требовавшими проявления нашей солидарности с союзниками или же непримиримости в отношении Австрии и Германии.

При Покровском на подобных же докладах он уже держал себя совершенно иначе, высказывая сам взгляды убежденного сторонника лояльного продолжения войны. Мои впечатления о перемене в Половцове при Покровском совершенно совпадали с впечатлениями всех тех, кому приходилось сталкиваться с Половцовым, и это флюгерство его не раз служило поводом для нашей общей тревоги за будущее нашего ведомства и всей русской внешней политики, если бы действительно обстоятельства сложились так, что Половцов заменил бы Нератова. Но, к счастью для России, этого не случилось.

Мне уже приходилось упоминать, что одной из обязанностей Арцимовича как товарища министра было участие в так наз. Малом совете министров, исполнявшем прежние обязанности Комитета министров, где в конституционную эпоху России заседали товарищи министров. Вместо Нератова, перегруженного чисто политической работой, ввиду малого значения для нашего ведомства дел, слушавшихся в этом Малом совете министров (дела главным образом финансово-экономического характера, утверждение и изменение уставов акционерных обществ и т. п.), от нашего ведомства присутствовал Арцимович. Тот занимался этим довольно добросовестно, но не с какой-либо практической целью, а потому, что это были те немногие функции общеправительственного характера, которые на него падали, и он был рад случаю поблистать в высшем петроградском бюрократическом свете (то что называлось «сферами»).

При Половцове на первом же моем докладе ему он не только чрезвычайно внимательно слушал и задавал вопросы, касавшиеся данного заседания, но и искусственно углублял мой доклад вопросами, имевшими по существу мало связи с предстоявшим Малым советом. Ясно было, что Половцов желает получить информацию по вопросам, имевшим тогда злободневное политическое значение. Для первых докладов это было бы простительно, принимая во внимание, что Половцов служил у нас в ведомстве больше 15 лет назад и на весьма скромных постах — в его «осведомлении» не было ничего подозрительного для начала его деятельности. Но когда с течением времени Половцов вместо однократного моего доклада по

Малому совету министров стал от меня требовать доклада несколько раз по одной и той же ведомости по мере поступления в нашу Юрисконсультскую часть дел (заседания Малого совета происходили два раза в месяц, и канцелярия Совета министров присылала нам дела к этим заседаниям не сразу, а пачками, четыре-пять раз), то стремление Половцова войти в полный круг всех тех обязанностей, которые исполнял не Арцимович, а Нератов, бросалось мне в глаза.

В частности, тот разговор касательно мира и подготовки Юрисконсультской части для его заключения, о чем говорил со мной Штюрмер, разговор, который Нератов по наведении справок признал «висящей в воздухе интригой» и которому он решительно не хотел давать ходу, прося меня никаких шагов не предпринимать, так как они могли бы дать пищу для нежелательных толков, Половцов возобновил в гораздо более тонкой форме, чем начал его Штюрмер. Он не спрашивал меня, во сколько времени можно заключить мир и как его заключать, но подробно расспрашивал, какие в нашей части ведутся дела, имеющие отношение «к будущему мирному трактату». В ответ на этот вопрос я перечислил все дела, относившиеся к войне, а таковых было огромное количество, которые неизбежно должны были так или иначе быть отражены в мирном договоре.

Как человек, служивший в нашем ведомстве, Половцов понимал по характеру тех дел, которые у нас велись, что львиная доля по подготовке этого договора падает на нашу часть, и потому с исключительным вниманием относился к Юрисконсультской части и ее делам. Хотя это и мало соответствовало его высокому официальному положению, он сам не раз заходил в наше помещение по какому-либо интересовавшему его вопросу, и иногда мне приходилось давать ему на руки все досье по тому или иному делу.

Отмечу здесь, что у нас, например, были сосредоточены сведения касательно германского и австро-венгерского частного недвижимого имущества и торгово-промышленного капитала в России, о германских и прочих неприятельских судах, задержанных в связи с войной в России, а это была немалая цифра, об участии немцев и австро-венгерцев в различных

областях русской экономической жизни, то есть не только в отношении участия капитала, но и в администрации акционерных обществ, фабрик и заводов, о военнопленных, их количестве и распределении по национальностям, соответственные статистические сведения, наконец, у нас же хранились, а большей частью и вырабатывались все законоположения касательно неприятельских подданных, их имущественного и правового положения, военнопленных и привилегированных категорий, в особенности славян.

У нас же были сосредоточены и довольно обширные претензии к нам нейтральных государств из-за военно-морских операций наших флотов, причинявших большие убытки нейтралам. Так, например, мы в самом начале войны затопили ряд голландских, норвежских и шведских судов в Белом море в наших портах, дабы загородить вход в эти порты, опасаясь нападения германского флота (тревога, оказавшаяся фактически напрасной, но обошедшаяся нам очень дорого, так как пришлось хорошо заплатить за это нейтральным судовладельцам). С другой стороны, у нас же велась регистрация русского имущества в неприятельских странах и наших претензий к неприятельским правительствам, а дело «Комитета по борьбе с немецким засильем» Стишинского давало яркую картину настроений правительства в германском вопросе и отражало все течения нашей внутренней политики.

Уже с одной фактической стороны статистические данные, собранные из разных отраслей разных ведомств, делали архив нашей Юрисконсультской части чрезвычайно любопытным и ценным, и когда Половцов при первом же своем посещении обратил на это внимание, то под всеми разнообразными предлогами, которыми располагает товарищ министра по отношению к непосредственно ему подчиненному отделу, он или требовал отдельные дела полностью, или же расспрашивал нас далеко за пределами данного дела. Эти продолжительные доклады, конечно, вводили Половцова в самую гущу нашей ведомственной работы, и так как он практиковал такой же метод проникновения в дела и по отношению к другим департаментам и отделам, то быстрым темпом шел к усвоению того, чем так отличался Нератов от других наших

чиновников, а именно всесторонней осведомленностью.

Не могу умолчать о характерной детали: служебный кабинет Арцимовича помещался на том же этаже, что и кабинет министра и Нератова. Половцов сразу же после своего назначения перенес свой кабинет на тот этаж министерства, где помещались Юрисконсультская часть, I и II Департаменты (последним управлял Нольде), так что его кабинет прямо соприкасался с кабинетом Нольде и находился буквально в двух шагах от нашей Юрисконсультской части. Такое выгодное положение, вдали от министра и Нератова, позволяло Половцову гораздо больше знать и видеть, чем сидение Арцимовича в отдаленной части министерства. Но, несмотря на все эти далеко не банальные приемы быстрого и детального ознакомления с подчиненными ему частями ведомства, свидетельствовавшие о больших деловых способностях Половцова, ему невозможно было проникнуть всюду, так как по закону он был «техническим и хозяйственным» товарищем министра, а Нератов продолжал и при Штюрмере оставаться «политическим» товарищем министра, который и заведовал всей сокровенной частью русской внешней политики.

На бюрократическом языке это означало, что Нератову, и только ему, подчинялись все четыре политических отдела, ведавшие европейскими, американскими и ближне-, средне- и дальневосточными делами, ему в политическом отношении подчинялась и Юрисконсультская часть; Половцову же подчинялся I Департамент — личного состава и хозяйственных дел и II — Консульский, а также в части юридической — Юрисконсультская часть. Из этого вытекало, что в чисто политические дела всех четырех политических отделов, которыми заведовали Татищев, Петряев, Клемм и Козаков, Половцов не мог проникнуть, а Юрисконсультская часть, несмотря на свою географическую близость, была ему известна только наполовину, так как Половцов мог только знать, что находилось в нашей части, а между тем чисто политическая работа Юрисконсультской части выражалась главным образом в устных и письменных заключениях и докладных записках, которые мы давали в политические отделы по принадлежности, где они и хранились. После же назначения Половцова и его исключи-

тельного интереса к нашей части я, как правило, предпочитал не оставлять в наших делах никакого письменного следа в виде черновиков и т. д. в особо важных вопросах политического характера.

Таково было ненормальное положение, когда подведомственная своему начальству часть вынуждена была скрывать свои наиболее существенные дела от своего прямого начальства, так как, повторяю, у нас у всех никогда из головы не выходило подозрение, что истинная миссия как Штюрмера, так и Половцова — заключение сепаратного мира с Германией. Это же подозрение не позволяло и всем перечисленным начальникам политических отделов близко допускать к себе Половцова; последний дружил только с Нольде, который, конечно, как старый служащий министерства, очень много знал, но насколько он был с ним откровенен, я судить не берусь. У нас упорно говорили, что в случае ухода Нератова Половцов займет его место, а Нольде — место Половцова. Думали, что такая комбинация осуществится еще при Штюрмере. Конечно, для Штюрмера Нольде был слишком «левым», но, с другой стороны, Нольде был дружен с Половцовым и в отношении войны был из всех ответственных чинов ведомства наибольшим германофилом (если не считать В. О. Клемма, заведовавшего Среднеазиатским отделом). Таким образом, в тот момент, в октябре 1916 г., такая комбинация казалась правдоподобной.

Предчувствие взрыва

В ту осень дважды приезжал в Петроград из Севастополя, где он постоянно жил с семьей, мой дядя Н. В. Чарыков: первый раз в начале октября, второй — на рождество, вскоре после убийства Распутина. Оба раза он был около трех недель и как человек, имевший большие связи при дворе, находился в полном курсе того, что там делалось. Оба раза мне пришлось с ним много видеться и говорить о волновавших всех вопросах.

В его октябрьский приезд я расспрашивал, естественно, о Штюрмере, но он отозвался о нем очень ядовито, сказав, что хотя часто встречался с ним при дворе по разным торжественным случаям, однако лично с ним никогда никакого дела не имел. Я спросил, насколько, по его мнению, правильно

предположение о том, что Штюрмер назначен министром иностранных дел для заключения сепаратного мира с Германией. Он ответил, что Штюрмер вполне на это способен, но объективная обстановка такова, что Россия при всем желании не может выйти из войны и это к нашему счастью, так как при теперешних условиях сепаратный мир с Германией был бы «величайшим бедствием для всей последующей русской истории». Тогда я спросил его насчет существующих при дворе германофильских течений и государя. Он сказал: «Германофильская партия, к сожалению, сильна как никогда, но государь непреклонен в лояльном отношении к союзникам». При слове «непреклонен» он и я невольно улыбнулись, зная, что это слово вообще малоприменимо к характеру Николая II; к тому же для вопроса о мире настроения императрицы были более решающими.

О Распутине — общая тема 1916 г.— он упомянул в связи с моим рассказом о тех слухах, которые несколько раз в течение всего 1916 г. носились по нашему ведомству, а именно о назначении дяди министром иностранных дел. На это он заметил, что «теперь, когда на назначения министров влияет Распутин, ни Извольский, ни я, никто из профессиональных дипломатов на пост министра иностранных дел назначен не будет».

Тем не менее именно в этот приезд в гостинице «Франция», помещавшейся рядом с нашим министерством, у моего дяди, который всегда там останавливался, бывало много наших ответственных чинов и даже Нератов. Был у него и вел. кн. Николай Михайлович — председатель Исторического общества, в котором участвовал и мой дядя (получивший в 1906 г. Уваровскую премию за свое сочинение о миссии Павла Менезия при Ватикане). В связи с этим приездом у нас опять упорно заговорили о том, что Штюрмер не так уж прочен и антантофильская партия при дворе имеет в лице Чарыкова готового ему заместителя. При этих условиях знаменитая речь П. Н. Милюкова 1 ноября 1916 г.* и ее отклик в Государ-

* 1 (14) ноября 1916 г. лидер кадетской партии П. Н. Милюков выступил на открытии зимней сессии IV Государственной думы с резкой речью против

ственной думе и всей стране окончательно осветили положение.

В тот день, когда около 6 час. вечера мы собрались в «чайной комнате», то есть ведомственной приемной министра, из Государственной думы только что приехали Нератов, Татищев, Нольде и Козаков и передали подробно содержание этой речи и впечатление, ею произведенное. Татищев, который совсем недавно приехал из Парижа и отсутствовал в России с самого начала войны, сказал про Государственную думу: «Это лейденская банка — от одной искры произойдет взрыв». Нератов, более осторожный, говорил о том, что эксцессы неминуемы, а Нольде сказал, что «через три месяца у нас будет республика». В отношении срока фактического падения монархии Нольде, таким образом, ошибся ровно на один месяц.

Среди присутствующих не было Половцова, и потому разговор был совершенно откровенным, но впечатление от всего виденного и слышанного у тех, кто был на заседании Государственной думы, оказалось настолько сильным, что заявление Нольде о республике никого не удивило. О государе говорили как о покойнике, и в этот момент в нашем ведомстве, в этом пока что тесном кругу наиболее близких к министру чиновников, монархия уже не существовала. Не то было замечательно, что́ говорилось, а где — в приемной у Штюрмера, рядом с его хотя и пустовавшим в этот момент кабинетом, и кем — Нератовым, Татищевым и другими, всю жизнь отдавшими монархии, если вспомнить, что еще при своем уходе Сазонов, да и Нератов в своих речах при прощании с Сазоновым считали необходимым в глазах всего ведомства поднять личный престиж государя. В тот момент все уже были настолько далеки от этого настроения, что ни место разговора, ни боязнь доноса не могли остановить раз прорвавшуюся откровенность.

В нашей полной монархических традиций обстановке

руководящих Россией «темных сил», имея в виду царицу и ее окружение. Приводя факты, свидетельствовавшие о неумелой и продажной политике правительства, он повторял: «Что это — глупость или измена?» Речь Милюкова задала тон всем дальнейшим дебатам.

такие речи выглядели ошеломляющей смелостью, но в этой смелости не было никакого оттенка революционного бесстрашия, а ясное сознание того, что власть над событиями, которая еще так недавно была в наших руках, уже от нас безвозвратно ушла, что мы всецело находимся во власти стихий, развивающихся помимо нас. В самом деле, хотя номинально как будто все оставалось по-прежнему, но с этого дня мы все, как бы высоко ни стояли на служебной лестнице, сравнялись в одном, а именно в бессилии вести в прежнем русле политику России. Мы должны были выжидать чьего-то решения и быть его исполнителями, из актеров мы превращались в зрителей или, что, может быть, было неизмеримо хуже, в статистов. Наверху шла борьба между Милюковым (в символическом смысле) и Распутиным (также в символическом смысле), мы же были между молотом и наковальней, и наша сдержанность или наша откровенность теперь, когда все самые сильные слова, вроде «глупость» или «измена», были сказаны, наше лицемерие, которое еще так недавно при прощании с Сазоновым казалось нам патриотическим долгом, теперь, когда Штюрмер, назначенный при посредстве Распутина, падал при посредстве Милюкова, эти необходимые прежде маски становились ненужными.

Неудивительно, что именно с этого памятного вечера 1 ноября в той же приемной министра открыто обсуждались возможности дворцового переворота и кандидаты на престол или на власть. К этому надо добавить, что мы, то есть частица всесильной так недавно бюрократии, мало отличались от того, что называлось на языке газет «русским обществом», только теперь эта грань, более мыслимая, нежели реально существовавшая раньше, стиралась окончательно, отбрасывая нас подчас в ряды уже просто обывателей. Одно только оставалось пока что неизменным — это техническая нужда в «спецах». Если исчезала власть над решениями, то в наших руках оставалось еще мощное орудие — приведение этих решений в исполнение, и это орудие в эпоху Временного правительства давало нам возможность, при преимущественно социалистическом составе его во втором периоде, все же иметь самое непосредственное влияние на всю внешнюю политику

России и работать почти «на прежних основаниях» при Терещенко.

Говоря объективно, мы имели возможность больше влиять на решения Временного правительства, чем при Штюрмере, прикрывавшемся именем государя. Но все же я должен сказать, что после 1 ноября 1916 г. таково было настроение только верхов ведомства, чувствовавших, что они из всемогущих директоров департаментов превращаются приблизительно в бюрократию при парламентском строе. «Les ministres passent, les directeurs restent»* — вот что становилось нашим девизом. Но помимо этих общих переживаний оставалась еще бесчисленная масса личных чувствований и интересов, крушение системы отражалось на положении всех нас вместе, но в то же время неодинаково — открывались новые возможности, для молодых или почему-либо «недоделавших» свою карьеру чиновников рисовались самые радужные картины и перспективы.

Вот почему было бы неправильно представлять себе этот период в виде сплошной депрессии ведомства. Наоборот, депрессия была в штюрмеровский период, а с падением Штюрмера чем дальше, тем больше ведомство теряло свой прежний облик, и небывалое возбуждение уже явственно сказывалось не только в первые дни революции, но и под конец царского режима. Укажу хотя бы на таких людей, как Нольде и Петряев, чувствовавших слишком долго, что по тем или иным причинам прежнее правительство недостаточно ценило их знания и таланты и предпочитало им людей, этого не заслуживающих. Для них открывалась возможность широкого и мало чем ограниченного движения вперед, и этот психологический стимул эгоистического характера, помимо общих и патриотических чувств, заставил подавляющее большинство всего нашего ведомства принять революцию и радостно приветствовать ее.

Конечно, огромное большинство никогда и не предполагало, что революция делается не для того, чтобы им открыть еще более заманчивые перспективы в карьерном отношении,

* Министры уходят, а управляющие остаются *(фр.)*.

а чтобы выбросить их без всякого сожаления в тот момент, когда это будет нужно, за борт не только ведомства, но и России. Могу сказать про Нольде, с которым из всего министерства я, конечно, был ближе всего. Я до сих пор вижу перед собой его сияющее лицо, с которым он тогда, 1 ноября 1916 г., доказывал Нератову в штюрмеровской приемной, что «все уже кончено», что «республика — единственный выход» и тому подобные парадоксы.

Николай Николаевич Покровский

Исчезновение Штюрмера произошло столь же просто и незаметно, сколь торжественно было его вступление. Никаких официальных прощаний, как при уходе Сазонова, никаких адресов от ведомства, никаких прощальных визитов, хотя бы в виде расписывания в книге у швейцара его министерского подъезда. Штюрмер уходил при всеобщем вздохе облегчения, было радостно, что его нет, что кошмар сепаратного мира и бездна слухов, связанных с этой чопорной и такой в конце концов бессодержательной фигурой, как Штюрмер, все-таки рассеялись.

Назначение Николая Николаевича Покровского, занимавшего при Штюрмере пост государственного контролера, на пост министра иностранных дел было для нас труднообъяснимой неожиданностью. Чувство удивления вызывалось тем, что Покровский не был, с одной стороны, дипломатом, а с другой — не был ставленником двора. Какая сила выдвинула его? Единственное объяснение — Государственная дума, но Покровский так же мало имел отношения к Государственной думе, как и любой крупный, хотя бы и честный бюрократ. Для нас было очевидно, что хотели назначить такого человека, про которого нельзя было бы спрашивать: «Глупость или измена?» Для нас, которым приходилось лично иметь дело со Штюрмером, ответ был один: и то и другое. Ни умом, ни честностью от Штюрмера не веяло. Вот почему, может быть, исторически так попала в цель речь П. Н. Милюкова 1 ноября. Так, по крайней мере, думалось тогда нам.

Покровский имел репутацию человека умного и честного, опытного бюрократа, сановника не из придворных или светского общества, а из трудолюбивого и малозаметного чиновничества. Выдвинул его Витте, и он заслуженно считался

одним из лучших финансистов. К дипломатии он не имел ни малейшего отношения, но как человек, изучивший в совершенстве русскую бюрократическую машину, управлял министерством неизмеримо самостоятельнее, чем Штюрмер. Во всех вопросах, которые он не представлял себе, он послушно шел за Нератовым, и тому после Штюрмера было нетрудно иметь дело с таким покорным учеником, как Покровский. Человек в обращении простой и желавший быть любезным, Покровский совершенно был чужд штюрмеровской торжественности и церемонности.

Для всех нас, привыкших иметь дело с петроградским бюрократическим сановным и чиновным миром, Покровский, как тип чиновника, после долгой выслуги получившего видное положение, не представлял ничего нового. Его важным преимуществом перед своими предшественниками, не исключая Сазонова и Извольского, были его специальные финансовые знания. Говорили, что государь имел в виду использовать их для заключения мирного трактата — вещь маловероятная, так как до мира, не сепаратного, а настоящего, было очень далеко, а, с другой стороны, финансовой стороной мир не ограничивался. Гораздо вероятнее было то, что думали у нас: Покровский назначался для того, чтобы успокоить общественное волнение, явившееся следствием заседания Государственной думы 1 ноября, и чтобы его, как человека, не связанного с ведомством, можно было так же легко «убрать», как теперь «убирали» Штюрмера.

Впрочем, техническая неподготовленность Покровского для поста министра иностранных дел проявилась сразу же в одном практически весьма существенном недостатке, а именно в отсутствии знания английского языка. Хотя официальным дипломатическим языком был французский, которым Покровский владел безупречно, фактически великобританское посольство, а также североамериканское обращались к нам на английском языке, а мы им отвечали по-французски. Ввиду этого вся политическая часть наших сношений с Англией подлежала переводу на русский язык для Покровского. Это обстоятельство сыграло роковую роль и, несомненно, воспрепятствовало установлению между великобританским по-

сольством и Покровским дружественных отношений и полного взаимного понимания. Невозможно было переводить от начала до конца все ноты великобританского посольства, приходилось ограничиваться их пересказом на русском языке — всегда недостаточно точным, а иногда и прямо искажавшим смысл английских нот. Только самые важные ноты переводились дословно.

Если принять во внимание, что именно при Покровском состоялась Парижская экономическая конференция союзников, а затем Петроградская конференция военно-дипломатического характера, в которых Великобритании принадлежала немалая политическая роль, то естественно, что, поскольку Покровский до этого не был знаком с существом наших отношений с союзниками, у него, при всем его добросовестном и лояльном исполнении обязанностей перед союзниками, все время сквозило определенное недоверие именно к Великобритании. Надо было знать те простые отношения, которые существовали между Бьюкененом и Сазоновым, имевшим возможность на каждую ноту великобританского посольства немедленно ответить и осветить все спорные пункты. При Покровском же каждая бумага на английском языке пересказывалась на русском языке или, в редких случаях, переводилась. Признаюсь, что, поскольку у нас не было особых переводчиков на главные европейские языки и знание немецкого и английского, не говоря уже, конечно, о французском, требовалось по правилам от каждого чиновника МИД, эта подробность отразилась тягостно на текущей работе, поскольку приходилось вести обширную дипломатическую переписку, не только самую новейшую, но и предшествующую, или переводить, или же пересказывать Покровскому.

Особенно много работы было у начальника Отдела печати А. И. Лысаковского, которому надлежало ежедневно давать обзор иностранной печати, причем если Сазонов и даже Штюрмер обычно читали сами наиболее значительные отзывы союзных и особенно английских органов печати, то для Покровского приходилось отмечать отдельные места и их переводить. Число служащих отдела печати увеличилось вдвое, так как эта кропотливая работа требовала большого внимания.

Если к этому прибавить остроту политического момента, то объективно можно было бы желать на посту министра иностранных дел менее маститого финансиста, но более знакомого с существом и техникой дипломатического ремесла, и в частности знающего английский язык. Бьюкенен и его главные сотрудники знали, конечно, в нужной пропорции французский язык, но они были до такой степени избалованы англоманством Извольского и англофильством Сазонова, что для них казалось особенно странным, что глава русского дипломатического ведомства не знает их родного языка.

Неизвестно, встретили ли бы союзники так сочувственно Февральскую революцию, если бы министром иностранных дел оставался Сазонов, которому они верили. Но для меня совершенно ясно из поведения Бьюкенена и Палеолога в это время, что две последовательные смены министров — назначение Штюрмера и Покровского — совершенно дезориентировали их, так же как и нас, чиновников дипломатического ведомства. Чего же, собственно говоря, хочет царское правительство и каков истинный смысл назначения Штюрмера и Покровского? Нератов, к которому послы Англии и Франции обращались с этими вопросами, говорил общими местами, но убедительных объяснений дать не мог.

Что же касается Покровского, то при всей его антантофильской позиции он был человеком совершенно новым в дипломатии и не сумел за короткое время своего управления внушить какой-либо уверенности в своей прочности. Мало того, как человек, при всех своих достоинствах, бюрократического склада, он мог управлять аппаратом ведомства, но для дипломатии этого было мало. Я видел его на рауте, данном нашим министерством в честь приехавшей в декабре 1916 г. итальянской торговой миссии: он в качестве хозяина приема был совсем беспомощен и, к удивлению этой миссии, для которой он был наиболее интересен, большую часть времени сидел уединенно с Нератовым и вел с ним оживленную беседу по-русски. Вступление в управление Покровского началось с традиционного обхода ведомства и беглого знакомства со всем составом, причем обнаружилось полное незнание Покровским внутреннего устройства министерства и компе-

тенции отдельных его частей (нас, например, он спросил, как много нам приходится иметь дело с Сенатом; мы ответили, что крайне редко; он очень удивился, судя, очевидно, по Юрисконсультской части министерства финансов, заваленной сенатскими делами).

Однако все наши мысли и интересы сосредоточились на взаимоотношениях Государственной думы и правительства. Не только мы, чиновники дипломатического ведомства, но и союзные послы вышли из состояния нарочитой индифферентности к законодательным палатам. Первым Палеолог, никогда до этого не приглашавший к себе Милюкова отдельно от других членов Государственной думы, сразу же после увольнения Штюрмера и назначения Покровского пригласил на обед Милюкова и Бьюкенена. Ни один из наших чиновников и ни одно русское правительственное или частное лицо не присутствовали на этом обеде. Об этом Нератову рассказал сам Палеолог, мотивировавший столь странное с точки зрения дипломатического этикета приглашение одного только Милюкова желанием познакомиться с настроениями и взглядами на войну господствующих течений в Государственной думе и обществе. Для успокоения Нератова он сказал, что намерен в самом ближайшем будущем устроить несколько таких «парламентских» обедов, однако никаких дальнейших приглашений никто, кроме Милюкова, больше не получал. Это обстоятельство произвело на наше ведомство самое сильное впечатление, усилившееся благодаря тому изложению содержания своей беседы с Милюковым, которое Палеолог дал Нератову.

Палеолог с сожалением (насколько оно было искренне, судить трудно) сказал, что ожидал от Милюкова большего, в особенности же по вопросу о будущей политической карте Европы. Милюков совершенно не разделял взглядов Палеолога о необходимости после войны разбить единство Германской империи. Не только в вопросе о левом береге Рейна и его эвентуальной сепарации в том или ином виде от Германии, но и в том, что касалось вообще всяких изменений государственного устройства Германии в смысле большей автономии каждого государства, Милюков решительно возражал. Даже о форме правления Германии он сказал, что «это дело герман-

ского народа», признав только невозможность оставления на троне Вильгельма II. Об изгнании Гогенцоллернов и создании республики в Германии Милюков говорил, что еще неизвестно, насколько это выгодно союзникам, так как республиканская Германия будет отрицать всякую преемственность со старой и будет крайне неуступчивой, подобно Франции Людовика XVIII на Венском конгрессе 1815 г. Палеолог находил эти рассуждения «доктринерскими» и считал, что всякая демократическая и республиканская Германия будет выгоднее Франции и всему миру, чем милитаристская монархия Гогенцоллернов с неизменностью ее имперского устройства.

По австро-венгерскому вопросу Милюков, напротив, шел гораздо дальше Палеолога, а именно предлагал полное расчленение Австро-Венгрии на составные части. Эта милюковская программа была, очевидно, внушена ему Масариком и Бенешем в Лондоне при поездке в 1916 г. членов Государственной думы в союзные страны. Палеолог сказал Нератову, что Милюков лучше разбирается в Австро-Венгрии, чем в германском вопросе, но он нашел Милюкова слишком «радикальным» в австрийских делах, так как считал, что если Германию оставить в прежнем состоянии, а Австро-Венгрию совершенно раздробить, то может получиться опасность восстановления прежней Австро-Венгрии. Габсбурги вернутся при помощи Гогенцоллернов, и лоскутная монархия вновь воскреснет. Палеолог не предвидел тогда, очевидно, возможности создания Малой Антанты и боялся, что Гогенцоллерны, пользуясь девизом «divide et impera»*, сумеют прибрать к рукам отдельные части бывшей Австро-Венгрии, каждая из которых значительно слабее Германии. Было здесь и другое, нам в МИД это было совершенно ясно, была боязнь, что если не все, то многие части Австро-Венгрии подпадут под влияние России и, таким образом, русское влияние будет слишком могущественным для разрозненной Европы.

Как бы то ни было, нам было чрезвычайно важно знать, что при номинальном существовании царского правительства и официального министра иностранных дел в лице Покров-

* Разделяй и властвуй *(лат.)*.

ского союзники (Бьюкенен через короткое время устроил у себя такой же обед с Милюковым, позабыв, впрочем, пригласить Палеолога, на что тот очень обиделся) уже вели полным ходом переговоры с Милюковым. Я говорю только о том, что стало нам официально известно через Палеолога и Бьюкенена. Истинное содержание этой беседы Милюковым, например, от нашего ведомства было скрыто, хотя Милюков при Сазонове нечасто, но все же обменивался с ним впечатлениями и взглядами на внешнюю политику, главным образом на балканские дела. Это молчание Милюкова было довольно естественно, так как в глазах всей России Милюков был вождем умеренной, но все же оппозиции, а после речи 1 ноября — и революционной части. Мы не могли считать разговор Милюкова с Палеологом в присутствии Бьюкенена иначе как «примериванием» Милюкова в качестве будущего министра иностранных дел России. Если союзники не во всем соглашались с Милюковым, то в основном — продолжение войны до решительной победы — они сошлись, а при существовавшем положении вещей для Франции и Англии это было самое важное.

Парижская экономическая конференция

Активность Покровского выразилась в двух направлениях — в участии нашего ведомства в Парижской экономической конференции союзников, имевшей целью удержать единство союзного фронта против Германии в экономическом отношении и после войны и упорядочить и унифицировать экономические меры против Германии еще во время войны, а также в уяснении взглядов русского правительства на цели и политические последствия войны.

Нашим делегатом на Парижскую конференцию был намечен Половцов. Для него необходимо было выработать инструкции — работа, порученная Нольде с правом привлечения и других отделов и лиц. Нольде привлек меня в качестве своего ближайшего помощника. Избегнуть нашей юридической стороны дела было на этой конференции невозможно, но лично я, помимо того что был после Нольде старейшим работником Юрисконсультской части (Горлов уже уехал в Париж, где, впрочем, совсем не сошелся с Извольским, который ненавидел тот тип петербургского чиновника-бюрократа, который

представлял из себя Горлов), оставался единственным человеком в министерстве, который был в полном курсе всех мероприятий правительства в германском вопросе. Сам Нольде, как я отмечал выше, был крайне индифферентен, если не прямо враждебен, «немцеедству» и даже совсем не следил за развитием законодательства в этой области, как только стал директором II Департамента. Опять, как раньше в Юрисконсультской части при Нольде, мне гораздо больше пришлось работать с ним, чем с Догелем.

Дело было спешное, Половцов, не знакомый с предшествующей работой в министерстве, да и вообще недавно только приобщенный после такого долгого перерыва к дипломатической сфере, спешил со всем ознакомиться, а между тем приходилось подводить итоги нашей деятельности по германскому вопросу, в общем довольно хаотичной, и устанавливать задним числом известную логическую закономерность отдельных фаз развития нашего законодательства. Эта работа поглощала так много времени, что мне пришлось совершенно изменить мои обычные часы прихода в министерство и ухода, расположив их согласно потребностям работы, а не общего распорядка служебного расписания. Должен отметить, что и Половцов в эти дни перед конференцией приезжал рано утром и уезжал поздно вечером, отдавая все свое время работе.

Мое положение осложнялось еще и тем, что Догель не был в состоянии вести работу в Юрисконсультской части и мне приходилось заниматься текущими делами. К тому же выяснилось, что, кроме Нольде, у нас не было ни одного человека (за исключением Покровского), который мог бы разбираться в экономических вопросах. В силу этого Нольде обратился ко мне, чтобы я взял на себя разработку некоторых экономических проблем, как-то: русско-германского торгового договора 1905 г., железнодорожного транзита через Германию в связи с хлебной торговлей, таможенных тарифов. Когда я стал отказываться, ссылаясь на отсутствие специальных знаний, Нольде мне сказал: «Вы больше знаете по этим вопросам, чем любой чиновник в моем департаменте» и, снабдив меня литературой, поручил мне эти дела.

Правда, русско-германский торговый договор я знал, но

теперь мне приходилось оценивать его положения с экономической точки зрения и в совершенно новом освещении. Для этого помимо присутственного все свободное время дома у меня уходило на министерскую работу, которая велась самым бешеным темпом. Исключительно благодаря умелому руководству Нольде нам удалось к назначенному сроку изготовить инструкции Половцову и даже отпечатать их. Сам Нольде признавался, что только во время начала войны ему приходилось так напряженно работать, как теперь.

Наши основные положения сводились к тому, что после войны Россия во всяком случае должна сбросить с себя ярмо русско-германского торгового договора, который не столько в своих общих постановлениях, сколько в отдельных положениях относительно железнодорожных преимущественных тарифов, а также и таможенных связывал по рукам и ногам нашу хлебную торговлю и вообще российский вывоз и ввоз. Наше мнение об образовании единого союзного фронта против Германии и после войны (так наз. «экономическая война», которая должна была начаться после окончания «военной войны») было вполне положительным, но мы не хотели связывать себя слишком подробно регламентированными обязательствами на будущее со всеми союзниками, предпочитая систему свободного индивидуального соглашения с каждым из союзников по отдельности. Такой же была и французская точка зрения, так как Палеолог несколько раз еще при Сазонове высказывал опасение послевоенной англосаксонской гегемонии в экономическом отношении. Не место, конечно, было подчеркивать эту мысль на Парижской конференции, но в инструкциях Половцову было прямо сказано, чтобы никаких векселей не подписывать в отношении «общесоюзнических» торговых договоров, которые фактически уничтожили бы нашу экономическую автономию.

Покровский, понимавший в этих вопросах больше, чем все министерство вместе взятое, сам просмотрел инструкции Половцову, сильно изменил их и с большим тактом установил полное согласие по всем основным вопросам с Палеологом. С Бьюкененом он старался держаться больше на общих местах, но вполне корректно. К нашему большому удивле-

нию, как об этом нам сообщил Извольский, все дело на Парижской конференции чуть не испортил Половцов, заявивший на первом же заседании делового характера, что «Россия не желает ни в малейшей мере связывать себе руки в отношении своей экономической политики после войны».

Это заявление произвело впечатление разорвавшейся бомбы. Извольский доносил нам, что положение было настолько остро, что ему на свой собственный страх и риск пришлось вмешаться в это дело и дезавуировать Половцова, высказавшего-де «собственное личное мнение»,— как известно, самый обычный дипломатический прием, когда правительство сваливает всю вину на своего представителя, не нашедшего надлежащего тона или момента для высказывания заветных мыслей правительства. Извольский требовал немедленного отозвания из Парижа Половцова, но Покровский на это решиться не мог, так как все же, хотя и неудачно, но Половцов выразил его собственную мысль; кроме того, Половцов был ставленником двора, и двор мог обвинить Покровского, что тот «предает Россию» в угоду союзникам — любимая мысль придворных германофилов. Половцову был сделан нагоняй за слишком «недипломатическую» откровенность и посланы новые инструкции всячески загладить произведенное его выступлением впечатление, но его все же оставили официальным делегатом русского правительства.

Каким-то образом о намерении Извольского добиться отозвания Половцова стало известно союзникам, и эта неудавшаяся попытка спасти дело окончательно его погубила. Несмотря на все последующие заявления Половцова и даже большие уступки под конец союзникам, все же у них создалось впечатление, что царское правительство после войны займет совершенно иную экономическую позицию в отношении Германии, чем во время войны, отличную от позиции остальных союзников. Неосторожное выступление Половцова, который все же считался профессиональным дипломатом, дало повод к подозрениям, что он действовал так по наущению тех кругов, которые призвали его к власти еще при Штюрмере и теперь стремились «сорвать» Парижскую конференцию. Назначение Половцова шталмейстером к 1 января 1917 г.,

непосредственно после его неудач на Парижской конференции, давало известное основание для этих подозрений. Даже Палеолог, который так охотно соглашался до этого в экономических вопросах с Покровским, после выступления Половцова в Париже выразил свое неудовольствие нашему министру по этому поводу и дальше был крайне сдержан, несмотря на Петроградскую военно-дипломатическую конференцию союзников в январе 1917 г.

Таким образом, первый серьезный дипломатический шаг Покровского — Парижская экономическая конференция,— несмотря на его благоприятные технические последствия, политически ослабил и без того пошатнувшееся после штюрмеровского эксперимента доверие к русскому царскому правительству. Вспомнили в этот момент, что, несмотря на всю загадочность назначения Штюрмера, он все же начал с вовлечения в войну Румынии. Покровский же неудачным выбором Половцова преждевременно раскрыл карты царского правительства касательно послевоенной политики России в отношении союзников. Причиной для этого печального инцидента послужили, между прочим, и незнание им существа дипломатических переговоров, и его боязнь выдавать «обязательства» за счет России. Нератов, например, не одобрял тех мест инструкций Половцову, где последнему запрещалось вступать в сколько-нибудь ответственные соглашения с союзниками по поводу Германии, указывая, что практически это не опасно для России, так как все итоги Парижской конференции не могут не быть закреплены в мирном трактате и Россия вполне сможет тогда отстоять свои позиции, опираясь на свою военную силу. Теперь же Нератов считал нетактичным подчеркивать перед лицом всех союзников наличие у России особых планов насчет ее будущей экономической политики в отношении Германии.

Быть может, если бы сам Покровский лично принял участие в Парижской конференции, он нашел бы надлежащий тон, но Половцов его самым серьезным образом скомпрометировал как в глазах великобританского правительства, с которым вообще у Покровского не ладилось, так и в глазах французского, с которым он вначале старался быть любезным и

откровенным. С другой стороны, подозрения союзников о возможности послевоенного экономического сближения России с Германией, которые оскорбляли Покровского, охлаждали его антантофильские чувства до такой степени, что он перестал это охлаждение скрывать от них. Это было крайне неосторожно.

Указ 1 января 1917 г. о назначении Нератова в Государственный совет, так удовлетворявший самого Нератова, и только «временное» сохранение за ним обязанностей товарища министра встревожили Палеолога и Бьюкенена, подозревавших, что заместителем Нератова будет Половцов. К моменту Февральской революции в нашем ведомстве личным доверием союзников пользовался только Нератов, находившийся под дамокловым мечом уже объявленной государем, но еще не приведенной в исполнение отставки. Это производило на наших главных союзников самое гнетущее впечатление, и неудивительно, что они считали нужным принять предохранительные меры и установить заранее дружественные отношения с Милюковым.

Я должен к этому добавить еще одно обстоятельство, которое могло бы сильно повлиять на наши отношения с союзниками, а именно назначение 1 января 1917 г. Сазонова послом в Лондон на место умершего графа Бенкендорфа. На первый взгляд это возвращение Сазонова к дипломатической деятельности, да еще в Лондоне, должно было загладить неудачное выступление Половцова в Париже, но одновременное награждение Половцова шталмейстерским званием говорило скорее о двуличности царского правительства, желавшего так же отделаться от Сазонова, как оно в свое время отделалось от Извольского. Для союзников было ясно, что Половцов в качестве второго товарища министра в Петрограде будет иметь больше веса, чем недавно так унизительно уволенный Сазонов — в Лондоне, хотя бы и в звании посла.

Последние проекты «приобретений» России

Другая область, куда направил свою энергию Покровский, было точное установление того баланса выгод, которые приобретала Россия в случае победы союзников. У нас посмеивались над Покровским, говоря, что он подходит к внешней политике России как финансист и, казалось, хочет взвесить,

насколько «прибыльным» предприятием является война. В тот момент, когда война далеко еще не была закончена и самое поражение Германии далеко не обеспечено, а внутреннее положение России ухудшалось с каждым днем (об этом можно было судить хотя бы по ведомости дел Совета министров, со второй половины 1916 г. испещренной всевозможными экстренными донесениями губернаторов о критическом положении вверенных им губерний, донесениями, которые Протопопов всегда вносил в Совет министров для экстренного обсуждения),— в этот момент министр иностранных дел с совершенно исключительным вниманием исследовал вопрос о «приобретениях» России в случае удачи.

Накануне падения монархии и небывалого крушения России Покровский до последней минуты занимался этим учетом будущих «прибылей». В самой последней своей политической записке к государю 21 февраля 1917 г. он писал о Константинополе и высказывал свой скептицизм в отношении намерения исполнить мартовское соглашение союзников 1915 г., по которому Константинополь с соответствующим Hinterland'ом* и Дарданеллами должны были отойти в прямое владение России.

Должен сказать, что сам Покровский не заключил ни одного нового соглашения с союзниками по поводу будущих «приобретений» России, но он хотел, чтобы все эти вопросы были с нашей стороны — министерства иностранных дел — выяснены в мельчайших подробностях. Он подверг жестокой критике то, что было сделано Сазоновым, считая, что соглашения в марте 1915 г. о Константинополе и Лондонское в апреле того же года об Адриатическом море являются недостаточными не с точки зрения того, что они давали России, а с точки зрения гарантий их осуществления. Напрасно Нератов доказывал Покровскому, что единственная гарантия — это реальное положение русской армии к моменту окончания войны и потребность союзников в нас; недоверие же к союзникам, выраженное им прямо в лицо, нисколько не изменит существующего положения вещей, но несомненно

* Буквально — тылом *(нем.)*, здесь — прилегающей территорией.

15 Зак. № 24

ухудшит наши союзнические отношения. Самое главное — это удачно кончить войну, а для этого прежде всего необходимо взаимное доверие союзников.

Покровский, однако, без всякой исторической аналогии по существу дела ссылался на Парижский мир 1856 г. и в особенности на Берлинский 1878 г. Как человек, привыкший к постоянной коалиции против нас всей Европы, Покровский никак не мог ориентироваться в новой обстановке, когда три четверти Европы были с нами. Из двух последних царских министров иностранных дел — Штюрмера и Покровского — последний, конечно, был неизмеримо искреннее в отношении к войне и союзникам по существу (о Покровском никто не думал, что он мог бы заключить сепаратный мир, как это думали о Штюрмере), но внешне Покровский пренебрегал обычными дипломатическими любезностями и, слишком увлекаясь перспективами послевоенной политики России, создавал впечатление, что Россия после войны переменит свою позицию в отношении союзников.

Мало того, на военно-дипломатической Петроградской союзной конференции, открывшейся 19 января 1917 г., на которую приехал из Франции Гастон Думерг, Покровский решительно протестовал против намечавшегося объединения сухопутного военного командования, хотя бы в форме взаимного контроля общего плана военных действий. Он отстаивал полную самостоятельность русского командования и предполагал перенести центр военных действий на Юго-Западный фронт, поближе к Константинополю, тогда как союзники настаивали на концентрации русских войск для весеннего наступления 1917 г. на Северном фронте. Все это самым неблагоприятным образом отражалось на отношении к Покровскому со стороны Франции и Великобритании в лице Палеолога и Бьюкенена.

По ближневосточному вопросу, которым традиционно Покровский интересовался больше всего, он на основании соглашений 1915 г. рассчитывал на получение Константинополя, Черноморских проливов, установление фактического влияния в Анатолии и присоединение к России, с известной автономией, Армении. Таким образом, Черное море прев-

ращалось в «русское озеро», так как болгарский и румынский флоты можно было считать за quantité négligible*. В адриатическом вопросе Покровский оставался на позициях Лондонского соглашения 1915 г., то есть Далмация переходила к Италии, Хорватия не только получала независимость от Венгрии, но и отделялась от Сербии, о хорватском государственном устройстве никакого соглашения между союзниками не было.

Не было соглашения и по чешскому вопросу — этим вопросом у нас в МИД еще при Сазонове в 1916 г., как я отмечал выше, стал заниматься в Славянском столе Приклонский. Это был, кажется, единственный из прежних видных чинов ведомства, который явно выиграл от замены Сазонова Штюрмером. При общем крайне тревожном настроении всех нас, боявшихся «измены» Штюрмера, он один сумел снискать расположение и Штюрмера, и Половцова, а благодаря покровительству последнего и при Покровском расцветал с каждым днем. Его карьере положила конец Февральская революция, окончательно отстранившая его от политической деятельности. Это был, кроме Половцова и Догеля, единственный начальник политического отдела, которого немедленно же пришлось убрать с ответственного поста, так как он по всему своему складу был «штюрмерианец».

Не составляло для нас секрета и то, что причиной его увольнения при Временном правительстве была его постановка чешского вопроса. На этом вопросе он и делал карьеру при Штюрмере, играя как на общемонархических и даже реакционных, так и на религиозных его струнках. Штюрмер был сам не только православным, но и фанатическим (или ханжеским) проводником православия и миссионером во внешней политике России. Необходимость вовлечения Румынии в войну на стороне России он мотивировал, между прочим, и тем, что Румыния — православная страна и что она в такой момент должна находиться рядом с православной Россией.

Воинствующее православие Штюрмера спасло его в гла-

---

* Ничтожно малую величину *(фр.)*.

зах русских шовинистов, едва ли простивших бы ему без этого его немецкую фамилию. Приклонский с этой стороны всячески старался заинтересовать Штюрмера в чешском вопросе. При этом он развивал ему всю историко-дипломатическую аргументацию, имевшую целью доказать, что при освобождении от Габсбургской монархии Чехия неминуемо отвернется от римско-католической церкви. Он говорил, что католическая религия вообще объективно принесла славянству только вред — поссорила Польшу с Россией и привела ее к разделу, отделила хорватов от сербов, наконец, сожжением Яна Гуса и последующей австрофильской политикой восстановила против себя весь чехословацкий народ.

О чехах Приклонский думал, что после освобождения им политически невозможно будет оставаться под римским престолом, что им придется создавать свою собственную национальную чешскую церковь и что самый лучший образец для них — это Россия, Болгария и Сербия, для которых православие явилось национальным цементом их независимости и могущества, что, несмотря на атеизм широких кругов чешской интеллигенции, простой народ не сможет и в Чехии обойтись без религии, а так как чешская история показывает, что чешская национальная реформация — гуситство — была искусственно прервана внешними событиями, то по устранении этих внешних препятствий религиозные искания Чехии бросят ее в сторону, противоположную Риму. Православная религия отвечала бы и чешскому международному положению, устанавливая лишнюю связь Чехии с Россией и другими православными славянскими странами, тогда как католичество могло бы быть только средством соединения Чехии и Польши, что мало отвечает международным задачам чешской внешней политики, русофильской по своей природе. Наконец, православие в форме национальной автокефальной чешской церкви предотвратило бы неизбежные интриги Ватикана против чешской независимости и дало бы чешской государственной власти, по примеру России, Сербии и Болгарии, могущественное средство для национальной спайки.

Не пренебрегал также Приклонский аргументами монархического характера. В 1916 г., во второй его половине, на

основании обещаний, данных Николаем II в сентябре 1914 г. русским чехам, предполагалось устроить из Чехии независимое государство, соединенное с Россией Романовской династией. При этом царское правительство хотело поставить во главе Чехии одного из великих князей (выбор пал сначала на вел. кн. Дмитрия Павловича, которого предполагалось женить на старшей дочери Николая II Татьяне, чтобы в Чехии не было при дворе иностранной династии и с женской стороны; кандидатура эта отпала после участия Дмитрия Павловича в убийстве Распутина). Приклонский считал невозможным, чтобы русский великий князь, коронованный чешским королем, принял католичество. С другой стороны, сохранение православия одного только монарха могло бы иметь гибельные последствия для укоренения новой династии в католической стране. Следовательно, если сажать на чешский престол русского монарха из Романовской династии, то надо было бы осторожно, но решительно начать православную пропаганду в Чехии. Так как необходимо было обо всем этом думать заранее, то Приклонский предлагал устроить нечто вроде чешской православной духовной академии и приступить немедленно к ее созданию.

Этот план был одобрен Штюрмером, и Приклонский начал уже переговоры с Департаментом иностранных исповеданий министерства внутренних дел, как вмешался Нератов и категорически отсоветовал начинать такое щекотливое дело в разгар войны, ссылаясь на неудачный галицийский прецедент 1914—1915 гг. Он боялся, что военнопленные чехи, узнав об этом, начнут подозревать русское правительство в стремлении насильственно обращать их в православие, а самое главное, что католическая церковь, как только увидит эти попытки, получит в руки могущественное орудие в своей антирусской пропаганде и результат наших мероприятий получится диаметрально противоположный. Вообще я должен сказать, что Нератов нисколько не одобрял широких замыслов Приклонского, всячески предостерегая против них и Штюрмера, и Покровского. Но чешский вопрос входил в компетенцию Славянского стола, которым ведал Приклонский, и, до тех пор пока тот не был смещен, с ним нельзя было не считаться.

Зато Милюков с самых первых дней своего вступления в должность сразу же отстранил Приклонского, который был уволен одновременно со своим покровителем Половцовым. Догель, мой начальник, был уволен через несколько дней, когда Милюков уже несколько ознакомился с личным составом. Из этого видно, что Милюков уже раньше знал о деятельности как Половцова, так и Приклонского и считал их особенно вредными для новой внешней политики революционной России.

В польском вопросе как Штюрмер, так и Покровский не проявляли особой активности. Формально наше министерство стояло на позициях, изложенных в сазоновской инструкции нашему заграничному представительству, но за это время, ввиду стремления как Германии, так и Австро-Венгрии вовлечь Польшу в свою дипломатическую орбиту, у союзников, судя по донесениям наших посольств из Парижа, Лондона, Вашингтона и Рима, складывалось определенное мнение о необходимости полной независимости Польши. Одна только Россия (до Временного правительства, согласившегося в своем воззвании 15 марта к полякам на независимость Польши при условии «свободного военного союза» с Россией) оставалась на прежней позиции автономии Польши в составе Российской империи.

Сазоновская инструкция, несмотря на всю ее либеральность, не предусматривала польской независимости и, таким образом, уже успела устареть, но ни Штюрмер, ни Покровский не имели мужества поднять вновь перед государем польский вопрос, да и Штюрмер, например, ознакомившись с сазоновской инструкцией, хотя и не отменил ее, но ужаснулся ее «уступчивости польскому шовинизму», как он выразился в разговоре с Нератовым. Опять-таки Нератов отстоял эту инструкцию, так как Штюрмер несколько раз поднимал о ней разговор. Покровский тоже не имел вкуса к польскому вопросу и как помещик Ковенской губернии имел на этот счет особые взгляды, малодружественные в отношении поляков. Только Февральская революция сдвинула польский вопрос с мертвой точки.

Планы воссоздания Германского союза

Совершенно новый вопрос, поднятый при Покровском в связи с упомянутым мною выше разговором Палеолога и Бьюкенена с Милюковым, был вопрос германский. Его поднял Покровский, считая для себя невозможным в качестве официального руководителя русской внешней политики допускать, чтобы союзники по такому вопросу вели переговоры исключительно с лидером оппозиции. Покровскому не хотелось оставлять инициативу в руках Милюкова, тем более что вся пресса, не исключая и правой, считала Милюкова эвентуальным преемником Покровского. В «Новом времени» в насмешливом фельетоне Меньшикова описывалось, как Милюков покупает себе министерский портфель, как в магазине ему подсовывают портфели различных образцов и разной степени новизны с вензелями И, С, Ш и П (Извольского, Сазонова, Штюрмера и Покровского) и Милюков останавливается на последнем, так как он совершенно новенький, и прибавляет к нему букву М, то есть свои инициалы.

Покровский счел нужным воспользоваться «промахами» Милюкова, ориентируясь на то, что Палеолог говорил о милюковской точке зрения. Со стороны Палеолога это был не лишенный остроумия дипломатический прием — по одному и тому же вопросу вести переговоры одновременно и с Милюковым, и с Покровским. В особенности Палеолог интересовался вопросами Рейнских провинций и левым берегом Рейна. Покровский по совету Нератова поручил мне составить записку. Об этом мне сообщил Догель, показывая тем самым, что он добровольно на это соглашается. Между тем надо сказать, что Покровский тоже пытался «пробовать» Догеля на политической работе, поручив ему осветить вопрос о местном земском самоуправлении, занимавший в это время Совет министров, но Догель не выдержал этой пробы, не удовлетворив своей запиской Покровского, и, оставаясь номинально во главе Юрисконсультской части, уже при Покровском совершенно отошел от ее руководства.

Мне пришлось, таким образом, заняться германским вопросом не только во внутренней политике России и не только с экономической стороны, как при выработке инструкции нашей делегации на Парижской конференции по вышеотмеченным

пунктам, но и с точки зрения внутреннего государственного устройства Германии. Нератов в разговоре со мной предварительно сам наметил особо интересовавшие Покровского вопросы, а именно о форме правления (вопрос о Вильгельме II в этой записке не затрагивался, так как уже раньше русское правительство, считавшее Вильгельма лично виновником как русско-германской, так и мировой войны, вылившейся из первой, сообщило, что оно не находит возможным оставить на германском престоле этого монарха в случае победы союзников), о территориальном составе Германии, о ее федеративной связи и, наконец, рейнский вопрос. Данцигский вопрос умышленно не ставился из-за связи его с польским. Эти вопросы мне пришлось подробно осветить и с исторической, и с международно-политической стороны. Вопрос о форме правления я поставил третьим, считая, что он обусловливается территориально-политическим, то есть этнографическим, составом и характером связи отдельных частей Германской империи. Что касается территориального, то в моей записке я исходил из чисто этнографического принципа, полагая, что в будущей Германии не должны оставаться иные национальности, кроме германской, за исключением лужицких сербов вследствие невозможности их выделения*. В отношении Восточной Пруссии я думал, что военно-стратегические соображения должны превалировать, но этот вопрос я умышленно не углублял, дабы оставить возможность выяснить точку зрения военного ведомства.

Самым сложным представлялся вопрос о федеративном устройстве Германии и форме правления. Мне было ясно, что монархия в Германии при федерации не может быть оставлена, но в то же время я боялся, что республиканская форма при прежней федеративной связи еще более спаяет германскую нацию, сделав из нее вторую Францию. С точки зрения внутреннего германского единства единая, хотя бы и федеративная, Германская республика при уничтожении местных

* Лужицкие сербы, лужичане — славянская народность, обитающая в верховьях и по среднему течению реки Шпрее в Лаузице (округа Дрезден и Котбус). На всей территории сербское население сильно перемешано с немецким.

династий была бы гораздо страшнее, чем прежняя. Вопрос о германском разоружении и возможности сохранить такое положение на долгое время представлялся мне крайне сомнительным, учитывая наполеоновский опыт в 1806 г. Ввиду этого в моей записке высказывалась мысль о безусловной отмене имперской формы правления и повсеместном упразднении местных династий, за исключением тех государств, где население по плебисциту выскажется за монархию. Но Пруссия исключалась из числа государств, в которых этот плебисцит допускался.

Гогенцоллерны, безусловно, изгонялись из Германии без права на какой бы то ни было престол. Полное упразднение всех местных династий я, по опыту предшествующей германской истории, считал даже нежелательным при общереспубликанской форме правления в Германском союзе. Мне представлялось совершенно фантастичным, чтобы вокруг какой-либо местной династии, саксонской или баварской, могла образоваться новая Германская империя. Самое главное, я считал необходимым сломить прусскую гегемонию в Германии. Что касается федеративной связи, то, согласно записке, эта связь существенно ослаблялась с пересмотром всех прусских владений, приобретенных Пруссией в 1815 г. По новому устройству Германия должна была приблизиться к Германской конфедерации 1815 г., с исключением из нее Австрии. Конечно, полное расторжение германского единства было теперь немыслимо, но предусматривались право на значительно большую самостоятельность в местных делах и освобождение от общефедеративного правительства в вопросах, наиболее важных с государственной точки зрения.

Само собой разумеется, в записке приводились в историческом аспекте только самые основные положения будущего Германского союза, причем я особенно отмечал все, что было сделано на Венском конгрессе 1815 г. для установления прусской гегемонии в Германии и территориального усиления Пруссии за счет других германских государств, и считал, что будущий мирный конгресс должен вдохновляться прямо противоположными тенденциями.

Наконец, в вопросе о Рейнских провинциях, на основании

имевшихся в нашей канцелярии министра донесений Извольского о французских взглядах на этот вопрос, в моей записке высказывалась мысль, что если в настоящий момент не приходится мечтать о возрождении наполеоновской Рейнской конфедерации, то с русской точки зрения нет препятствий к устранению военно-стратегической опасности для Франции со стороны левобережных рейнских земель. Учитывая опыт 1815, 1870 и 1914 гг., когда именно левый берег Рейна служил местом концентрации германских войск против Франции, и исключительное его положение в качестве превосходного плацдарма, позиция России заключалась, по моему мнению, во всемерной поддержке французских домогательств в этом направлении не в форме присоединения левого берега Рейна к Франции (это был бы второй Эльзас, что понимали и французы), но в смысле его военной независимости от Германской империи. В этой записке считались вполне допустимыми все меры демилитаризации этой части Германии, полное изъятие ее в военном отношении из-под власти общегерманских военных учреждений и временная или же постоянная оккупация французскими или общесоюзными войсками левого берега Рейна до полного изменения внутреннего устройства Германии, которое гарантировало бы Францию от военного нападения со стороны Германии.

Если бы положения этой записки осуществились, они дали бы больше гарантий Франции, чем то, что было принято в Версальском трактате. Однако в тот момент, когда я дописывал с серьезностью и обстоятельностью, достойной лучшего употребления, последние страницы этой обширной записки по германскому вопросу, которую Покровский должен был представить государю, совершилось убийство Распутина, событие настолько значительное и так не вязавшееся с направлением политики Покровского, всецело поглощенного миражами будущих приобретений России и раздела мирового наследства австро-германского блока, что все наше ведомство, так же как и весь Петроград и остальная Россия, ясно увидело, что мы идем к неизбежной развязке, хотя и смутно представляло, что это будет за развязка.

Когда на другой день после появления известия о нахожде-

нии тела убитого Распутина и об участии в убийстве вел. кн. Дмитрия Павловича и князя Юсупова я пришел к Покровскому с моей запиской, он находился в таком подавленном состоянии, что долго не мог понять, о чем идет речь, и когда я напомнил ему его же распоряжение об освещении германского вопроса во всей его сложности, он горько улыбнулся и сказал: «Это музыка далекого будущего, и не мне придется ею заниматься», и затем прибавил: «Я считал, что знаю Россию, но никогда не думал, что наше положение так безнадежно. Если не случится чуда, то Петроград будет занят германскими войсками через несколько месяцев».

Я ушам своим не верил, вспоминая пространные рассуждения Покровского в присутствии Нератова и Татищева о будущей тактике России в момент окончания войны, Покровского, считавшего, что все территории, которые планировалось присоединить к России, должны быть до заключения мирного трактата заняты русскими войсками, дабы поставить союзников перед свершившимся фактом. Покровский последние дни перед убийством Распутина был до такой степени погружен в приятное будущее и невольно таким образом втягивал в это настроение всех своих ближайших сотрудников, что возвращение к горькой действительности вызвало у него самую резкую реакцию. Мою записку, заказанную им в совсем другом состоянии духа, он положил в стол с явным намерением ее не читать и не давать ей ходу.

Тем не менее моя работа не пропала даром, так как в начале января 1917 г. Палеолог, получивший соответственные инструкции от Бриана, официально поставил перед русским правительством вопрос о его взглядах на целый ряд проблем, касавшихся будущего положения Европы и, в частности, Германии после войны. Покровский вспомнил тогда о моей записке, и на основании ее мною же был составлен меморандум на французском языке, переданный Палеологу Покровским. Палеолог, ознакомившись с его содержанием, выразил свое полное удовлетворение русской поддержкой всех основных французских претензий в отношении Германии, в особенности же касательно Рейнских провинций и левого берега Рейна, на что особенно напирал, по его словам, Бриан в только

что полученных Палеологом инструкциях из Парижа. Свою благодарность русскому правительству он передал в письменной форме с надеждой, что оно на будущем мирном конгрессе не отступит от высказанных в меморандуме положений и всецело поддержит Францию.

Это было последнее светлое пятно в русско-французских отношениях царского правительства. На военно-дипломатической конференции союзников, созванной в 20-х числах января 1917 г., Покровский, к сожалению, снова вернулся к своему характерному скептицизму в отношении союзников и к своему увлечению будущими радужными перспективами необычайного расширения России после войны, что отразилось самым неблагоприятным образом на отношении к нам союзников, в частности Франции и Англии. Несмотря на пессимистические слова, сказанные им мне после убийства Распутина, вера в звезду России совершенно ослепляла его.

Слухи о дворцовом перевороте

Между тем после убийства Распутина в нашем министерстве все были убеждены, что это только прелюдия дворцового переворота, о котором говорили совершенно определенно, называя даже день — 1 марта. Эти слухи, слишком открытые, для того чтобы действительно предвещать заговор, были, однако, упорны, и я был немало удивлен, когда в доме профессора П. П. Гронского, тогда члена Государственной думы, в обществе его ближайших друзей по кадетской фракции И. П. Демидова, М. М. Ичаса, В. Н. Пепеляева, я услышал те же самые разговоры, что и у нас в министерстве, подкрепленные именами Родзянко как главного участника переворота и вел. кн. Михаила Александровича как будущего императора. Отмечу вариации нашего министерского слуха, указывавшего на Гучкова и Милюкова как главных авторов будущего государственного переворота и не упоминавшего имен ни Родзянко, ни вел. кн. Михаила Александровича, и думских слухов — с этими именами и без Гучкова и Милюкова.

Для характеристики того впечатления, которое произвели на петербургские правительственные круги убийство Распутина и немедленное возникновение слухов о предстоящем перевороте, отмечу, что идея убийства Распутина была, вообще говоря, совсем не нова, и именно в придворных кругах. Так,

например, весной 1916 г. я бывал в доме княгини Кантакузен, фрейлины Александры Федоровны, и она в присутствии нескольких человек из нашего министерства и канцелярии Совета министров подробно развивала мысль о необходимости убийства Распутина при помощи какого-нибудь наемного убийцы самого простого уголовного типа. Эти разговоры в устах фрейлины Александры Федоровны были, конечно, пикантны, но никого особенно не поражали, так как в 1916 г. они были весьма обыкновенны. Но тогда никому не приходило в голову связывать убийство Распутина с государственным переворотом.

Когда же убийство совершилось и убийцами оказались вел. кн. Дмитрий Павлович и связанный с императорской фамилией князь Юсупов, то в течение ближайших дней и даже много позже, в феврале 1917 г., мы все в МИД ждали продолжения распутинской драмы в виде смены царствовавшего монарха. Опять-таки о республике, за исключением отмеченных выше слов Нольде, которые были встречены с недоверием и которых никто у нас серьезно не обсуждал, совсем не говорили и не думали. Республиканский характер переворота считался исключенным и потому, что предполагалось, что участники убийства Распутина связаны и с будущими участниками заговора против Николая II и, следовательно, переворот будет иметь целью устранение царствующего монарха, но отнюдь не падение династии. Можно даже сказать обратное: шансы династии сильно поднялись после убийства Распутина и надежда на «революцию сверху» одушевляла всех.

Однако по прошествии января и в начале февраля, когда, хотя убийство Распутина и осталось безнаказанным в судебном смысле, но последовала опала вел. кн. Дмитрия Павловича, а со стороны императорской фамилии никаких шагов в виде подготовления к перевороту не делалось, обозначились скептицизм и разочарование. Убийство Распутина, которое еще год тому назад при соответствующем повороте политики правительства, быть может, примирило бы умеренные общественные круги, в частности Государственную думу, с Николаем II, теперь без дворцового переворота становилось только

доказательством бессилия династии справиться с выпавшими на ее долю задачами. На фоне мировой войны фигура Распутина, оскорблявшая всех тех, для кого монархия и династия были живым символом русского могущества, была слишком ничтожна сама по себе, чтобы в устранении ее видеть новую эру в отношениях правительства и общества. Вот почему во всех кругах, как общественных, так и правительственных, совершившееся в столь неожиданно торжественной обстановке убийство Распутина было встречено с облегчением исключительно как предвестник обновления власти в лице неудачного монарха.

Зияющая пустота и всеобщее ожидание с конца декабря 1916 г. по конец февраля 1917 г. заставили всех обратить взоры с Распутина на Николая II. Быть может, жестокая расправа с убийцами Распутина поддержала бы авторитет власти, так же как обратная перемена политики правительства в смысле установления искренних отношений с думскими кругами, но когда все осталось по-прежнему, убийцы подверглись обычной полуопале за убийство Распутина как за «провинность против этикета», а в правительственной машине ничего не изменилось (о назначении князя Голицына премьером я не говорю, потому что эта фигура опять-таки ничего не означала, и это всем в Петрограде было хорошо известно), то всеобщее ожидание вылилось в определенное недовольство не только против Николая II, но и против императорской фамилии, которая, начав так смело, не хотела или не могла довершить содеянное, придав ему государственно-политический смысл.

Ожидание дворцового переворота было настолько всеобщим, что назывались уже будущие члены правительства. Это, по слухам, должен был быть Совет министров, составленный на паритетных началах из наиболее популярных бюрократов, как-то: Сазонова, Кривошеина, Покровского (в качестве министра финансов) и думских вождей — Милюкова, Гучкова, Маклакова. Имя Родзянко в качестве того лица, которое за кулисами должно было формировать «единение правительства и общества» и в нужном случае устранять рознь между бюрократическим и общественным элементами, также неиз-

менно прибавлялось к этой комбинации. О Керенском как участнике будущего правительства, образованного в результате дворцового переворота, в чиновничьих кругах никто не говорил, но в думских кадетских кругах в январе и феврале 1917 г. о нем говорили если не как о будущем министре, то как о лидере революционного крыла Думы, которого левые кадеты хотели бы так или иначе для полноты спектра включить в состав нового правительства. Я говорю: так или иначе, потому что считалось, что будущее правительство будет монархическим и Керенскому в силу его республиканских убеждений неудобно было бы быть членом Совета министров. Предполагалось также, что дворцовый переворот произойдет бескровно, так как никто не хотел смерти Николая II, а хотели его устранения, и только.

Несмотря на все упорство слухов о предстоящем перевороте, действительность ни в малейшей форме их не оправдывала, и мне, по должности следившему за течением дел в Совете министров, кроме всеобщего ухудшения продовольственной стороны и финансово-экономических осложнений в связи с принудительными ценами на хлеб в различных губерниях, никаких перемен в общей политике наблюдать не пришлось. За кулисами Совета министров один Протопопов только развивал свои далеко идущие планы об усмирении Государственной думы и оппозиции в обществе, планы, о которых у нас в министерстве кое-что знали, так как один из наших чиновников — из недавно кончивших университет правоведов, Чельцов — был зятем Протопопова, и то, что Протопопов считал выгодным для себя сообщать нашему министерству, он передавал через него.

По этим сведениям выходило, что Протопопов предполагался в качестве диктатора всей России с прекращением на время этой диктатуры действия законодательных палат, во всяком случае фактически (т. е. без возвращения к самодержавию). Необходимость такой диктатуры мотивировалась будто бы войной, но мы думали, что дело пахнет больше «миром». Эти распускаемые Протопоповым слухи только подливали масла в огонь в думских кругах, где Протопопов успел стать ненавистным.

Дипломатическая работа в такой обстановке, после временной растерянности Покровского сразу после убийства Распутина, как я указывал выше, в последние два месяца царского режима состояла помимо оживленных переговоров с союзниками на Петроградской военно-дипломатической конференции о наступлении в 1917 г. в уточнении наших взглядов на будущие итоги войны. Последним самым значительным актом в этой внутренней деятельности Покровского стала его записка государю о ближневосточном вопросе и Константинополе 21 февраля 1917 г. Автором ее был А. М. Петряев, обращавшийся, впрочем, при ее составлении и к другим начальникам отделов и, в частности, ко мне, так как раньше, при Гулькевиче в качестве начальника Ближневосточного отдела, вопросом о Константинополе занимался Нольде, а после его ухода из Юрисконсультской части эти дела перешли ко мне. Записка явилась сводкой всего направления нашей ближневосточной политики и проблемы Константинополя. В качестве нового элемента, характерного для Покровского, она отличалась призывом не доверять союзникам, в особенности Англии, в константинопольском вопросе и надеяться исключительно на свои силы и, в частности, на соответствующую благоприятную для занятия Константинополя диспозицию наших войск.

Последний мой доклад Н. Н. Покровскому и А. А. Половцову имел место 25 февраля вечером по очень злободневному в тот момент вопросу наших отношений со Швецией из-за ее явно недобросовестного исполнения требований нейтралитета в Балтийском море. Мне пришлось на основании донесений нашей миссии в Стокгольме и сведений военно-морского ведомства составить телеграфную инструкцию нашему посланнику Неклюдову с выражением обоснованного и на этот раз весьма решительного протеста. Протест был составлен в такой ясной форме, что Швеции пришлось бы или изменить свою линию поведения в корне по отношению к России, или идти на дипломатический конфликт, на что, по имевшимся сведениям, кабинет Брантинга едва ли пошел бы. Когда я с готовым текстом телеграммы пришел к Половцову, только что приехавшему из Государственной думы, тот вни-

мательно прочел телеграмму и отказался ее подписать без согласия Покровского, боясь, что она «повлечет за собой падение кабинета Брантинга, что для России невыгодно». Я с ним не соглашался, ссылаясь на донесения нашей миссии в Стокгольме. Тем не менее Половцов отказался дать свою подпись, и я пошел к Покровскому.

Покровский, когда я ему рассказал о сомнениях Половцова по поводу возможных последствий нашего протеста перед Швецией, вплоть даже до падения кабинета Брантинга, благоприятного в общем для России, тоже этим обеспокоился — читал два раза телеграмму и заставил меня показать соответствующие донесения Неклюдова. Только после этого он согласился со мной, и телеграмма была отправлена за его подписью. За два дня до падения монархии и кабинета князя Голицына, в коем участвовал Покровский, и он, и ближайший его сотрудник Половцов гораздо больше беспокоились за судьбу Брантинга, чем за свою собственную!

Началась стрельба...

Этот доклад был моим последним деловым докладом у министра при царском режиме. Дела Совета министров на 28 февраля 1917 г. в совершенно приготовленном виде были переданы мною уже не Покровскому, а его дежурному секретарю князю Васильчикову, чиновнику канцелярии министра, так как Покровский в этот день рано утром передал все текущие дела и управление ведомством Нератову. Это последнее назначенное заседание Совета министров не состоялось в Мариинском дворце вовсе за фактическим прекращением действия Совета министров. Царского правительства в этот день уже не существовало, последнее «частное совещание» некоторых министров состоялось 27 февраля на квартире премьера, князя Голицына. Н. Н. Покровский в нем еще участвовал.

27 февраля в министерстве фактически уже не работали, хотя все чиновники были налицо и наблюдали из окон министерства, как на Дворцовой площади в Зимний дворец с полковым оркестром и распущенными знаменами входил Кексгольмский полк. Сначала на Невском проспекте, а потом и у нас на Дворцовой площади началась стрельба. Нератов послал Татищева, директора канцелярии министра, в Государ-

16 Зак. № 24

ственную думу к П. Н. Милюкову, чтобы установить связь с новым министром иностранных дел еще не образованного правительства совершившейся революции. Но здесь в эти дни 27—28 февраля 1917 г. царского правительства уже не было, и наше ведомство на рубеже двух эпох в незабываемые часы неповторимого волнения и напряженного наблюдения в самом сердце революционной столицы, лицом к лицу с безмолвным и пустым Зимним дворцом, на котором в 5 час. дня 27 февраля под звуки кексгольмского марша был спущен императорский штандарт, было не министерством, а собранием людей, вместе со всей Россией присутствовавших при падении строя, который, казалось бы, был неразрывен с самим именем России. Как мы переживали эти дни, связанные уже с новой эпохой, и как была встречена Февральская революция в дипломатическом ведомстве — это уже лучше излагать в непосредственном рассказе о деятельности нашего министерства при Временном правительстве.



ДИПЛОМАТИЧЕСКАЯ СЛУЖБА ПРИ ВРЕМЕННОМ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ
(март–октябрь 1917 г.)

Настоящие записки относятся к периоду Временного правительства, от его возникновения в марте 1917 г. до падения 25 октября 1917 г., и являются по своему содержанию прямым продолжением предшествующих записей, озаглавленных мной «Три года дипломатической службы при царском правительстве (август 1914 — февраль 1917 г.), так как до дня прихода в министерство иностранных дел Л. Троцкого в качестве комиссара по иностранным делам нового рабоче-крестьянского правительства России 27 октября 1917 г. я продолжал оставаться на действительной службе в дипломатическом ведомстве.

Новая роль чиновничества

За этот промежуток времени в моем служебном положении произошла резкая перемена. В связи с уходом М. И. Догеля из Юрисконсультской части в самом начале Февральской революции и уходом барона Б. Э. Нольде из министерства вместе с П. Н. Милюковым и П. Б. Струве с мая 1917 г. я и формально и фактически становлюсь единственным ответственным юрисконсультом министерства иностранных дел и на этом посту остаюсь до большевистского переворота. Мне приходится принимать участие в Главном земельном комитете В. М. Чернова в качестве официального представителя нашего министерства, в русско-польской комиссии А. Р. Ледницкого, в комиссии С. А. Котляревского по вероисповедным вопросам, в комиссии Ф. А. Лизогуба по вопросам военнопленных

славянского происхождения, в многочисленных комиссиях, касавшихся неприятельских подданных, в Высшем призовом суде, словом, во всех тех совещаниях внутриполитического характера при Временном правительстве, где затрагивались вопросы внешнеполитического свойства, требовавшие участия министерства иностранных дел.

За это время компетенция преобразованной Юрисконсультской части, которой я теперь управлял уже в качестве законного и полноправного начальника, не только не сузилась, но, наоборот, расширилась грандиозно, в особенности после ухода из министерства барона Б. Э. Нольде и назначения его преемником на посту товарища министра А. М. Петряева, который при всех его дипломатических данных не обладал юридическими познаниями и в пределах моей части вынужден был дать мне полную свободу. Ниже я подробно расскажу обо всех этапах моей деятельности в это время. Здесь же должен отметить именно то обстоятельство, что мне особенно близко пришлось столкнуться с вопросами внутриполитического характера, так наз. общей политики, поскольку я продолжал при министре иностранных дел нести обязанности докладчика по делам теперь уже не Совета министров, а Временного правительства. Дипломатическая работа П. Н. Милюкова и М. И. Терещенко во всех своих деталях значительно полнее и яснее стала мне знакома в связи с тем, что оба они (в особенности Терещенко, лишенный сотрудничества Нольде) принуждены были ежедневно ко мне обращаться в силу моего положения единственного юрисконсульта в министерстве.

Как я укажу ниже, помимо перемен в личном составе министерства и кое-каких преобразований в ряде отделов и департаментов Февральская революция произвела и коренную перемену в отношении высшего начальства к молодому персоналу. Чувствовалось уже, что надвигаются потрясающие события и вековые иерархические преграды не в силах устоять в обстановке тревоги за будущее России. Личный персонал министерства с первых же дней Февральской революции почувствовал себя без твердого руководства. Милюков и Терещенко были настолько захвачены событиями, что сами

подвергались влиянию различных внешних элементов, и мы это ежечасно ощущали. Отсюда самодеятельность министерства, принимавшая подчас форму достаточно резкой оппозиции и отражавшаяся не раз на политике самого Временного правительства.

Это обстоятельство, совершенно новое в жизни министерства, было прежде всего проявлением инстинкта самосохранения. Мы чувствовали, что нам рано или поздно придется столкнуться с «улицей», но в то же время все бюрократическое прошлое не позволяло взять судьбу министерства в свои руки. До самого октябрьского переворота, несмотря на крайнюю тревогу, министерство не вышло из пределов служебной дисциплины в формальном смысле слова, хотя фактически все время продолжало оказывать самое непосредственное давление на внешнюю политику Временного правительства через министра иностранных дел. Этот бесшумный способ проведения своих взглядов через министра соответствовал и всем прежним традициям царского правительства. И раньше на министра фактически очень сильно влияли его ближайшие сотрудники, но чем период Временного правительства отличался от царского, так это тем, что на высших чинов министерства, в свою очередь, оказывало могущественное влияние коллективное настроение всего личного состава. В чем выразилось это своеобразное «самоуправление» министерства и чем конкретно оно вызывалось, это также составит один из главных предметов настоящего очерка.

Чиновничий «саботаж» при большевиках и эпопея белого движения целиком вышли из новой роли чиновничества и офицерства при Временном правительстве, а в этом отношении положение дипломатического ведомства благодаря его непосредственной близости к внешней политике России, имевшей такое огромное значение в это время, оказало самое решающее влияние на исторический ход событий в первые годы большевистской революции. Все элементы антибольшевистской борьбы сорганизовались именно в эпоху Февральской революции, благодаря ей и, как это видно на примере министерства иностранных дел, не без прямого участия некоторых официальных вождей этой революции. Изложить фактический ход

жизни дипломатического ведомства за это время и есть задача моих настоящих записок.

* * *

Вздох облегчения

«Голодный бунт» рабочих окраин Петрограда, уличные демонстрации, их военное подавление, волнения в самом Петроградском гарнизоне и падение монархии — все это произошло с такой головокружительной быстротой, что, глядя на это из окон здания министерства иностранных дел на Дворцовой площади против Зимнего дворца, потерявшего внезапно всякое символическое обаяние реального могущества, трудно было поверить, что дело идет о крупнейшем историческом событии в родной стране. Вместе с тем психологически все были до такой степени подготовлены к этой развертывавшейся фантасмагории, что, за исключением буквально двух-трех лиц, все дипломатическое ведомство не только не было удивлено, но и прямо обрадовалось наступившей развязке.

Так несносно было ожидание переворота, рожденное убийством Распутина, так настоятельно ощущалась необходимость перемены царствовавшего императора, что весть о его отречении даже в самых благонамеренных и свободных от какого-либо упрека в «революционности» и «либеральности» кругах была встречена со вздохом самого искреннего облегчения. Все желали смены Николая II и ждали ее; с этой стороны начало Февральской революции было встречено со всеобщим удовлетворением. Из резко отрицательных отзывов в первые дни в нашем министерстве могу отметить только два — это моего начальника (начальника Юрисконсультской части) Михаила Ивановича Догеля и бывшего нашего посланника в Персии и Китае, а в свое время и секретаря С. Ю. Витте при заключении Портсмутского мира — Ивана Яковлевича Коростовца.

Что касается Догеля, то на его глубокий пессимизм и зловещие предсказания никто в ведомстве не реагировал, так как его крайне реакционные воззрения были известны всем, да и личные невыгоды революции для Догеля были столь оче-

видны, что трудно было ждать от него иного отношения. Кроме того, Догель был в министерстве человек новый, попавший туда случайно, и авторитетом никаким не пользовался.

Совсем иное дело — И. Я. Коростовец. Он играл очень заметную роль в нашей дипломатии, его усилиями в 1912 г. под протекторат России попала Монголия, и он имел репутацию умного человека, несмотря на некоторые свои слабости романтического характера, вызвавшие его отставку (он, будучи в должности посланника, увез — т. е. похитил в буквальном смысле — из Пекина 18-летнюю дочь французского начальника почт в Китае).

И. Я. Коростовец в самые первые дни Февральской революции в наших коридорах, походивших в это время гораздо больше на парламентские кулуары, рассказывал, как он только что был в североамериканском посольстве и как посол Соединенных Штатов Френсис, в восторге от «бескровного переворота», восхищался «выдержкой и политической зрелостью» русского народа, а также его «мягкостью и благодушием», «отсутствием злопамятности» и говорил, что в Америке ничего подобного не могло бы быть. На это ему Коростовец заявил, что даже его, Коростовца, внуки не увидят конца русской только что начавшейся революции, а что он, Френсис, должен будет уйти со своего посольского поста в Петрограде, так как не окажется достаточно «демократическим» для нового правительства. Френсис был, по словам Коростовца, возмущен «неуместной шуткой» своего собеседника и никак не мог понять, как он, представитель республиканского и демократического государства, может не подходить для «демократической России».

Слова Коростовца, передававшего нам этот разговор, врезались в память всем нам, кто его тогда слышал. Сам Коростовец ничего не проигрывал от перемены правительства, так как находился в отставке, да и, как он сам говорил, был в неплохих отношениях с новым министром П. Н. Милюковым. Нет сомнения, что он говорил искренне то, что думал, но самое удивительное, что его предсказание исполнилось в точности: М. И. Терещенко немедленно по приходе к власти потребовал

отозвания Френсиса, так как тот был будто бы «слишком связан с царским правительством», и Френсис был смещен.

За исключением этого совершенно одинокого голоса, ни среди самых высших чинов министерства, ни среди младшего состава я не слышал ни одного пессимистического отзыва. В виде совершенного исключения отмечу поступок одного из второстепенных чиновников II Департамента Шмита, богатого помещика Киевской губернии, который сразу же после Февральской революции продал свое имение и перевел деньги в Стокгольм. Этот поступок вызвал тогда возмущение своей «непатриотичностью», и вскоре Шмит, видя вообще враждебное отношение к себе как со стороны начальства, так и его сослуживцев, попросился за границу на маленькое по чиновничьему рангу место секретаря консульства в Испании. Про Шмита говорили, что он «сеет панику», и его примеру никто не последовал. Напротив, в нашем ведомстве было немало примеров крупных пожертвований на Заем свободы.

Отставки и назначения

Павел Николаевич Милюков, новый министр иностранных дел, для большинства старших чиновников ведомства не был новой фигурой. Почти все директора департаментов, не говоря о А. А. Нератове, с которым Милюкову и при Сазонове не раз приходилось видеться и говорить по балканским делам, лично знали Милюкова по бюджетной комиссии в Государственной думе III и IV созыва. Официальным образом А. П. Извольский и С. Д. Сазонов в качестве министров иностранных дел принимали его после его балканских поездок и старались использовать его влияние в Государственной думе, чтобы добиться поддержки и левыми кругами внешней политики правительства. После смерти сына Милюкова во время войны Сазонов сделал ему визит соболезнования. Но никто из высших чинов министерства не был так хорошо знаком с Милюковым, как Б. Э. Нольде, который во время войны не раз с ним виделся и не скрывал от министерства своих отношений с ним, хотя и не афишировал их.

Не могу не отметить любопытного инцидента чисто личного характера, происшедшего в нашем ведомстве в связи с приходом к власти Милюкова, а именно ухода, вполне добровольно и не дожидаясь отставки, Юрия Петровича Бахметева,

нашего посла в Вашингтоне, который мотивировал свой шаг «монархическими чувствами», не позволявшими ему оставаться в ведомстве после Февральской революции. Между тем впоследствии мой дядя Н. В. Чарыков рассказал мне истинную причину ухода Ю. П. Бахметева. Дело в том, что П. Н. Милюков был профессором в Софийском университете в то время, когда мой дядя был русским посланником в Болгарии, и отношения нашей миссии с Милюковым были тогда вполне мирные. Потом дядю сменил Ю. П. Бахметев, который ввиду «революционности» Милюкова потребовал его высылки из Болгарии, что и было исполнено болгарским правительством.

Неудивительно, что, когда «революционер-эмигрант» превратился в министра иностранных дел, то есть в прямое начальство Бахметева, тот не стал дожидаться реванша со стороны Милюкова и придал своему уходу из министерства «принципиальный» характер. По странной случайности, на его место был назначен П. Н. Милюковым однофамилец его — Борис Александрович Бахметьев, по поводу чего у нас шутили «Бахметев Бахметьеву рознь», намекая на разную транскрипцию той же фамилии.

Ушел, уже некоторое время спустя, и наш посланник в Стокгольме Неклюдов, но не по принципиальным причинам (он получил от Временного правительства служебное повышение в виде поста посла в Мадриде, который сначала принял, но потом от него отказался). По крайней мере тогда он не придавал своему уходу такого характера. Таким образом, по своей воле никто из наших послов и посланников за границей вследствие Февральской революции не ушел в отставку. В частности, А. П. Извольский, бывший министр иностранных дел, занимавший тогда посольский пост в Париже, и С. Д. Сазонов, назначенный царским правительством в самом конце 1916 г. нашим послом в Лондон и оставленный на первых порах Милюковым в этом звании (Сазонов находился еще в Петрограде в момент Февральской революции), продолжали оставаться на своих местах.

Одним словом, всюду «признанный» февральский переворот не рождал в нашем ведомстве никакой оппозиции. Наоборот,

столько сделавшие для нового антантофильского направления нашей внешней политики Сазонов и Извольский, продолжая оставаться в составе нашей дипломатии после февральского переворота, давали понять иностранцам, в особенности же союзникам, что они одобряют происшедшую революцию.

Французское и английское посольства в лице Палеолога и Бьюкенена после некоторого перепуга в первые дни (по желанию этих посольств наше министерство, снесясь с военными властями, послало для их охраны и охраны других посольств и миссий воспитанников Пажеского корпуса — старший курс, как самый надежный элемент) встретили весть о перевороте с нескрываемой радостью, считая, что с пришедшим переворотом опасность сепаратного мира с Германией окончательно рассеивается.

Со стороны остальных членов дипломатического корпуса, аккредитованного при царском дворе, я помню только один бестактный поступок, а именно португальского посланника, который, живя поблизости от Таврического дворца, вызвал по телефону Б. Э. Нольде (я в этот момент был в кабинете Нольде) и просил охранить его от «черни». Нольде вскипел и сказал ему — разговор происходил по-французски,— что не позволит оскорблять свой народ. Повесив телефонную трубку, он возмущенно обратился ко мне, передав содержание того, что ему говорил португальский представитель, называвший толпу, собравшуюся в Государственной думе, самыми отборными эпитетами и, по-видимому, не на шутку перепуганный. Нольде ядовито прибавил, что посланник, очевидно, никак не может представить себе революцию иначе, как «по португальскому образцу».

Вообще должен сказать, что Нольде отнесся к происшедшему перевороту еще более оптимистически, чем все остальные чиновники, и первая перемена в министерстве заключалась в том, что П. Н. Милюков, заменивший на посту министра Н. Н. Покровского, назначил своим товарищем барона Б. Э. Нольде на место уволенного в отставку А. А. Половцова, которому Нольде безуспешно пытался выхлопотать посольство в Мадриде или вообще какое-нибудь видное место за границей. А. А. Нератов остался на своем посту.

Когда я, только что узнав об этой новости, пришел к Нольде в его кабинет директора II Департамента, он с веселым смехом сказал мне: «Ну что же, будем служить республике!» Слово «республика» звучало самым резким диссонансом с общим отнюдь не республиканским настроением, и в устах автора манифеста Михаила Александровича (Б. Э. Нольде и В. Д. Набоков были теми двумя лицами, которые составили текст этого манифеста, и об участии в этом Нольде у нас в министерстве все знали) эти слова были крайне симптоматичны. Поскольку в тот момент манифест был у всех на уме, то я спросил, как понимать его слова о республике в связи с манифестом. Он на это ответил, также смеясь, что манифест — это слова, а республика — факт, указывая на повсеместное снятие царских гербов — двуглавого орла с имперской короной — и вообще всех эмблем монархии.

Надо, однако, отметить, что ни в одном акте, исходящем из министерства иностранных дел, даже после того как в сентябре 1917 г. Временное правительство провозгласило республику для «устранения внешней неопределенности русского государственного строя», мы не называли Временное правительство республиканским и вообще термин «республика» по отношению к России нигде и никогда не употребляли. Все нововведение в наименовании правительства в официальных дипломатических актах заключалось в том, что вместо «Gouvernement Impérial»* мы писали «Gouvernement Provisoire»** и вообще слова «империя», «императорский» из всей как внутригосударственной, так и чисто дипломатической переписки исчезли в силу специального распоряжения Временного правительства, циркулярно сообщенного во все наши посольства и миссии за границей. Все официальные бланки с надписью «императорский» были уничтожены и заменены новыми (например, раньше наши посольства официально назывались «российские императорские посольства и миссии», теперь они стали просто российскими посольствами и миссиями, и так во всем).

---

* Императорское правительство *(фр.)*.
** Временное правительство *(фр.)*.

Конечно, эта перемена терминологии на дипломатическом языке могла означать только падение монархии. Если бы, скажем, Учредительное собрание высказалось за монархию, то ее в России пришлось бы восстанавливать, не говоря уже о том, что «условный» отказ Михаила Александровича не только в широких обывательских кругах, но и среди дипломатических представителей, как союзных, так и нейтральных, был понят как самоупразднение Романовской династии. В то же время Палеолог, Бьюкенен и Карлотти, то есть представители Франции, Англии и Италии, всегда, говоря о монархии, противопоставляли ее Временному правительству, хотя они тоже в своих актах не называли Временное правительство республиканским, а Россию — республикой.

Во внутренней переписке со своими правительствами (в составе царского правительства имелся «черный кабинет», расшифровывавший иностранные дипломатические депеши; он продолжал действовать в нашем министерстве, конечно, под строжайшей тайной, и при Временном правительстве) иностранные представители нередко употребляли слово «республика» в отношении России, именуя Временное правительство «республиканским». Сошлюсь, например, на такую перехваченную в самом начале Февральской революции телеграмму швейцарского посланника Одье, который в связи с делом «Общества электрического освещения 1886 года» говорил о «слабости республиканского правительства», о «тяжелом финансовом положении республики» и т. д. Мало того, неоднократно иностранные представители прямо спрашивали у А. А. Нератова: «Что же, в России разве уже не республика?» Как-то раз по одному делу ко мне пришел шведский посланник Брендстрем, бывший и при царском режиме. Упомянув слово «республика» в отношении России, он спросил меня: «C'est la république, n'est-ce pas?»* Когда же я ему указал на позицию Временного правительства, он улыбнулся и заметил: «Mais en effet néanmoins c'est la république»**. Учредительное собрание должно было только «подтвердить» рес-

---

* Ведь это республика, не так ли? *(фр.)*.

** Но тем не менее в действительности это республика *(фр.)*.

публику — таково было всеобщее убеждение иностранного дипломатического корпуса при Временном правительстве.

Перемены в личном составе и структуре министерства, происшедшие с приходом Милюкова в качестве министра иностранных дел, были, по сравнению с важностью общего поворота всей политики правительства, очень незначительны. Конечно, отставка А. А. Половцова, которого Штюрмер назначил товарищем министра, была существенным явлением, но ведь Половцов был, несмотря на свою давнишнюю (и притом кратковременную) службу в министерстве, сам аутсайдером. Затем последовало увольнение М. И. Догеля, начальника Юрисконсультской части, но, как я не раз отмечал раньше в моих записках, Догель, служивший менее года в министерстве, никогда не играл в нем сколько-нибудь существенной роли. Все они, по нашему понятию, были аутсайдерами, и уход Половцова и Догеля был скорее реставрацией министерства, очищением его от штюрмеровской скверны, чем нововведением. Не поразил нас также уход Ю. П. Бахметева из Вашингтона и Неклюдова из Стокгольма, так как про первого говорили и раньше скорее плохо, чем хорошо, а Неклюдов уходил сам, по вполне личным мотивам (да и Бахметев также, как я выше отметил).

Гораздо более сильное впечатление произвела на весь наш состав происшедшая уже позже, во второй половине марта, одновременная отставка С. Д. Сазонова, тогда назначенного послом в Лондон, и А. П. Извольского, бывшего с 1910 г. послом в Париже. Удивил нас всех, и крайне неприятно, даже не сам факт увольнения, а его обстановка. Дело в том, что Сазонов, например, назначенный еще при Покровском послом в Лондон и бывший в дни Февральской революции в Петрограде, будучи подтвержден в своей должности П. Н. Милюковым, спешил уехать из Петрограда и с аукциона продал всю свою мебель. На вокзале, в тот момент, когда он уже садился в поезд, ему сообщили, что он уволен. Одновременно с приказом об отставке Сазонова был дан приказ об увольнении А. П. Извольского. Принимая во внимание, что в самом начале своей министерской деятельности П. Н. Милюков лично уверял Сазонова, что посольский пост в Лондоне ос-

танется за ним, для нас было ясно, что Милюков не является истинным хозяином своего ведомства.

Гораздо интереснее были новые назначения, а именно барона Б. Э. Нольде — товарищем министра. По этому поводу мне не придется много говорить, так как из предшествующих моих записок явствует, что для Нольде это назначение было только блестящим завершением долгой служебной карьеры, и даже при Штюрмере у нас говорили о возможности такого назначения. Правда, Нольде всегда считался «левым», но он умел, когда нужно, стушевать свои взгляды до уровня высшего начальства, и то обстоятельство, что он не только удержался при Штюрмере на посту директора департамента, но и мечтал не без основания о повышении, указывает на его умение лавировать. Никакого удивления такое возвышение не вызывало, тем более что на посту первого (политического) товарища министра иностранных дел продолжал оставаться А. А. Нератов.

Назначение Нольде сопровождалось реорганизацией некоторых отделов министерства. Так, Юрисконсультская часть была упразднена, а вместо нее образован Правовой департамент, II Департамент превращен в Экономический департамент. Во главе Правового департамента был поставлен Андрей Николаевич Мандельштам, доктор международного права и бывший 1-й драгоман нашего посольства в Константинополе. А. Н. Мандельштам, находившийся в это время в Швейцарии и приславший приветственную телеграмму П. Н. Милюкову, так за все время Февральской революции и не приехал в Россию по причине писания книги об Оттоманской империи, но до большевистского переворота продолжал номинально числиться директором Правового департамента. Его книга под названием «Le Sort de l'Empire Ottoman»* действительно вышла в 1917 г., являясь, таким образом, свидетельством большей преданности науке, нежели государству, со стороны лица, всю свою жизнь отдавшего этому государству.

Поступок Мандельштама, который вправе был считать себя обиженным царским правительством, но который в цар-

* Судьба Оттоманской империи *(фр.)*.

ское время был всегда безупречным и исполнительным чиновником, вызвал возмущение его сослуживцев, но ни Милюков, ни Терещенко, хотя и обращались к нему с телеграфными требованиями, не решились применить к нему репрессивных мер, и он продолжал все это время до большевистского переворота числиться директором такого важного департамента, как Правовой, и получать содержание. Фактически мне пришлось исполнять обязанности Мандельштама, и хотя я неоднократно докладывал и Терещенко, и Нератову, что считаю такое положение крайне ненормальным, хотя и тот и другой обещали мне принять все меры для вызова Мандельштама, но оба ограничивались телеграммами. Это был самый яркий пример непослушания Временному правительству со стороны видного служащего министерства, пример, оказавший неблагоприятное влияние и на других своей безнаказанностью.

Обязанности вновь образованного Правового департамента, составленного из Юрисконсультской части и некоторых отделов прежнего II Департамента, были поделены между мной (в качестве начальника Международно-правового отдела я становился теперь уже официальным юрисконсультом МИД, и на меня же легла юридическая разработка всех политических вопросов министерства) и Александром Александровичем Доливо-Добровольским, на коего легли административно-консульские функции, переданные Правовому департаменту из II Департамента. На самом деле с одобрения Нератова Правовой департамент разбивался на два совершенно самостоятельных отдела, управляемых независимо друг от друга. Доливо-Добровольский и я на правах вице-директоров департамента оба имели право доклада министру и до самого конца Временного правительства действовали во всех отношениях на равноправных началах, с той разницей, что в качестве начальника Международно-правового отдела я так же консультировал Доливо-Добровольского, как и начальников других отделов.

Если бы Мандельштам действительно приступил к исполнению своих обязанностей, то я, конечно, потерял бы свое самостоятельное положение и мне никогда не пришлось бы

17 Зак. № 24

играть той роли, которая фактически мне выпала. Впоследствии, в министерство Терещенко (а отчасти и Милюкова), Доливо-Добровольский все больше и больше проникался пробольшевистскими настроениями и после большевистского переворота открыто перешел на сторону большевиков — единственный из крупных чинов центрального ведомства.

Экономический департамент, образованный Нольде из тех отделов уничтоженного II Департамента, которые обслуживали наши торговые и финансовые интересы за границей, представлял из себя новшество, и Нольде возлагал на него большие надежды. Во главе его был поставлен Петр Бернгардович Струве, дипломатическая карьера которого началась, таким образом, в министерство Милюкова и под начальством Нольде. П. Б. Струве уже давно находился в приятельских отношениях с Нольде, и тот принимал его у себя не только дома, но и в министерстве во время войны. Хотя Струве знал моего отца, с которым встречался довольно часто в 90-е годы, я был представлен ему Нольде только в эту эпоху. Представляя меня Струве, Нольде (он лично знакомил Струве со служащими) назвал меня «надеждой и опорой ведомства».

Струве как-то сразу расположил к себе всех, хотя его откровенность и весь его облик мало гармонировали со все еще строго выдержанным дипломатическим ведомством. Две черты Струве производили сильное впечатление — его искренность, действовавшая подкупающе, и доверие к окружавшим его людям, доходившее до попустительства и сдерживавшееся в это время только твердостью и сухостью Нольде. Струве, едва ступив на министерскую почву, не стеснялся в крайне резкой форме выражать свои взгляды, удивлявшие всех своей «правизной». Он открыто говорил о «еврейских зачинщиках» Февральской революции, о необходимости «ликвидировать бунтарство», как называл он революцию, и т. п. В устах директора департамента, поставленного революцией, такие слова звучали диссонансом при всеобщем повороте влево.

Подкупающе действовало и то, что Струве, очутившись довольно неожиданно для себя и других на административном посту такого крупного политического значения, как Экономический департамент нашего министерства, в тот мо-

мент, когда война была в полном разгаре, откровенно говорил как-то за завтраком в министерстве в присутствии своих подчиненных молодых людей, как он, профессор с научным именем, чувствует себя часто совершенно растерянным в тех делах практического свойства, которые он изучал теоретически всю свою жизнь, и как ему приходится менять принятые им решения под влиянием какого-нибудь начальника отделения — молодого человека в 25—26 лет. Это он говорил с добродушным смехом и вызывал, конечно, всеобщую улыбку и симпатию неподдельной искренностью.

Другая черта Струве — его доверчивое, подчас непростительно снисходительное отношение к своим «любимчикам» — действовала неблагоприятно и отражалась на деле в дурную сторону. Так, например, сразу же после своего назначения Струве определил к нам в министерство своего ученика Николая Николаевича Нордмана, сделав его вице-директором департамента. Н. Н. Нордман представлял из себя во всех отношениях креатуру Струве, не оправдывавшуюся никакими его личными качествами. После своего ухода Струве рекомендовал его на пост директора Экономического департамента, и Нордман действительно им стал. Укажу, что он не только не блистал никакими выдающимися достоинствами, но настолько слабо знал французский язык, что переговоры с иностранцами должен был вести его вице-директор князь Лев Владимирович Урусов, фактически управлявший департаментом. Эта сторона характера Струве, несмотря на отмеченную выше отнюдь не банальную искренность и простоту в личных отношениях, создала ему репутацию «неумения подбирать людей», а ведь это — первое условие для администратора.

Однако Струве так недолго был в министерстве (он ушел вместе с уходом Милюкова и Нольде), что, кроме Нордмана, никого из своих «учеников» не успел к нам насадить, и в это время за его спиной стоял Нольде, отлично знавший весь личный состав ведомства и не позволявший Струве наполнять министерство своими креатурами или же радикально менять состав своих подчиненных. Струве попал в налаженный аппарат и был, в сущности, консультантом по экономическим делам при Нольде, к тому же консультантом вполне

теоретического характера. У нас посмеивались, что Нольде мог бы прекрасно обойтись без Струве, но «страхуется», опасаясь правых и не желая связывать себя слишком с Милюковым, хотя, вообще говоря, между Милюковым и Струве такого значительного расхождения как раз в этот момент не было.

За исключением этих личных перемен, все осталось по-прежнему, и лозунг Милюкова «сохранить министерство», так же как и «сохранить политику министерства», применялся в общем вполне последовательно. Когда мне потом довелось через моих друзей и хороших знакомых в различных министерствах узнать обо всех личных и принципиальных переменах, произведенных Временным правительством, то я должен был признать, что не только при Милюкове, но и при Терещенко наше ведомство сохранилось в наибольшей мере. Поэтому, несмотря на все новое, внесенное Февральской революцией, общие линии внешней политики остались неприкосновенными, а всему новому оставшиеся на своих местах прежние люди умели придавать, сознательно и бессознательно, характер прежней политики.

Ниже я укажу, что «реформаторские» попытки Терещенко, например, несмотря на его искреннее желание их реализовать, фактически совсем не осуществились — революционное Временное правительство в дипломатическом ведомстве не совершило никакой «революции», а, наоборот, так его сохранило, как этого было бы трудно ожидать даже при обычной смене министров при царском строе.

Павел Николаевич Милюков

Как держал себя в министерстве П. Н. Милюков? Помню, как он первый раз приехал в министерство с воспаленными, красными глазами и совсем без голоса от многочисленных речей, которые ему пришлось держать в Таврическом дворце в дни революции. Милюков буквально шепотом рассказывал, что и как произошло, в нашей так наз. «чайной комнате», где от 4 до 6 час. (иногда и до 7 час.) пили чай высшие чины министерства, в том числе и министр, если не был чем-нибудь занят. Во время этих чаепитий часто решались и политические дела, требовавшие совместного обсуждения главных руководителей министерства, здесь же во время всех крупных внутри-

политических или дипломатических событий велись во всех отношениях непринужденная беседа и откровенный обмен мнений.

Здесь же Милюков впервые столкнулся лицом к лицу со всеми своими будущими сотрудниками. Он говорил тогда, что и он и все его друзья (а отчасти и враги) по Государственной думе жестоко ошибались, думая, что это они, члены Думы, «делают революцию»; что революция была уже «давно сделана»; что они очутились перед fait accompli* и им оставалось только признать или не признать совершившийся факт; что «непризнание факта» ничего не изменило бы в положении вещей, но только сразу же отбросило бы их от всякого хотя бы номинального «руководства революцией». Говорил он также, что положение крайне серьезно, так как левые производят «большой напор», и что единственная объективно возможная тактика заключается в том, чтобы «говорить левые слова» с целью удержаться у власти и затем при благоприятном случае «овладеть движением». Милюков заявил, что в отношении внешней политики, личного состава министерства и действия дипломатического аппарата его задача — «сохранить все в неприкосновенности», чтобы «ни в чем не подорвать доверия союзников», так как «доведение войны до благополучного конца» — самая главная задача момента: «Революция должна быть стиснута, пока ее нельзя прекратить».

Рассказ Милюкова, выслушанный, конечно, с легко вообразимой жадностью всеми нами, вызвал сразу же полное единомыслие Милюкова и всех его ближайших сотрудников в главном: сохранение министерства, продолжение войны до конца. Это единомыслие, несмотря на некоторые чисто тактические расхождения с Милюковым, у нас оставалось до самого его ухода. В этом отношении положение напоминало не столько времена Штюрмера или даже Покровского, который все же был чужд интересам внешней политики, сколько Сазонова.

Хотя Милюков никак не мог считаться профессиональным дипломатом, но, будучи профессиональным политиком

* Свершившимся фактом *(фр.)*.

и сходясь с нами в понимании основных задач момента, он с первого же дня сумел найти искреннюю поддержку в кругу своих главных сотрудников. Он при этом сказал нам, чтобы мы не удивлялись его порой резким выступлениям против нашего министерства — это-де ему придется иногда делать по тактическим соображениям, но что на деле он всегда и во всем будет нашим верным и постоянным защитником. Искренность слов Милюкова мы скоро смогли проверить.

Когда в левых газетах появились нападки на наше министерство с перечислением множества фамилий, указывавших на его «аристократичность», Милюков в «Речи» самым решительным образом присоединился к этой враждебной нам газетной кампании, назвав нас «чванной кастой» и т. п. эпитетами, но никакого гонения из этой филиппики не произошло, и сам Милюков, показывая нам свою статью, говорил, что это «единственный способ держаться у власти».

После нашей первой встречи с Милюковым нам стало ясно, что, пока Февральская революция имеет его в нашем министерстве, ни нам, ни общей политике России по отношению к войне и союзникам эта революция опасностью не грозит. Другой вопрос, насколько Милюков прочен? Несмотря на то что каждый из нас достаточно близко видел происходившие события, чтобы понимать, что Государственная дума только «возглавила», а не «сделала» революцию, из всего того, что говорил Милюков, ответ на этот вопрос напрашивался самый неутешительный.

Отмечу здесь же одно обстоятельство, очень характерное для Милюкова, а именно что, хотя он так откровенно говорил со своими самыми близкими сотрудниками и сумел внушить им полную веру в свои добрые намерения, он воздержался от традиционного «обхода» министерства, который делали все вновь назначенные министры, и в частности Штюрмер и Покровский. Милюков воздержался, конечно, вполне сознательно, так как наше ведомство, без серьезных оснований, впрочем, было на худом счету у партии левых кадетов и он боялся, что такой «обход» будет поставлен ему в упрек. Боялся Милюков, кроме того, подражать «царским министрам». Поэтому никакого прямого соприкосновения между чи-

новничьей массой и Милюковым не было, и, по моему мнению, это отразилось неблагоприятно на общем отношении всего министерства в целом к Милюкову, нисколько не улучшив его отношений с левыми. С другой стороны, это обстоятельство с первых же дней милюковского управления министерством говорило о шаткости его положения при Временном правительстве.

За исключением указанных выше личных перемен, Милюков втянул за собой только своего секретаря — молодого человека, которого я знал лично раньше и был с ним на «ты»,— Андрея Николаевича Соболева. Сын прежней ученицы Милюкова (урожд. Мусиной-Пушкиной), он пользовался его неограниченным доверием и впоследствии поступил в наше министерство, хотя с уходом Милюкова тоже ушел. Соболев имел также отношение и к международному праву, так как написал в 1914 г., будучи студентом Петербургского университета, сочинение на золотую медаль по этому предмету, но по каким-то личным соображениям по научной карьере не пошел и при университете не остался. Роль Соболева в министерстве была неопределенной, так как он числился «частным секретарем», а такового, по нашему устройству министерства, не полагалось. То, что англичане называют private secretary*, было уместно при парламентском режиме; при той же обстановке, которая сложилась вокруг Милюкова, ему такой секретарь не был нужен, так как специальная канцелярия министра, исполнявшая в то же время и функции Политического отдела (т. е. ведавшая европейскими и американскими делами), вполне могла обслуживать Милюкова в его министерской роли.

Но, как я это узнал впоследствии от самого же Соболева, он гораздо более был необходим Милюкову вне министерства. Укажу на то обстоятельство, что Соболев под вымышленной фамилией входил в Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов и несколько раз (однажды даже совместно с официальным секретарем Милюкова В. К. Коростовцом, племянником И. Я. Коростовца) выступал на плену-

* Личный секретарь *(англ.)*.

мах Совета в защиту Милюкова. Само собой разумеется, что все это было покрыто самой строгой тайной, однако после ухода Милюкова из министерства Соболев под своей собственной фамилией продолжал участвовать в Петроградском Совете рабочих и солдатских депутатов. О том, что у нас в министерстве делал Соболев, я расскажу ниже.

Здесь должен также упомянуть, что как только Нольде получил свое назначение, он позвал меня и, сказав, что «мои способности известны министерству», предложил занять место официального секретаря министра, то есть П. Н. Милюкова. Он, со своей стороны, очень настаивал, чтобы я это место принял, указывая на те огромные преимущества в служебном отношении, которые оно представляет. Не знаю, в какой мере Нольде верил в звезду Милюкова, но, помимо комплиментарной стороны дела, думаю, ему хотелось иметь при нем своего человека, и эта роль выпала бы мне. Нольде был сильно разочарован, когда я отказался, заявив, что из всего, что я видел, Милюков не внушает мне уверенности в прочности его положения: он, как мне кажется, временная фигура на нашем фоне, да и сам Милюков не настолько дорожит нашим ведомством, чтобы не бросить нас в нужный для него, по соображениям общеполитическим, момент.

Конечно, когда я говорил это, я не думал, что события пойдут так скоро. Но я уже успел в достаточной мере присмотреться к министрам, чтобы не видеть по их «аллюрам», насколько прочно они себя чувствуют в своем министерском кресле. Милюков же с его хитроумной тактикой не казался мне (да и другим моим старшим сослуживцам) человеком, могущим противостоять событиям. Кроме того, я сказал Нольде, что чрезвычайно доволен теперешним положением, которое до весьма проблематичного приезда Мандельштама давало мне невероятную для моего возраста свободу рук и служебное положение. Нольде еще долго меня убеждал, говоря, что я «сужу поверхностно, не зная истинных пружин революции», и убеждая, что положение Милюкова будет все укрепляться и укрепляться. Думаю, что Нольде говорил в этот момент вполне искренно — для него революция представлялась в самом розовом свете, так как она возносила его

очень высоко и он не был бы человеком, если бы эта высота не кружила ему голову.

Скажу также, что положение товарища министра для Нольде, которому тогда было 41—42 года, составляло такую пертурбацию в служебных отношениях, что, удержись Милюков, Нольде смело мог бы рассчитывать на посольский пост за границей, а это — венец дипломатической карьеры. Если же я не поддался на убеждения Нольде, то именно потому, что слишком близко знал эти «истинные пружины революции», о которых он говорил, так как мой родственник П. П. Гронский, один из видных членов Государственной думы, близкий друг Милюкова, играл при Временном правительстве большую роль, то исполняя разные комиссарские роли при правительстве (так, он был в самом начале революции комиссаром почт и телеграфа, членом комиссии по Учредительному собранию), то объезжая фронт по личному поручению князя Г. Е. Львова с прямым докладом Временному правительству и т. д. У Гронского я встречал и министров Временного правительства, чаще всего А. И. Шингарева, и других деятелей революции и имел возможность убедиться, насколько положение Временного правительства в целом было непрочно, не говоря уже о Милюкове, против которого складывалась серьезнейшая оппозиция разных кругов.

Официальным секретарем Милюкова в нашем министерстве был назначен В. К. Коростовец, несмотря на свою молодость (28—29 лет), с 1907 г. состоявший в кадетской партии и служивший у нас в канцелярии министра, человек во многих отношениях бесстрашный, которому в большевистские времена пришлось за свое бесстрашие сильно пострадать. Мне довелось впоследствии по Союзу чиновников уже во времена борьбы с большевиками в ноябре и декабре 1917 г. оценить смелость Коростовца и его товарищескую верность. В этом отношении молодой Коростовец, племянник известного дипломата И. Я. Коростовца, тоже выплывшего с Февральской революцией, был явлением далеко не заурядным. При Милюкове помимо его похождений в Петроградском Совете с ведома Милюкова, о чем я узнал уже после и от Соболева, и от него самого, он занимался секретарскими обя-

занностями и, в силу личной близости к Милюкову (тот скрывался у него в имении в Черниговской губернии в 1918 г.), исполнял и некоторые специальные политические поручения Милюкова.

Так, например, он делал выборку из донесений с фронта наших армий, причем вырезал все то, что могло выставить военное состояние нашей армии, дисциплину и т. д. в благоприятном освещении, и такой односторонне и тенденциозно составленный обзор подносился Милюковым союзным послам, дабы «не разочаровывать их в революции». Эта детская хитрость (конечно, у Палеолога и Бьюкенена имелись и другие источники осведомления), проводимая Милюковым систематически, все же отчасти достигала своей цели, но в какой мере это «втирание очков» союзникам было объективно полезно для России, это вопрос. Скажу, что окружавшие Милюкова высшие чины министерства считали, что откровенность с союзниками в военных делах даст нам больше, чем такое плохо скрытое притворство. Палеолог и Бьюкенен, относившиеся к Февральской революции весьма благоприятно и переоценивавшие положение в оптимистическую сторону, аккуратно передавали сообщаемые Милюковым сведения, подтверждавшие правильность их первоначальной позиции. Так обе стороны убаюкивали сами себя и настраивались взаимно оптимистически.

Митингование в МИД

Теперь уместно остановиться на общей перемене всего строя и духа нашего ведомства, происшедшей несмотря на то, что почти все остались на своих местах и все внешне текло по-старому. То новое, что пришло в министерство, вернее, ворвалось к нам с Февральской революцией, заключалось в формуле, высказанной кем-то в это время: «Заговорили молчавшие»*. Митингование, столь типичное для России в это время, в МИД было безусловным новшеством и полной неожиданностью.

Началось оно в самые первые дни революции по весьма странному поводу: какой-то инженер Константинов (так, во всяком случае, нам передали) пригласил в Петроградскую

---

* Таково было заглавие книги К. Чуковского, вышедшей в 1916 г., о войне на Западном фронте. *(Прим. авт.)*

городскую думу представителей всего чиновничества для обсуждения своего отношения к Временному правительству и Февральской революции вообще. Что это был за инженер Константинов, никто у нас не знал, не знали также, кто ему дал право устраивать такого рода во всех отношениях необыкновенное собрание и что там собирались делать. Несмотря на эту полную неосведомленность, весть о «чиновничьем митинге» облетела министерство, и с разрешения Милюкова в свободных апартаментах квартиры министра собрался первый митинг ведомства под названием «Чрезвычайное общее собрание служащих МИД».

На этом совершенно импровизированном митинге, на который пришли все, кроме Милюкова, Нератова и Нольде, нам доложили, в чем дело, и начались «прения», как и во всех собраниях. Первым говорил вице-директор Экономического департамента князь Лев Владимирович Урусов, будущий председатель нашего Общества служащих МИД. Его речь была выражением тревоги каждого из чиновников за свою личную судьбу. Он говорил: если сегодня нам из неизвестного источника власти, именуемого «революцией», поставили министра, к которому мы относимся с доверием и который относится так же к нам, то, может быть, недалеко то время, когда нам назначат в министры «товарища Степана», который нас не пожалеет. Урусов предлагал устроить Общество служащих МИД, которое должно было войти в федеративную связь с чиновничьими союзами, и, следовательно, наше теперешнее собрание должно было делегировать в Городскую думу своих представителей и дать им соответственные мандаты.

Другие ораторы шли дальше, предлагая ввести «контроль над внешней политикой Временного правительства». Тогда пришлось выступить мне и предупредить собравшихся о том, чтобы не устраивать «революции в революции», что можно, конечно, не признавать совершившейся революции, но если ее признавать, нельзя над министром иностранных дел ставить какой-то комитет чиновников для контроля его политики, что это будет «приказ № 1 по дипломатическому ведомству». Я предлагал учредить Общество служащих, откинув всякие дипломатические амбиции.

митета возрастало прямо пропорционально важности политических событий.

На первом же общем собрании чинов МИД между прочими был поднят и вопрос о приветствии Временному правительству, но был снят, так как, по словам одного из служащих, граф Капнист, новый управляющий Отделом печати, был завален приветственными телеграммами со всех концов России и, «само собой разумеется, каждый разумный человек приветствует появление Временного правительства». Это, действительно, совершенно соответствовало истине. Характерно то, что на наши общие собрания являлись не только все чиновники ведомства, но и случайно находившиеся в Петрограде послы (Н. Н. Гирс, например, бывший посол в Вене) и посланники (И. Я. Коростовец, де Плансон и др.). Все это придавало собраниям значение действительно всеведомственных сборищ.

Проявилась и неведомо откуда взявшаяся демагогия. Так, например, один из молодых дипломатов, бывший 3-й секретарь нашего посольства Фонвизин, перед самой войной назначенный камер-юнкером, вдруг ударился в левизну, требовал включения в устав общества слов о «принципиальном сочувствии Интернационалу», причем, когда его спросили, о каком «Интернационале» он говорит, он несколько смутился, но все же продолжал настаивать на употреблении слова «Интернационал», хотя бы с пояснением о «вселенском братстве народов». Этот же Фонвизин в редакционном предварительном совещании настаивал на исключении из мотивировочной части вступления к уставу слов о «внутреннем и внешнем могуществе России», утверждая, что это «империализм».

Когда на выборах Фонвизин оказался забаллотированным, он пошел к Милюкову и спросил, может ли он в качестве чиновника МИД состоять в партии кадетов. На это Милюков ему ответил, что если он сам может состоять в этой партии, то не имеет права запрещать это своим подчиненным, и что, вообще говоря, его как министра не интересует вопрос о партийной принадлежности служащих министерства, это дело каждого из них в отдельности и неотъемлемое право всякого

гражданина. Тогда Фонвизин попросил у Милюкова разрешения вывесить объявление в стенах министерства о том, что он, Фонвизин, принимает запись служащих в партию кадетов в такое-то время в таком-то отделе министерства, показав при этом текст заготовленного объявления. Милюков прочел его и разрешил. Действительно, это объявление было вывешено.

Встречено оно было скорее враждебно, чем сочувственно (записалось у Фонвизина на все министерство четыре человека), не потому что в это время не сочувствовали кадетской партии, а потому что демагогия Фонвизина была слишком груба. В то же самое время попустительство Милюкова в отношении этого объявления и опасность чисто партийного начала в его политике по отношению к личному составу министерства произвели самое неблагоприятное впечатление и психологически сильно повредили Милюкову в глазах всех серьезных работников министерства. Закрадывалось подозрение, что Фонвизин действует так не без одобрения министра. Кроме того, это объявление сразу же попало в печать и было истолковано газетами некадетского направления как «заманивание» чиновников в кадетскую партию. После этого объявление было снято, оставив, однако, по себе дурную память. Фонвизин же продолжал «леветь» и потом исчез из министерства, сыграв известную роль в корниловском деле в качестве помощника комиссара правительства при Ставке. «Левизна» Фонвизина не действовала заразительно на массу служащих, так как все помнили, с какой настойчивостью он добивался перед войной камер-юнкерского звания, но все же кое-кто последовал его примеру, и афиширование своего сочувствия или принадлежности к кадетской партии явилось новым способом продвижения по службе.

Сам Милюков, за исключением легкомысленно разрешенного Фонвизину вербования в партию, был до такой степени поглощен своими министерскими обязанностями и так мало внес перемен в состав министерства, что упрека в «заманивании» своих подчиненных в кадетскую партию не заслуживает. М. И. Терещенко считался иногда с «демократическим» уклоном того или иного кандидата в самом начале своего управ-

ления ведомством, но потом стал опять очень либерален и, в противоположность Милюкову, который опасался принимать в МИД лицеистов и правоведов, дабы не поддерживать «кастовый дух ведомства», открыл снова прием из лицея и правоведения (т. е. ранее кончивших эти учебные заведения) и даже Пажеского корпуса.

Не могу не указать также на одно явление, имевшее место не в первые дни Февральской революции, а значительно позже. В конце апреля и в мае вдруг, как по сговору, митинговые ораторы на улице стали наряду с «капиталистами, помещиками и бюрократами» также бранить и «дипломатов». И. Я. Коростовец, проходя мимо такого небольшого митинга, имел неосторожность язвительно заметить, что, наверное, самому оратору не вполне ясно, что значит слово «дипломат», и когда тот обратился к нему с вопросом: «А вы знаете?», Коростовец ответил утвердительно, заявив, что сам «дипломат». Тогда толпа заволновалась, закричала: «Арестовать его!», и его куда-то повели в самом враждебном настроении. Неизвестно, чем бы кончилось дело, если бы при виде сопровождаемого толпой штатского какой-то встречный солдат не разъяснил, что это «ошибка», «так как дипломат — это такой человек, который всегда живет за границей и никакими русскими делами не занимается». Коростовца освободили, а зачинщик его ареста, как водится, сразу скрылся.

После этого случая нам было вообще рекомендовано не выявлять наших истинных званий — предупреждение далеко не лишнее, но не всеми соблюдавшееся, так как вскоре после этого другой молодой человек из нашего министерства, слушая страстную речь на каком-то митинге, где оратор говорил о том, что «царских дипломатов надо вешать», вдруг выступил со словами: «Вешайте меня — я царский дипломат». Его выступление было настолько неожиданно, что вызвало всеобщий смех и попало затем без обозначения фамилии в печать. Это был М. М. Гирс, вице-директор Среднеазиатского отдела. На этот раз нам самым решительным образом было запрещено употреблять на улице слово «дипломат», а уличная агитация против «дипломатов» становилась все систематичнее и разнузданнее.

Акт о «перемене формы правления»

Первое политическое дело дипломатического характера, с которого началось управление министерством Милюкова, был чешский вопрос. Немедленно после вступления в ведомство нового министра ко мне обратился А. Н. Соболев, уже на правах «частного секретаря» Милюкова, и просил от его имени сообщить в подробностях все данные по чешскому вопросу, так как у Милюкова имелись по этому делу «свои особенные предположения». Я рассказал, в каком состоянии это дело у нас находится, кто его ведет и где находятся все бумаги, к нему относящиеся. При имени Приклонского, нашего бывшего генерального консула в Будапеште, являвшегося теперь начальником Славянского стола в министерстве, Соболев рассмеялся, сказав: «П. Н. об этом осведомлен, и он (Приклонский), конечно, будет отстранен».

В самом деле, вскоре после этого разговора Приклонский приказом министра был уволен в заграничный отпуск с освобождением от обязанностей начальника Славянского стола. На место Приклонского был назначен его помощник Обнорский, человек гораздо более современный и гибкий, чем Приклонский. О деятельности последнего я говорил в моих предшествующих записках. Воззрения Приклонского были типичным приложением идей старого московского славянофильства к теперешнему международному положению.

Милюков во время поездки членов Государственной думы в союзные страны в 1916 г. имел свидание с Масариком и Бенешем и после приема Масарика Брианом в том же году решительным образом повернул в сторону полной независимости Чехословакии. Прежние обещания Николая II русским чехам в сентябре 1914 г. погашались фактическим прекращением Романовской династии в России. Создавать особое Чехословацкое королевство под скипетром великого князя из Романовых Временному правительству не приходилось ввиду того положения, в каком очутились Романовы в России, а сажать на будущий чешский трон короля из какой-либо другой европейской династии после неудачного опыта славянских стран (вроде Болгарии) и неславянских (вроде Греции, Румынии, Албании) было прямо опасно для России.

Вот почему Милюков сразу же стал на позицию полного

«самоопределения» чехословацкого народа в вопросе о форме правления, считая, что демократическая республика — наиболее выгодный для России и при этом объективно единственно возможный исход. Характерно то обстоятельство, что Приклонский, зная, что Милюков в 1916 г. установил связь с Масариком, тогда же и Штюрмеру и Покровскому доказывал, сколь невыгодно для России поддерживать Масарика, и ссылался на книгу Масарика «Россия и Европа», которую едва ли Штюрмер и Покровский читали. Приклонскому удалось внушить им обоим отрицательное отношение к будущему главе Чехословацкого государства, и только Февральская революция поставила этот вопрос на настоящие рельсы. Милюков, однако, до такой степени не доверял всему Славянскому столу, что, несмотря на уход Приклонского, он, например, чешское дело, ввиду той важности, которую он ему придавал, вел сам вместе с Борисом Алексеевичем Татищевым, своим директором канцелярии, минуя Нератова, так как опасался, что и Нератов заражен взглядами Приклонского.

Последний сразу же по пришествии Милюкова уехал за границу и при Временном правительстве активного участия в работе министерства не принимал. Нужно отметить, что Приклонский, как и следовало ожидать, был одним из тех очень немногих чинов, которые с самого начала отнеслись отрицательно к Февральской революции. В противоположность Догелю, он и Половцов еще до их официального увольнения прекратили с момента революции хождение в министерство, будучи, по-видимому, прекрасно осведомлены, как к ним относятся.

Чешский вопрос я отмечаю в первую очередь, потому что он возник при Милюкове хронологически раньше других — польского, например, оформившегося лишь к середине марта, между тем как чешский был поднят буквально в самые первые дни Февральской революции, еще до официального торжественного оповещения всех держав о совершившейся в России «перемене формы правления». Этот последний документ, в составлении которого принимали участие Нольде, Татищев и я, представляет в высшей степени интересный акт.

18 Зак. № 24

Татищев, придя ко мне, просил меня составить короткую докладную записку для Милюкова о том, как по международному праву и нашим дипломатическим прецедентам следует извещать иностранные государства о Февральской революции, особенно подчеркивая то обстоятельство, что речь идет о «перемене формы правления». Собрав в тот же день все нужные сведения, я пришел к Татищеву, и вместе с ним мы отправились к Нольде, где с манифестом Михаила Александровича в руках стали обсуждать, о чем, собственно, нужно извещать иностранцев.

Основываясь на буквальном смысле этого манифеста, я считал необходимым извещать лишь о возникновении Временного правительства и о преемственном переходе к нему всех прежних прав и обязанностей, международно-правового актива и пассива прежнего российского императорского правительства, упоминая только о том, что вопрос о будущей форме правления будет решен Учредительным собранием, говорить же о «совершившейся перемене формы правления» мне казалось преждевременным, так как теоретически на основании рассматриваемого манифеста Учредительное собрание могло высказаться за монархию и тогда в России никакой «перемены формы правления» не последовало бы.

Нольде стоял на диаметрально противоположной точке зрения. Он считал, что суть сообщений как раз и заключалась в том, что «перемена формы правления» уже произошла — раньше было царское правительство, теперь Временное, «и кто его знает, сколько оно будет существовать, а Учредительное собрание, может быть, и совсем не соберется». Эти загадочные слова, толковавшие манифест Михаила Александровича в смысле окончательного падения монархии и произнесенные лицом, стоявшим к правительству ближе нас двоих — Татищева и меня, вызвали ядовитое замечание Татищева о «временнодержавии», и так как все мы были настроены одинаково сочувственно к Временному правительству, то рассмеялись, и Нольде прибавил, что, мол, «это и будет самый лучший исход».

Хотя впоследствии Нольде и стал членом комиссии по созыву Учредительного собрания и был арестован большеви-

ками в ноябре 1917 г. вместе с П. П. Гронским, В. Д. Набоковым, М. В. Вишняком и другими, но в период министерства Милюкова он никогда не говорил об Учредительном собрании иначе, как о чем-то крайне далеком, если и не совсем мифическом. Тут же совершенно неожиданно Нольде в припадке откровенности сообщил, как он был приглашен на «частное совещание Временного правительства», где новые правители России задали ему вопрос: «Чем, собственно, занимаются министры?», и так как среди присутствовавших не было ни одного бывшего министра, то Нольде подробно им рассказал, «что министры делают». Об этом Нольде, опытный бюрократ, сын управляющего делами Совета министров, говорил с нескрываемым сарказмом.

Сообщение иностранным государствам, набросанное вчерне тут же, Нольде с собственным вариантом о «перемене формы правления» взял с собой для доклада Милюкову и последующего одобрения Временным правительством. Любопытно, что это извещение в окончательном виде вышло с упоминанием в самом начале о «совершившейся перемене в образе правления», а в конце говорилось об Учредительном собрании, которое-де «определит окончательный государственный строй России». Получилась неопределенность: на самом деле сообщалось лишь о перемене правительства, а не о перемене формы правления, которая могла быть или не быть, говоря абстрактно, в будущем.

Нольде, конечно, понимал эти юридические тонкости; поддаваясь общему настроению, он шел дальше того акта, который сам же составил, то есть манифеста Михаила Александровича, и считал, что монархия в России уже пала. Сообщение Временного правительства, сделанное иностранному дипломатическому корпусу в Петрограде в вышеуказанном направлении, и за границей в дипломатических канцеляриях, и в прессе создало определенное впечатление о «падении монархии», и политический смысл Февральской революции усматривали в фактическом переходе России к республиканскому режиму. Наш Отдел печати, управляемый Александром Иосифовичем Лысаковским, впоследствии посланником при Ватикане, был подвергнут форменной осаде иностранными

корреспондентами, в особенности интересовавшимися вопросом «о монархии и республике», и, несмотря на всю дипломатическую изворотливость Лысаковского, его часто ставили в тупик слишком откровенные расспросы по пункту, который намеренно затушевывался Временным правительством.

Но наибольший интерес проявили Североамериканские Соединенные Штаты. Панамериканская ассоциация прессы телеграфировала прямо Милюкову, прося его прислать «авторитетное» лицо в САСШ, чтобы в ряде публичных докладов и лекций объяснить подробно политический смысл происшедшего февральского переворота. Материальные условия указывались тут же — 1000 долларов в месяц, не считая путевых расходов, гостиниц и гонораров за лекции. Соболев, показавший мне эту телеграмму, предлагал мне полушутя-полусерьезно ехать на этих условиях. Милюков доложил Временному правительству эту телеграмму и в связи с добровольной отставкой Ю. П. Бахметева поднял вопрос о посольском кандидате в Северную Америку, не имея в этот момент определенного кандидата (Б. А. Бахметьев был выдвинут несколько позднее, в тот момент он был назначен товарищем министра торговли и промышленности).

Временное правительство, придавая этому делу самое серьезное значение и отложив вопрос о кандидате (подбор его был поручен Милюкову), высказалось за отправку с будущим послом Временного правительства особой миссии, составленной из представителей разных ведомств, для детального обсуждения всех проблем военного, политического и финансово-технического характера. Размышляя о том, кого именно направить послом в Вашингтон, Милюков прежде всего попросил у Нератова список возможных кандидатов из ведомства. Из профессиональных дипломатов особенно претендовали двое — И. Я. Коростовец и В. А. Арцимович. Оба ссылались на то, что знали Америку и... были уволены царским правительством: первый — с посланнического поста в Китае при Сазонове, второй — с места товарища министра при Штюрмере. Имея этот «опальный ценз», они считали себя вполне подходящими для представительствования новой демократической России. При этом Коростовец был действительно зна-

ющий и крупный дипломат, Арцимович же больше выставлял себя жертвой Штюрмера — способ довольно верный, чтобы в этот момент купить симпатии Милюкова.

Однако совершенно неожиданно из других кругов выплыл третий кандидат, никакого отношения к дипломатии доселе не имевший, а именно профессор Петроградского политехнического института по кафедре гидравлики Борис Александрович Бахметьев. Когда он победил и был назначен (в качестве оснований для его назначения приводилось то, что он имел до войны знание САСШ, был в Северной Америке в связи с военными заказами царского правительства во время войны и производил прекрасное впечатление на американцев), то оказался первым послом Временного правительства, взятым не из дипломатической среды. Как мне потом говорил сам Милюков, он, представляя кандидатом на пост посла в Вашингтоне Б. А. Бахметьева, не был подробно осведомлен о его роли в царских военных заказах. Многое, что потом всплыло и стало известным Милюкову, заставило его впоследствии пожалеть об этом назначении, но было уже поздно.

Большевистский переворот застал Б. А. Бахметьева послом, и огромные казенные суммы, пересланные как царским, так и Временным правительством в наше посольство в Вашингтоне, были сразу же переведены Бахметьевым на свое имя. Часть их пошла на гражданскую войну, но большая часть расползлась без всякого контроля на надобности дипломатического ведомства и разных учреждений за границей. Милюковская креатура, Бахметьев ненадолго пережил Милюкова в политическом отношении. Странным образом в первом крупном дипломатическом назначении лицо, избранное Временным правительством, не только ничем не было связано с демократическими веяниями Февральской революции, но и прямо было выдвинуто по причине своей прежней царской службы, да еще в такой щекотливой материи, как военные заказы. Вина за выбор этого лица падает исключительно на Милюкова, так как Временное правительство в этом вопросе дало ему carte blanche.

В Петрограде мне приходилось встречать Б. А. Бахметьева в обществе. Он производил впечатление очень живого и

даже веселого человека, но, признаюсь, я был весьма удивлен, когда он вдруг оказался послом, так как вообще политикой он, по-моему, никогда не интересовался, не говоря уже о дипломатии. Сразу же после назначения Бахметьева в Вашингтон стали подбирать состав особой миссии, которая должна была быть построена на очень широких началах, то есть включать ряд представителей заинтересованных ведомств, как-то: финансов, торговли и промышленности, путей сообщения, военного и морского, не говоря уже об иностранных делах.

С нашей стороны был сначала выдвинут Саблер-Десятовский, сын бывшего обер-прокурора Святейшего Синода, лицо, известное своей неудачей в русско-болгарских отношениях (этот Саблер вручил ультиматум болгарскому правительству в качестве русского поверенного в делах). Я уже упоминал об убогой личности этого злосчастного кандидата. Теперь министерство (т. е. особое совещание по назначениям под председательством А. А. Нератова) выдвигало Саблера в качестве 1-го секретаря посольства при Бахметьеве. Последний, узнав об этой кандидатуре и не желая обрекать себя с первых же шагов на неминуемую неудачу при столь ненадежном помощнике, явился к Милюкову с требованием об отмене предполагаемого назначения. Милюков, однако, почему-то принял сторону Саблера и внес вопрос во Временное правительство, хотя дело касалось исключительно дипломатического ведомства, и там кандидатура Саблера была провалена.

Положительно ни сам Милюков, ни наше министерство не могли еще уловить надлежащий тон: министерство действовало по рутине, а Милюков не давал должной оценки, правда, не событий, а лиц. Конечно, и помимо Нератова, хотевшего вообще избавиться от Саблера, у нас понимали, что в таком вопросе, как посольство в Северную Америку, надо было обдумывать все, вплоть до секретарского состава, играющего вообще в дипломатии большую роль. Секретарем к Бахметьеву, хотя не в роли 1-го секретаря, а причисленного, был назначен молодой человек 29—30 лет, Сукин, ставший затем министром иностранных дел при Колчаке. Кандидат не из очень удачных, но все же гораздо бойчее, чем Саблер.

Сукин сумел войти в доверие к Бахметьеву и благодаря этому сделать себе карьеру в эпоху гражданской войны.

Вступление в войну Америки

Значение Февральской революции при самом ее начале во внешнеполитическом смысле измеряется прежде всего вступлением в войну Северной Америки. Это вступление, которого так домогались и Англия и Франция, осуществилось в апреле 1917 г. под прямым влиянием русской Февральской революции, как об этом торжественно сообщало само североамериканское правительство, мотивируя в Конгрессе необходимость сойти с позиции нейтралитета. Какие бы предположения ни делать о том, что вашингтонское правительство и без того вступило бы в войну, ясно было для всех нас, кто был близок к дипломатическим переговорам Френсиса, посла Соединенных Штатов в Петрограде, с Милюковым, что последние сомнения Северной Америки по этому вопросу рассеялись, как только в России разразилась революция.

Как я уже упоминал в моих предшествующих записках, еще в 1915 г. Соединенные Штаты в замаскированной форме нащупывали в России почву для «нового курса» правительства, но внутригосударственная обстановка в России была тогда, при Горемыкине в качестве главы правительства, совершенно неудовлетворительной для начала «нового курса», а Сазонов не обладал должным историческим калибром, для того чтобы осуществить тогдашние, весьма скромные по сравнению с периодом Февральской революции, пожелания вашингтонского правительства. В дипломатическом ведомстве были прекрасно осведомлены о том, какое сильное оружие имели в своих руках противники вступления Америки в войну в лице реакционной России, которая своим участием в «освободительной» войне Антанты против тевтонского милитаризма лишала убедительности идеологическую аргументацию в пользу войны.

Американские германофилы в ответ на агитацию антантофилов неизменно указывали на присутствие полусамодержавной России в стане врагов Германии и ее союзников, чтобы доказать, что война ведется не для «идеологических» гуманитарных целей, а во имя хищнических империалистических интересов Англии, Франции и России. На общественное мне-

ние Соединенных Штатов, играющее такую роль в политике, это, несомненно, производило настолько неотразимое впечатление, что, несмотря на могущество военной партии, она до Февральской революции не могла одолеть своих противников. Надо к тому же указать и на совершенную историческую новизну такого грандиозного предприятия, как вступление Соединенных Штатов в войну, в основе своей вполне европейскую, на противоречие этой войны дипломатическим традициям Соединенных Штатов (доктрина Монро), чтобы понять, какое ошеломляющее впечатление произвела на общественное мнение самых широких кругов Северной Америки Февральская революция в России. Американский посол Френсис сам относился к ней с неподдельным энтузиазмом и, как видно из приводимого мною выше разговора его с И. Я. Коростовцом в самые дни февральского переворота, переоценивал и ее «бескровность», и ее государственное значение внутри страны и на фронте.

Должен сказать, что Милюков, согласно принятой им вполне сознательно политике, не только не разубеждал Френсиса, так же как и Палеолога и Бьюкенена, в чудодейственном значении Февральской революции для продолжения войны, но всячески подливал масла в огонь, найдя во Френсисе собеседника, безусловно, доверчивого и даже преисполненного энтузиазма. Милюков очень часто, как раз в марте и апреле 1917 г., с самым искренним удовлетворением принимал Френсиса, и оба расставались друг с другом очень неохотно, так как Френсис, обрадованный неожиданным ходом дел в России, растягивал свои беседы с Милюковым далеко за обычные пределы милюковских приемов. В этом отношении милюковская тактика достигла блестящих результатов в связи, конечно, и с тем, что неустойчивость солдатских масс еще не проявилась в такой катастрофической форме, как это было позже, начиная с мая месяца.

Можно смело сказать, что, затянись выступление Америки, оно под влиянием начавшегося позже разложения русского фронта могло бы устрашить среднего гражданина Соединенных Штатов и, может быть, вовсе не состоялось бы. Здесь же вступление Америки совершалось под свежим впе-

чатлением триумфа Февральской революции, которая, по общему мнению всех главных дипломатических представителей в Петрограде — Палеолога, Бьюкенена, Карлотти и других, должна была дать новые силы русской армии для продолжения войны и доведения ее до победного конца. Практичные янки были, конечно, как я указывал выше в связи с телеграммой Панамериканской ассоциации прессы в адрес Милюкова, мало осведомлены в русских делах и считали, помимо всяких идеологических предпосылок, прикрывавших и реальную заинтересованность Америки в победе Антанты, что после Февральской революции, устранявшей опасность сепаратного мира России с Германией и, по их мнению, усиливавшей внутреннюю и внешнюю мощь Русского государства, их вступление в войну будет безопасно и во всех отношениях выгодно.

Вступление Америки отнюдь не носило в это время характера «спасения союзников», который оно приняло после выхода России из войны. Наоборот, оно было продиктовано совершенно иными настроениями, а именно искренней верой в самое благоприятное значение Февральской революции для России вообще и для ее участия в мировой войне в частности. Это вступление совершилось добровольно и при энтузиазме широких масс Североамериканской республики. Френсис в своих разговорах и письменных сношениях с Милюковым не только приветствовал Февральскую революцию, но и выражал надежду, что после войны Россия и Соединенные Штаты по-прежнему останутся в самом тесном сотрудничестве, если не больше.

Таким образом, если Февральская революция объективно, помимо воли ее авторов, привела Россию к выходу из войны, то она ввела в войну Соединенные Штаты, что в дальнейшем спасло союзников и послужило конечной причиной германского разгрома. Как бы ни относиться к милюковской тактике затушевывания всех симптомов разложения фронта, но вступление Соединенных Штатов в войну зависело в известной мере от сердечного тона бесед Милюкова с Френсисом и его систематического «намагничивания», которым так любовно занимался Милюков.

Разрыв с политикой раздела Польши

Из вопросов крупного дипломатического характера и крайне щекотливых, которые Временное правительство решало совершенно новым образом, открывавшим перед Россией необычные горизонты, был польский вопрос. Этот вопрос, историю которого при царском правительстве я излагал в моих предшествующих записях, был поставлен на очередь двумя главными актами Временного правительства, а именно воззванием его к полякам 15 марта 1917 г. и актом 16 марта того же года (т. е. на другой день) об учреждении русско-польской комиссии на паритетных началах под председательством А. Р. Ледницкого, которая должна была сосредоточить в себе все нити польского вопроса. Официально эта комиссия именовалась «Ликвидационная комиссия по делам Царства Польского». Это название говорило само за себя.

Что же касается воззвания Временного правительства к полякам 15 марта, то в моих предшествующих записках я отмечал, что царское правительство сознательно выпустило известное воззвание к полякам от имени верховного главнокомандующего вел. кн. Николая Николаевича, а не царя, дабы не усиливать его обязательность в глазах всего мира. Старые приемы когда-то известной своим лукавством древней московской дипломатии сказались тогда в самой форме «обещаний» царского правительства полякам. Временное правительство, выпуская манифест по польскому вопросу от своего имени, так же сознательно стремилось открыть «новую эру» в русско-польских отношениях и заставить поляков верить его искренности в осуществлении его программы. Воззвание было выпущено от имени и за подписью Временного правительства.

Учреждение русско-польской комиссии Ледницкого долженствовало подчеркнуть разницу между платоническими обещаниями царского правительства и действиями Временного, а устрашающее для многих русских старого закала название комиссии «ликвидационная» должно было окончательно убедить поляков, что царская политика в польском вопросе навеки окончена. В воззвании 15 марта Временное правительство призывало поляков, забыв прежние счеты, сгрудиться вокруг русской армии, целью которой в этой войне были также «освобождение и независимость единой Польши». Эта свободная

и независимая Польша должна была находиться в «свободном военном союзе» с Россией. Границы между Польшей и Россией должны были быть установлены по взаимному соглашению русского и польского правительств на основании «этнографического принципа» и подлежали утверждению Учредительных собраний России и Польши, созванных на основании всеобщего, прямого, тайного и равного избирательного права.

Таким образом, предполагался военный союз двух равно демократических государств. При этом слово «свободный» военный союз, по официальным комментариям Временного правительства, должно было означать свободное соглашение о деталях военного характера, которые должны были быть установлены впоследствии между надлежащими русскими и польскими властями. Самый факт военного союза между Польшей и Россией Временным правительством ставился вне какого бы то ни было сомнения, так как, по мнению нашего дипломатического ведомства и всего состава Временного правительства, русская армия не могла проливать свою кровь ради освобождения «будущего врага». Германофильская политика будущей Польши (а военный союз направлялся именно против Германии) совершенно исключалась Временным правительством, несмотря на то что в воззвании 15 марта говорилось не только о полной внутренней самостоятельности Польши, но и о ее полной международной независимости. Военный союз России и Польши был, таким образом, союзом во всех отношениях международным, но, по идее Временного правительства, «вечным».

Ничего больше от новой демократической России Польша не могла ждать, так как освобождалась она русским оружием и русской кровью и «свободный» военный союз был минимальной ценой этого освобождения. Забегая несколько вперед, я должен сказать, что такое решение вопроса было мужественным со стороны Временного правительства, отказавшегося от владения польскими землями, и находилось в полном соответствии с лучшими традициями русского общества, в частности с программой декабристов пестелевского толка. Это решение, разрывавшее окончательно связь с внешней политикой раздела Польши, в то же время имело символичес-

кое значение с точки зрения позиции Февральской революции в славянском вопросе, и Масарик при свидании с Милюковым это подчеркнул. В то же время оно свидетельствовало и о полном отрицании возможности германофильской внешней политики России — военный союз с Польшей этому препятствовал.

Русские поляки, находившиеся в это время в России, и в частности польская часть комиссии Ледницкого, с восторгом принимали решение Временного правительства и даже шли дальше этого в смысле «общей внешней границы» с Россией, но зарубежные поляки (я говорю о поляках антантофильского направления, находившихся в Париже, Лондоне, Риме и Вашингтоне), по сведениям наших дипломатических представителей в этих столицах, не могли из своего прекрасного далека видеть всю искренность Временного правительства и благородство его позиции и, быть может, не без участия или влияния австрийских и германских поляков, относились к акту 15 марта подозрительно.

Слово «свободный» в применении к военному союзу Польши и России считалось ими грубой насмешкой, а под сущностью «военного союза» они понимали закабаление Польши со стороны России. Они считали, что этим союзом наносится явный удар «польскому суверенитету», и не видели никакой разницы между горемыкинским проектом «автономии» Польши и новой позицией Временного правительства. Войти же в психологию Временного правительства, продолжавшего войну и ответственного за безрассудное пролитие русской крови для создания потенциальных врагов России, они не могли. «Гарантию безопасности» эти зарубежные поляки дать России не хотели и вели во все время существования Временного правительства агитацию против комиссии Ледницкого и «русских поляков».

Вообще должен сказать, что последние отлично понимали положение дел, и хотя желали некоторых несбыточных вещей, но в основном тоне совершенно соглашались с Временным правительством. В частности, военный русско-польский союз считался ими гарантией международного существования Польши, а не ее «закабаления» со стороны России. Эти

поляки во главе с Ледницким старались образумить своих зарубежных соотечественников и не испортить отношений с Временным правительством, в программе которого видели исполнение максимума своих реально осуществимых пожеланий.

Через несколько дней после актов 15 и 16 марта открылась русско-польская комиссия А. Р. Ледницкого. Комиссия эта по своей компетенции относилась прежде всего к Царству Польскому и была подготовительной комиссией в отношении к Временному правительству, куда она имела права входить с непосредственными докладами и представлениями. Представления заслушивались Временным правительством, так же как и представления отдельных ведомств, поэтому юридическое положение комиссии было квазиминистерским, то есть она приравнивалась к тем чрезвычайным учреждениям, которые почему-либо хотели освободить от подчинения тому или иному ведомству. Помимо своей компетенции, так сказать, туземно-русского характера касательно оккупированного в это время австро-германскими войсками Царства Польского эта комиссия на самом деле должна была быть и лабораторией для решения польского вопроса во всей его широте.

Ледницкий придавал очень большое значение присутствию в ней представителей министерства иностранных дел, которые играли там самую существенную роль. Состав этой комиссии бюрократически с русской стороны был достаточно высок. Здесь был товарищ министра исповеданий Сергей Андреевич Котляревский, товарищ министра финансов Шателен, А. В. Карташов, будущий министр исповеданий. Привлекались сюда и сенатор Кони, и профессор Л. И. Петражицкий, и ряд директоров департаментов по принадлежности. От нашего министерства был назначен я, а затем в качестве второго представителя, моего заместителя, начальник Славянского стола Обнорский.

По этому поводу не могу не отметить, что, как только эта комиссия Ледницкого была учреждена и последний обратился к нам с просьбой о назначении нашего представителя, Нольде сказал Милюкову, что он рекомендует назначить меня, так как я нахожусь в полном курсе польского вопроса.

Я действительно был назначен, и только в сентябре, когда я на три недели поехал в Крым в отпуск, я попросил назначить моим заместителем Обнорского. Однако когда я вернулся из отпуска, то оказалось, что Обнорский не справился со своей задачей, и он больше не привлекался в комиссию по желанию Нератова, так как сделался невольно виновником одного довольно крупного упущения, о чем я расскажу ниже. С польской стороны кроме председателя А. Р. Ледницкого были следующие лица: С. Грабский, бывший член Государственной думы, Шебеко, бывший член Государственного совета, князь Святополк-Четвертинский, барон Ропп, архиепископ Могилевский, епископ Цепляк и другие.

Открытие комиссии имело место в Зимнем дворце, где она и заседала до конца своей деятельности, то есть до большевистского переворота. Обставлено все было очень торжественно, помимо членов комиссии на открытии были князь Георгий Евгеньевич Львов, П. Н. Милюков, Ф. И. Родичев, ряд членов Государственной думы, все виднейшие члены польской петербургской колонии, иностранные корреспонденты. От нашего министерства кроме Милюкова были барон Б. Э. Нольде и я, мы вместе вышли из нашего министерства и по окончании первого торжественного заседания вернулись обратно, обмениваясь впечатлениями. Нольде рекомендовал меня Ледницкому в качестве представителя нашего ведомства, и тот весьма приветливо и с не покидавшей его до самого конца любезностью в отношении меня представил меня всем польским членам «нашей» теперь уже комиссии. С русскими членами я уже был знаком раньше.

После короткого общего разговора в Зимнем дворце, впервые открытом для правительственных совещаний, в тогда еще совершенно нетронутых залах, увешанных старинными гобеленами, началось заседание. Замечу здесь, что сам Ледницкий — хозяин собрания и все поляки чувствовали себя явно польщенными тем, какое помещение было отведено для русско-польской комиссии. Князь Г. Е. Львов несколько опоздал, и Ледницкий, пользуясь этим, говорил с Милюковым о том, что на будущем мирном конгрессе должна быть особая польская делегация, хотя бы в составе русской. Он, по-видимому, опа-

сался, что если Временному правительству придется решать вопросы мира, то польский вопрос может быть решен даже без присутствия поляков.

Конечно, ни Ледницкий, ни Милюков, обещавший ему особое представительство Польши, не могли предполагать, что единственной союзной страной, которая не будет представлена в Версале, окажется Россия. Этот разговор Ледницкого с Милюковым, свидетелем которого я явился, так как в этот момент Нольде представлял меня Ледницкому, сразу открывал вожделения поляков и их неуверенность в своем положении. Меня особенно поразили слова Ледницкого о том, что «особая» польская делегация на мирном конгрессе может быть «в составе» русской. Согласие на это Милюкова, находившего просьбу Ледницкого «естественной» и сказавшего ему, что он этот вопрос не преминет поднять во Временном правительстве, произвело на Ледницкого наилучшее впечатление, и как только вошел князь Львов, Ледницкий попросил нас в соседний зал, где и состоялось заседание.

Первым говорил Ледницкий, сначала по-русски, потом по-польски. Между прочим, эта была единственная польская речь, все остальные, даже с польской стороны, говорили по-русски. Ледницкий, по-видимому, хотел на первом же заседании подчеркнуть равноправие языков польского и русского, имевшееся в самом уставе комиссии, но, как оказалось, на практике совсем не соблюдавшееся, так как все поляки отлично говорили по-русски, а русские не знали польского. В своей речи Ледницкий не столько говорил о задачах комиссии, сколько о значении Февральской революции, давшей возможность установить «братские отношения» между русским и польским народами, проникнутые духом «славянской солидарности» перед лицом «общего врага», борьба с которым далеко не закончена. Говоря о «независимости» Польши, Ледницкий тут же в самой недвусмысленной форме сказал, что «внешний оборонительный союз» России и Польши есть единственное условие международного существования Польши.

Вся речь Ледницкого, витиеватая по форме, по содержанию не представляла ни малейшего расхождения с программой Временного правительства, но чувствовалось, что Ледницкий не

столько хочет уверить Временное правительство в дружеском и лояльном отношении собравшихся поляков к воззванию 15 марта, сколько через головы присутствовавших убедить зарубежных поляков в разумности и выгодности этого воззвания для поляков. Думаю, судя по выражению лиц всех польских делегатов — и барона Роппа, и Цепляка, и Грабского, и Шебеко, с нескрываемым любопытством рассматривавших гобелены Зимнего дворца,— им трудно было так сразу освоиться с тем фантастическим по сравнению с недалеким прошлым положением, в котором они очутились. Сама польская речь Ледницкого производила в залах Зимнего дворца не менее непривычное впечатление.

После Ледницкого говорил князь Львов. Как и Ледницкий, он свою речь не говорил, а зачитывал. В этой речи давалось краткое изложение отношения русского общества к полякам в царское время и торжественно провозглашалась «новая эра». Говорил князь Львов и о необходимости покончить русско-польские споры «славянским союзом», и при этом в духе «всеславянского единения». Этот несколько неожиданный намек и на других западных славян был отмечен бурными аплодисментами собрания. Любопытно, что князь говорил о бесповоротности принятого Временным правительством решения, и, в то время как все внутриполитические вопросы, собственно, откладывались до Учредительного собрания, польский вопрос решался Временным правительством окончательным образом. Будущее Учредительное собрание должно было только дать санкцию «этнографическому» размежеванию Польши и России, сам же факт независимости Польши не подлежал пересмотру со стороны этого собрания.

Для объяснения такой решительности Временного правительства надо вникнуть в объективное внешнеполитическое положение России, не позволявшее по такому неотложному вопросу, как польский, никаких дальнейших уловок и оттяжек. Это существенное решение говорило и о том, что Временное правительство могло действовать без оглядки на Учредительное собрание, когда это было необходимо. Закончил свою речь князь Львов призывом к борьбе «за нашу и вашу свободу». После него горячо и вдохновенно говорил Ф. И. Ро-

дичев, вспоминая недалекое прошлое, когда русские революционеры вместе с польскими научились в совместной борьбе любить и понимать друг друга, говорил о русской литературе и Герцене, настроенных «полонофильски», и об общих славянских истоках Мицкевича и Пушкина, и о «славянской миссии России».

После этого уже выступали поляки — Шебеко, Грабский, князь Святополк-Четвертинский. Тон их речей был самый сердечный, и видно было, что обе стороны не только стремились избежать неуместных напоминаний о недавнем русско-польском прошлом, но и действительно самым искренним образом стремились установить поистине «новое» в таком больном вопросе. Чувствовалась в этой торжественной обстановке и любовь поляков к внешнему блеску, так что Нольде, бывший одним из авторов воззвания 15 марта, так же как и воззвания Николая Николаевича в 1914 г., выходя из Зимнего дворца, сказал мне, что не надо было полякам никакой независимости давать, а достаточно было дать им «уланский польский полк» и прочие военные и штатские национальные мундиры.

Конечно, на русских показная сторона дела действовала скорее отрицательно, чем благоприятно, но суть была не в этом. Суть заключалась в том, что это был первый крупный международный акт Февральской революции и заграница могла почувствовать на примере польского вопроса, что, идеологически по крайней мере, между новой Россией и Западом устанавливается «единый фронт». С другой стороны, безоговорочное решение польского вопроса Россией открывало новые пути для всего «славянского вопроса», что было отлично понято как самими западными славянами, так и их врагами — Австро-Венгрией и Германией. Желание их «удушить» Февральскую революцию после вышеотмеченных решений Временного правительства по чешскому и польскому вопросам становилось вполне понятным.

Прежде чем перейти к изложению дальнейшего хода событий, я не могу здесь не остановиться на некоторых особенностях внутриминистерских отношений в нашем ведомстве, сложившихся после Февральской революции и прямо от-

ражавшихся на всей его жизни. Как только миновали первые дни февральского переворота, за крайне немногочисленными исключениями, никого лично из ведомства не затронувшими (укажу только на Чельцова, зятя Протопопова, чиновника II Департамента, о котором я упоминал в моих предшествующих записках и который в дни переворота ввиду разгрома протопоповской квартиры вынужден был скрываться и в течение недели не мог переменить крахмальной рубашки, и Ивана Ивановича Лодыженского, нашего чиновника, родного брата и тезку управляющего делами Совета министров царского правительства, тоже Ивана Ивановича Лодыженского; у этого ни в чем не повинного и во всех отношениях безвредного для революции лица в течение одних суток было 23 обыска, и ему приходилось каждый раз объяснять обыскивавшим, в чем их ошибка), все как будто пришло в норму.

Милюков по форме стал управлять министерством на прежних началах, но именно по форме. То обстоятельство, что он не вступил путем «обхода» министерства в соприкосновение со всем персоналом ведомства, делало из него для большинства служащих сугубо замкнутую фигуру. Мне, однако, по должности начальника Международно-правового отдела и юрисконсульта министерства приходилось видеть Милюкова в кругу его ближайших сотрудников, и должен сказать, что, может быть, благодаря спокойствию Милюкова и его выдержке, эти отношения были неплохи.

Правда, были и исключения: так, например, Милюков невзлюбил А. А. Доливо-Добровольского, управляющего административной частью Правового департамента (он был вице-директором этого департамента), и даже сделал попытку его отстранить, но Нольде настоял на его оставлении в должности. В связи с вопросом о возвращении в Россию «эмигрантов», в том числе Ленина со спутниками, я дам более подробную характеристику Доливо-Добровольскому, который был тем служащим министерства, кто этим заведовал. Здесь же, говоря об общеминистерском положении и внутриведомственных отношениях с Милюковым, надо сказать, что и сам Милюков, да и высшие служащие министерства с Нератовым

во главе стремились все оставить по-старому, дабы по возможности не нарушать правильного хода машины.

Нольде, проведя образование двух департаментов — правового и экономического, не тратил своей энергии на реформаторство, несмотря на то что именно ему принадлежал обширный проект «реформы министерства», где в особенности детально был разработан вопрос о подготовке молодых дипломатов. Нольде также был проникнут милюковским духом «сохранения министерства», а как привычный администратор он не любил делать то, что не вызывалось практической надобностью. Чистая политика, к которой он теперь прикоснулся гораздо непосредственнее, чем раньше (Нольде присутствовал вместе с Нератовым на приемах Милюковым союзных послов и принимал участие во всех политических совещаниях с Милюковым в министерстве), ему нравилась. Нольде старался к тому же наладить и экономические отношения с союзниками и действовал часто через голову официального директора Экономического департамента П. Б. Струве, на что, впрочем, тот не обижался, так как чувствовал себя в достаточной мере dépaysé* на почве чисто практических вопросов.

У нас говорили, что Милюков хочет заменить Нератова Нольде, но сам Милюков в «Речи», хотя и дал довольно резкий отзыв об общем духе министерства (как я отмечал, из «тактических соображений»), но о Нератове в той же статье отозвался благожелательно и вообще всячески показывал, что ценит его административный опыт. К тому же Февральская революция, как это ни странно, укрепила положение Нератова, царское правительство накануне своего падения назначило его в Государственный совет с «временным» сохранением обязанностей товарища министра «впредь до приискания заместителя», но заместителя не успели найти, так как царское правительство пало. Силою вещей Нератов стал «вечным» товарищем министра, как над ним посмеивались у нас, и опять в деловом отношении, несмотря на назначение Нольде вторым

---

* Растерянным *(фр.)*.

товарищем министра, остался и номинально и фактически первой фигурой в ведомстве после Милюкова. Последний же охотно шел к Нератову «на выучку» в дипломатическом отношении.

Никаких конфликтов с высшими чинами министерства у Милюкова за все время его министерствования не было, таких конфликтов, которые могли бы привести или привели бы к выходу их в отставку. Были некоторые расхождения взглядов, очень характерные для Милюкова, закончившиеся обычным бюрократическим подчинением министру и не имевшие никаких неблагоприятных последствий лично для несогласных с его мнением. Милюков управлял министерством как старорежимный министр, и в этом была его сила, так как он без малейшего сопротивления по своему усмотрению орудовал всем дипломатическим аппаратом и сам нес ответственность за последствия своей политики. Совершенно неверно было бы утверждать, что министерство «навязало» свою политику Милюкову; наоборот, как я укажу в изложении непосредственных причин его отставки, можно сказать, что наиболее ответственные, по прежним понятиям, служащие министерства — Нератов и Петряев, ведавший тогда Ближним Востоком,— расходились с Милюковым в оценке момента, и если беспрекословно ему подчинялись, то в этом и есть суть министерской деятельности. В предупреждениях слишком крутой постановки вопроса о целях войны, во всяком случае, недостатка со стороны нашего министерства не было.

Общество служащих в роли громоотвода

Безусловно, новым во внутриведомственных отношениях были отношения среднего и младшего персонала министерства со старшим, что символически выражалось в деятельности исполкома Общества служащих МИД. Исполком, как я сказал выше, не состоял из младших служащих, как раз наоборот, скорее там преобладали высшие чины министерства, но они попали туда по избранию всех служащих, и было равноправие всех членов исполкома, куда входили (таков был избирательный лозунг) представители всех отделов. Это было, так сказать, «министерство в министерстве», державшее себя очень тактично, несмотря на некоторую горячность и властный темперамент нашего товарища председателя — вице-директо-

ра Экономического департамента князя Л. В. Урусова, впоследствии ставшего председателем.

Никаких политических разделений на партии в комитете Общества МИД, который я для краткости буду именовать исполкомом, не было, и для меня было ясно, что официальное начальство, то есть товарищи министра, с ним определенно считалось. Можно даже утверждать, что для многих исполком сделался трамплином в их служебной карьере. Не случайно, что Урусов был назначен при Терещенко управляющим Экономическим департаментом после «отпуска» за границу ученика Струве Н. Н. Нордмана, директора департамента, несмотря на то что подготовка Урусова была в экономическом отношении поверхностна, а сам Терещенко недолюбливал Урусова. Не случайно, что председатель исполкома А. М. Петряев стал вторым товарищем министра после ухода Нольде (как я объяснял в предшествующих записках, второй товарищ министра заведовал прежде всего личным составом министерства, а симпатии служащих в этот момент играли несомненную роль). Член нашего исполкома В. И. Некрасов, числившийся в списках министерства, но не занимавший там никакой должности ко времени Февральской революции, получил должность начальника Среднеазиатского отдела, игравшего всегда большую политическую роль в министерстве. С. Г. Богоявленский (член исполкома), занимавший ранее небольшую по прежнему масштабу должность консула в Болгарии и находившийся не у дел в начале 1917 г., летом того же года был произведен в начальники Отдела печати — должность во всех дипломатических ведомствах мира весьма влиятельная. Вот самые яркие примеры, не говоря уже о менее существенных передвижениях остальных членов исполкома. Здесь я привожу только назначения на должности директоров департаментов, им равные или же выше, как с Петряевым.

Наконец, про себя скажу, что моя роль в комитете Общества в качестве секретаря была достаточно активна, я по своему положению в министерстве и Обществе служащих был абсолютно в курсе всего, что делалось и там, и здесь, и хотя за весь период существования Временного правительства

мое официальное положение начальника Международно-правового отдела не изменилось, после ухода из ведомства Нольде и за неприбытием Мандельштама, а также ввиду отсутствия в составе президиума министерства (т. е. министра и двух его товарищей) лиц с юридическими знаниями мой авторитет возрос настолько, что Нератов по поручению Терещенко вызвал меня для окончательного решения вопроса о назначении заместителя Нольде.

Назначение А. М. Петряева товарищем министра состоялось после того, как я дал Терещенко и Нератову полный список всех лиц, занимавшихся международным правом, в научной сфере или же в практическом его применении, с краткой характеристикой их научных трудов или же государственных заслуг, и когда по обстоятельном обсуждении они все по разным причинам оказались неподходящими. Конечно, кандидатура Петряева имелась у них в виду на тот случай, если бы Нольде не удалось заместить международником, но показательно, что оба наших высших чина министерства внимательно расспрашивали меня о положении Петряева среди служащих и его авторитет среди них имел большое значение для назначения его на должность. Условия, при которых вступил в министерство Терещенко, заставили его относиться к служащим, их мнениям и настроениям особенно внимательно, совершенно иначе, чем Милюков, управлявший по форме совсем как царский министр.

Чем же занимался наш исполком и каково было отношение к нему служебного персонала и высшего начальства? Компетенция исполкома была по уставу Общества служащих крайне неопределенна, как неопределенны были и назначение и цель самого Общества. Хотя в уставе и говорилось об «улучшении материальных, моральных и технических условий службы» чинов МИД, но, конечно, не это составляло главный предмет деятельности исполкома. Инстинкт самосохранения, пробудившийся в дни февральского переворота у служебной массы, заставлял прежде всего «самоорганизовываться». Самоорганизация служащих министерства и явилась в конце концов первейшей заботой исполкома. Как выразился один из членов исполкома Колемин (впоследствии 1-й секретарь по-

сольства в Париже в эпоху Колчака и Деникина), «надо сначала пушку зарядить, а потом уже стрелять». Куда стрелять, было в этот момент не вполне ясно самим членам исполкома, но уж во всяком случае не против Милюкова и Временного правительства.

Ни одной оппозиционной речи монархического характера в это время не было произнесено ни в исполкоме, ни в многочисленных собраниях Общества. Эта самоорганизация без оппозиционных целей в эпоху Милюкова, однако, была естественным предохранительным клапаном, и наше начальство, так же как и сам Милюков, смотрело на это вполне благосклонно. Что же касается деятельности исполкома, то здесь надо сказать, что уход Милюкова произвел резкую перемену. В эпоху Милюкова комитет наблюдал и организовывал Общество служащих, борясь с некоторыми, довольно, впрочем, скромными, анархическими течениями левого толка на личной почве; в эпоху Терещенко комитет фактически становится величиной политически действенной и постепенно, по мере развития событий, оказывает все большее и большее влияние на жизнь и даже политику ведомства. Во время Милюкова исполкому пришлось помимо чисто организационной работы (проведение устава, напечатанного, между прочим, за счет и в типографии министерства) охранять начальство, то есть Февральскую революцию, от «друзей» этой революции, от недовольных элементов министерства, а такие, естественно, имеются в каждом учреждении.

Были они и у нас. Недовольство это, конечно, носило чисто личный характер и никакого отношения к Февральской революции не имело. Разные элементы объединились вместе и желали «нового режима» в министерстве, то есть сведения счетов за прошлое. Исполком, избранный Обществом, был достаточно авторитетным учреждением, чтобы не допустить превращения министерства в Совдеп. Консервативная в этом отношении политика исполкома в действительности охраняла здесь Февральскую революцию, так как в противном случае Милюкову и его ближайшим сотрудникам пришлось бы принять на себя удар, приходившийся теперь на исполком. Эта громоотводная роль нашего исполкома со столь революцион-

ным названием и благонадежным настроением была, несомненно, полезна, так как он не мешал ни Милюкову, ни Терещенко работать, а иногда очень существенно помогал. Надо к тому же сказать, что служащие министерства, несмотря на все их наличные или предполагаемые дипломатические добродетели, были тысячами уз связаны со всем тем, что совершалось в России, и все свои сомнения и тревоги о человечестве не могли скрывать. Общество с его исполкомом и общими собраниями было тем естественным каналом, куда эти тревоги и волнения направлялись.

«Синдикализм чиновников»

С другой стороны, прежняя иерархическая лестница потеряла свое реальное значение, так как самые близкие к министру чины не менее других были проникнуты тревогой и за себя лично, и за совершающееся в стране. Министр, поставленный революцией, не всегда, как это сказалось в деле Извольского и Сазонова, мог поручиться за свои слова. При этих условиях между руководящей и исполнительной частью министерства была только разница функций, но не положения. Поэтому начиная с Нератова (Милюков в качестве «демократического» министра находил самодеятельность чиновников вполне естественной) весь наш генералитет относился очень сочувственно к деятельности Общества и его исполкома и иногда даже прямо в ней участвовал.

Один только Нольде к этому «синдикализму чиновников» относился крайне насмешливо и не без внутренней досады. Он раза два спрашивал меня, неужели я недоволен министерством, что принимаю такое активное участие в этом исполкоме, и не желаю ли я повышения в виде какого-либо заграничного назначения. Я его заверял, ссылаясь на всю свою предшествующую деятельность, что ничего лично для себя не ищу и если, несмотря на все милости начальства, принимаю участие в исполкоме, то лишь для того, чтобы поддержать стабилизацию МИД. Думаю, что недовольство Нольде, не выразившееся, правда, ни в каком неблагоприятном реальном воздействии на Общество, объяснялось тем, что учреждением исполкома поглощалась часть внимания ведомства, именно та часть, которая должна была поглощаться нашим ведомственным генералитетом. Нольде хотелось быть настоящим това-

рищем министра, а тут рядом с незаурядной фигурой «революционного» министра вырисовывался исполком, поощряемый высшими чинами.

«Парламентские» выборы тоже отвлекали внимание служащих и явно указывали, что не все в министерстве обстоит благополучно. Скажу прямо, Нольде со времени Февральской революции был самым крупным оптимистом во всем ведомстве. Милюков так не обманывался, как Нольде, и это ослепление объясняется исключительно тем, что Нольде действительно больше всех выиграл от февральского переворота и не без основания в участии в исполкоме, скажем, таких лиц, как Петряев, видел опасность для себя. Слова Нольде о «чиновничьем синдикализме» ни в малейшей мере не были заслужены исполкомом, наоборот, он именно для того и был создан, чтобы бороться с таким синдикализмом. Наконец, что касается карьерных мотивов со стороны исполкома, то Нольде был прав в том смысле, что, как это выяснилось в момент ухода Милюкова, многие члены исполкома, в том числе Петряев, несмотря на все свои прежние заслуги, понимали революцию и как личную игру, где каждый имеет свой черед. Они все смотрели довольно равнодушно на вынужденный уход предшественников и очень чувствительно относились к собственному. Но разве этого нельзя было сказать и про самого Нольде, который в самом начале Февральской революции был ее верным слугой? Разочарование явилось значительно позже.

Как на явления «синдикалистского характера» укажу на два обстоятельства. Первое — выступления отдельных служащих на общих собраниях с утверждениями о необходимости «фактического захвата власти в ведомстве» комитетом служащих или же с критикой отдельных чисто политических или вообще служебных действий начальства. Эти выступления наш исполком подавлял самым решительным образом репликами на общих собраниях.

Из демагогов в этом смысле отличался один весьма подозрительный по своему служебному прошлому (он служил до нашего ведомства в Департаменте полиции) бывший консул на Дальнем Востоке фон Беренс, который в конце концов

очутился на большевистской службе. Этот самый Беренс, уверявший меня, что знал моего отца по своей консульской службе на Дальнем Востоке, и вообще выражавший вначале благоволение ко мне, со времени Февральской революции в особенности нападал на наш исполком за нашу будто бы «черносотенность», а меня лично как-то назвал «квинтэссенцией старого режима». Я ему ответил, что это у меня, очевидно, наследственность, намекая на «левизну» моего покойного отца. Смехотворность обвинений Беренса была быстро обнаружена, и он несколько стушевался, но некоторыми другими лицами, а именно молодым чиновником Криспи или же такими маститыми дипломатами, как де Плансон, бывший начальник Дальневосточного отдела и бывший посланник в Сиаме, по причинам совершенно личного характера часто делались вылазки против исполкома. Однако, как все это ни было симптоматично и как ни сказывалось разлагающее влияние приближающейся катастрофы на личные внутриведомственные отношения, это все были лишь «буревестники».

Гораздо более опасным оказалось второе проявление «синдикализма» — это деятельность некоторых членов исполкома внутри самого исполкома. Эти члены слишком серьезно относились к своим мандатам, они хотели действительно «помогать» начальству, но не в смысле охранения его от анархических стремлений отдельных служащих и поддержания внутренней служебной дисциплины, а в смысле управления ведомством. Так, например, однажды Владимир Иванович Некрасов задолго до того, как был назначен начальником Среднеазиатского отдела, выступил в закрытом, конечно, заседании (открытых у нас не полагалось) исполкома с резкой критикой политики тогдашнего начальника Среднеазиатского отдела фон Клемма в Персии. Он внес письменное предложение «разослать циркуляр» от имени исполкома по всему Востоку с указаниями весьма пикантного характера. Например, русским консулам предлагалось отказываться от подарков, подносимых туземными властями, не пользоваться услугами туземцев для исполнения ответственных служебных поручений и т. д. Другими словами, В. И. Некрасов предлагал полную реорганизацию консульской службы на Востоке,

и когда ему заметили, что это компетенция начальства и в случае рассылки подобного циркуляра мы стали бы на путь несомненной узурпации, то он с раздражением ответил: «Но ведь это же революция, нельзя же, чтобы все осталось по-прежнему».

Мы совершенно с ним соглашались, тем более что большинство его предложений вызывало сочувствие. Вопрос шел только о том, в какую форму эти предполагаемые реформы облечь: надо ли самочинными нашими выступлениями подрывать авторитет ведомства и его министра, министра Временного правительства, признанного к тому времени всем цивилизованным миром, или же найти какую-то более эластичную форму. Особенно горячо возражал Некрасову Петряев, несомненно, опасавшийся «чиновничьей революции» и слишком близко стоявший к министру, чтобы поощрять какую бы то ни было фронду. Наконец, по предложению Урусова решено было войти с начальством в переговоры об устройстве особой комиссии, правда, с совещательным голосом, но на паритетных началах, из представителей как ведомства, так и исполкома для «реорганизации министерства».

Действительно, Нератов с разрешения Милюкова образовал такую комиссию под названием «Комиссия по пересмотру условий прохождения службы в МИД». Председателем этой комиссии был назначен по выбору начальства И. Я. Коростовец, который после неудачного выдвижения его кандидатуры в послы в Вашингтоне одно время думал поехать посланником в Мексику, но потом сам отказался и находился, таким образом, не у дел. Половина мест (три) принадлежала начальству, от коего был назначен директор I Департамента (общих дел), ведавший его личным составом, В. Б. Лопухин, и три места принадлежали исполкому. Эта комиссия была первой «синдикалистской» брешью министерства. Правда, она так и не успела закончить своих трудов до большевистского переворота, и ее предположения остались в досье министерства, но, во-первых, о ней очень много говорили в министерстве и она пользовалась большим вниманием служащих, а во-вторых, ее предложения, подлежавшие утверждению министром, авансом, так сказать, были введены в практику фактическими действиями

и распоряжениями отдельных начальников отделов и директоров департаментов.

Я вообще должен здесь отметить, что «революция снизу» синдикалистского характера в министерстве была предупреждена тем, что наше начальство (в особенности это характерно для Терещенко) прекрасно знало, что делается в министерстве, и смысл исполкома в том и заключался, чтобы, учитывая настроения служащих и желая сохранить служебную дисциплину, начальство немедленно могло проводить в жизнь все, что можно было провести. Этот фактический «парламентаризм» вызывался тем обстоятельством, что, идя навстречу в сравнительно второстепенных вопросах, касающихся прохождения службы, начальство оставляло за собой «политическую автономию», которая также была условна.

Думаю, что при той самоорганизации, которой мы достигли к концу Временного правительства, если бы это правительство пожелало (невероятный, конечно, случай) заключить сепаратный мир с Германией, ему пришлось бы раскассировать добрую половину министерства и весь наш исполком. То обстоятельство, что постепенно наиболее видные члены исполкома повышались в своих служебных ролях, уничтожало их оппозиционность и в то же время придавало удельный вес исполкому. Когда случился большевистский переворот, то только благодаря самоорганизации министерства удалось лишить большевиков дипломатического аппарата как в Петрограде, так и за границей, где наши дипломатические представители знали о существовании нашего Общества служащих и об отношении к нему начальства. «Дипломатический саботаж», на который так горько жаловался Троцкий в Брест-Литовске, есть дело исключительно нашего исполкома и всей предшествующей деятельности Общества служащих МИД, сыгравшего в этот момент историческую роль, так как твердая позиция дипломатического ведомства в его отрицательном отношении к большевистскому перевороту оказала огромное влияние на все петроградское чиновничество, приступившее к саботажу вместе с нами. Наше Общество еще при Милюкове вступило в связь с «Союзом союзов» всех ведомств.

А. А. Доливо-Добровольский

Теперь я должен перейти к вопросу, который прямо меня не касался, но о котором я не мог не знать, так как им ведал управляющий административной частью Правового департамента А. А. Доливо-Добровольский. Я говорю о возвращении в Россию «эмигрантов», в том числе и Ленина с компанией.

При этом не могу не остановиться на личности самого Доливо-Добровольского, сыгравшего заметную роль в этом деле. Доливо-Добровольский, человек немолодой, попал в наше министерство уже давно из морского ведомства (он сам был морской офицер, далеко выше среднего образованный и одаренный). В нашем министерстве он не играл никакой особенной роли до 1916 г., когда Нольде, став директором II Департамента, довольно неожиданно сделал его своим вице-директором. «Революционное прошлое» Доливо-Добровольского в это время не было известно и раскрылось только при Терещенко летом 1917 г., когда он в особой докладной записке изложил начальству эту часть своей биографии.

Дело заключалось в том, что, будучи молодым морским офицером, Доливо-Добровольский попал в кружок, близкий к Н. К. Михайловскому. Увлеченный революционными идеями, Доливо-Добровольский был арестован и посажен в Петропавловскую крепость, где и просидел один год. За это время из-за чтения книг при крайне скудном освещении он почти потерял зрение на один глаз. Из крепости его без суда освободили по личному распоряжению императора Александра III, и дело замяли, но он был отправлен на три года в дальнее плавание, после чего оставил морскую службу и через некоторое время поступил на службу к нам в дипломатическое ведомство. Там, не имея особенных связей, он очень долго не мог выбиться из всякого рода малозаметных мест, главным образом в Германии.

Во время войны он был прикомандирован ко II Департаменту, где его в 1916 г. и застал Нольде. Пораженный способностями, образованностью Доливо-Добровольского и несоответствием его пожилого возраста с теми служебными функциями, которые он выполнял, Нольде, познакомившись с биографией Доливо (без его революционного прошлого, тщательно скрывавшегося им самим в это время) и желая

исправить долголетнюю несправедливость ведомства в отношении его, назначил Доливо вице-директором департамента. Надо при этом сказать, что Доливо-Добровольский не только скрывал свою былую революционность, но и регулярно сотрудничал, не без дарования, в «Новом времени», где, между прочим, никогда не быв в Англии, давал корреспонденции из Лондона и описания английского общества со слов своего брата, морского атташе нашего посольства в Великобритании. Последнее он рассказал нам под страшным секретом, заметя, что его описания английского общества были перепечатаны в одном из английских журналов с лестным для него отзывом.

Доливо-Добровольский действительно выделялся из других по своим дарованиям и глубоким интеллектуальным интересам, но была у него одна черта, которая неприятно поражала,— крайнее подобострастие перед начальством. Может быть, тяжелые невзгоды юности и долголетняя неудача по службе развили в нем это мелкочиновничье подлаживание к начальству, однако оно бросалось в глаза, и даже покровительствовавший Доливо Нольде посмеивался над этой чертой, говоря, что он от этого должен избавиться.

Как только произошла Февральская революция, Нольде поставил его во главе административной части Правового департамента, и тут Доливо-Добровольскому пришлось столкнуться с Милюковым. Встреча вышла не из удачных, Доливо-Добровольский держал себя с Милюковым так, как со случайно заехавшим туда министром. Он, как мне передавал официальный секретарь Милюкова В. К. Коростовец, даже назвал Милюкова «превосходительством», тогда как мы и в царские времена в служебных отношениях называли наших министров просто по имени и отчеству. Милюков тут же остановил Доливо-Добровольского, прося так его не называть, но и впоследствии он недолюбливал Доливо за его неуместную для того положения, которое он занимал, молчалинскую угодливость. И человек культурный и образованный в личных отношениях со всеми, кроме начальства, к которому, говоря гимназическим языком, он «подлизывался», Доливо-Добровольский, чувствуя холодность Милюкова, распинался,

чтобы ему угодить, полагая, что Милюков недоволен его сотрудничеством в «Новом времени», о чем Милюков в этот момент, наверное, и не думал, так как Доливо подвизался по литературно-фельетонной части светского характера, без всякой примеси политики.

Надо упомянуть, что вообще начало Февральской революции, хотя и выдвинуло вперед Доливо-Добровольского, но сразу же поставило его в неловкое положение по следующему поводу. Дня через два после назначения Нольде от военной контрразведки (дела подобного сорта попадали к Доливо по его прежней компетенции во II Департаменте) пришел донос, что, по сведениям военного ведомства, Нольде — германофил. Доливо прибежал ко мне и показал это сообщение со штемпелем «весьма доверительно». Причем никаких конкретных данных о сношениях с немцами в сообщении не имелось, просто Нольде характеризовался германофилом. Доливо просил меня, под страшным секретом, разъяснить ему, что ему с этой бумажкой делать и что я вообще по этому поводу думаю. Я не мог не рассмеяться и сказал, что совершенно согласен с военной контрразведкой, но германофильство Нольде — секрет Полишинеля и если он, Доливо, хочет нажить себе в лице Нольде врага, то случай самый подходящий.

Доливо прямо трясся от страха, опасаясь, что если он не даст хода бумажке, то военное министерство объявит его соучастником германофильства, а давать ход такому сообщению значило губить свою карьеру. На другой день Доливо-Добровольский объявил мне, что он не спал ночь, а утром бумажку уничтожил, говоря, что взял на себя «страшную ответственность». Из военной контрразведки никакого развития этого обвинения Нольде не было, и я до сих пор не понимаю, какова была цель такого сообщения. Думаю, что это была просто ревность какого-нибудь мелкого служащего, желавшего «поразить» наше ведомство своей «осведомленностью».

Неудивительно, что когда Доливо-Добровольскому по его должности пришлось заняться «огненным», как он выражался, вопросом о политических эмигрантах, возвращавшихся после

Февральской революции в Россию, он буквально потерял голову. Он панически боялся, чтобы его кто-нибудь не заподозрил в «правизне» и «реакционности», а эмигрантов он называл «полубогами». Эти «полубоги» при вообще неврастенической натуре Доливо в первые же дни отравляли его существование, и, боясь сделать faux pas, он с каждым ходатайством летел к Милюкову и спрашивал его личного мнения, объясняя все подробности дела. Милюков же, занятый самыми важными политическими вопросами, из-за неумелой и трусливой постановки дела и желая отвязаться от докучливого чиновника, раз и навсегда отказался вникать в эти «эмигрантские» дела и направил Доливо к Нольде. Последний же вообще относился страшно пренебрежительно к эмигрантам, называя их бездельниками и неудачниками, и тоже просил его такими пустяками не беспокоить. Вот при таком отношении начальства, когда Доливо-Добровольскому была дана полная carte blanche от Милюкова и Нольде и когда на него стал очень решительно наседать Петроградский Совет, Доливо выпросил у начальства разрешение образовать «смешанную комиссию» при Петроградском Совдепе, в которую входил и сам Доливо-Добровольский.

Возвращение Ленина с компанией

Эта комиссия и «исследовала» вопрос о приезде в Россию «полубогов». При паническом отношении к делу Доливо-Добровольского, который был единственной инстанцией в нашем министерстве, занимавшейся эмигрантами, и беспрекословно подписывал все протоколы комиссии, где совдепутаты имели большинство, при совершенно безучастном отношении Милюкова и Нольде, несших ответственность за Доливо-Добровольского, абсолютно никакого контроля за въездом в Россию эмигрантов на самом деле не существовало. Не только дефетисты из русских эмигрантов, но и прямые агенты германского Генерального штаба могли при такой постановке дела попасть в Россию, что, не сомневаюсь, и происходило. От более молодых чиновников, подчиненных Доливо-Добровольскому, которые играли чисто исполнительную роль, ему приходилось слышать возмущение таким отношением министерства, совершенно не вязавшимся с предшествующим ригоризмом нашего ведомства к визам эмигрантов, когда по

каждому индивидуальному случаю запрашивались наши дипломатические представители на местах. На все эти замечания Доливо-Добровольский испуганно говорил: «Это не я, это революция», и показывал на штемпели Петроградского Совдепа. Потом, после большевистского переворота, когда сам Доливо перешел к большевикам и они его приняли, он приводил им в качестве свидетельства своих заслуг перед Октябрьской революцией свое либеральное отношение к возвращению эмигрантов, в том числе и большевиков.

Была ли здесь сознательная измена Доливо-Добровольского, родной брат которого, капитан I ранга, служил в Морском генеральном штабе, а потом также перешел к большевикам и даже принимал участие в переговорах в Брест-Литовске, или просто панический страх за свою карьеру, совершенно очевидно, что если бы на его месте находился человек более самостоятельный, серьезно относившийся к вопросу о контроле над въезжающими эмигрантами, то он мог бы заставить и высшее начальство вникнуть в это дело.

Конечно, вопрос о Ленине и «запломбированном вагоне» был решен Временным правительством, а не единолично Доливо-Добровольским, но ведь та масса большевиков, которая приехала не с Лениным, а отдельно и которая сыграла такую огромную роль в большевистском перевороте, была пропущена при явном попустительстве Доливо-Добровольского. Милюков и Нольде несут, без сомнения, ответственность за легкомысленное отношение к этому вопросу. Наконец, возвращение Ленина в запломбированном вагоне состоялось в апреле 1917 г., а Милюков ушел в мае, следовательно, и в этом вопросе на Милюкова как на министра иностранных дел Временного правительства падает прежде всего ответственность за пропуск Ленина с компанией.

Милюков, как известно, ушел из-за ноты 18 апреля по поводу «общих целей войны» или, конкретнее, из-за Константинополя, но не из-за возвращения Ленина, к чему он отнесся равнодушно, не придавая этому возвращению, как и большинство Временного правительства, большого значения. Сам Нольде сильно недооценивал роль советовластия при Временном правительстве. В дни кризиса 18—21 апреля, когда я

20 Зак. № 24

нять, что это и есть самая главная часть его дипломатической программы.

Дело закончилось крахом не потому, что Милюков колебался, или же сомневался, или вел зигзагообразную политику. Наоборот, можно сказать обратное: его политика была слишком прямолинейна. Милюков, человек, вообще говоря, запасливый на всякие неожиданные «повороты», здесь проявил крайний страх в смысле «компрометирования основной позиции» России в глазах союзников. Он не только старался, как я отмечал выше, представить союзникам положение в России в самом розовом свете, не брезгуя для этого прямой фальсификацией донесений с фронта при их профильтровывании через своего секретаря, но и опасался как огня поднятия таких вопросов, как «цели войны», что, по его мнению, должно было возбудить недоверие у союзников.

Напрасно Нератов и в особенности Петряев, занимавший в это время такой боевой пост, как пост начальника Ближневосточного отдела, убеждали Милюкова, что вопрос о целях войны и вопрос о продолжении войны до окончательной победы суть два совершенно разных вопроса. Напрасно, показывая всю предшествующую объемистую переписку царского правительства о целях войны, они говорили, что доверие союзников от этих переговоров ни в какой мере не страдало. Милюков на это отвечал, что не только союзники, но и мы сами, члены Государственной думы, все время не верили царскому правительству и опасались сепаратного мира с Германией, что весь дипломатический смысл Февральской революции заключается в «консолидировании», как он выражался, доверия русского общества и союзников по вопросу о войне.

Указывал Милюков и на другое отличие его переговоров от переговоров царского правительства, а именно на их гласность. Царское правительство могло позволить себе роскошь «торговаться» с союзниками, так как знало, что все это останется в тайниках дипломатических канцелярий и не выплывет наружу в ближайшее время. Между тем, плохо ли, хорошо ли, каждый шаг Временного правительства немедленно становится известным всему миру, и любой намек на пересмотр целей войны будет сейчас же расценен нашими союзниками

и врагами как отказ от возможных приобретений, обещанных России союзниками в ходе столь трудных переговоров. Несомненно, что Милюков еще более настраивался в указанном духе после чтения всей предшествующей дипломатической переписки. Он буквально «намагничивался» — мне иначе трудно выразить его отношение к этой переписке — усилиями своих предшественников, и ему в особенности хотелось осуществить договор 1915 г. о Константинополе, потому что он знал из лежавших перед ним документов, чего стоило Сазонову разрубить константинопольский узел.

При этом Милюков относился ко всему обещанному союзниками в письменной форме как к уже реально достигнутому и, несомненно, упускал из виду всю ту неустранимую условность, которая присуща всякому политическому акту, касающемуся будущего. Для Нератова и Петряева, бывших его самыми ближайшими помощниками, для них, видевших на своем веку не один десяток неосуществившихся конвенций на будущее время (хотя бы союзная конвенция Болгарии и Сербии 1912 г. об арбитраже русского царя в вопросах, связанных с толкованием этого договора, вызвавшего I Балканскую войну перед мировой войной; упоминаю о ней, потому что она всегда приводилась ими Милюкову в доказательство того, как опасно полагаться на одни только конвенции), вся указанная переписка о целях войны представлялась в совершенно ином свете, и в этом — и только в этом — смысле можно говорить, что политика Милюкова была его личной политикой, а не ведомственной.

Расхождение между Милюковым и его названными официальными советниками заключалось не в том, что первый хотел сохранить все, что его предшественники выторговали у союзников, а вторые с легким сердцем отказывались от этого, а в том, что Нератов и Петряев не придавали чрезмерного значения этим вещественным доказательствам благорасположения союзников. Они считали, что исключительно в зависимости от реальной обстановки, в которой будет кончаться война, Россия получит то, чего желает. При этом ее действительные приобретения могут и превысить, и не дойти до пределов, обозначенных в предварительных переговорах. Но ни

Милюков, ни Нератов, ни Петряев никто — в нашем ведомстве — не мог учесть то обстоятельство, которое уничтожило всю реальность данных России обещаний, а именно вступления в войну Североамериканских Соединенных Штатов, каковые, не будучи связаны «тайными договорами» своих союзников, отрицали за ними всякую силу. И действительно, множество вопросов впоследствии решилось на самом деле совершенно иначе, чем это предусматривалось ранее. Это обстоятельство — североамериканское вступление в войну,— если бы только Милюкову был дан дар предвидения, устранило бы необходимость его ухода, вообще предотвратило бы первый кризис Временного правительства.

Помимо указанных причин милюковского упрямства по вопросу о целях войны немалое значение имело и то, что Милюков считал себя специалистом по Балканам и мнение Нератова, никуда из Петрограда не выезжавшего, или же Петряева, хотя и знатока Балкан, ему не импонировало. Наоборот, даже в царское время он привык, что по балканским делам советовались с ним, а не ему советовали. Вот почему, такой податливый в делах, например, среднеазиатских и дальневосточных, где он беспрекословно следовал совету своих сотрудников, Милюков не пожелал ни в какой мере и ни в какой форме ставить перед союзниками щекотливый вопрос о Константинополе. Петряев довольно откровенно говорил Милюкову о том шторме, который поднялся вокруг этого вопроса в связи с агитацией в Петроградском Совдепе об аннексиях и контрибуции как о будто бы специфически союзнических целях войны. Затеять длительную дипломатическую переписку, как это потом сделал Терещенко, только следовавший в конце концов советам своих ближайших сотрудников, со стороны Милюкова не значило вовсе отказываться от плодов русской победы, и, как впоследствии выяснилось в связи с перепиской Терещенко, союзники это отлично поняли, как поняли бы они и Милюкова.

Но Милюков сумел сохранить свое упорство как в ведомстве, отклоняя все советы занять более эластичную позицию, так и во Временном правительстве, судя по словам Нольде, считавшего тогда, что Керенского убедил Милюков. А между

тем такое упорство и неуступчивость Милюкова в отношении принципов своей политики соединялись (да простится мне это выражение) с ротозейством в отношении к пропуску эмигрантов и пресловутого запломбированного вагона. Милюков недооценивал реальную опасность со стороны крайних прямо дефетистских элементов и переоценивал в вопросе Константинополя важность принципиальной чистоты позиции Временного правительства, и не в том, что касалось продолжения войны до благополучного конца, а в гораздо более отдаленном и теоретическом вопросе о целях войны.

Могу привести один случай, уже вполне из моей юрисконсультской практики при Милюкове, чтобы показать, что Милюков и по вопросам внутренней политики умел проявлять упорство в составе Временного правительства, когда считал это необходимым по принципиальным соображениям. Дело было в самом начале апреля, когда вдруг в крайне спешном порядке на обсуждение Временного правительства был поставлен вопрос об «исключительных положениях и административной высылке». Проект соответственного распоряжения был представлен Керенским. Вопрос этот, имевший отношение к общей, но никак не к внешней политике, однако, основательно взволновал Милюкова, так как там действительно имелись явные следы спешного и даже советского творчества. Всякие гарантии правильного суда или хотя бы надлежаще принятого административного решения о высылке отсутствовали, зато место прокуратуры занимали представители местных Совдепов. Таким образом, советские учреждения вводились в систему государственных.

Нольде, передавший мне эту бумагу, просил меня произвести юридическую экспертизу, при этом в крайне спешном порядке, так как на другой день проект должен был слушаться во Временном правительстве. Я исполнил это и изложил все теневые стороны проекта в записке на имя Милюкова, снабдив ее справкой с указанием прежних законов. Нольде, прочтя мою записку, изложенную обычным образом, так, как я всегда писал такие записки в Совет министров, нашел ее «жирондистским документом», который будто бы будет потом фигурировать в архивах революции. Когда я сильно этому удивился,

то он мне сказал: «Милюков будет не Милюков, если не провалит проект Керенского». Из этого я заключил, что Милюков уже тогда настроился против Керенского и решил выступить в вопросе, прямо относившемся к ведению Керенского как министра юстиции. Конечно, в качестве члена правительства Милюков имел полное право выступать по общегосударственным вопросам, но, поступая так, то есть не только принимая бой на своей территории, но и давая его на чужой, он должен был ожидать такой же тактики и от своих противников.

Надо сказать, что проект Керенского никуда не годился и, как и следовало ожидать, был провален, причем сам Керенский не только его не поддержал, но признался, что не имел возможности его «проштудировать», и согласился с необходимостью его переработать. Проект этот был отложен так основательно, что уже потом в таком виде совсем не фигурировал. Победа Милюкова оказалась пирровой, и, думаю, если бы Милюков предвидел, что через 10 — 15 дней последует генеральное сражение между ним и Керенским, он не стал бы раздражать Керенского афронтом в его собственном ведомстве. В конце концов, он мог бы провалить проект, явно несостоятельный, не сам, а через кого-либо из своих единомышленников в правительстве. Прибавлю, что Милюков, по-видимому, был доволен своим выступлением, так как после его ухода из министерства в его папке важнейших бумаг была найдена моя записка об «исключительных положениях и административной высылке» и возвращена мне для хранения в нашей Юрисконсультской части.

Утверждение республиканского этикета

В отношении самого себя и моего теперь уже Международно-правового отдела (так была переименована наша прежняя Юрисконсультская часть) должен сказать следующее. Работы у меня существенно прибавилось в связи с тем, что Нольде, вовлеченный в самый водоворот политики, уже совсем не вникал в дела юридического характера, хотя они не раз были связаны с чистой политикой, к тому же образование Правового департамента, порученного в его административной части Доливо-Добровольскому, заставляло меня заниматься всем, что Нольде в качестве директора II Департамента прежде разрешал сам, не прибегая к помощи Юрисконсульт-

ской части. Однако работать стало легче, так как я в своей сфере получил полную самостоятельность и нисколько не был связан фиктивным начальством, каким был М. И. Догель, после переворота то ездивший в Казань, то приезжавший в Петроград, но ни при Милюкове, ни при Терещенко уже совсем никакого отношения не имевший к нашему ведомству.

Как и прежде, в моем отделе была бездна текущих запросов из-за границы и вопросов других частей ведомства. Были и новые запросы тех, для кого неясна была Февральская революция и кто старался через меня нащупать новое министерское направление. Из дел политического характера отмечу прежде всего дела Временного правительства, прежнего Совета министров. Эти дела, попавшие теперь в руки В. Д. Набокова (в качестве управляющего делами Временного правительства), по форме совершенно переменились, так как к тому, что прежде делал Совет министров, прибавились дела, разрешавшиеся раньше лично самим царем. Соединение компетенции правительственной и верховной власти — отличительная черта всей деятельности Временного правительства. Укажу, например, на то, что даже дела, шедшие раньше по канцелярии прошений на высочайшее имя, теперь разрешались Временным правительством, и приблизительно на каждом втором заседании в ведомости дел Временного правительства фигурировали невольно вызывавшие улыбку страницы всякого рода неудобозвучавших фамилий, о перемене которых их носители просили теперь уже не царя, а правительство.

С другой стороны, законодательные функции Совета министров по ст. 87 Основных законов теперь, за отсутствием законодательных органов и самих Основных законов, стали неотъемлемой частью обязанностей Временного правительства. Если к этому прибавить, что неудержимо начиналась перестройка всей правовой и административной жизни страны, то станет ясно, что Временное правительство было не просто Советом министров, правившим Россией в это исключительное время, оно не только заменяло собой монарха с его многосложными функциями, но и законодательствовало и управляло, нередко вникая в такие детали внутреннего управления, которые обычно разрешаются губернатором. Я уже не

говорю о всех тех бесчисленных партийных и общественных обязанностях каждого из членов правительства, которые не сократились, а возрастали. Когда мне пришлось знакомиться с первыми делами Временного правительства, то у меня, знакомого с делами царского Совета министров, волосы вставали дыбом при мысли, что взвалило на себя это правительство. Это было «временнодержавие» в полном смысле слова, ничем не связанное юридически (но всем — фактически) неограниченное полновластие Временного правительства.

В одном только отношении у Временного правительства был помощник. Я говорю о небольшом численно органе — Юридическом совещании, которое рассматривало предварительно дела Временного правительства с юридической стороны. Это была чрезвычайно плодотворная инстанция, очень облегчавшая его работу. Но, во-первых, не все дела, даже чисто юридического характера, попадали туда, как, например, вышеотмеченный проект Керенского об «исключительных положениях и административной высылке», не попавший почему-то в Юридическое совещание, а во-вторых, заключения Юридического совещания носили чисто формальный характер. В этой связи отмечу, например, что вопросы о русском национальном флаге, государственном гербе, личном имуществе Николая II обсуждались предварительно в Юридическом совещании, но по целому ряду проектов, где юридический характер распоряжений правительства имел подсобное значение, оно должно было рассматривать вопрос по существу. Без Юридического совещания, действовавшего вплоть до октябрьского переворота, Временное правительство просто не справилось бы технически с текущей работой. Тем не менее даже при этом совещании, облегчавшем его работу, но не разгружавшем Временное правительство, компетенция последнего была огромна, и неудивительно, что вопрос об эмигрантах и прочие самые злободневные вопросы просто ускользали из правительственных сетей. Вникнуть во все было не в человеческих силах, и целые отрасли государственного управления оставались в совершенной тени. Ниже я приведу пример, как поляки форменным образом надули Временное правительство, возвратив себе незаметно Холмскую губернию, и когда я, бывший в

этот момент в Крыму в кратковременном отпуске, обратил на это внимание Терещенко, а тот — всего Временного правительства, то правительство не могло прийти в себя от изумления. Ни при Милюкове, ни во второй период Временного правительства объем его работы, увы, так и не сократился.

Как я отмечал выше, превращая Юрисконсультскую часть в Международно-правовой отдел Правового департамента, Нольде в объяснительной записке, поданной по этому предмету П. Н. Милюкову, особенно подчеркнул «международно-политический» характер отдела. Неудивительно, что при той широте компетенции отдела и той роли, которую Нольде предполагал ему отвести, вопрос о «форме правления» Временного правительства, привлекавший такое внимание иностранцев, попал и ко мне. Вот как это произошло.

Дипломатические перемещения заграничного свойства (князь Кудашев назначался в Пекин, освобождалось место посла в Мадриде, куда сначала был назначен наш посланник в Стокгольме Неклюдов, а затем, после его отказа,— Михаил Александрович Стахович; кроме того, К. Н. Гулькевич из Христиании переводился посланником в Стокгольм) требовали составления текста верительных грамот от Временного правительства, а также определения этикета по приему представителей Временного правительства. Составление этих грамот находилось по традиции ведомства во II Департаменте, то есть при Временном правительстве из-за отсутствия А. Н. Мандельштама оказалось в руках у А. А. Доливо-Добровольского. Составлялись грамоты по определенному шаблону и в стереотипных выражениях. Когда впервые встал этот вопрос, Доливо-Добровольский в панике, ему свойственной, прибежал ко мне за советом, как поступить, прося письменного заключения нашего отдела, так как это вопрос «юридический». Мне нетрудно было увидеть, что Доливо-Добровольский, как бывалый человек и опытный чиновник, в таком вопросе не хотел рисковать своей карьерой и искал того, кто мог бы взять на себя ответственность.

Уклоняться я не мог и не хотел, речь шла о том, можно ли было «царские» верительные грамоты оставить в прежнем виде, поставив только вместо монарха Временное правительство. Эти

грамоты составлялись и составляются всегда от имени главы государства, а не правительства. Отсюда возникал первый вопрос: кто при Временном правительстве считался у нас главой государства? Я дал заключение в том смысле, что глава государства — князь Г. Е. Львов как председатель Временного правительства и грамоты должны писаться от его имени (как позже писались от имени А. Ф. Керенского). Но если князь Львов являлся главой государства, то, спрашивается, можно ли было приравнять его положение в стране и правительстве к положению монарха? Очевидно, нет, принимая во внимание, что оставление в силе монархических форм этикета после Николая II могло быть понято как предрешение неминуемого восстановления монархии в России, причем правление Временного правительства неизбежно носило бы тогда характер «междуцарствия».

Поставленный на чисто юридическую почву, вопрос мог быть решен по-разному в зависимости от того, на чем сделать ударение — на неопределенности формы правления в России в настоящий момент или на падении монархии как решительной перемене всех государственных форм прежней России. Практически же вопрос шел о том, должен ли князь Львов (а потом Керенский) писать к монархам Европы «mon frère»*, как пишут монархи в официальной переписке, и в частности в верительных грамотах, или же «mon ami»**, как пишут президенты республик. Оговорюсь, что и в монархических странах бывают случаи, когда послы и посланники посылаются не монархом, а, скажем, во время малолетства монарха, регентом государства. В этом случае, однако, монархическая форма правления в государстве остается вне сомнения, и регент, действующий от имени малолетнего монарха, пишет всегда «mon frère» другим монархам и вообще пользуется положением монарха. Это, так сказать, квазимонарх, его «местоблюститель». Но можно ли было князя Львова после всех известных нам условий отречения Николая II и вел. кн. Михаила Александровича приравнять к положению такого регента государства?

---

* Мой брат *(фр.)*.
** Мой друг *(фр.)*.

Приходилось решать вопрос не о том, что будет потом в России — республика или монархия, а что есть в настоящий момент, и никаких оттяжек тут быть не могло. Должен по совести сказать, что я помянул недобрым словом и Нольде, и Набокова, составлявших макиавеллистический манифест Михаила Александровича, так как было очевидно, что этот манифест поставил вопрос о форме правления в зависимость от обстоятельств, и я прекрасно понимал, что тот или иной этикет, монархический или республиканский, при приеме послов Временного правительства будет понят именно как предрешение вопроса о форме правления в России.

В результате обзора всех главных актов «воцарения» Временного правительства я в обширном письменном заключении, подписанном мною, пришел к выводу, что положение председателя Временного правительства должно в этикетном смысле быть приравнено к положению президента республики, но никак не к положению монарха или квазимонарха, каким является регент государства. Мое заключение было представлено Милюкову, и он его утвердил. Нольде тоже был очень доволен этим «республиканским» решением вопроса и считал его единственно возможным. Таким образом, Россия фактически в международном обиходе оказалась вычеркнутой из списка монархических государств, и это обстоятельство было отмечено в отзывах заграничной прессы по случаю сообщений о приемах послов Временного правительства. Установившийся «республиканский» шаблон для дипломатических представителей Временного правительства, утвержденный Милюковым, остался неизменным и после его замены, при Терещенко. И когда в сентябре 1917 г., во времена Керенского, была официально провозглашена республика, дабы «положить конец нынешней неопределенности государственного строя России», то получилось, что в международных отношениях мы уже давно стали на республиканскую ногу и в этом смысле ничего не изменилось.

Доливо-Добровольский в тот момент, когда я ему вручил мое заключение, изумился моему «мужеству» и не без коварства заметил, что будто бы я рискую своей карьерой в случае возвращения монархии и сжигаю свои корабли. На это я отве-

тил, что не я сжигаю корабли, а он со своими эмигрантами. Каюсь, я никогда не думал, что мои слова так скоро сбудутся.

Нежелание расставаться с Россией

Разбухшая компетенция моего отдела заставила меня искать более надежного помощника, чем Дмитрий Степанович Серебряков, и, не отказываясь окончательно от его помощи, я, однако, из Правового департамента взял себе еще одного чиновника, Михаила Николаевича Вейса, человека во всех отношениях культурного и серьезного. Правда, М. Н. Вейс не был международником, но я за время начальствования М. И. Догеля научился быть в одиночестве, так как Нольде до вступления Милюкова был всецело занят в своем II Департаменте, и мне в настоящий момент требовалась чисто канцелярская подмога, с чем М. Н. Вейс прекрасно справлялся.

Всю ответственную часть работы мне приходилось брать на себя, так как «обучить» этому М. Н. Вейса я не мог, да и тот при всей своей добросовестности и при своем возрасте (ему тогда было 34 — 35 лет, а поступил к нам поздно, в 28 лет, и потому двигался медленно) не столько думал о том, чтобы когда-нибудь заменить меня, сколько о дальнейшем дипломатическом движении за границей. Это настроение Вейса чрезвычайно пагубно отражалось не столько на ходе дел в нашем отделе, сколько на самом М. Н. Вейсе, поминутно советовавшемся со мной насчет разных потенциальных заграничных назначений. То ему предлагали ехать секретарем И. Я. Коростовца, которого после неудачного выдвижения на пост посла в Вашингтоне предполагали теперь назначить посланником в Мексику, то в консульство в Барселоне, то на Дальний Восток. Характерно для того времени, что, несмотря на искреннее желание Вейса до Февральской революции устроиться за границу, теперь у него появилась боязнь расстаться с Россией в столь неопределенное время — черта весьма типичная для эпохи Временного правительства, из-за чего наблюдалась небывалая до того картина: спрос на заграничные назначения намного превысил предложение.

Про самого себя могу сказать, что мне не раз за это время делались предложения, очень лестные с точки зрения дальнейших перспектив дипломатической службы, но я неизменно отказывался по тому же мотиву — нежелание расставаться с

Россией. Самое последнее предложение, которое я получил,— пост советника нашей миссии в Китае, где предполагался в конце периода Временного правительства уход посланника князя Кудашева. На его место хотели назначить Григория Александровича Козакова, одного из умнейших наших дипломатов, а меня думали назначить его советником. Это предложение в случае всегда вероятного заместительства посланника по управлению миссией давало мне возможность занять весьма ответственное положение и получить очень интересную работу. Правда, я окончательно не выразил согласия, но и не отказался. Однако вскоре случился большевистский переворот, сделавший все эти предложения лишенными всякого значения.

Исправная канцелярская помощь Вейса давала мне возможность быть спокойным за делопроизводство, но зато в своей юрисконсультской работе я был совершенно один, и когда мне пришлось поехать на три недели в отпуск, то, как ни короток был срок моего отсутствия, Вейс, боявшийся брать на себя ответственность, нерешительный, а по предшествующей службе к самостоятельности не превыкший, все маломальски существенные дела взял да и остановил, что имело очень существенные, иногда труднопоправимые последствия. Отмечаю это для того, чтобы подчеркнуть, что вся постановка дипломатической службы в нашем ведомстве заключалась в строгой дисциплине и исключительно исполнительной работе, и люди, привыкшие всегда только беспрекословно повиноваться, попадая в положение, требовавшее самостоятельности и ответственности, проявляли крайнюю нерешительность и полную растерянность.

Должен сказать, что очень ответственная для моего возраста роль юрисконсульта министерства вызывала зависть молодых людей моих лет и старше, стремившихся, вроде Вейса, в мою часть, но даже когда судьба давала им возможность проявить себя, въевшаяся привычка мешала им эту возможность использовать. Сошлюсь на пример одного товарища Вейса по службе, молодого чиновника фон Мантейфеля, который, несмотря на свою фамилию, оказался очень робким человеком. Он был на хорошем счету у начальника. Однажды

ему неожиданно пришлось заменить директора департамента, и первым иностранцем, которого ему довелось принять, оказался японский посол. Мантейфель настолько смутился от того, что ему выпала честь по сложному делу беседовать со столь важным лицом, что с перепугу стал при нем перерывать всю официальную переписку, а затем, окончательно растерявшись, дал обещание разрешить вопрос в желательном для японцев духе, чего по ходу дела не следовало. Поведение Мантейфеля заставило спешно вызвать уехавшее в отпуск начальство и передоверить заместительство другому лицу.

Повторяю, это самый банальный случай. Система службы в центральных установлениях ведомства не только не подготавливала людей к настоящей дипломатической работе государственного значения, а, наоборот, развивала в них труднопреодолимые потом робость и запуганность. Надо сказать, что даже на самых высших ступенях дипломатической службы людей самостоятельного склада не было. Неудивительно, что во времена Милюкова, несмотря на его всем явную в ведомстве неправильную линию в константинопольском вопросе, не нашлось ни одного человека, который осмелился бы изложить свое мнение в такой решительной форме, чтобы на Милюкова это могло произвести должное впечатление. Те «сомнения» и «предупреждения», которые высказывались, не носили следов убежденности и были рассчитаны на людей той же складки, как и они сами. Для такого упрямца, как Милюков, требовались более самостоятельные характеры.

В качестве общего правила скажу, что это обстоятельство было настолько общеизвестно, что не только иностранцы, когда им нужно было чего-нибудь добиться вопреки нашему ведомству, обращались всегда успешно к императорской власти непосредственно, то есть к Николаю II или его супруге, но и сам Николай II в критические минуты (во время Портсмутского мира — назначение Витте главой русской делегации, назначение Н. Н. Покровского в 1916 г. министром иностранных дел, чтобы он позднее возглавил мирную делегацию) для важных дипломатических переговоров предпочитал пользоваться посторонними ведомству лицами. Этим же объясняется, почему столь послушное Милюкову наше министерство при

Терещенко умело уживаться если не с новой политикой, что было бы слишком смело сказано про заместителя Милюкова, то во всяком случае с новыми приемами. Правда, как я укажу ниже, Терещенко оказался сам очень податлив. Ни при Милюкове, ни при Терещенко министерство не выходило за пределы субординации и должной служебной дисциплины.

Дело Общества 1886 г.

Из круга дел, которые требовали столько внимания со стороны царского правительства и которые действительно были так характерны для военного периода, а именно дела о положении неприятельских подданных, немецком землевладении, привилегированных категориях неприятельских подданных — все то, что связывалось с войной и что можно было бы назвать «германским вопросом в России», многие очень и очень померкли в связи с Февральской революцией. В эпоху Милюкова многие учреждения просто исчезли как слишком причастные к царскому строю. Так, например, Высочайший комитет по борьбе с немецким засильем, возглавлявшийся членом Государственного совета Стишинским, был немедленно после февральского переворота закрыт. Было также закрыто действовавшее почти три года Особое совещание при министерстве юстиции по немецкому землевладению, председателем коего был товарищ министра при Щегловитове Ильяшенко. Эти учреждения стояли по своей идеологии и характеру главных действующих лиц так близко к монархии, что, независимо от полезности или вредоносности того дела, которое было им поручено, они психологически не могли уцелеть после революции.

Но война продолжалась, и новое правительство должно было занять какую-нибудь позицию по немецкому вопросу. Надо было либо продолжать старую политику более или менее крутого искоренения германского влияния в России, либо открывать либеральную эру примирения и забвения того, что было так недавно, в годы войны. Помимо этого, была издана масса законов о неприятельских подданных, о немецком землевладении, о торгово-промышленных предприятиях с участием неприятельских, главным образом австро-германских, капиталов, законов, вызвавших к жизни целую сеть учреждений, рассеянных по всей России и обслуживаемых много-

численным административным персоналом. Все это уничтожить росчерком пера было невозможно; кроме того, требовалось с падением монархии обосновать и идеологическую позицию. Поскольку все эти дела были сосредоточены в нашей Юрисконсультской части, то сразу после переворота я при первых же докладах новому товарищу министра — Нольде спрашивал, что же делать со всей той сложной машиной, которая была пущена в ход — искренне или неискренне, разумно или хаотично, систематично или беспорядочно — против германских немцев или тех русских немцев, которые имели связи с германскими немцами и считались с прежней, царской точки зрения «опасными».

Надо принять во внимание, что на Парижской экономической конференции, о которой я писал в моих предшествующих записках, мы обязались перед союзниками не только продолжать то, что Нольде раньше презрительно называл «немцеедством», но и ввести известную планомерность и согласовать наше поведение в этом вопросе с поведением союзников. Февральская революция не могла просто отмахнуться от политики царского правительства, во-первых, потому, что война продолжалась и неприятельские подданные по-прежнему оставались врагами, а во-вторых, потому, что Россия была связана известными обязательствами перед своими союзниками и не могла от них односторонне освободиться. Была и другая, чисто дипломатическая сторона, которая заключалась в том, что как-никак Февральская революция сама по себе была настолько крупным событием в мировой политике, что каждый шаг ее вызывал обостренное внимание всего мира, в особенности же союзников и неприятелей. Поэтому понятно, что по такому вопросу, как германский, каждый неосторожный шаг Временного правительства был способен вызвать недоверие и подозрительность у союзников или неуместное ликование во вражеском стане. «Либеральность» в этом вопросе могла стать для Февральской революции роковой.

Все это я изложил Нольде, испрашивая его инструкций и указывая на то, что комитет Стишинского и совещание Ильяшенко, упомянутые выше, были упразднены без всякого опре-

деления тех органов, которые будут ведать делами, решавшимися раньше в этих учреждениях. В ответ Нольде рассмеялся и сказал, что у Временного правительства и так «голова кругом идет», что на этот счет просто еще никакого определенного мнения нет и что самое лучшее — все, о чем я ему говорил, изложить в записке на имя Милюкова, а тот поставит этот вопрос во Временном правительстве.

Однако не успел я исполнить предложение Нольде, как вопрос об этом был поднят с германской стороны. Выше я упоминал о перлюстрированной нашим «черным кабинетом» секретной шифрованной телеграммы Одье, швейцарского посланника в Петрограде, по поводу Общества электрического освещения 1886 г., в которой он советовал, пользуясь «слабостью» Временного правительства, поднять газетную кампанию за пересмотр дела этого Общества. В телеграмме Одье помимо циничной оценки положения в России содержались цифровые данные об участии германского капитала в этом Обществе, связанном с германской Всеобщей компанией электричества, а также перечислялись те банки в Швейцарии, которые являлись фиктивными держателями германских акций Общества 1886 г. Все это было крайне ценно и чрезвычайно помогло нам разобраться в этом деле. Перехваченные данные без указания, конечно, их источника были немедленно сообщены нашим ведомством заинтересованным министерствам, и когда началась газетная кампания в Швейцарии, то Временное правительство она не застала врасплох.

Однако наиболее любопытным было то, что германская партия не только воспрянула духом в России со времени Февральской революции, несмотря на ее определенное отношение к войне, но и коренным образом приспособилась в тактическом отношении. Методы революции были крайне умело использованы германскими акционерами Общества 1886 г., потребовавшими снятия военного секвестра со всех отделений Общества. Из них главное было в Москве, и, не будь Временное правительство осведомлено об интригах Одье, быть может, результат и был бы благоприятен для немцев.

Начавшееся дело Общества 1886 г. побудило меня в самый короткий срок составить обширную записку Милюкову для

Временного правительства, в которой, изложив состояние вопроса, я приводил доводы, которые вынуждают Временное правительство, при всех модификациях, вызываемых переменой государственного строя, тем не менее в основных линиях продолжать противогерманскую политику как в отношении неприятельских подданных, так и по германскому вопросу внутри России. В этой записке я указывал, между прочим, на то, что Временное правительство своими решениями по польскому и чешскому вопросам определенно вступило на путь славянофильской политики и что такого рода решительное выступление в этом смысле требует координации действий и в вопросе о «германском влиянии». Относительно упразднения комитета Стишинского и Особого совещания Ильяшенко я писал, что нельзя просто распределить их функции между заинтересованными ведомствами, а нужно как-то объединить, по примеру предшествующей законодательной работы в этом направлении, политику различных министерств, дабы не получилась обычная ведомственная чересполосица. Я намекал здесь на то разноречие, которое было при царском режиме, главным образом между министерствами земледелия и внутренних дел, по вопросу о «немецком засилье». Другими словами, я в моей записке настаивал на создании междуведомственных органов.

Действительно, несмотря на то что у Временного правительства в начале его деятельности не было никакой определенной линии поведения в этом чрезвычайно важном в практическом отношении вопросе, связанном всем своим существом с войной, моя записка, внесенная Милюковым во Временное правительство, была одобрена, даже в том, чему я придавал особое значение, а именно в создании междуведомственных органов. Впрочем, эти органы, к сожалению, оказались, как я укажу ниже, далеко не всегда достаточно гибкими и по своей компетенции и организации не приспособленными для целей борьбы с германским влиянием в России.

Пока моя записка проходила все надлежащие стадии, дело Общества 1886 г. уже оказалось поставленным на повестку дня. Поданное этим Обществом Временному правительству прошение о пересмотре решения царского правительства было

предложено на обсуждение особого совещания ad hoc, созданного в Петрограде под председательством Николая Николаевича Саввина, товарища министра торговли и промышленности. Помимо представителей различных ведомств были и представители Общества, старого правления и нового, назначенного царским правительством с участием этого правительства, был вызван из Москвы известный в свое время городской голова Челноков и, наконец,— и в этом видно было влияние Февральской революции — были представители служащих и рабочих с предприятий Общества.

Поражало в этом совещании огромное количество представителей Общества, присутствовавших на нем под самыми разнообразными предлогами. Поражало и то, что все эти представители от правления, вплоть до рабочих, говорили одно и то же, с пеной у рта отрицая в деятельности общества какой бы то ни было германский характер. Речь представителя рабочих была очень демагогичной, он упирал на то, что все, мол, подстроено в этом деле «царскими чиновниками» и подлежит немедленно уничтожению как «оскорбляющее пролетарскую революцию». За последние слова он был остановлен Саввиным, заметившим, что он ошибается, никакой «пролетарской» революции нет, а есть революция «национальная и демократическая». Сбавив несколько тон, рабочий в чрезвычайно пространной речи изложил всю историю вопроса с цифровыми данными, столь подробными, что вызвал удивление всего совещания. Его речь была сплошной апологией старого довоенного правления.

Впечатление, однако, быстро рассеялось, когда представитель министерства юстиции Сергей Иосифович Веселаго задал вопрос, каким образом производились выборы делегатов «от служащих и рабочих». На это последовал довольно неожиданный ответ: по выбору старого правления, так как, видите ли, совещание было созвано столь молниеносно, что собрать общее собрание служащих и рабочих оказалось невозможным, и тогда по указанию старого правления были назначены лица, находившиеся «в курсе дел Общества». К этому следует добавить, что речь «рабочего», если выбросить демагогические выпады против «царского режима», «царских чиновников» и т. п., была

вполне «интеллигентна», да и сам он блистал знанием дела под стать любому специалисту. «Маргариновый» характер всей делегации Общества стал очевиден всем.

Когда тот же С. И. Веселаго, более двух лет занимавшийся делом Общества в министерстве юстиции, стал на основании последних сообщений министерства иностранных дел опровергать шаг за шагом все цифровые данные, которые должны были убедить аудиторию в отсутствии всякой связи Общества с германской Всеобщей компанией электричества, и когда он назвал всю сеть германских банков в Швейцарии, являвшихся держателями акций, представители Общества были сильно смущены и заявили, что не имеют под рукой всего архива Общества, но немедленно после приезда в Москву вышлют все материалы, опровергающие данные, приведенные Веселаго. На этом их и подцепил председатель совещания Саввин, сказавший, что пока эти дополнительные сведения не будут доставлены, до тех пор совещание не может присоединиться к прошению прежнего правления о коренном пересмотре решения царского правительства о секвестре Общества 1886 г. Когда совещание на этом завершилось и все стали расходиться, сам Саввин и другие представители ведомств громко выражали свое возмущение поведением представителей Общества, и в особенности «рабочего». Саввин благодушно смеялся при этом, говоря, что ему приходится ежедневно встречаться с такими фальсификациями со стороны всяких правлений, которые под видом рабочих выпускают иногда даже инженеров, и что «проверка мандатов» — самая щекотливая вещь в рабочем представительстве.

Впоследствии и мне приходилось по делам других акционерных обществ в междуведомственных совещаниях встречаться с представителями «рабочих», но я никогда не чувствовал в этих представителях действительно рабочих, так как, помимо часто весьма неопределенных «пролетарских» социальных признаков, они все были alter ego* своих правлений, прекрасно осведомленные подголоски, вероятно, и прекрасно оплачиваемые. Германская партия в России в этой области

---

* Другое «я» *(лат.)*.

превосходно приспособилась к «революционным приемам» времени. К счастью, в этот момент решение дела принадлежало Временному правительству, и в самой верхней инстанции можно было через главу ведомства многое исправить. Если бы этим междуведомственным совещанием, куда приглашались «служащие и рабочие», суждена была не совещательная, а решающая роль, то с первых же дней Февральской революции все кончилось бы полным крахом, так как — это было видно из совещания по делу Общества 1886 г.— самая разнузданная демагогия была сразу же пущена в ход со стороны очень присмиревших с начала войны германских хозяев различных номинально русских крупных акционерных компаний.

Дело Общества 1886 г. было первым из серии дел многочисленных торгово-промышленных предприятий, под предлогом Февральской революции пытавшихся избавиться от русского правительственного контроля. После некоторых колебаний Временное правительство вынуждено было вернуться к существовавшей при царском правительстве системе междуведомственных органов, в которых должно было быть сосредоточено решение всех вопросов такого рода. Правда, Комитет по борьбе с немецким засильем Стишинского и Особое совещание по немецкому землевладению при министерстве юстиции под председательством Ильяшенко так и не были восстановлены, но что касается первого, то, как я отмечал в моих предшествующих записках, о нем особенно жалеть не приходилось, а все дела второго — вопросы о немецком землевладении — были перенесены в Главный земельный комитет, где представителем нашего министерства был назначен я.

Что же касается торгово-промышленных предприятий с участием австро-венгерско-германского капитала, то в период Временного правительства продолжали действовать существовавшие и раньше междуведомственные совещания при министерстве торговли и промышленности, а также всякие, тоже междуведомственные, органы по надзору над отдельными секвестрованными предприятиями. Несмотря на все мои усилия свести до минимума мое участие в этих комиссиях, я вынужден был на них присутствовать и, к сожалению, не мог по сове-

сти отказаться от этого утомительного бремени, отрывавшего меня от других моих обязанностей, так как чувствовал, что для нашего ведомства необходимо участие в этом деле лица, находившегося в курсе всего законодательства военного времени. До самого большевистского переворота германские хозяева этих предприятий не переставали пользоваться «революционной тактикой», и, увы, не всегда безуспешно. Фокус внимания был направлен на другое.

Контуры «аграрной конституции»

Главный земельный комитет должен был быть органом подготовительного характера, на его долю выпало установить общие контуры решения аграрного вопроса в России. При всей важности этого вопроса, однако, конструкция комитета была слишком бессистемна, для того чтобы он мог выполнить свою роль. Принцип чисто бюрократический (т. е. представительство заинтересованных ведомств — а какие ведомства не были заинтересованы в аграрном вопросе в России?) смешивался с парламентско-персональным (представительство партий и сведущих лиц). Наше министерство было, пожалуй, наименее заинтересованным из всех ведомств; только два момента по-настоящему касались дипломатического ведомства — это вопрос о земельных имуществах иностранцев (союзников и нейтральных) и вопрос о немецком землевладении как связанный с общевоенной внешней политикой России.

Что касается недвижимой собственности иностранцев, то здесь интересы ведомства сводились к тому, чтобы, согласно нашим торговым договорам, принцип безвозмездного отчуждения земель, если бы, паче чаяния, он был принят Земельным комитетом в качестве основы аграрной реформы, ни в коем случае не распространялся на иностранцев. В этом пункте наше министерство стало на единственно допустимую, согласно международному праву, точку зрения. Когда речь шла о собственных подданных, то ввиду прекращения действия основных законов, говоривших о неприкосновенности частной собственности, государство юридически могло и безвозмездно отобрать их поместья, но по отношению к иностранцам мы не могли этого сделать без прямого нарушения наших международных договоров и риска репрессалий, тем более во время войны, требовавшей, естественно, еще большей осмотрительности.

Такого рода действия нашего Временного правительства немедленно нанесли бы ему серьезный моральный и материальный урон.

Нератов, которого я посвятил в юридическую сторону вопроса, сославшись, между прочим, и на прецеденты Французской революции, дал мне категорическую инструкцию выяснить взгляд председателя Земельного комитета на этот предмет до открытия первого торжественного заседания. Нератов совершенно правильно хотел предупредить самую постановку вопроса об иностранцах (конечно, только в отношении безвозмездности отчуждения иностранных недвижимостей, в остальном иностранцы подлежали всем общим требованиям аграрной реформы) на общем заседании комитета, так как сами прения по этому поводу произвели бы неблагоприятное впечатление за границей. Должен прибавить, что министерство делало это по своей собственной инициативе — только значительно позже у некоторых иностранных дипломатических представителей в Петрограде появились на этот счет сомнения, которые министерство немедленно же рассеивало.

Второй вопрос, интересовавший наше ведомство,— это вопрос о немецком землевладении, который вызывал некоторую тревогу только в том отношении, что слишком крутой поворот к ослаблению и отмене всех ранее изданных по этому поводу законов мог бы создать и у Германии и у союзников впечатление о «германофильстве» Временного правительства. Между тем, по имевшимся у нас сведениям, юридический режим в отношении наших соотечественников в Германии после Февральской революции никакой решительной перемене не подвергся. Мы знали точно, как жадно Германия ловит малейшие симптомы изменения отношения к ней февральской России, чтобы попытаться оторвать ее от союзников. Здесь опять-таки наше ведомство было заинтересовано не в сохранении всех деталей прежних законов, но в принципиальной позиции, для изменения которой не было никаких объективных оснований.

С этими инструкциями я отправился на заседание Главного земельного комитета, предвидя не столько мое деятельное участие в обсуждении условий будущей аграрной рефор-

мы, сколько любопытное наблюдение над одной из самых значительных сторон русской революции. Главный земельный комитет открылся в середине апреля в Мариинском дворце. Председателем его был назначен профессор Посников. С ним я и имел беседу, отрекомендовавшись представителем министерства иностранных дел и высказав ему наш взгляд на два вышеупомянутых вопроса.

Посников сразу меня успокоил, заявив, что не только в отношении иностранцев, но и русских помещиков никакого вопроса о безвозмездном отчуждении частновладельческих земель речи быть не может по той причине, что больше 80% всех помещичьих земель находятся в залоге и безвозмездная их конфискация повлекла бы экспроприацию движимого капитала, что отнюдь не входит в намерения Временного правительства. Мою ссылку на торговые договоры Посников отвел, заявив, что, вообще говоря, все, что касается непосредственно иностранцев, будет всегда предварительно согласовано с нашим ведомством и что Земельный комитет вообще ничего в этой области окончательно не предпримет без утверждения Временным правительством. Что касается вопроса о немецком землевладении, то Посников, видимо, изумился, почему это может интересовать дипломатическое ведомство. «Неужели министерство иностранных дел настаивает на оставлении в силе всего, что царское правительство назаконодательствовало в этой области?» — спросил он меня. Я ему объяснил, что́ именно нас интересует, и Посников, как мне тогда показалось, не посвященный в тайны происхождения всего законодательства о немецком землевладении, но, по-видимому, решительно настроенный против него, опять-таки заявил мне, что на заседании комитета этот вопрос вообще не будет подниматься, что никакого демонстративного разрыва с прошлым тоже не будет, но что комитет в будущем, несомненно, произведет коренной пересмотр всех царских законов по этому предмету. Он опять повторил, что взгляд комитета на этот вопрос, когда он установится, будет своевременно сообщен министерству.

После нашего короткого разговора, давшего мне твердую уверенность, что в этой области в настоящий момент все благополучно, я уже присутствовал на заседании в качестве

зрителя. В длинной суховатой речи Посников познакомил собравшихся, среди коих были все знакомые мне по междуведомственным совещаниям видные лица из бюрократического мира и рядом общественный элемент во главе с В. М. Черновым, с программой деятельности Главного земельного комитета. Оставляя само решение вопроса Учредительному собранию, комитет должен был привести в ясность все элементы аграрной реформы в России и, говоря парламентским языком, изготовить соответственный законопроект, которому суждено было, по мнению председателя, стать «аграрной конституцией» новой России.

Об основных линиях этой конституции он высказал только самые общие положения, давно известные русскому обществу по программе левых партий: отчуждение помещичьих земель в пользу малоземельных крестьян, уравнительный принцип при распределении земли, низкий предельный размер индивидуальных владений. Вопрос о «национализации» или «социализации» земли должен был быть обсужден особо и сейчас не предрешался. Не предрешался также вопрос о крестьянской частной собственности и общинном землевладении и землепользовании. Зато вопрос о необходимости вознаграждения за отобранную помещичью землю ставился вне какого бы то ни было сомнения. В этом месте Посников остановился и, найдя меня глазами, упомянул, что в отношении иностранцев аграрная реформа в России будет проведена согласно нашим международно-договорным отношениям. Таким образом, мой разговор с ним не пропал даром, так как впоследствии на все запросы иностранцев о будущей аграрной реформе наш отдел всегда ссылался на это место речи Посникова, застенографированной и разосланной во все ведомства.

В качестве аргументов в пользу невозможности безвозмездного отчуждения Посников привел статистические данные о задолженности частной помещичьей собственности и подчеркнул, что безвозмездное отчуждение ударило бы не по помещику, а по банкам и частному кредитному капиталу, что нисколько не соответствует общей политике Временного правительства. «Это был бы частичный социализм»,— сказал Посников. В конце своей речи он заметил, что Земельный

комитет будет также совещательным органом правительства в отношении тех неотложных мер, которые пришлось уже принять по аграрному вопросу, и закончил призывом к строго научной и планомерной во всех деталях работе для подготовки «великой аграрной реформы».

По содержанию своему речь Посникова была явным компромиссом между кадетской и эсеровской программами, но с перевесом в сторону эсеров, так как, несмотря на отсутствие «социализации» и «национализации», что оставалось открытым до Учредительного собрания, и вопросов о возможности или невозможности общинного владения и пользования, не только крупное, но и среднее, а также отчасти и мелкое землевладение, по прежним понятиям, исчезало. Оставалось только крестьянское трудовое (не в форме запрещения пользоваться наемным трудом, а потому что труд должен был ввиду малого предельного раздела стать основой хозяйства) землевладение. Россия, по словам Посникова, должна была стать чисто мужицкой страной, где вопрос мог идти только о формах землепользования и землевладения, но не о возможности хотя бы в перспективе, хотя бы очень ограниченного, некрупного поместного хозяйства. Посников цитировал здесь слова Чернова, сидевшего тут же, и П. П. Гронского для доказательства того, что в этой области нет разницы между кадетами и эсерами.

Нет сомнения, однако, что компромисс в столь существенном для России вопросе, как аграрный, между двумя господствовавшими в тот момент общественными движениями мог быть достигнут только потому, что главный бой о «социализации» и «национализации» земли откладывался до Учредительного собрания, но было в высшей степени показательно, что не только кадеты отказались от всякого поместного землевладения в пользу исключительно крестьянского и даже трудового, но и выступавшие затем представители более умеренных течений. Так, октябрист член Государственной думы Шидловский прямо заявил, что помещичье хозяйство «отошло в область истории», так как даже если бы юридически осталось хотя бы «среднее» помещичье землевладение, то помещик не нашел бы рабочей силы: крестьяне не пошли бы к нему внаем.

Вспоминая, как несколько месяцев тому назад те же люди говорили о «священной частной собственности» в применении к помещичьей земле, а также те прения, которые в 1915 и 1916 гг. велись в Совете министров вокруг вопроса о немецком землевладении, которое будто бы нельзя было трогать, поскольку это «поднимет аграрный вопрос» (при этом делались ссылки на думские партии), я не мог не поразиться тому, как быстро произошла коренная перемена в апреле 1917 г. Если так скоро могли произойти сдвиги такого калибра, то отсюда до «социализации» или по крайней мере «национализации» был уже один шаг. С другой стороны, эта уступчивость правых кадетов и других более умеренных партий была неубедительна, слишком явно тактика доминировала над программой, что и сказалось в эпоху белой эпопеи.

Сразу после Посникова выступил Чернов. В отличие от первого, он говорил очень увлекательно, и речь его носила чисто политический характер. Он подходил к аграрной реформе, начав с оправдания Февральской революции и ее необходимости, упомянул о неизбежных затруднениях в жизни страны после февральского переворота. Выразил уверенность, что это «болезни роста», а не признаки распада, говорил о «служении революции» как патриотической обязанности каждого и из служения революции выводил необходимость радикальной аграрной реформы, всесторонней и всеобъемлющей. Но здесь, впрочем, Чернов и остановился. По-видимому, его речь была заранее вполне согласована с речью Посникова, и потому вместо изложения знакомой теории «социализации» земли признанный вождь эсеров ограничился отсылкой к Учредительному собранию.

Интересной частью речи Чернова был его призыв к совместной работе интеллигенции и крестьянского трудового населения в проведении аграрной реформы. Он прямо говорил о грозящей нам ужасающей катастрофе, если в такой исторический момент все «социальные скрепы», по его выражению, лопнут в России и народ будет предоставлен сам себе. В его речи не только не было никакой демагогии, но она поражала своей уверенностью. Оптимистические ноты о революции как «болезни роста» не были неожиданными в устах убежденного

революционера, но за исключением этого революционного пассажа его речь в своих практических выводах звучала таким же компромиссом, как и речь Посникова.

Правда, обе главные стороны — кадеты и эсеры — по-видимому, договорились, в сущности, об отсрочке вопроса до Учредительного собрания. Главный земельный комитет должен был стать несколько громоздкой по своей конструкции парламентской комиссией, где бюрократическому элементу предстояло играть техническую роль экспертизы. Последующие выступления носили такой же примирительный характер, все углы были тщательно сглажены, и облик Февральской революции в аграрном вопросе приобрел академические черты. Решение вопроса в целом откладывалось, несмотря на то что Шингарев уже поставил помещичье землевладение в крайне стесненное положение.

Когда после окончания заседания я вернулся в наше министерство и доложил Нератову и Нольде о том, что на нем было, то оба были удивлены не тем, что интересовавшие ведомство вопросы получали надлежащее решение, а тем компромиссно-бесстрастным тоном и спокойной академической постановкой проблемы в отношении намеренной отсрочки до Учредительного собрания, до юридического оформления вопроса, который до сих пор считался нервом Февральской революции. Нератов заметил, что это влияние Милюкова, как тот сам ему говорил. Нольде рассмеялся и сказал, что Милюков здесь совершенно ни при чем, так как таков-де характер русского народа вообще, непригодного для революции в классическом смысле слова. Дальше Нольде сослался на солдат, мирно путешествующих на трамваях и не помышляющих о том, чтобы друг с другом драться, как полагается в революциях.

В самом деле, до первого кризиса Временного правительства Петроград был наполнен без толку шатавшимися солдатами, разъезжавшими на трамваях толпами, по-видимому, исключительно ради процесса езды, мчавшимися грузовыми автомобилями, на которых лежали на каких-то мешках солдаты с винтовками наперевес и всякий сброд. Доливо-Добровольский весьма метко называл их «охотниками на львов». Это

было верно не только потому, что эти люди имели вид майнридовских героев, но и потому, что тогда они еще не превратились в «охотников за черепами». Эту внешне идиллическую картину Февральской революции тот же Нольде уже после своей отставки стал называть «сплошным прогулом» — выражение, которое я слышал тогда от многих, оно стало потом обычным и в печати.

Надо сказать, что мои впечатления от первого заседания Главного земельного комитета мне пришлось изложить не только начальству, но и многим другим в нашем министерстве, по социальному положению вообще сплошь состоявшим из помещиков, не знавших, что их ждет. Наибольшее впечатление производило не то обстоятельство, что подавляющее большинство Земельного комитета было за полное уничтожение поместного землевладения, а то, что аграрная реформа откладывалась до Учредительного собрания: улита едет — когда-то будет. Не сомневаюсь, что одна из причин отсрочки созыва Учредительного собрания заключалась именно в желании помещичьих кругов, стоявших в качестве многочисленной петербургской бюрократии очень близко к Временному правительству, отсрочить сколь возможно решение аграрного вопроса — просчет, выяснившийся лишь впоследствии, когда страна вместо «поправения» стала лихорадочно быстро «леветь». Не только в стенах министерства, но и вообще далеко за пределами министерских канцелярий нежелательность быстрого созыва Учредительного собрания мотивировалась в марте и апреле 1917 г. тем, что это будет «революционный парламент» и что лучше обождать, когда волна революционности схлынет. Особенно ярко это настроение сказывалось в работах Комиссии по организации выборов в Учредительное собрание, работавшей крайне обстоятельно, но подозрительно медленно.

Права и статус славян-военнопленных

Совершенно особенное место среди дел, вызванных войной, занимал вопрос о военнопленных, да и вообще неприятельских подданных славянского, французского (эльзасцев), итальянского, румынского происхождения, застигнутых войной в России. Эти «привилегированные категории» как военнопленных, так и неприятельских подданных, вначале, как я отмечал в моих записках, касавшихся царского периода, на-

ходившиеся в довольно плачевном положении, впоследствии в связи с ходом войны и ее ярко выраженным освободительным характером все больше и больше попадали в действительно привилегированное положение. Вопрос об этой категории лиц был поставлен только актом 2 января 1915 г.— лишнее доказательство нашей неподготовленности к войне в столь важном деле.

При Временном правительстве этот вопрос попал в самую благожелательную атмосферу. Если Временное правительство некоторое время колебалось, идти ли ему по стопам царского, когда речь шла о борьбе с «германским засильем», ввиду того специфически шовинистического характера, который так старательно придавали вначале Маклаков и Щегловитов этому вопросу, то в деле о «привилегированных категориях» никаких сомнений быть не могло. Через некоторое время, после недолгих дискуссий о том, в каком ведомстве сосредоточить эти дела, при министерстве внутренних дел было образовано особое междуведомственное совещание под председательством Лизогуба, тогда товарища министра при князе Г. Е. Львове (впоследствии председателя Совета министров при Скоропадском на Украине). Представителем нашего министерства на это совещание по традиции был назначен я. Получив самые широкие полномочия, я отправился на совещание. Лизогуб произвел на меня наилучшее впечатление своей позицией в славянском вопросе, который, конечно, в этой комиссии занимал центральное место.

Любопытно, что одним из первых пунктов, который нам пришлось рассмотреть, было желание довольно широкого контингента австрийских славян, главным образом чехов и словаков, долго живших в России, перейти в русское подданство. Этот вопрос раньше, до Февральской революции, решался высочайшей властью и, насколько я знаю, не стоял остро, так как такие случаи были единичны. После же февральского переворота, когда монархия пала, он приобрел двоякую остроту — во-первых, случаи ходатайств подобного рода очень заметно увеличились, а во-вторых, возникло сомнение относительно того, какой орган должен заменить прежнюю царскую власть, так как наш закон о подданстве при Временном прави-

тельстве продолжал оставаться в полной силе. По этому поводу Лизогуб обратился ко мне с вопросом, как относится наше ведомство в принципе к ходатайствам прежних австрийских славян, считает ли оно нужным поощрять такого рода ходатайства и устанавливать для просителей льготный порядок или же оно предпочитает, как это было прежде, предоставить решение в каждом отдельном случае самому министерству внутренних дел.

На это я, зная в точности настроение дипломатического ведомства, ответил, что, хотя наше министерство находится в полной уверенности, что война приведет к освобождению всех славянских земель Австро-Венгрии, но ввиду многочисленности возбужденных ходатайств надо думать, что просители вообще больше не желают быть в австро-венгерском подданстве и нет никаких оснований отказывать им в ходатайствах. Далее я сказал, что, как ни маловероятен неблагоприятный исход войны, но надо учитывать и эту возможность, следовательно, здесь вопрос сводится также к тому, в какой мере австрийские славяне являются желательным элементом для России. Поскольку сама война ведется с русской стороны из-за славянского вопроса, то я от имени министерства иностранных дел просил подчеркнуть наше принципиально благожелательное отношение к самому льготному приему ходатайствующих в русское подданство. Что же до органа, долженствующего заменить прежнюю царскую власть, то поскольку сам закон о подданстве не менялся, то и единственным органом, заменяющим царскую власть, могло быть Временное правительство. В подтверждение я сослался на деятельность Комитета по принятию прошений на высочайшее имя, который направлял все дела, восходившие раньше к государю, во Временное правительство.

Как ни очевидно было это положение, представители министерства внутренних дел по каким-то соображениям не желали, чтобы эти дела направлялись во Временное правительство, считая нужным создать специальный орган, которому можно было бы «делегировать» на этот случай верховную власть. Такого рода неюридическая постановка вопроса вызвала возражение представителя министерства юстиции Милицы-

на, и большинством голосов было решено при принципиальном облегчении приема в русское подданство тогда еще австрийских подданных-славян направлять все дела через министра внутренних дел во Временное правительство. Вопрос о приеме в русское подданство считался тогда настолько важным, что Лизогуб при особом письме на мое имя прислал мне проект журнала этого заседания с моим заявлением для предварительного одобрения начальством формулировки заявления — вещь, допускаемая в бюрократическом обиходе лишь в самых исключительных случаях. Я довел это до сведения не только Нератова и Нольде, но и Милюкова, причем, конечно, мое заявление было полностью одобрено.

На том же заседании был рассмотрен ряд других вопросов, касающихся военнопленных славян и других привилегированных категорий, как-то: свободы проживания по выбору этих пленных, свободы заработка, вопрос о правовой охране. Все это решалось опять-таки самым благоприятным образом. Февральская революция, бесспорно, сделала все возможное, чтобы скрасить жизнь этих военнопленных в России, и такое улучшение произошло в силу сознательного стремления центральной власти.

На дальнейших заседаниях комиссии Лизогуба нам пришлось заниматься рядом иногда довольно запутанных казусов, и я не могу назвать ни одного случая, где бы по отношению к этим славянам, формально «врагам», была проявлена хотя бы тень недоброжелательства. Объем их прав и их статус в период Временного правительства достигают максимальных масштабов. То, что относится к военнопленным вообще, в отношении, например, чехословацких легионов уже принимает характер военного союза России с будущей Чехословакией. Конечно, решая вопрос о приеме в русское подданство чехов, словаков и некоторых других австрийских славян, мы, члены комиссии Лизогуба, не могли думать, что уже в следующем году эти чехи не будут нуждаться в российском подданстве, что глава нашей комиссии окажется главой нового «Украинского государства», а представитель министерства иностранных дел, то есть я, будет бежать из Петрограда в качестве

22 Зак. № 24

иностранного (украинского) подданного на Украину, под защиту председателя нашей комиссии.

Вехи «ликвидации» Царства Польского

В русско-польской комиссии под председательством А. Р. Ледницкого после описанного мною торжественного открытия работа пошла полным ходом. Официально поставленный вопрос «ликвидации» занятого неприятелем Царства Польского не мог, естественно, быть перенесен в плоскость практических решений. Можно было, очевидно, только наметить основные вехи для решения польского вопроса, оставляя осуществление конкретных мер до окончания войны или во всяком случае до освобождения Царства Польского от неприятеля. Это обстоятельство не могло не охлаждать рвения комиссии, тем более что ход событий в России все время невольно отвлекал внимание и самих поляков, и в особенности нас, русских, от польского вопроса к русскому. С другой стороны, некоторая нереальность в польских делах давала полякам возможность требовать большего, чем то, на что они имели право по актам 15 и 16 марта 1917 г.

Дело в том, что проявление иногда необходимой твердости в соблюдении, например, этнографического принципа при определении границ будущей Польши с русской стороны психологически всегда производило неблагоприятное впечатление, так как спорные области надо было еще отвоевать у противника. Дележ шкуры еще не убитого медведя, если бы он велся слишком азартно с обеих сторон, мог бы рассорить охотников, и эта психологическая сторона дела невольно отражалась на ходе работ комиссии. Русской части комиссии выпадала трудная доля защищать интересы России, никогда по самым существенным вопросам не выходя из пределов самого примирительного тона. Ниже я укажу, как в период управления министерством иностранных дел Терещенко из этого вырастали крайне тягостные инциденты.

В самом начале заседаний комиссии Ледницкого с обеих сторон чувствовались полная готовность и желание вести дело с наименьшими трениями. Поляки понимали, что Февральская революция давала им то, чего никакое царское правительство до сих пор не могло обещать. Это обстоятельство в сочетании с внутренними разногласиями среди отдельных

польских течений, в особенности находившихся за границей, заставляло их быть в высшей степени предупредительными и во всяком случае никак не рвать с Временным правительством и русской ориентацией. Особенную предупредительность в отношении русских членов комиссии проявляли сам Ледницкий, архиепископ могилевский барон Ропп, епископ Цепляк, бывший член Государственной думы Грабский.

Вместе с тем, однако, некоторые предложения польских делегатов вызывали недоумение и доказывали отсутствие практического понимания государственных вопросов. В качестве наиболее яркого примера приведу предложение Грабского, поддержанное другими поляками, о том, чтобы все дела, касающиеся Царства Польского или его уроженцев, решавшиеся по принадлежности различными нашими ведомствами, были сосредоточены в особом здании и до образования польского правительства на польской территории лежали в специально для этого выстроенном складе. На недоуменное замечание русских делегатов, что тогда эти изъятые из русских учреждений дела будут долгое время оставаться без движения, поляки отвечали, что дела «могут подождать», а что самое главное — «принцип», что образование Польши требует предварительных действий самого радикального характера.

Поднялись весьма пикантные прения, в которых представители отдельных ведомств стали разъяснять польским членам комиссии, какие неприятности могут получиться из-за этого для самих же заинтересованных поляков, которые не смогут ни жениться, ни получать наследство, ни вести какие бы то ни было дела до момента образования независимой Польши. В конце концов нелепость предложения Грабского стала ясна ему самому, и он снял его с обсуждения, но то обстоятельство, что такой вопрос мог пространно обсуждаться, а такое предложение могло быть сделано, и при этом не в виде импровизации, а поставлено в повестку дня Ледницким, говорило о неподготовленности поляков к практическому ведению государственных дел. Долгое время спустя после неудачного выступления Грабского русские делегаты вспоминали его предложение при каждом новом проявлении польской незрелости.

Делаю, однако, оговорку: если светская часть польской делегации поражала иногда своей непрактичностью, то, наоборот, представители польского духовенства — барон Ропп и епископ Цепляк — не только никогда не делали бесполезных выступлений, но, напротив, изумляли русскую часть комиссии своим практицизмом и основательным знакомством с каждым вопросом. Можно смело сказать, в особенности про барона Роппа, что он был истинным вождем поляков в комиссии Ледницкого, и не только в вопросах религиозных, что было бы вполне естественным, но и в чисто государственных делах. Поляки сами этого не скрывали. Ледницкий по каждому вопросу спрашивал мнение Роппа и Цепляка, и всегда для польской части комиссии оно считалось решающим. И тот и другой иерарх держались очень тактично и в каждом самом незначительном выступлении старались облечь свои предложения и мнения в приятную для русских форму. Это смягчающее влияние было, несомненно, очень благотворно, так как иногда польские делегаты не могли удержаться в рамках должного примирительного тона.

Отмечу здесь, что с русской стороны никаких духовных лиц не было, и по всем религиозным вопросам представителями Временного правительства выступали сначала почти исключительно профессор С. А. Котляревский, а затем А. В. Карташов. Это обстоятельство — отсутствие русских духовных лиц — невольно поднимало еще больше престиж двух польских иерархов.

В то же время с истинно дипломатическим искусством и Ропп и Цепляк, при всей их внешней любезности и утонченной вежливости, поднимали проблемы крайне острого свойства — о костелах, обращенных в православные храмы после восстания 1863 г., о конфискованных тогда же монастырских имуществах, о польских святынях, увезенных в Россию, и т. п. При этом оба они не ставили вопросы в принципиально-абстрактной форме, а, наоборот, старались избегать такой их постановки, понимая, что русские члены комиссии не могли идти на полную реставрацию даже в пределах до 1863 г. Они, часто даже без предварительного включения в повестку, внезапно заводили речь о такой-то православной церкви, указывая

на ее древнекатолическое происхождение и требуя немедленного ее возвращения католикам, или о таких-то католических святынях, находящихся там-то, или о тех или иных монастырских угодьях, рассказывая историю их захвата. Все это застигало врасплох и Котляревского и Карташова, они не могли по незнанию дать ответа, а поляки ловили каждое их слово и заносили в протокол, истолковывая его как принципиальное согласие русских делегатов на то или иное требование. Внося затем от имени комиссии представления во Временное правительство, они подчеркивали согласие на это русских делегатов.

Такая частичная реставрация Польши не давала Временному правительству возможности развернуть прения по польскому вопросу в полном объеме, и поляки, таким образом, шаг за шагом вырывали отдельные уступки, которые в совокупности представляли собой весьма внушительную величину. Временное правительство ввиду военной обстановки не желало раздражать поляков неуступчивостью, рассчитывая отдельные оплошности исправить впоследствии, при рассмотрении польского вопроса в будущем Учредительном собрании.

Конечно, если бы вся остальная часть польской делегации играла всегда и во всем роль статистов при этих незаурядных дипломатах — католических иерархах, то поляки имели бы бесспорный перевес, но, при всем уважении к ним остальных делегатов-поляков, светская часть польской делегации любила выступать не без ораторского таланта на общие темы и поднимать вопросы, которые по акту 15 марта не могли быть разрешены даже Временным правительством, а только русским Учредительным собранием. В этих выступлениях они раскрывали свои карты в понимании, например, такого первостепенной важности вопроса, как этнографический принцип при размежевании Польши и России. Как я расскажу ниже, в связи с вопросом о Холмской губернии поляки старались на самом деле подменить этот этнографический принцип понятием Царства Польского, то есть Венским трактатом 1815 г., что значило включение в состав Польши и Гродненской и Сувалкской губерний с литовцами, и Холмской губернии с ее смешанным православно-католическим населением.

Вопрос о литовцах и о Литве в период Милюкова не об-

суждался в комиссии — он был поднят уже при Терещенко, но вопрос о Холмской губернии возник в самом начале работы комиссии, то есть еще при Милюкове, и явился первым серьезным испытанием русско-польских отношений в этот период.

Когда впервые этот вопрос был поставлен на очередь, то я в особой записке на имя Милюкова решительно воспротивился его обсуждению в комиссии Ледницкого по «некомпетентности» комиссии. Исходя из воззвания Временного правительства к полякам от 15 марта, где говорилось о том, что вопрос о границах между Польшей и Россией должен будет решаться на основании этнографического начала учредительными собраниями обоих государств, я считал невозможным предвосхищать решение этих собраний, а «подготовительные работы» полагал неуместными ввиду военно-стратегической обстановки, а именно оккупации Царства Польского австро-германскими войсками. Предчувствуя острое столкновение между польскими и русскими членами комиссии, я считал этот спор и юридически и дипломатически совершенно ненужным. На мою записку последовало одобрение Милюкова, не говоря уже об одобрении Нератова и Нольде. Действительно, Милюков употребил свое влияние, чтобы предупредить постановку такого щекотливого вопроса на очередь. Повестка была изменена, но против зачеркнутого вопроса о Холмской губернии было поставлено «отсрочивается». Когда я обратился за разъяснениями к Милюкову, тот мне ответил, что это только вежливая формула снятия вопроса.

Однако, как этого и нужно было ожидать, эта «отсрочка» и стала той лазейкой, которой поляки воспользовались. Были мобилизованы зарубежные польские круги, которые подняли вопрос в печати, и Ледницкий с ворохом газетных вырезок приехал к Милюкову, говоря, что «замалчивание» произведет самое тягостное впечатление на всех друзей новой революционной России. На заявление Милюкова о юридической невозможности решения проблемы до созыва Учредительного собрания Ледницкий ответил, что поскольку решение зависит в конечном счете даже не от русского Временного правительства, а от исхода войны, то соображения комиссии явятся

лишь «вехами» на этом пути. Конечно, Милюков не мог сказать Ледницкому всего, что я изложил в моей записке. Он ответил, что «подумает». Ледницкий довольно решительно заявил, что поляки придают этому вопросу самое серьезное значение и что он не ручается за успех работ комиссии, если подобные вопросы будут по распоряжению свыше изыматься из обсуждения.

Довольно ловко Ледницкий напомнил крайне неприятную для Милюкова в его теперешнем положении картину прохождения закона о западных земствах и самоуправлении в Царстве Польском в 1910 г., когда Холмская губерния была выделена из Царства Польского. Этот визит Ледницкого привел к тому, что через несколько дней Милюков уступил. Он сам чувствовал себя сконфуженным, так как постановка этого вопроса в комиссии не соответствовала ни акту 15 марта — общей декларации Временного правительства по польскому вопросу, ни акту 16 марта 1917 г. об учреждении комиссии Ледницкого. Ни в одном из пунктов, составлявших компетенцию комиссии, не говорилось об определении будущих русско-польских границ, а перечень вопросов, подлежавших ведению комиссии, был составлен в таких точных выражениях, что не допускал расширительного толкования.

Однако, раз Милюков выразил согласие и вопрос стал обсуждаться в комиссии, надо было приложить все старания к его надлежащему решению. Для этого я сговорился с С. А. Котляревским, и с русской стороны нам было поручено вести это дело. Так как весь вопрос был затеян поляками и заключался в том, чтобы, придерживаясь текста Венского трактата 1815 г., включить Холмскую губернию обратно в Царство Польское, то есть теперь уже в будущую независимую Польшу, то, естественно, надо было прежде всего дать полякам выговориться.

Они сделали это с соответствующей помпой, разразившись рядом речей, подкрепленных аргументами международно-правового, конституционного и статистического характера. Не были оставлены без внимания также религиозный и финансово-экономический аспекты. Широкий фронт нападения основывался главным образом на психологической

стороне, а именно, что выделение Холмской губернии есть акт Столыпина, продиктованный исключительно шовинистическими мотивами самого низкопробного свойства, и не может же революционная и демократическая Россия продолжать политику Столыпина! Все остальные аргументы, несмотря на их разнообразие и красочность, являлись второстепенными, при этом далеко не бесспорными, что чувствовали и сами поляки. Любопытно, что именно в этом психологическом наступлении поляки уже в сентябре 1917 г. имели успех, оказавшийся, впрочем, эфемерным.

Что касается вспомогательных аргументов, то к ним относился прежде всего анализ Венского трактата 1815 г., который сделал Грабский. По мнению Грабского, определяя границы Царства Польского, Венский трактат будто бы возлагал на русское правительство сохранение незыблемыми внутренних границ Царства Польского по отношению к России. Поэтому выделение Холмской губернии из состава Царства Польского являлось будто бы нарушением Венского трактата. Тезис Грабского в применении к границам Царства Польского являлся перефразировкой известного польского тезиса, по которому конституция Польши, дарованная Александром I, находилась под защитой Венского акта, и Наполеон III, заступаясь в 1863 г. за поляков, тоже пытался обосновать свое вмешательство Венским трактатом 1815 г. Выслушав все польские речи, я подробно ответил Грабскому на том же заседании и привел особые декларации русских, австрийских и прусских делегатов на Венском конгрессе о том, что все вопросы о конституционном устройстве отдельных частей Польши, отходивших к России, Австрии и Пруссии, вместе с вопросами их административного управления всецело подлежат ведению соответствующих государств и не могут быть предметом чьего бы то ни было вмешательства. Эти запротоколированные на Венском конгрессе декларации трех государств явились в свое время юридическим оправданием для всех тех изменений, которые были произведены Россией после 1830 и 1863 гг. в управлении Царством Польским. В частности, я сослался на уничтожение таможенной границы между Россией и Царством Польским в 1850 г. Если согласиться с тезисом

Грабского, то пришлось бы говорить о незаконности с международно-правовой точки зрения не действий России в период 1815—1914 гг., формально основанных на Венском трактате, а самого Венского трактата 1815 г., участники которого сами в своих дипломатических донесениях признавали раздел Польши «противоречащим началам публичного права». Но это была бы область не международного права, а международной морали. Вот почему я предложил оставить в стороне Венский трактат и перейти к актам Временного правительства 15 и 16 марта.

С. А. Котляревский, со своей стороны, поддержал меня всецело в вопросе о Венском трактате и дополнил ссылками на прения в 1910 г. в Государственной думе, где поляки также приводили этот трактат, и совершенно безуспешно. Наше решительное выступление, Котляревского и мое, произвело должное впечатление на Грабского, который впоследствии оставил Венский трактат в покое, хотя некоторые его коллеги, вроде, например, Шебеко, продолжали им еще довольно долго оперировать, правда, встречая с нашей, русской, стороны решительный отпор.

Оставались статистические данные, представленные поляками и доказывавшие, что, за исключением небольших островков, в Холмской губернии основное население — поляки-католики. Явно раздутые цифры сразу же отшатнули всю русскую делегацию, но по тактическим соображениям было решено их «проверить». Здесь мы поляков и поддели. Если бы вопрос стоял в плоскости международного права, то есть Венского акта 1815 г., или исключительно политико-психологической стороны выделения Холмской губернии в 1910 г., то, будучи формально неправы, поляки вообще могли рассчитывать на симпатии русских делегатов, так как никто из них, очевидно, не сочувствовал разделу Польши или политике Столыпина в польском вопросе. Но в области цифр, проверить которые было нетрудно, их дело могло быть только проиграно. Перейдя на статистические данные, то есть становясь на этнографический принцип, поляки не могли уже отстаивать целостность Холмской губернии и требовать включения ее

en bloc* в Польшу; мало того, статистика Холмской губернии, приводимая поляками, давала нам возможность поднять в нужную минуту и литовский вопрос.

Вот почему на этот аргумент представитель министерства внутренних дел ответил предложением проверки, в чем поляки, конечно, не могли отказать. Статистический метод был, по существу, единственным методом для решения всех вопросов русско-польского разграничения, но поляки выдвинули его только в качестве субсидиарного аргумента, и потом, когда в министерстве внутренних дел этим вопросом занялись основательным образом, они были очень смущены таким оборотом дела.

Помимо вышеуказанных подкреплений польского предложения о Холмской губернии были развиты и финансово-экономические соображения, вынуждавшие решить вопрос в смысле включения в состав Польши этой отделенной от нее части. По этому поводу представитель министерства финансов, товарищ министра Шателен, ядовито заметил, что вообще, если смотреть с экономической точки зрения, то Польше не следует вовсе отделяться от России. Эта экономическая сторона вопроса в дальнейшем играла малую роль.

Заканчивая заседание, Ледницкий в длинной речи еще раз собрал все многочисленные пункты польского предложения, причем по поводу речи Грабского о Венском трактате сказал, что этот вопрос следует отложить как «спорный». Он посмотрел на меня и спросил: «Вы согласны, не правда ли?» Я ответил, что могу согласиться со «спорностью» положений Грабского о «незыблемости» внутренних границ Царства Польского только в том случае, если такая «незыблемость» будет признана за внешними границами Царства по Венскому трактату. Ледницкий даже привстал, ошеломленный моими словами, и попросил меня объяснить, что я хочу сказать. Мне пришлось поставить точки над i и показать комиссии всю опасность оперирования с Венским актом 1815 г., который, устанавливая границы Царства Польского по отношению к России, в то же время очерчивал те границы Царства Поль-

* Целиком *(фр.)*.

ского, которые являлись нашей границей с Германией и Австро-Венгрией до 1914 г., то есть были следствием последнего окончательного раздела Польши. Тут же я заявил, что Венский акт, по моему мнению, уничтожен уже воззванием вел. кн. Николая Николаевича к полякам 1 августа 1914 г., не говоря уже о провозглашении Временным правительством независимости Польши в воззвании 15 марта 1917 г., и что становиться на почву Венского трактата я не могу, так как в качестве представителя министерства иностранных дел не могу держаться иных взглядов, чем мое правительство. Между Ледницким, Роппом и Грабским произошел краткий разговор, и Ледницкий сказал, что упоминание Венского трактата имело, видите ли, «примерный» характер и что поляки, конечно, ни одной секунды не стоят на точке зрения этого акта. После этого Ледницкий стал уже развивать другие положения.

По окончании заседания Котляревский, у которого было какое-то дело в нашем министерстве, пошел вместе со мной, и мы обсуждали первую серьезную русско-польскую ошибку, жалея, что Милюков не сумел предупредить постановку вопроса о Холмской губернии. Сама по себе полемика с ее неизбежным азартом по такому еще столь недавно волновавшему обе стороны вопросу создавала, вопреки желанию обеих сторон, атмосферу недоверия, столь типичную для русско-польских отношений в XIX в. Несмотря на всю грандиозность перемен в России, прошлое снова врывалось в их отношения, грозя без всякой надобности уничтожить прекрасное впечатление, произведенное началом новой политики Временного правительства в польском вопросе. Уже в нашем министерстве Котляревский условился со мной и на будущее относительно злополучного холмского вопроса.

На следующем заседании, через неделю, вопрос о Холмской губернии принял более спокойный характер, так как поляки «проверяли» проверку их цифр, произведенную в министерстве внутренних дел. Шел спор о статистических данных, и выяснилась, как и следовало ожидать, фальсификация польских данных. Поляки упирались и все оспаривали, ссылались на статистические таблицы, которых с собой не захватили, довольно бесцеремонно старались опорочить данные русской

государственной статистики, но в подкрепление не могли привести сколько-нибудь убедительного материала. Наконец, Ледницкий потерял терпение и, видя невозможность отстоять прежние польские таблицы, предложил отложить вопрос до следующего заседания, когда поляки должны были доставить те источники, на которые ссылались. После этого перешли к другим, менее животрепещущим вопросам. На следующем заседании холмский вопрос не поднимался, а потом наступил перерыв заседаний, во время которого произошел первый кризис Временного правительства, вызвавший уход Милюкова.

Первый кризис Временного правительства

Теперь уместно остановиться на уходе П. Н. Милюкова и тех обстоятельствах, которые этот уход вызвали и сопровождали. Свести его исключительно к внешнеполитическим расхождениям внутри Временного правительства было бы, думаю, несомненным упрощением того, что произошло на самом деле. У меня были большие связи в кадетских петербургских кругах, и я считаю, что внутрипартийные отношения, в особенности поведение Н. В. Некрасова, имели фактически для ухода Милюкова не меньшее значение, чем дипломатические осложнения.

Можно по-разному относиться к Милюкову в этот период, можно подчеркивать, вполне справедливо, недооценку и переоценку им факторов внешне- и внутриполитических, но нельзя сказать, что Милюков легкомысленно и недобросовестно отнесся к своим обязанностям министра иностранных дел. Наоборот, он, скорее, даже слишком для того момента ушел в свое ведомство. Нелегкое бремя руководителя внешней политики, с которой Милюкову все же впервые приходилось сталкиваться практическим образом и в таком объеме, требовало, конечно, незаурядного отношения к делу. Не погрешив в этом направлении, Милюков не мог, естественно, оставаться тем кадетским «папашей», каким он был всегда, то есть лидером, действительно патриархально вникавшим во все партийные детали.

С другой стороны, Некрасов, игравший в кадетской парламентской фракции роль подлидера и вождя «левых кадетов», относился к своим обязанностям министра путей сообщения совершенно иначе, чем Милюков к обязанностям главы дипло-

матического ведомства. Перебросив сразу же все бремя технического руководства на одного молодого, только что кончившего Институт путей сообщения инженера, Некрасов с искусством специалиста ухаживал в это время своего министерства за дочерью видного кадета Д. С. Зернова, директора Технологического института, Верой Дмитриевной, которая незадолго до того закончила гимназию и летом 1917 г. стала его, Некрасова, женой (по счету, если не ошибаюсь, третьей), при этом шаферами Некрасова были А. Ф. Керенский и М. И. Терещенко.

Каждый вечер в автомобиле Николая II Некрасов со своей невестой отправлялся на Стрелку, а после этих прогулок заезжал, несмотря на свое министерское положение, в известное литературно-художественно-артистическое кабаре «Привал комедиантов» и там в компании В. Д. развлекался самым простодушным образом до глубокой ночи. Однажды в этом кабаре произошел скандал, вызвавший вмешательство милиции, и Некрасову пришлось назвать себя, дабы избежать неминуемых объяснений в участке. Это конфузное обстоятельство, не заключавшее в себе ничего случайного, так как Некрасов был завсегдатаем «Привала комедиантов», несколько охладило его симпатии к этому учреждению, и он стал выбирать для своих развлечений менее шумные места, чем упомянутое кабаре, так привлекавшее его, по-видимому, своим названием.

Как он относился к вверенному ему ведомству, видно из следующего. В обязанности министра путей сообщения входила, между прочим, рассылка распоряжений и указов Временного правительства по всей России. Некрасов не нашел ничего лучшего, как поручить это серьезное по революционным временам дело гимназистке 8-го класса, младшей сестре своей невесты Татьяне Дмитриевне Зерновой, дав в ее распоряжение целую канцелярию и carte blanche в отношении использования в нужных случаях его имени и авторитета. Молодая администраторша, попавшая на этот пост в силу отношений Некрасова с ее сестрой, имела настолько широкие полномочия, что сама изумлялась тому, что Временное правительство могло доверить ей столь важные обязанности, и открыто смеялась над Некрасовым в своей канцелярии.

Нечего и говорить, что постановка дела, которым сам Некрасов нисколько не интересовался, не могла отвечать своим задачам. Правда, эта канцелярия, имевшая всего четыре платных должности (два чиновника особых поручений при Т. Д. Зерновой, казначей и заведующий отправкой) при бесплатном труде самой Зерновой и студентов и курсисток, принадлежащих к студенческой кадетской группе, мало стоила Временному правительству, но дело не в этом, а в том, что рассылка всех распоряжений Временного правительства по всей стране (они рассылались этой канцелярией по всем железным дорогам, т. е. всем начальникам станций, волостным правлениям и т. д.), в самую гущу деревенского населения, в этот момент действительно имела огромное значение. Впоследствии, при уходе Некрасова из министерства путей сообщения, Т. Д. Зернова также ушла, и канцелярия попала уже обычным бюрократическим способом в состав одного из отделений министерства. Устроившись таким образом в том, что касалось исполнения его прямых обязанностей и не уклоняясь от всех приятных забот, связанных с его ролью жениха, Некрасов, конечно, имел гораздо больше возможностей, чем Милюков, заниматься чистой политикой и партийными делами.

Укажу на то, что П. Н. в самом начале своего министерства не хотел порывать связи с живым руководством партией, оставив за собой редакторство «Речи» (один из сотрудников «Речи» как-то телефонировал мне, прося что-то передать «вашему министру и нашему редактору»), и немедленно после получения министерской должности устроил даже в здании нашего министерства «кадетский раут» — были все видные кадеты с женами. Был, конечно, и Некрасов, который очень помогал Анне Сергеевне Милюковой, рассказывавшей о том, как ей пришлось отдавать визиты иностранным послам, занимать гостей. Тогда отношения между Милюковым и Некрасовым были прекрасные. Об этом я знаю от моего родственника П. П. Гронского, до 1917 г. примыкавшего к некрасовской группе левых кадетов в Государственной думе. В дальнейшем, как известно, эти отношения стали все больше и больше портиться, и вина за это падала не на Милюкова.

Подробности той политической интриги, которую вел Некрасов против Милюкова, подробности, говорящие не в пользу Некрасова, стали известны в кадетских кругах позже. Несомненно, Некрасов предал Милюкова, но это могло произойти только после того, как Милюков, увлекшись новыми для него министерскими обязанностями, фактически перестал руководить кадетской партией, между тем как Некрасов даже из своих матримониальных обязанностей старался извлечь пользу для себя. Д. С. Зернов пользовался большим влиянием в петроградских кадетских кругах, и, не погрешив против истины, можно предположить, что в сватовстве Некрасова, в этом неравном браке был элемент политического расчета, тем более что через год после свадьбы, имея уже ребенка от Зерновой, Некрасов ее бросил и совершенно порвал с Зерновыми, перейдя к большевикам.

Все эти обстоятельства достаточно ярко характеризуют Некрасова и показывают, с каким человеком Милюкову пришлось иметь дело. Но в момент ухода Милюкова роль Некрасова далеко не всем была ясна, и даже люди, близко знавшие Некрасова по Государственной думе, его фракционные товарищи долго не могли поверить в то, каким незаурядным интриганом оказался Некрасов, пользовавшийся в самом начале революции 1917 г. всеобщими симпатиями членов кадетской фракции и всегда имевший успех у дам. На фоне этих партийных и личных отношений те дипломатические осложнения и разноречия, которые при другой внутрипартийной обстановке, может быть, можно было бы безболезненно ликвидировать, оказались для Милюкова роковыми.

Дипломатические осложнения первого кризиса Временного правительства заключались в знаменитой ноте этого правительства, которая была подписана всеми его членами и в которой формулировалось общее отношение правительства к войне и союзникам. Нота эта, составленная в дипломатическом ведомстве (редактировал ее Б. А. Татищев, начальник канцелярии министра и начальник I Политического отдела министерства) и одобренная Милюковым, была им представлена Временному правительству и принята с незначительными поправками редакционного характера. Смысл ноты заключался

в том, что Россия обязывалась продолжать войну на прежних основаниях, то есть до благополучного исхода, и не стремиться к заключению сепаратного мира. О целях войны говорилось глухо, что Россия оставляет за собой все приобретенные ею по соглашениям с союзниками права, «связанные с благополучным исходом войны».

Ввиду того что эта нота Временного правительства должна была послужить декларацией правительства по внешней политике России, ее предполагалось немедленно по вручении опубликовать. Имелось в виду успокоить широкие круги союзников и дать им уверенность в том, что революция ни в малейшей мере не ослабила желания России продолжать войну. Начавшиеся братания на Северо-Западном фронте еще более усиливали потребность в такого рода дипломатической декларации. Тем не менее, ввиду той пропаганды против «аннексий и контрибуций», которая с первых же дней Февральской революции обнаружилась в Петроградском Совдепе, сохранение прежнего взгляда на цели войны надо было осторожно завуалировать, что и было сделано в вышеотмеченном пассаже ноты. Отправку этой ноты Милюков считал необходимой для, как он выражался, «дипломатической консолидации» Временного правительства. Это должен был быть ответ на случаи братаний на германском фронте, случаи, производившие, конечно, самое отвратительное впечатление на союзников. В то же время, как я уже отмечал раньше, Милюков не мог допустить мысли о том, чтобы Россия после революции отказалась от соглашений, с таким трудом заключенных с союзниками касательно нашей доли в послевоенном расчете в случае победы. В этом отношении Милюков встречал полную поддержку всех близких к нему кадетов, за исключением разве Некрасова, который, правда, не решался еще открыто, в особенности в кадетской среде, высказываться против этого взгляда Милюкова.

Когда, однако, на другой день после подписания всеми членами Временного правительства ноты в первоначальной ее редакции с утра 18 апреля начались выступления Финляндского и Павловского полков, в полном порядке и во главе с офицерами дефилировавших по городу с лозунгами: «Долой

Милюкова», «Долой войну», «Мир без аннексий и контрибуций» и т. п., я не без ужаса заметил в их рядах царских офицеров Павловского полка, моих знакомых, которые тоже шествовали с такими плакатами. В нашем министерстве, как и во всем городе, настроение стало крайне тревожным. Любопытно, что когда я в 12-м часу дня был с докладом у Нольде и, надеясь получить от него более свежие данные, обратился к нему с вопросом, что он думает о происходящем, то оказалось, что Нольде ничего не знал и сам же меня стал обо всем расспрашивать.

Нольде не столько поразили выступления войск, сколько то, что, по слухам, которыми в эти дни 18—20 апреля был полон город, Керенский будто бы стоял во главе субверсивного движения, направленного против Милюкова, и что причиной движения является милюковская нота. На это Нольде с широко открытыми глазами возразил мне: «Но ведь Керенский сам подписал эту ноту вместе с другими членами Временного правительства». В ответ я мог только рассказать ту версию, которая передавалась из уст в уста, отказываясь, конечно, утверждать, насколько она соответствует истине: Керенский, будто бы, подписав ноту в первоначальной редакции и узнав, что она встречает самую решительную оппозицию в Петроградском Совдепе, перешел на сторону противников ноты. Утверждение Нольде о подписании ноты Керенским совершенно обнадежило Милюкова, и Нольде, несомненно, отражал настроение ближайших сотрудников Милюкова, которые считали эту ноту успехом Милюкова.

Крайне смущенный, если не сказать потрясенный, тем, что услышал от меня, Нольде сейчас же пошел к Нератову, чтобы узнать от него последние новости, но и Нератов ничего больше не мог прибавить. Никто в министерстве не знал более того, что знали в городе и что, конечно, было недостоверно. Милюкова в министерстве не было — он был с остальными членами Временного правительства на совещании в Мариинском дворце. Между тем из союзнических посольств стали поступать тревожные телефонные запросы, на которые Нератов, за отсутствием Милюкова, отвечал успокоительно, но крайне лаконично, говоря, что Временное правительство в настоящий мо-

23 Зак. № 24

мент заседает и обсуждает создавшееся положение. Не знаю, насколько эти слова подействовали, но телефонные звонки из посольств прекратились, может быть, потому, что посольства эти были лучше осведомлены, чем дипломатическое ведомство.

В 3—4 часа дня, после того как все утро происходили военные демонстрации против Милюкова, появились первые демонстрации за Милюкова и Временное правительство. Как я узнал через несколько дней, инициатива этих последних демонстраций исходила от кадетского клуба на Французской набережной, который снарядил (и оплатил) несколько автомобилей, разъезжавших с плакатами, главным образом против «Ленина и компании», которым предлагалось ехать «обратно в Германию». Петроградские зеваки встретили эти автомобили, о происхождении которых никто не знал, с восторгом, и очень быстро перед Мариинским дворцом собралась многотысячная толпа с выражением лояльных чувств Милюкову и Временному правительству. Любопытно, что толпа состояла на 99% из штатских. Военных было очень мало и почти исключительно офицеры. Среди штатских преобладала буржуазная интеллигенция, рабочих совсем не было. Эта демонстрация напоминала прежние противоправительственные «студенческие» манифестации, где «народа» тоже было мало. Тем не менее подъем был большой.

Я был в этой толпе до конца, то есть до вечера, когда из Мариинского дворца к собравшимся стали выходить члены Временного правительства. Говорил сам Милюков, заявивший, что, когда он увидел надписи «Долой Милюкова», он испугался не за себя, а за Россию. Говорил и Шингарев, и звуки его обворожительного голоса доходили лучше до сердца слушателей, чем несколько резавшая ухо своей самоуверенностью речь Милюкова, слишком выдвигавшая на первый план личность самого П. Н. В толпе я видел много знакомых, были и чиновники нашего министерства, но при всем подъеме, который, несомненно, был, по сравнению с утренними антимилюковскими демонстрациями, чувствовалось уже определенно и там и здесь отсутствие «народа». Интеллигентский характер вечерних манифестаций, которые были не лишены пафоса

(я видел сам, как толпа, узнав А. И. Гучкова, понесла его в кресле на руках), был налицо, и это означало, что на «улицу» Милюков не мог рассчитывать.

После успокоительных разъяснений, данных Милюковым толпе перед Мариинским дворцом, и после того, как непосредственная опасность военного переворота миновала, начался продолжавшийся две недели период переговоров Временного правительства с Совдепом и Комитетом Государственной думы, которые привели к уходу Милюкова. Должен сказать, что именно в эти дни, 18—20 апреля, я особенно остро, как никогда до этого, почувствовал всю бесплодность именно этих «переговоров», которые все больше и больше принимали форму постоянных разговоров тех людей, которые не могут действовать. Уход Гучкова, торжественное собрание всех четырех Государственных дум 27 апреля 1917 г., блестящая речь Маклакова относительно «войны и революции» — все это не могло сгладить впечатления оторванности Временного правительства от жизни, от «улицы», оторванности, которая постоянно продолжала расти.

Укажу здесь, например, на то обстоятельство, что Временное правительство назначило военным комендантом Кронштадта члена Государственной думы В. Н. Пепеляева (впоследствии последнего премьера-министра Колчака, расстрелянного вместе с ним), который сделал доклад во Временном правительстве о необходимости искоренения «крамолы» в Кронштадте с расстрелом группы в несколько сотен матросов, не ручаясь в противном случае за безопасность Кронштадта. Массовый расстрел наиболее опасных частей Кронштадтского гарнизона, конечно, в этот момент, после антимилюковских выступлений в Петрограде и за два месяца до налета кронштадтцев в июльские дни в Петрограде, произвел бы надлежащий эффект, и пролитая кровь сотен бандитов спасла бы, может быть, Россию от дальнейших испытаний при условии опять-таки наличия твердого плана дальнейших действий.

Однако план Пепеляева был выслушан во Временном правительстве с выражением величайшего ужаса на лицах, и князь Г. Е. Львов замахал руками, заявив, что он скорее

подаст в отставку, чем прольет «братскую кровь». После этого Пепеляев подал в отставку и в течение года занимался подготовкой того, что впоследствии окрестили «белым движением». Мне приходилось говорить со многими лицами, имевшими самое непосредственное отношение к Временному правительству, и, ссылаясь на опыт французских революций 1789, 1848 и 1871 гг., убеждать именно в конце апреля — начале мая 1917 г. перейти от слов к делу и задушить большевистское движение в зародыше, и от всех, буквально от всех, даже от тех, кто потом стал главарями белого движения, я слышал неизменно одно и тоже — «братская кровь» и т. п.

В эти дни, от демонстраций 18—20 апреля до начала мая, когда совершился уход Милюкова, возможность его ухода была главной темой разговоров в министерстве иностранных дел. Самые близкие сотрудники Милюкова хранили молчание, за исключением одного — П. Б. Струве. Петр Бернгардович, не игравший в деловом обороте министерства в то время видной роли, в эти дни проявил большое возбуждение. Может быть, «бюрократическая выучка» пришлась ему не по вкусу, может быть, в административной эквилибристике он не находил выхода для своих идеологических построений или ему было мало простора в качестве директора департамента при таком опытном начальстве, как Нольде, стоявшем как товарищ министра непосредственно над ним и, в сущности, умудрявшемся исполнять директорские обязанности за Струве,— во всяком случае, Струве со свойственной ему прямотой и искренностью в эти дни, предшествовавшие уходу Милюкова, громко и в присутствии чиновников, даже младших, говорил о том, что мы идем на всех парах к «сепаратному миру с Германией». Эти слова не могли, конечно, не производить надлежащего впечатления, но на чиновников они действовали гораздо меньше, чем на самого Нольде.

Нольде, который и раньше был очень хорош со Струве и который втиснул его нам в министерство, в эти дни находился совершенно под влиянием Струве и, смею думать, подал в отставку из-за Струве, так не похоже это было на самого Нольде. Нератов и другие самые высшие чины министерства,

наоборот, прилагали искренние усилия, дабы придать спору, возникшему из-за «аннексий и контрибуций», такую дипломатическую форму, которая могла бы стать приемлемой для всего Временного правительства. Особенно старался в этом направлении А. М. Петряев, пытаясь до последней минуты найти такую примирительную форму, которая могла бы сохранить все права за Россией, и в то же время не уклоняться от вопроса о пересмотре целей войны.

У нас в ведомстве не могли не видеть, что, настаивая с упорством Милюкова на Константинополе, мы действительно могли дать повод думать, что война начата Россией исключительно из-за Константинополя, между тем как фактически причиной войны явилось нападение Австро-Венгрии на Сербию, что прежде всего придавало этой войне «освободительный» характер, а именно освобождения всего подъяремного западного славянства. Тщетно Петряев, который, как я указывал в моих записках касательно царского периода, занимался в начале войны славянским вопросом, предлагал Милюкову стать на эту идеологическую единственно правильную «освободительно-славянскую» позицию и предоставить решение вопроса о Константинополе послевоенному конгрессу в зависимости от исхода войны. Милюков непоколебимо стоял на своем, не желая уступать «демагогической волне».

Я помню, как в эти дни Петряев, заведовавший в то время Ближневосточным отделом, а следовательно, и константинопольским вопросом, горько жаловался окружающим, что Милюков продолжает упорствовать и не желает видеть ловушку, которую ему строят его враги. Милюков же, внутренне решив не уступать, все меньше и меньше поддавался влиянию нашего ведомства и, видя настроение наших наиболее ответственных чинов, не желавших менять Милюкова, взгляды которого они уже знали, на нового, неизвестного человека, все больше ориентировался на кадетские круги, непосредственно его окружавшие и готовые уже увенчать его лаврами мученика. Думаю, что и Струве оказал влияние на Милюкова, хотя, конечно, он мог только укрепить его в сознании, что это необходимо сделать, а Нольде он прямо в этом убедил.

Чиновничья фронда

Как я уже писал, наш комитет Общества служащих, председателем которого был Петряев, в наиболее тревожные дни министерской жизни являлся, с одной стороны, предохранительным клапаном, а с другой — руководящим центром. В эти дни первого серьезного испытания в жизни дипломатического ведомства после начала Февральской революции мы, естественно, не могли игнорировать событие столь большой важности, как предстоящий уход министра, который в настоящих условиях мог означать только одно, а именно перемену внешней политики России по отношению к войне и союзникам. Через секретарей Милюкова В. К. Коростовца и А. Н. Соболева (последний за это время успел сделаться чиновником МИД, и мне пришлось экзаменовать его на вступительном дипломатическом экзамене) я узнал за несколько дней до ухода Милюкова о неминуемости этого события. В нашем комитете состояли люди вроде А. М. Петряева и князя Л. В. Урусова, которые в силу своего особого положения были не менее меня осведомлены о состоянии дел.

Не знали мы в этот момент, что среди нас имелось лицо, а именно князь С. А. Гагарин (он и я были секретарями комитета), который каждое наше слово передавал нашему будущему начальнику — М. И. Терещенко. Что из этого вышло, я расскажу ниже.

В то же время равноправным членом нашего комитета был В. К. Коростовец, секретарь Милюкова и человек, преданный ему совершенно. Отмечу, что он не принимал участия в заседаниях комитета тогда, когда определялась наша тактика по вопросу об уходе Милюкова. Это свидетельствует о его деликатности, но в то же время в кулуарах министерства, как мы стали называть наши министерские коридоры со времени Февральской революции, Коростовец самым энергичным образом агитировал за активную реакцию против ухода Милюкова.

Наш комитет знал о настроениях служащих ведомства, огромная масса которых, хотя и не сталкивалась с Милюковым в делах, но была осведомлена о его взглядах и симпатизировала ему. Думается мне, если бы Милюков сразу по своем вступлении в наше министерство принял иной тон в отношении слу-

жащих (как я отмечал, Милюков даже не обошел ведомство, как это делали все бюрократические министры, не исключая Штюрмера и Покровского), а не держал себя так же замкнуто, как Штюрмер (так, за время его управления дипломатическим ведомством Милюков ни разу не обращался к нам в общем собрании с какими-либо заявлениями или разъяснениями, что делал, например, Терещенко), то его уход вызвал бы еще более сильное волнение и придал бы ему личный характер.

По сложившимся обстоятельствам к Милюкову было разное отношение со стороны тех старших чинов, которым приходилось с ним иметь дело и которые жалели об уходе Милюкова как личности, и всей остальной массы служащих, которые опасались с уходом Милюкова найти перемену общей политики России и в то же время опасались разгрома министерства, так как всем в ведомстве было отлично известно, что девизом Милюкова было «сохранение не только прежней политики России, но и сохранение самого министерства». Для одних Милюков был живой личностью, для большинства же — символом, скрывавшим, однако, вполне реальные интересы. В силу этих разнородных мотивов настроение, царившее в нашем министерстве в эти дни, можно охарактеризовать как паническое.

Эта паника усилилась чрезвычайно, после того как стало известно, что с уходом Милюкова уходят барон Б. Э. Нольде и П. Б. Струве. Особое значение в глазах всех чиновников имел уход Нольде, так как, в отличие от Струве, Нольде был коренным чиновником министерства. Как всегда бывает в таких случаях, тысячи предположений возникали при мысли, что, уж если уходит Нольде, такой осторожный и расчетливый чиновник и такой ценный человек, значит, есть на это причины. Признаюсь, когда я узнал об уходе Нольде, я сам призадумался, так как я, который попал в министерство благодаря Нольде, теперь, оказывается, должен был пережить его в ведомстве.

Недолго думая, я отправился к Нольде проверить новость. Нольде встретил меня с самым беззаботным смехом: «Я только что учился, как писать прошение об отставке, и его уже

вручил». Увидя мое искренне огорченное лицо, Нольде принялся мне объяснять с большим жаром, почему он это сделал и как умно поступил. Должен прибавить, что как раз незадолго до этого Нольде был избран ординарным профессором Петроградского университета по кафедре международного права (до этого он был профессором Петроградского политехнического института), и это обстоятельство давало ему независимое положение, психологически заставившее его более легко отнестись к своей отставке. Мотивы, которые мне высказал Нольде и которые вынуждали его уходить вместе с Милюковым, были разные — это прежде всего неизбежность «сепаратного мира» с Германией (аргумент, навеянный Струве), к чему дело будто бы идет, затем то, что будущий министр М. И. Терещенко — молодой человек «чуть моложе вас» (на самом деле Терещенко был старше меня на несколько лет). Последний аргумент и был самым искренним.

Думаю, что Нольде, заслуженно вознесенный революцией на такой высокий пост, как пост товарища министра, только что получивший то, о чем мечтал давно,— кафедру по своей специальности в Петроградском университете, почувствовал внезапное отвращение к революции, после того как ему приходилось менять Милюкова на ничем не замечательного молодого человека Терещенко, которому только что исполнился 31 год. Личная обида двигала Нольде, а аргументы политического характера не имели серьезного значения, хотя бы потому, что уже в августе тот же Нольде, который в мае уходил из-за перспективы, весьма, впрочем, туманной в этот момент (сепаратного мира с Германией), предлагал этот самый сепаратный мир, как единственное средство выйти «достойно» из войны. Не углубляя обидной для Нольде темы касательно юности нового министра, я спросил его, что же делать нам и, в частности, мне, если он считает, что положение с сепаратным миром настолько угрожающее. Нольде опять рассмеялся: массовый уход — ни в коем случае, это будет дезорганизация ведомства; что же касается сепаратного мира, то он просто отмечает, куда все идет, так как уход Милюкова — «явно германское дело». В это время в кабинет Нольде с сияющим лицом вошел П. Б. Струве и заявил, что вручил Нератову

свое прошение об отставке. После этого двое верных сторонников Милюкова ушли, совершив произведший столь сильное впечатление акт, как разрыв с министерством.

Не успел я еще очнуться после столь знаменательного события, как уход Нольде, говоривший столь явственно о ненадежности революционных карьер, как меня позвали на заседание комитета Общества служащих для обсуждения создавшегося положения. Столь быстрый переход к действительности сразу же показал мне, что силою вещей наш исполком, как все исполкомы этого периода, был гораздо более насыщен электричеством, чем все прежние ведомства. Председательствовал Петряев, который очень нервничал. Он предложил нам, как бывает на военных советах, каждому высказать свое мотивированное мнение о том, как быть дальше. Вышло так, что я как секретарь комитета сидел рядом с Петряевым, и поскольку Петряев хотел высказаться последним как председательствующий, то первому пришлось высказаться мне.

Я сказал, что на основании всего, что я знаю, положение весьма серьезно, раз такое лицо, как Нольде, ушло из министерства вследствие официально высказанного им подозрения о надвигающемся сепаратном мире с Германией, и что нашему комитету придется отбросить все формальные соображения и вникнуть в международно-политическое положение настоящего момента. Я считал, что массовый уход как протест против ухода Милюкова по меньшей мере преждевременен, поскольку мы не знаем намерений нового министра, но, с другой стороны, в такой момент мы не можем молчать и должны до вступления в должность министра иностранных дел войти с ним в контакт и взять с него обязательство, что он не будет нарушать основных линий внешней политики России, самое же главное — не пойдет на сепаратный мир с Германией, так как в противном случае ему придется работать с новым составом дипломатического ведомства. Эти слова вызвали со стороны Петряева нервную реплику: «Но ведь это кондиции министру!» На это я ответил: «Совершенно верно, но если дело хотя бы отдаленно идет к сепаратному миру, нам надо сразу же выяснить нашу позицию».

Петряев, собиравшийся говорить после всех, но, по-види-

мому, совсем не подготовленный к моему выступлению, которое, как после выяснилось, отвечало общему настроению, произнес речь в том же нервном тоне, в каком вел все заседание. Правду сказать, я дважды только видел его в таком волнении — в момент ухода Милюкова и в момент его разговора в присутствии всего ведомства с Л. Троцким 27 октября 1917 г. Петряев убеждал нас, что слухи о сепаратном мире пущены со злостной целью. Когда я вставил слово о том, что это говорили Нольде и Струве, и присутствовавшие это подтвердили, Петряев первый раз снял маску, сказав, что, при всем личном уважении к Нольде и Струве, он полагает, что здесь говорят «личные мотивы, не соответствующие истинному положению вещей», что нельзя переоценивать в такой исторически важный момент роль отдельных личностей и уход Милюкова не означает разрыва с союзниками и выхода России из войны. Петряев говорил с большой силой и страстностью, и мне, только что расставшемуся с Нольде и Струве, особенно ярко выявились именно личные мотивы всех троих, из которых первый всячески преуменьшал значение ухода Милюкова, а другие (т. е. Нольде и Струве) старались придать ему характер национальной катастрофы.

Истина была не там и не здесь, мы это чувствовали, поэтому после решительного заявления Петряева о том, что в случае сепаратного мира никто из высших чинов не останется в министерстве, все высказывавшиеся отнеслись отрицательно к мысли последовать примеру Нольде и Струве и единодушно отвергли идею массового ухода из министерства, что, несомненно, в этот момент означало бы полную дезорганизацию всей дипломатической работы и поставило бы Временное правительство в невозможное положение. Петряев, получивший, таким образом, подтверждение того, что непоправимых последствий внутри ведомства одновременный уход Милюкова, Нольде и Струве не вызовет, старался подействовать на нас в том смысле, чтобы мы отказались от моего предложения, охарактеризованного им как «кондиции» министру.

Здесь, однако, я встретил решительную поддержку со стороны всех остальных членов комитета, причем всеми голо-

сами против председателя было решено послать к Михаилу Ивановичу Терещенко, нашему новому министру, делегацию в составе нашего президиума (Петряева, князя Урусова, князя Гагарина и меня), для того чтобы выяснить взгляд Терещенко на отношения к союзникам и Германии, то есть, по существу, его мнение о самом щекотливом вопросе всей внешней политики России со времени начала войны — о возможности сепаратного мира с Германией. При этом нам было поручено заявить самым недвусмысленным образом, что в случае хотя бы отдаленной возможности такого события весь личный состав ведомства вынужден будет покинуть министерство.

Таким образом, впервые наш комитет выступал уже не только с политической ролью, но и с чисто дипломатической — несомненное доказательство, с одной стороны, серьезности положения, а с другой — разложения министерского аппарата, недопустимого в условиях нормального государства. Хотя Петряев и был против этого шага и готов был придать ему вид представления комитета служащих новому министру, тем не менее он как опытный дипломат не отказался возглавить депутацию и сам взялся нам выхлопотать час для переговоров с министром. Петряев вышел из заседания комитета еще более взволнованный, нежели пришел, так как волей-неволей ему приходилось возглавить чиновничью фронду, чему он совершенно не сочувствовал, но уклониться от чего при настоящих условиях не мог.

Хотя решение комитета должно было оставаться в тайне, но, конечно, о нем знали все, и, как оказалось в дальнейшем, решительное выступление комитета имело самые благотворные последствия — во-первых, отрицательное отношение к мысли о массовом уходе вернуло весь ведомственный персонал к работе, а во-вторых, предстоящее выяснение вопроса о сепаратном мире с новым министром, о котором носились самые фантастические слухи, уничтожало все следы выступления Нольде и Струве с их демонстративной и столь шумно мотивированной отставкой. Вместе с тем рядом с официальным начальством вырастало новое, уже «революционное» (некоторые называли его «контрреволюционным») начальство, кото-

рое, как полагается в революционные времена, слушались больше официального.

Два дня, истекшие с ухода Милюкова до окончательного водворения М. И. Терещенко, прошли в больших хлопотах. Все высшие чины, в число которых с уходом Нольде попадал окончательно и я (так как за отсутствием Мандельштама, официального директора Правового департамента, я становился единственным юрисконсультом министерства), крайне жалели об уходе Милюкова, но единодушно утверждали, что Милюков сам не проявил достаточно гибкости и желания остаться на своем посту. Как бы то ни было, расставание носило самый сердечный характер, и говорили «до свидания», а не прощались навсегда. Оговариваюсь, что как Милюков пришел без торжественной «встречи», так же он и уходил без всяких общеведомственных «проводов». Последнее, конечно, более соответствовало моменту.

Михаил Иванович Терещенко

Относительно нового министра знали только то, что министерство иностранных дел было предложено сначала князю Г. Е. Львову, который отказался ввиду недостаточного знания иностранных языков. Что же касается Терещенко, то его лингвистический ценз был вполне удовлетворителен. Правда, кроме этого, он ни с какого бока не был причастен к дипломатии. Светская репутация у Терещенко в петербургском обществе имелась. По выражению Нератова, «он был человеком, в обществе распространенным». Кроме того, он служил некоторое время в конторе императорских театров, и один из наших молодых чиновников, служивший с ним в этом учреждении, был крайне поражен, что Терещенко оказался его начальником. От моих приятелей из министерства финансов, откуда к нам пришел Терещенко, я знал, что он был очень обходителен и приятен в личных отношениях, но что касается дел, то всегда ошибался в цифрах, говоря о миллионах вместо миллиардов, никак не умея приспособиться к финансам государства, все же превышавшим его миллионное состояние.

«Миллионер» в качестве одного из столпов революционного правительства — на дипломатическом языке Европы это было самым заурядным явлением и уж во всяком случае плюсом, а не минусом. Надо отдать должное Терещенко: будучи минист-

ром финансов, он сам вложил в Заем Свободы, им организованный, пять миллионов рублей, связав таким образом и себя и свою семью с Февральской революцией. Нератов одновременно с неизбежными хлопотами, падавшими на него в качестве управляющего ведомством (он «принимал» на своем веку пятого министра: после Сазонова — Штюрмера, Покровского, Милюкова и теперь Терещенко) и ставшими для него привычными, был озабочен данным ему Терещенко поручением найти заместителя Нольде на посту товарища министра иностранных дел — поручением тем более щекотливым, что этот заместитель Нольде в случае удачи мог оказаться и заместителем Нератова, что многие пророчили Нольде.

Нератов обратился ко мне, как я упоминал выше, с просьбой составить письменную справку о всех специалистах-международниках, которые могли по своему академическому цензу и свойствам характера подойти на пост товарища министра в столь ответственный момент. Нератов хотел найти заместителя Нольде из той же профессиональной среды, которая выдвинула Нольде. При этом Нератов сказал мне, что Терещенко не потерял еще надежды привлечь Нольде, но что он, Нератов, считает это безнадежным. Я передал Нератову мой разговор с Нольде, из которого явствовало, что последний имел свой собственный политический план. Дальше Нератов говорил о профессоре С. А. Котляревском: ему был предложен пост товарища министра при Терещенко, но он отказался. О Котляревском я не должен был упоминать в своей справке, так как эта кандидатура уже имелась в виду и ей отдавалось предпочтение перед всеми другими.

В самом деле, встретив в эти дни Котляревского и уговаривая его принять предложение, я выслушал от него весьма странное и весьма непрактичное предложение образовать особое юрисконсультское бюро при МИД, в которое должны были бы войти на равных началах он сам, Мандельштам и я. На это я мог только ответить ему, рассказав все условия работы в нашем ведомстве, где никакой коллектив не мог заменить живого человека.

Составив подробную справку о всех профессорах-международниках со всеми характерными данными и передавая

Нератову фантастический проект Котляревского, свидетельствовавший о полном незнании им условий живой практической работы, я спросил его, почему же на этот пост не выдвигается Мандельштам, тем более что его все это время вызывали из Швейцарии, где он застрял. На это Нератов ответил, что Мандельштам — естественный кандидат, но он настолько равнодушно относится к тому, что делается в России, что своим поведением не заслуживает такого поста. В этом отношении Нератов был прав, так как, несмотря на горячее поздравление Милюкову, посланное Мандельштамом, он с марта до мая не мог приехать из Швейцарии для занятия поста директора Правового департамента. Будь Мандельштам в Петрограде, он безусловно стал бы товарищем министра вместо Нольде. Как я отмечал выше, Мандельштам, не отказываясь от звания директора департамента, так до большевистской революции и не приехал в Россию.

В эти два дня после ухода Милюкова и до вступления в управление ведомством Терещенко князь Л. В. Урусов, товарищ председателя нашего комитета, и я в качестве секретаря дважды справлялись у Петряева об аудиенции у Терещенко по самому острому вопросу. Петряев жаловался, что новый министр еще не водворился в министерстве и пока ввиду крайне срочной работы принять нас не может. Наконец, нам назначили час в тот самый день, когда Терещенко должен был официально вступить в должность. Однако в 11 час. 30 мин. утра все ведомство было приглашено в апартаменты министра, и там состоялась наша первая встреча с М. И. Терещенко.

Высокий, с пробором посередине и профилем североамериканского краснокожего индейца, М. И. с несколько смущенной улыбкой стоял, окруженный чиновниками. А. А. Нератов, гораздо более смущенный, чем молодой министр, стал читать по записке свою приветственную речь. Когда раздались привычные слова, то невольно все члены нашего комитета переглянулись между собой, за исключением Петряева, смотревшего в землю. Дело в том, что вся речь Нератова была точным пересказом, конечно, в приемлемых выражениях, всего того, что говорилось на заседании нашего комитета. В сущности,

это была сжато, но в то же время полно отредактированная программа внешней политики, которую от лица всего министерства Нератов предлагал новому министру.

Мы ушам своим не верили, так как не ожидали от Нератова столько дипломатической ловкости: наши «кондиции», против которых так восставал Петряев на заседании комитета, теперь в еще более импозантной форме навязывались члену революционного Временного правительства. Было здесь и другое — «революция сверху» делала ненужной «революцию снизу», чиновничья фронда превращалась, таким образом, в легальный государственный акт. Слова Нератова о «нерасторжимой связи с союзниками» и о «незаключении сепаратного мира с врагом» были покрыты оглушительными аплодисментами, так что не ожидавший этого Терещенко с удивлением смотрел на эту явную демонстрацию. Красный от смущения Нератов закончил свою речь призывом к совместной работе «в духе освободительных традиций русской внешней политики», чем перекидывался мост между Февральской революцией и царской Россией в области дипломатии.

Терещенко начал свою речь намеком на наш комитет, заявив, что ему известны те опасения, которые существуют в ведомстве, но, прибавил он, «если среди вас есть люди, не сочувствующие моим взглядам, то ведь среди вас были и люди, не сочувствовавшие Штюрмеру и все же остававшиеся на службе». «Я прошу вас во имя России, прежде чем решиться на уход из министерства, присмотреться ко мне и моей работе и судить меня по моим делам, а не по слухам обо мне»,— сказал он дальше и подробно остановился на основных тезисах речи Нератова, с которыми он полностью согласился. В частности, относительно союзников и сепаратного мира он прямо сказал, что «мир может быть только общим и спасение России не может быть воздвигнуто на чужой крови».

Если откинуть несколько банальных фиоритур митингового характера, которые были неуместны в данной обстановке, речь Терещенко была ясным и недвусмысленным «да» на речь Нератова. Она давала нам полное удовлетворение и, к нашему удивлению, создавала впечатление предумышленного сговора Петряева, Нератова и Терещенко. Так оно и было, ибо все

трое боялись, что уход Милюкова, Нольде и Струве в окраске, которую Нольде и Струве хотели ему придать, может вызвать подражание у одних и брожение у других. С другой стороны, наш комитет с особенным удовлетворением мог констатировать, что благодаря мудрому тактическому шагу Нератова мы были избавлены от «переговоров», которые, несомненно, умалили бы авторитет нового министра.

По окончании этой сцены Терещенко пожелал познакомиться с нашим комитетом, и наш президиум — Петряев, Урусов, Гагарин и я — был ему представлен Петряевым. Терещенко очень мило и предупредительно сказал, что он не только не собирается ни в чем стеснять нашей «самодеятельности», но надеется на поддержку с нашей стороны. Такой прием нашего комитета министром, вызвавший у Петряева восторг своим мирным, если не сказать сердечным, тоном, после общего приема и речей Терещенко и Нератова сразу же установил отношения между ведомством и новым министром, далеко превосходившие по своей близости отношения с Милюковым. Правда, в то время как Милюков был крупной политической фигурой, всем нам известной пусть не лично, но своей деятельностью, Терещенко был совершенно неизвестным молодым человеком, однако, может быть, именно в силу этого последнего обстоятельства в отношениях с ним должен был царить более простой тон.

С первых же слов стало совершенно ясно, что Терещенко никакой своей «программы» не имеет и, наоборот, готов охотно следовать тому, что мы по обстоятельствам войны считали единственно возможной программой для России. Терещенко капитулировал с первого же дня перед ведомством, и вот почему уход Милюкова не имел никаких неблагоприятных последствий для дипломатической работы нашего ведомства. Слова Милюкова, слышанные мною так недавно с балкона Мариинского дворца о том, что, увидав надписи «Долой Милюкова», наш министр испугался не за себя, а за Россию, не оправдались, и той дипломатической катастрофы, которую он ожидал вследствие своего ухода, не произошло.

Терещенко оказался более гибким, чем Милюков, может быть, потому, что был неизмеримо более мягким человеком.

В этот день, когда за чайным столом в приемной у министра снова собрались все высшие чины, многие из которых вскоре вынуждены были уйти со своих командных мест, и обсуждали уход Милюкова, Нольде и Струве, все единодушно признали, что ушедшие просчитались: Терещенко, по-видимому, собирался вести милюковскую политику, но более гибко и послушно. Доктринерство милюковской позы по константинопольскому вопросу было налицо, так же как и политический просчет Струве и неудачный карьеризм Нольде. В лице Терещенко ведомство, как это ни странно, получило «своего» человека во Временном правительстве. Вместе с тем благодаря нератовскому маневру настроение всего министерства, даже самых ярых милюковцев вроде В. К. Коростовца, секретаря Милюкова, который снова вернулся в канцелярию под начальством Татищева, оказалось наилучшим, и бюрократический механизм заработал с полной исправностью.

То, чего не было в речи Терещенко и о чем все забыли под влиянием более важных вопросов, вроде вопроса о сепаратном мире,— это обещания «сохранить министерство» в том смысле, в каком это понимал Милюков, то есть полной сохранности личного состава ведомства. Правда, не было никаких угроз, что было бы несовместимо с примирительным тоном всей речи Терещенко. Это опущение было сделано сознательно и со стороны Нератова, и со стороны Терещенко. Дело в том, что Терещенко выдал некоторые векселя в смысле личных изменений в ведомстве. О векселях Терещенко знал Нератов, не знал он только одного, что в этих векселях имелось и имя Нератова как слишком уж типичного «царского бюрократа». Каким образом Нератов усидел, я расскажу ниже, теперь же закончу то, о чем наиболее беспокоились в министерстве после водворения нового министра, а именно о назначении заместителя Нольде, так как если бы это оказалось совершенно новое лицо с такими же новыми приемами, то само министерство и вся его политика приняли бы новый вид или же мы вступили бы в полосу серьезных испытаний.

Моя справка лежала у Нератова. Дня через два после прихода Терещенко, когда мне пришлось быть по очередному делу у Нератова, он спросил меня, не могу ли я дополнить

24 Зак. № 24

справку еще другими лицами, так как все те, которых я изобразил в записке, после доклада Временному правительству и окончательного отказа Котляревского стать заместителем Нольде в МИД оказались забракованными по разным причинам. Временное правительство забраковало и Мандельштама, хотя он тоже значился в записке и за него особенно ходатайствовал Петряев. Причиной явилось, как я слышал, слишком горячее приветствие Милюкову и слишком холодное отношение затем к своему делу. Но если Мандельштам и не был повышен, то не был он и лишен своего звания, несмотря на то, что и на новый призыв Терещенко он не приехал. Довольно яркий, казалось бы, пример нарушения служебной дисциплины остался безнаказанным.

В ответ на мой отказ назвать новых кандидатов на пост товарища министра Нератов сказал мне с улыбкой: «Тем хуже для вас, так как у вас будет некомпетентный начальник и вам придется нести единолично обязанности юрисконсульта». Я спросил, скорее из вежливости, о моем прямом начальнике Мандельштаме и получил стереотипный ответ: «Мы ему послали телеграмму». Через несколько дней после этого на место Нольде был назначен Александр Михайлович Петряев. Назначение это, первое при Терещенко, было соответствующим образом представлено широкой публике. В биографической газетной заметке указывалось на «демократическое» происхождение Петряева, его отдаленность от придворных интриг, его знания, работоспособность и т. д. Не лишено значения, что впервые «демократическое» происхождение становилось положительным, достойным газетной рекламы качеством. Но гораздо интереснее было то, что именно председатель нашего комитета служащих становился прямым начальством над всем личным составом министерства, так как заведование кадрами служащих входило в компетенцию второго товарища министра.

Думаю, что помимо всех объективных заслуг Петряева и пресловутого «демократического происхождения» одной из главных причин была именно его популярность среди служащих. Это, возможно, была и награда Петряеву за умелую ликвидацию грозившего принять серьезную форму личного кон-

фликта между Терещенко и ведомством в связи с уходом Милюкова, Нольде и Струве. В самом деле, без того, что можно было бы назвать, с милюковской точки зрения, «предательством» Петряева в отношении комитета и что в действительности было единственным достойным выходом из положения, уход Милюкова никогда не прошел бы так бесследно. Терещенко был обязан Петряеву. Как далеко зашел их предварительный сговор и обещал ли Терещенко Петряеву с самого начала пост товарища министра, я не знаю, но думаю, что этого не было, так как мне известно, что Терещенко несколько раз до назначения Петряева пытался склонить Нольде взять обратно свою отставку.

Новое окружение министра

Назначение Петряева товарищем министра очевидно лишило его возможности занимать выборную должность, тем более должность председателя нашего комитета. Он созвал для этой цели наш комитет и в прощальной речи сказал, что надеется и впредь на поддержку комитета и со своей стороны станет всегда привлекать его в тех случаях, когда это будет вызываться обстоятельствами. На это наш товарищ председателя, теперь председатель комитета, князь Л. В. Урусов, которому было суждено сыграть такую выдающуюся роль при начале саботажа осенью 1917 г., ответствовал с необычайной серьезностью, сказав о «предстоящих испытаниях», которые, быть может, заставят все министерство искать спасения в нашей организации. Это было смело, показалось некоторым претенциозным, но оказалось пророческим.

В знак того, что мы не рвали с А. М. Петряевым, мы предложили ему почетное председательство в нашем комитете, что он с благодарностью принял. На место Урусова, то есть товарища председателя, мы выбрали Владимира Ивановича Некрасова, бывшего раньше генеральным консулом в Персии, человека, как оказалось, имевшего непосредственные отношения с некоторыми влиятельными членами Временного правительства. Через несколько дней после этого фон Клемм, бывший давно уже начальником Среднеазиатского отдела, был уволен и на его место был назначен В. И. Некрасов. Положительно, наш комитет становился силой, тем более что Некрасов продолжал и после назначения оставаться товарищем председате-

ля комитета. За этими назначениями последовали и другие, на место Петряева на столь важный в дипломатическом отношении пост, как пост начальника Ближневосточного отдела, был назначен Алексей Константинович Беляев. Все три новых назначения — Петряева, Некрасова и Беляева — отличались тем, что они решительно рвали с нашим традиционным делением всей ведомственной службы на дипломатическую и консульскую, так как все три вышеназванных лица шли до сих пор по консульской службе, а попадали вдруг на чисто дипломатические места, при этом крупного политического значения.

Таким образом, новый молодой министр, так мило пошедший навстречу ведомству по самым существенным вопросам внешней политики, явно окружал себя новыми людьми — испытанный способ для перемены политического курса. Однако то обстоятельство, что все отмеченные назначения касались людей, в ведомстве популярных, говорило в пользу сохранения хороших отношений между министром и ведомством, и второе назначение министра Февральской революцией не имело катастрофического характера в дипломатическом отношении. Лозунг «сохранения министерства», выдвинутый Милюковым, несмотря на некоторые личные перемены в персонале ведомства, проводился неуклонно и М. И. Терещенко во все время его управления министерством.

Самым опасным моментом в этом отношении был вопрос об уходе Нератова — вопрос, решенный Терещенко в самый момент его прихода в министерство. Уже и прежде в печати левее кадетов указывалось на Нератова как на цитадель царской дипломатии. Неудивительно поэтому, что, как только Петряев был назначен товарищем министра, Терещенко прямо сказал ему, что думает уволить Нератова и назначить его, Петряева, на место Нератова, то есть сделать его своим первым помощником во внешней политике. На это, однако, Петряев не согласился, к его чести, и стал убеждать Терещенко, что ему как молодому человеку и совершенно неопытному в дипломатии не следовало бы с таким легким сердцем увольнять людей, которые могут ему пригодиться. Он тут же рассказал, какую роль Нератов играл до сей поры в министерстве.

Терещенко несколько раз возвращался к мысли об увольн-

нении Нератова, но смелый все же для подчиненного лица аргумент Петряева о молодости и неопытности самого Терещенко в таком деле, как внешняя политика, был настолько убедителен, что Терещенко вскоре сам стал ярым защитником Нератова и отстоял его от всех нападок в прессе и Временном правительстве. Влияние Нератова при Терещенко возросло еще более, чем при Милюкове, так как, в отличие от последнего, Терещенко не имел своих собственных взглядов, не говоря уже о какой-то программе внешней политики, а для того чтобы идти по проторенной дорожке, у Терещенко не могло быть более удачного советника, чем Нератов. Полное отсутствие самостоятельности и та «молодость и неопытность» нового министра, о которых так бесстрашно говорил Петряев ему в лицо, делали из него послушное орудие в руках ведомства, чем и объясняется то, что хорошие отношения между министерством и Терещенко продолжались до самого конца, то есть до большевистской революции.

Говоря о личных переменах, сопровождавших уход Милюкова, следует помимо характеристики Петряева, которую мне пришлось уже сделать раньше, остановиться на замене Клемма Некрасовым в Среднеазиатском отделе, что оказало впоследствии немалое влияние на всю внешнюю политику России в Средней Азии. Мне уже приходилось упоминать о том, что фон Клемм был одним из немногих убежденных «германофилов» министерства, которому даже пришлось во время войны изменить свое имя Вильгельм на Василий («Василий Оскарович» вместо «Вильгельм Оскарович», как фон Клемм обозначался во всех ежегодниках МИД до 1914 г.). В области среднеазиатской политики Клемм был автором знаменитого Потсдамского соглашения 1911 г., по которому Германии предоставлялись равные права с Россией в Северной Персии, что в свое время вызвало бурные объяснения Сазонова с Францией и Англией.

С начала войны Клемм не мог быть явным германофилом, ему пришлось скрыть не только свое настоящее имя, но и свои убеждения, и так как у власти был Сазонов, который, когда речь шла о его персонале, не любил ставить вопрос о германофильстве, то Клемм осторожно вел в Персии свою линию,

заключавшуюся в том, чтобы не увлекаться союзными отношениями с Англией, а воспользоваться затруднениями последней, мешавшими ей поддерживать прежнюю интенсивную связь через Индию с Южной Персией. Несмотря на войну, наш вывоз в Персию сильно увеличился не только за счет германского, который исчез, но и за счет английского, который только после большевистской революции достиг цифры русского вывоза. Клемм не мог оставаться в 1914—1917 гг. германофилом в среднеазиатской политике, но он умел придавать ей завуалированный антибританский характер. При Милюкове Клемм продолжал свою политику, отражавшуюся весьма неблагоприятно на общем тоне русско-английских отношений, в которых персидский или, точнее, индусский вопрос играл всегда очень крупную, если не первую, роль. Бьюкенен во время войны не раз жаловался на Клемма всем министрам, но Клемм умел искусно выставлять эти упреки как доказательство правильности своей линии поведения.

Когда Терещенко вступил в управление дипломатическим ведомством, то, как это ни странно, среднеазиатский вопрос был одним из первых, привлекших его внимание. Объясняется это обстоятельство тем, что на место Клемма уже с самого начала Февральской революции имелся готовый кандидат в лице В. И. Некрасова, бывшего к моменту прихода Милюкова в числе опальных консулов не у дел.

На нем нельзя не остановиться, так как в последующей истории МИД ему пришлось сыграть большую роль. Некрасова до Февральской революции я просто не знал, зато с первых же дней революции он появился в министерстве и принял самое решительное участие, даже чрезмерное по своей горячности, в образовании Общества служащих и при выборах попал от Среднеазиатского отдела в состав комитета. Из этой должности Некрасов сделал базу для своей карьеры. Не имея, в сущности, никаких обязанностей в министерстве, Некрасов был из числа тех немногих, кто «выборным» путем завоевал себе в министерстве крупное положение. Несмотря на свой добродушно-толстый, чисто русский, даже купеческий вид, Некрасов оказался ловким малым, и, афишируя свои левые убеждения и критикуя беспощадно старые порядки, он из

опальных царских консулов стал der kommende Mensch*.

Не берусь судить, в какой мере прежняя опала была заслужена им, но что дорогу Некрасов пробил себе сам, не брезгуя своими общественными связями и знакомствами при Временном правительстве,— это верно. К этому нужно прибавить еще и дружбу Некрасова с Петряевым. Петряев, не нуждавшийся ни в какой демагогии и двигавшийся в силу объективных данных, однако, серьезно поддержал Некрасова и, став товарищем министра, очень быстро сделал или, вернее, помог Некрасову сделаться начальником Среднеазиатского отдела. Петряев свел Терещенко с Некрасовым. Терещенко был немало поражен всем тем, что он услышал от Некрасова о персидских делах, и как человек, не имевший собственного плана по среднеазиатской политике, с удовольствием готов был усвоить обширные планы Некрасова, который за время своей опалы успел продумать среднеазиатский вопрос до последних деталей, вплоть до консульского личного персонала в Персии.

На первом же докладе Клемма Терещенко ошарашил его своей «осведомленностью». Или Клемм был не в ударе, или Терещенко был слишком хорошо настроен Некрасовым, но Терещенко остался недоволен Клеммом и разошелся с ним коренным образом во взглядах на персидский вопрос, самый важный в нашей среднеазиатской политике. Клемм был уволен, его заменил Некрасов, принявшийся за энергичную чистку консулов в Персии. Должен прибавить, что Некрасов был одним из деятельных помощников Петряева в смысле «демократизации» ведомства — работа крайне неблагодарная, так как по условиям дипломатической службы, требующей разностороннего образования, фундаментального знания иностранных языков и, наконец, известной материальной обеспеченности, так как на расходы по представительству казенных средств было недостаточно, служебный персонал представлял результат несомненного социального отбора.

Для того чтобы провести «демократизацию» дипломатического ведомства в точном смысле слова, необходима была полная перемена всех условий дипломатической службы —

---

* Человеком с будущим *(нем.)*.

реформа, потребовавшая бы от государства и серьезных денежных затрат. Этого при Временном правительстве сделано не было — ни Милюков, ни Терещенко серьезно об этом не думали, и объективная обстановка была не такова, чтобы этим заниматься. Ниже я укажу, в чем выразились перемены в этом направлении и кто играл в этом главную роль. Теперь же, считаю, необходимо вернуться к тому положению, которое создалось при появлении в нашем ведомстве нового министра.

«Лексикологическая революция»

М. И. Терещенко должен был внести новый тон в отношения с союзниками, иначе замена Милюкова не имела бы вовсе никакого политического значения. Этот новый тон Терещенко и старался внести как во внешних формах, так и по существу, прежде всего в главном вопросе продолжения войны и ее целей. Если Милюков хотел сделать внешнюю политику Временного правительства совершенно неотличимой как по своим методам, так и по своим задачам от политики царского правительства, сохраняя в точности все установленные формы и добросовестно принимая на себя все царское наследство в дипломатической области, то Терещенко стремился, не выходя, правда, из общих рамок дореволюционной политики, поставить себя по-новому как представитель революционного и демократического правительства, которое не может говорить тем же языком, что и царское.

Милюков, подавленный тяжестью той ответственности, которая лежала на нем, прямо стремился доказать, что внешняя политика февральской России в полном смысле тождественна прежней, царской. Вот почему нельзя не отметить, что Милюков не требовал — это не вызывалось, по его мнению, объективными обстоятельствами — отзыва аккредитованных при царском правительстве послов Франции, Италии, Англии и Североамериканских Соединенных Штатов, между тем как Терещенко потребовал этого, и двое послов — Франции (Палеолог) и Североамериканских Соединенных Штатов (Френсис) — были отозваны. Это обстоятельство, кстати сказать, обусловленное традициями дипломатии, имело не только символическое значение — показать различие между царским правительством и Временным, но и практическое, так как, действительно, поднимать вопрос о пересмотре «целей вой-

ны» при тех же самых людях, с которыми русское царское правительство говорило в совершенно ином тоне, значило вызывать с их стороны подозрение в неискренности и в стремлении коренным образом изменить политику России.

Терещенко поступал в этом отношении более правильно и гибко, чем Милюков, который стал жертвой собственной нерешительности: он слишком ясно дал понять Бьюкенену и Палеологу, что февральский переворот имеет только «внутреннее значение», а затем не имел мужества сознаться, что ошибся, ибо такое огромное событие, как падение монархии, в столь обширной стране, как Россия, не могло быть только внутренним явлением. Отсюда и доктринерская позиция в константинопольском вопросе, погубившая Милюкова.

Первым актом Терещенко была отсылка той самой ноты союзникам, которая была столь неудачно сформулирована Милюковым и вызвала первый кризис Временного правительства. Эта нота была составлена так, что в нее были включены сакраментальные и логически противоречивые слова «без аннексий и контрибуций, но на основании самоопределения народов». Никаких конкретных указаний на то, что Россия отказывается от своих прав, обусловленных тайными договорами с союзниками, в ноте не содержалось. Таким образом, и Терещенко ни от каких будущих завоеваний России не отказывался. Что же касается вышеприведенной двусмысленной формулы, то расшифровывать ее можно было как угодно — и в том смысле, что «аннексии», то есть присоединение к государству чужих земель, допустимы только на основании «самоопределения народов», и в том смысле, что status quo ante bellum*останется и после войны. Последнее толкование было явно неправильно, так как национальный принцип, содержащийся в формуле «самоопределение народов», явно не допускал сохранения территориального status quo. Иными словами, для преодоления того логического противоречия, которое имелось в первой части формулы — «без аннексий» и второй — «на основании самоопределения народов», приходилось создавать новое понятие аннексий как присоединения земель

---

* Положение, существовавшее до войны *(лат.)*.

по праву завоевания, не считаясь с национальным принципом, и противопоставлять ей «дезаннексию» (как это немедленно сделали французы, объявившие присоединение Эльзаса и Лотарингии к Франции «дезаннексией»).

Эта чисто лексикологическая революция, на которую не пошел слишком малоприспособленный к дипломатическим тонкостям Милюков, с мальчишеской легкостью и в конце концов без вреда для России была произведена Терещенко. Борис Алексеевич Татищев, бессменный начальник канцелярии министра при Штюрмере, Покровском, Милюкове и Терещенко, которому была поручена первая редакция роковой для Милюкова ноты, так же как и вторая ее редакция, одобренная Терещенко и новым составом Временного правительства, сам говорил мне в то время, что он лично не понимал ясно, что́ писал, так как и в его голове указанная лексикологическая революция не укладывалась. Но он сделал, как образцовый чиновник, то, что требовало от него начальство, которое и несло ответственность за логическое противоречие написанного.

А что из этого вышло? Во всяком случае, не то, чего ожидал Милюков. Союзники, конечно, вскрыли вышеразъясненную несообразность и, выдумав слово «дезаннексия» и сделав ударение на «самоопределении народов», то есть на второй части формулы, спокойно приняли требования Временного правительства. Испуг Милюкова за Россию, как показали обстоятельства, был напрасен, и, в сущности, его самоустранение, именно благодаря тому, что его преемник менее глубокомысленно отнесся к словесной эквилибристике, в то время бывшей в моде, оказалось лишенным политического смысла, так же, впрочем, как и уход Нольде и Струве.

Достаточно было провести 10 минут в обществе Терещенко, чтобы убедиться, что это не тот человек, который мог бы произвести столь гигантский шаг, как сепаратный мир с Германией, в условиях до октябрьского переворота. Наоборот, чтобы вести политику по инерции, Терещенко был более пригоден, чем Милюков с его крупной индивидуальностью и доктринерским умом. В личных отношениях с ведомственным персоналом Терещенко был не менее хорош, чем Милюков, отлично сознавая случайность своего появления на большой диплома-

тической сцене. Всем, кому приходилось сталкиваться с Терещенко, было легко с ним служить. Он быстро схватывал суть дела. Личной творческой инициативы у него не было, но была незаурядная гибкость, позволявшая ему свободно переходить из Совдепов в дипломатические канцелярии. В ведомстве его считали «способным учеником», но не пророчили никакой особо блестящей карьеры.

Терещенко стремился внести новое и в методы дипломатической работы, не всегда, впрочем, удачно. Так, например, при своем первом приеме Френсиса, посла Североамериканских Соединенных Штатов, Терещенко, отлично владевший английским языком, процитировал чуть ли не всю американскую Декларацию о независимости, поразив Френсиса своей памятью (трюк довольно простой), но когда тот захотел перейти к русским делам, Терещенко, не успев приготовиться и боясь наговорить лишнего, вежливо, но решительно прекратил разговор, так что Френсису пришлось ретироваться. Эта неловкость привела впоследствии Терещенко, вообще самолюбивого молодого человека, к правильной мысли о замене послов, бывших при царском правительстве.

Другое обстоятельство также укрепило его в этой мысли. На сей раз это не была простая оплошность неопытного министра иностранных дел, а неудавшееся нововведение. Дело в том, что с самого начала войны, ввиду трудности дипломатического положения и необходимости самого тесного общения с союзниками, Сазонов установил ежедневные приемы союзных послов, где запросто в присутствии Нератова обсуждались все текущие дипломатические дела. Эта простая и в то же время в высшей степени эластичная форма общения имела и то преимущество, что между английским и французским послами и русским министром иностранных дел царило наглядное доверие. К тому же то, что Сазонов и Нератов говорили одновременно двум послам, устанавливало единый дипломатический англо-французско-русский фронт (позже прибавилась и Италия). Ежедневные приемы для союзных послов сохранили и Штюрмер, впрочем, нередко передававший эту честь Нератову, и Покровский, и, наконец, Милюков.

Терещенко решил принимать их по отдельности, как было

до войны, и при этом сознательно стал говорить каждому из послов (Франции, Великобритании и Италии) разное, в зависимости от той или иной заинтересованности в данном вопросе той или иной из этих стран. Этот прием оказался слишком прозрачным для таких опытных дипломатов, какими были союзные послы, и имел самое отрицательное значение для Терещенко, так как по окончании переговоров союзные послы встречались и друг другу передавали то, что им конфиденциально говорил Терещенко. Общесоюзническая солидарность была гораздо теснее, чем думал Терещенко, и чтобы не создавать себе репутацию двуличного и неискреннего дипломата, Терещенко пришлось отказаться от своего нововведения и снова вернуться к ежедневным общим приемам одновременно всех союзных послов. За исключением этих faux pas нового министра, после происшедшей затем смены североамериканского и французского послов отношения у союзников с Терещенко наладились, они увидели, что тот совсем не так хитер, как хотел вначале казаться.

Наскок на консульскую службу

Мое положение в министерстве после ухода Милюкова и Нольде и с назначением Петряева изменилось в том смысле, что я оказался единственным юрисконсультом, единственным квалифицированным международником в ведомстве, и, поскольку не было никакой надежды на близкий приезд Мандельштама, мне приходилось справляться с головокружительным количеством дел, тем более что наверху ни сам Терещенко, ни Нератов, ни Петряев не решали ни одного вопроса, имевшего хотя бы отдаленный юридический или международно-правовой характер, без совещания со мной. Ко всему этому прибавилось и назначение двух новых начальников политических отделов — Ближневосточного, которым управлял А. К. Беляев, человек, знакомый с Ближним Востоком, но новый на посту начальника отдела, и Среднеазиатского, новым начальником которого стал В. И. Некрасов.

Это были отделы, которые всегда давали мне много работы, так как считали себя по своему восточному положению избавленными от необходимости обладать хотя бы элементарными знаниями в области международного права. К этому прибавилась Февральская революция, которая, по мнению этих отде-

лов, должна была отразиться на нашем международно-правовом положении на Востоке. Наши консулы в Персии, например, были напуганы уходом Клемма, а чистка консульского состава, которой занялся там Некрасов, приводила их прямо в панику. Я стал получать груды дел, которые отсылались для окончательного решения в Петроград, для того чтобы там одобрили предполагаемое решение и проверили, «согласуется ли оно с революционным (без кавычек) законодательством Временного правительства». Такого рода предосторожность наших консулов отражалась самым губительным образом на ходе дел, так как приводила к совершенно ненужным проволочкам — иногда в несколько месяцев.

Между тем первое время Некрасов поощрял подобную практику, разослав, как оказалось, специальный циркуляр от своего отдела, с тем чтобы наши консулы всегда соблюдали букву и дух «революционного законодательства Временного правительства». Нетрудно представить, что́ эти консулы переживали, получив такой грозный циркуляр, в особенности когда при этом началась всеобщая административная чистка. Самым простым способом предохранить себя от неприятностей была, таким образом, отсылка дела из Персии в Петроград — это в военное-то время! Когда дождь персидских дел на меня посыпался, то я самым энергичным образом обрушился на Некрасова, чтобы он образумил своих персидских консулов, так как у меня и без этого дел самых неотложных было больше чем нужно. Некрасов в конце концов должен был уступить и разослал новый циркуляр, который означал в сущности уничтожение первого, а именно предлагал все дела решать на основании «действующих узаконений», о которых они могли справляться по сенатскому Собранию узаконений и распоряжений Временного правительства. Так как, однако, начальственный престиж не позволял просто отменить предшествующий циркуляр, а, наоборот, в новом циркуляре имелась ссылка на старый, да и новый циркуляр был издан «в дополнение и развитие предшествующего», то путаница получилась невероятная.

Поток этих дел я так и не смог остановить и приспособил для этой цели моего помощника М. Н. Вейса, который с ангель-

ским терпением искал в них какой-либо «казус», которого в огромном большинстве не было. Хотя отношения у меня лично с Некрасовым были неплохие, но за то, что он из явно демагогических соображений увеличивал количество ненужной работы, я над ним подсмеивался, он же очень горячо убеждал меня, что чистит авгиевы конюшни и что я не имею ни малейшего представления о том отвратительном положении, в котором находится наше консульское дело на Востоке. Я с ним на эту тему не спорил и даже соглашался, не желая вмешиваться в чужие дела, но не мог скрыть, что рассылка подобных циркуляров только ухудшала положение.

Должен сказать, что вообще на постановку консульского дела обращалось много внимания в ведомстве при Терещенко — потому, прежде всего, что как раз при нем ряды его ближайших сотрудников стали пополняться из консульской среды, да к тому же консульское дело было всегда ахиллесовой пятой ведомства. Едва Терещенко вступил в должность, как его сразу же натолкнули на этот вопрос, изобразив его в самых мрачных красках. Инициатором был Петряев, в чье ведение как второго товарища министра иностранных дел, заведующего хозяйственными делами и личным составом ведомства, этот вопрос прямо входил. Это было в самом начале деятельности Терещенко, когда он, не успев ознакомиться с ведомством и находясь под впечатлением Каноссы*, устроенной ему нашим комитетом и Нератовым, был в несколько раздраженном и недоверчивом состоянии, и результат получился неожиданный.

Никого не спросив, Терещенко обратился с письменным предложением в министерство юстиции запросить все советы присяжных поверенных об имеющихся у них кандидатах на консульские посты. Когда все это стало известно и к нам стали поступать запросы и предложения от представителей адвокатского сословия, то в министерстве поднялось небывалое волнение, так как если бы проект Терещенко осуществился, то вообще вся система дипломатической и консульской

* Замок в Северной Италии, где в XI в. император Священной Римской империи Генрих IV, вступивший в конфликт с папой римским Георгием VII, вынужден был униженно просить прощения у своего противника. В переносном значении «пойти в Каноссу» — бесславно капитулировать.

службы как совершенно обособленной отрасли государственной службы рухнула бы. Тем более, что как ни плоха была постановка консульской службы, от такого поистине «революционного» приема она не улучшилась бы. Можно сказать обратное: очевидно, не лучшие, а худшие элементы адвокатуры пошли бы на эти места, а рекомендация советом присяжных поверенных не явилась бы, надо думать, достаточно надежной для консульской службы.

Помимо всего сказанного, такое радикальное разрешение дела ставило в невыносимые условия тех консульских чиновников, которые годами дожидались своих постов и теперь увидели бы их занятыми людьми, совершенно к этому неподготовленными. Мало того, Терещенко был не прав и с точки зрения юридической, так как у нас имелась сеть законодательных и циркулярных распоряжений прежних министров иностранных дел, которые касались порядка прохождения дипломатической и консульской службы. Их Терещенко мог отменить, но до отмены они продолжали действовать.

Все эти мотивы, вместе взятые, заставили того же самого Петряева, который все дело затеял, и Нератова показать Терещенко легкомыслие и опасность предприятия, им начатого. Выяснилось при этом, что Терещенко не был в курсе мер, принятых его предшественниками, а именно комиссии под председательством И. Я. Коростовца по реформе министерства, а также не знал о существовании выработанного еще до войны и представленного в IV Государственную думу проекта нового Консульского устава, который министерство предполагало провести через Временное правительство. Легкомысленный шаг Терещенко, который мог прямо дезорганизовать всю консульскую службу ведомства, был только отчасти ликвидирован его же письмом министру юстиции с просьбой уведомить советы присяжных поверенных о том, что нужда в консульском персонале прекратилась.

Однако если так можно было формально остановить дело, то фактически возникли претензии, с которыми не так-то легко было в эти времена справляться. Многие присяжные поверенные действительно, узнав о возможности занять вакантные консульские должности (которых на самом деле

не было), стали добиваться при помощи разных протекций консульских мест, и, несмотря на все сопротивление того же Петряева — виновника происшествия, известное количество консульских мест пришлось отдать ловким адвокатам. Это обстоятельство ни в малейшей мере не способствовало оздоровлению консульской службы, но имело отрезвляющее действие на некоторых лиц, ожидавших, что Февральская революция вознесет их, в противоположность царскому времени, почему-либо неблагоприятствовавшему их карьере. Но оно послужило и на пользу людям вроде Петряева и Некрасова, слишком легко усваивавшим новый язык.

Пресловутая комиссия И. Я. Коростовца, в которой и мне пришлось участвовать и которая занималась тем, что на казенном языке именовалось «реформой порядка прохождения службы в МИД», то есть, в сущности, всей постановкой будущей дипломатической и консульской службы, по своему составу была общественно-бюрократической в том смысле, в каком вообще можно говорить об «общественности» в пределах бюрократического аппарата, а именно она состояла из представителей нашего Общества служащих, точнее, его комитета, и из начальства, но так как все члены комиссии были чиновниками того же ведомства, то она, конечно, была учреждением чисто бюрократическим, однотипным. Отсюда, не вызвав того интереса, которого эта комиссия заслуживала в государственном отношении, она, не без вины ее председателя, стала центром всяческих чаяний и упований отдельных лиц, стремившихся приспособить некоторые стеснительные требования наших прежних министерских циркуляров к своим личным условиям.

Мало того, из предшествующих попыток в этом роде, замечательных, но, увы, не осуществленных, надо отметить проект реформы, который был подробно разработан еще до войны, в 1914 г., в записке Б. Э. Нольде и который у него не хватило времени выдвинуть в период своего пребывания на посту товарища министра при Милюкове. Записка Нольде была ныне извлечена из архива и подвергнута всестороннему обсуждению. По мере того как шло обсуждение, первоначальное рвение, необычайная широта замысла и охват пред-

мета уменьшались. Внезапно работа была прервана упомянутым обращением Терещенко к советам присяжных поверенных. Члены комиссии приняли это как дискредитацию всего ведомства его главой и нашли, что такой способ действия не только не дает уверенности в том, что новый министр достаточно внимательно вникнет во все подробности этого государственно столь важного дела, но, наоборот, при обсуждении проекта во Временном правительстве может вызвать совершенно неожиданный оборот дела. К тому же, хотя и справедливая сама по себе, критика старых порядков министерства может сильно подорвать доверие к ведомству со стороны нового министра.

Все эти соображения заставляли быть осмотрительными. Комиссия поручила своему председателю И. Я. Коростовцу переговорить и с Терещенко и с Петряевым о необходимости пресечения недопустимых шагов, вроде указанного обращения к русскому адвокатскому сословию относительно кандидатов на консульские места. Между прочим, это обращение Терещенко совпало с решением Временного правительства назначить послом в Париж В. А. Маклакова. Это совпадение, конечно, чисто случайное, создавало такое впечатление, что вообще Февральская революция сразу открывает двери в дипломатическое ведомство всем пришлым элементам и необходимый подбор и преемственность дипломатической службы будут вконец разрушены.

После этого постепенно деятельность комиссии стала замирать, своевременность широкого поднятия вопроса о реформе министерства как-то стала неясной и боязнь разгрома всего ведомства сделала из этой так восторженно начавшей свою работу комиссии самое мертвое место в министерстве. Единственный итог работы комиссии заключался в том, что был выработан новый опросник для составления служебного формуляра, где вместо традиционных упоминаний сословия поступающего на службу, его родового и благоприобретенного имущества, орденов, чинов и т. д. были введены новые графы и вместо этих сведений, которые просто опускались, были включены сведения касательно образовательного ценза, ученых званий, научных трудов, командиро-

25 Зак. № 24

вок и т. д. Новый образец формуляра, несомненно, перегибал палку в сторону научных требований, что для огромного большинства служащих во всех министерствах иностранных дел мира было подвохом, так как, за исключением разве Юрисконсультской части, ученый элемент в чистом смысле слова отсутствовал. Эта поистине «самодельщина» в то же время была слишком незначительной переменой, чтобы комиссия Коростовца или же М. И. Терещенко могли гордиться коренной реформой дипломатического ведомства.

Несостоявшийся дебют В. А. Маклакова

Неизмеримо интереснее был вопрос о притоке новых людей на службу в МИД. В этом отношении, за исключением некоторых высших дипломатических постов, отданных лицам, доселе не принадлежавшим к составу ведомства, как-то: назначение послом в Североамериканские Соединенные Штаты Б. А. Бахметьева, о чем я упоминал при описании министерствования Милюкова, В. А. Маклакова — послом в Париж, М. А. Стаховича — в Мадрид и И. Н. Ефремова — в Швейцарию, кроме некоторых консульских фильтраций со стороны и замены аутсайдера П. Б. Струве его более чем неудачным учеником Н. Н. Нордманом на посту директора Экономического департамента, в центральное ведомство посторонние элементы проникали обычным путем, то есть через вступительный дипломатический экзамен, где мне приходилось их экзаменовать по международному и государственному праву.

Эти вновь поступающие при Терещенко были те же самые элементы, которыми пополнялись кадры служащих в прежнее царское время, то есть окончившие университет, лицей и правоведение, несмотря на то что эти привилегированные учреждения уже не существовали в прежнем виде; принимались даже воспитанники Пажеского корпуса. Наконец, я помню, как один из первых экзаменовавшихся был уже чиновник Государственной канцелярии Бутурлин, бывший лицеист, человек под 40 лет, который принимался с нарушением наших правил, дозволявших прием в министерство лицам до 27-летнего возраста.

Все это указывало на то, что практически, несмотря на смелый (можно сказать даже, демагогический) шаг Терещен-

ко с призывом к сословию присяжных поверенных, новый министр и в отношении подбора служащих министерства шел по старой дороге. Так как мне и в прежнее время приходилось экзаменовать поступающих, то, на мой привычный взгляд, поступавшие к нам в министерство при Терещенко ничем не отличались от тех, кто поступал в царское время. И тогда бывали случаи вроде Бутурлина.

В одном только отношении чувствовался переход к новой «парламентской» системе — это высшие дипломатические места за границей, которые, если бы Временное правительство продолжало действовать, стали бы, несомненно, целиком уделом не профессиональных дипломатов, а счастливых политиков или, как у нас говорили злые языки по случаю назначения В. А. Маклакова, «очередных ораторов». Что касается этого последнего назначения, то я не могу не рассказать здесь его историю ввиду той важности, которую для России всегда представлял пост русского посла в Париже, в особенности со времени франко-русского союза.

До Февральской революции этот пост занимал Извольский, то есть наиболее крупный русский дипломат, каким могло располагать дипломатическое ведомство. Еще при Милюкове, как я отметил выше, были отставлены Извольский от своего поста в Париже и Сазонов от своего назначения в Лондон. Я уже говорил, что сама обстановка увольнения Сазонова (и одновременно Извольского) указывала на внешнее давление, оказанное на Милюкова. Тогда же, еще при Милюкове, был поставлен вопрос о парижском заместителе Извольского. В Лондоне вплоть до прихода к власти большевиков поверенным в делах продолжал быть Константин Дмитриевич Набоков (брат В. Д. Набокова), бывший до этого советником посольства при покойном графе Бенкендорфе, парижским посольством после увольнения Извольского временно управлял Севастопуло, советник посольства, как дипломат — не первая величина. Если в Лондоне были вполне довольны Набоковым и не требовали быстрого замещения посольского поста, то французы, наоборот, торопили с назначением посла и не могли удовольствоваться Севастопуло.

Видя, что в среде Временного правительства нет единого

кандидата, на котором все могли бы сойтись, французы сами через Палеолога подсказали В. А. Маклакова. Чтобы понять, почему они это сделали, надо вспомнить то потрясающее впечатление, которое произвело выступление Маклакова на банкете весной 1916 г., посвященном 25-летию франко-русского союза, где присутствовали специальные представители французского правительства, и в их числе Вивиани. На этом банкете наряду с представителем правительства, тогдашним министром иностранных дел Сазоновым, выступали Милюков и Маклаков. Все трое говорили по-французски. Тогда впервые сошелся Палеолог с Милюковым, и тот стал впоследствии французским кандидатом в русские министры иностранных дел. Тогда же изумительная по мастерству и подлинному политическому блеску речь Маклакова произвела на французов, умеющих ценить настоящий ораторский дар, прямо ошеломляющее впечатление.

Вивиани, сам первоклассный оратор, сказал Маклакову, что, если бы эта речь была произнесена во французском парламенте, она была бы признана достойной affichage, то есть публичного распечатания во всех общинах Франции, как это принято в отношении речей самого важного политического значения. Эта речь и открыла Маклакову дипломатическую карьеру. Палеолог прямо сказал Милюкову, что его «незабываемая речь» указала им на Маклакова как на выдающегося сторонника франко-русского союза. Так как эта кандидатура отвечала интересам французов, а у Временного правительства не было возражений по существу ее, то она принципиально была решена еще при Милюкове. Последний просто не успел оформить это назначение и тянул главным образом потому, что надеялся, что его взгляд на цели войны победит во Временном правительстве, и тогда Маклаков мог бы ехать с милюковскими инструкциями и быть вообще проводником взглядов Милюкова, как это не раз бывало в кадетской фракции.

Поражение и уход Милюкова, а затем отозвание Палеолога настоятельно ставили вопрос о замещении русского посольского поста в Париже, на этом прямо настаивало французское правительство, посылая в Россию Нуланса вместо Па-

леолога. Тогда Временное правительство вспомнило о принципиально принятом решении касательно Маклакова и привело его в исполнение. Слух о том, будто бы Керенский, испугавшись речи Маклакова на собрании IV Государственной думы 27 апреля о войне и революции, решил избавиться от «лучшего оратора России», слух одно время очень упорный,— ни на чем не основанная легенда, опровергаемая уже тем обстоятельством, что Маклаков отбыл к своему посту только перед самым большевистским переворотом.

Это последнее обстоятельство имело самое роковое значение для дипломатического дебюта Маклакова в Париже, так как он приехал в Париж в октябре и не поехал в назначенный ему день на аудиенцию к президенту за несколько дней до переворота, считая, что политическое положение Временного правительства было недостаточно благоприятным. Когда же грянул переворот, то французское правительство не согласилось принимать посла от не существовавшего уже Временного правительства. Таким образом, Маклаков не успел вручить верительные грамоты и позже так и не смог их вручить, не числясь никогда официально послом России. Это прискорбное обстоятельство, пагубно отразившееся на положении антибольшевистского дипломатического представительства в эпоху Версальского конгресса, когда Россия в Париже не имела законно аккредитованного последним общепризнанным правительством России — а именно Временным — представителя, дало возможность Клемансо заявить: «Maklakoff, l'ambassadeur de Russie — je ne le connais pas!*

Вина за это падает на самого Маклакова, хотя он мне потом объяснял, как это случилось, указывая на Севастопуло, посоветовавшего ему отложить аудиенцию у президента. Маклаков же неосторожно доверился Севастопуло, которого считал опытным дипломатом. К рассказу Маклакова надо добавить, что Севастопуло был, несомненно, раздражен тем обстоятельством, что на это место был уже назначен советником посольства Н. А. Базили, бывший вице-директор канцелярии министра, а он в награду за его долгое управление

* «Маклаков, российский посол — я такого не знаю!» *(фр.)*.

посольством получал увольнение. Это обстоятельство, казалось бы, должно было предостеречь Маклакова от особой доверчивости, но тот слушался Севастопуло и дальше, даже тогда, когда тот покинул посольство, и по его совету пригласил в секретари посольства известного германофила фон Лидерса, что совершенно озадачило французов, оказавшихся более осведомленными о политической физиономии чинов посольства, чем сам посол.

Коварные советы Севастопуло, неопытность Маклакова и карьеризм Базили, о котором я упоминал в моих записках, касавшихся царского периода, и который, опираясь почти на весь персонал посольства, всячески из личных мотивов вставлял палки в колеса Маклакову,— все это вместе в эпоху Версальского конгресса, когда Париж силою обстоятельств стал зарубежным центром антибольшевистского движения, донельзя препятствовало установлению должных отношений между так наз. белым движением и союзниками. Но обо всем этом я расскажу позже.

Ненужная затея Терещенко

Из нововведений Терещенко, весьма характерных для эпохи Временного правительства, следует упомянуть о создании им учреждения, доселе совершенно у нас не известного и заимствованного из парламентской западноевропейской, точнее, французской, практики, а именно о создании особого кабинета министра иностранных дел, по примеру одноименного учреждения в парламентских странах. Возникновение этого учреждения, которое должно было обслуживать чисто парламентские нужды министра иностранных дел, при отсутствии в это время парламента (срок выборов в Учредительное собрание все отодвигался) поражало своей объективной ненужностью. Дело в том, что у нас в ведомстве существовало учреждение, которое именно этим и занималось, то есть сношениями с Государственной думой и Государственным советом. Это была канцелярия министра, которая одновременно исполняла обязанности I Политического отдела, ведавшего дипломатическими сношениями с Европой, Америкой и Африкой (таково было территориальное разграничение компетенции — II, III, IV Политические отделы ведали Ближним, Средним и Дальним Востоком).

Терещенко, однако, захотел выделить парламентские функции канцелярии, причем кабинет этот, за отсутствием парламента в эпоху правления Терещенко, занялся Петроградским Совдепом, чем совершенно излишне увеличивал и без того гипертрофированное его значение в области международных сношений, тем более что в эту область его совсем и не нужно было допускать. Идея возникновения этого учреждения принадлежит одному из чиновников министерства (впоследствии перекинувшемуся к большевикам) Н. В. Муравьеву. Этот молодой еще, лет 34-х, человек, исполнявший за границей без особого блеска секретарские обязанности при посольствах, во время войны выполнял разные поручения ведомства, посылавшего его в разные места по мере надобности, другими словами, был чиновником, блуждающим из отдела в отдел,— первый признак административно ненужного человека. Он же, между прочим, почему-то единственный возражал против учреждения Общества служащих, при Милюкове будировал, хотя под конец нашел и при нем себе занятие, а Терещенко встретил прямо враждебно. Помню, в тот момент, когда Терещенко произносил речь при своем вступлении, он довольно громко говорил своим соседям по-французски: «N'écoutez pas, c'est de la petite bière»*.

Однако именно при Терещенко он расцвел, выдумав учреждение совершенно ненужного в этот момент кабинета. Он же и был возведен в начальники кабинета и по этой должности ездил с Терещенко, искавшим себе конфидента из чиновников, во Временное правительство. Единственная реальная функция, которую нес Муравьев, заключалась в том, что на него падала обязанность «осведомления» о внутреннем положении России наших миссий и посольств за границей. Осведомление это он делал в высшей степени легковесно, представляя все в самых оптимистических красках. Если Милюков считал своим долгом искажать истину в сообщениях союзникам и вообще иностранцам, руководствуясь интересами престижа России, то Терещенко при помощи Муравьева

---

* «Не слушайте, все это чепуха!» *(фр.)*.

систематически и бесстыдно вводил в заблуждение наших дипломатических представителей за границей.

Муравьевские циркулярные осведомительные депеши, которые рассылались и соответственным начальникам отделов (в частности, и мне), служили притчей во языцех, и когда кто-либо из заграничных чинов приезжал в Россию и видел, что творилось, то поражался, ибо наивно полагался на достоверность «конфиденциальных» сведений, посылавшихся Муравьевым от имени Терещенко. Милюковская тактика, таким образом, была усвоена Терещенко en grand* и немало способствовала тому всеобщему изумлению, которое во всем мире породил октябрьский переворот. Муравьев, который был слишком ловким чиновником, чтобы занимать свое время и отнимать время у Терещенко, имел штат служащих, которые простодушно не знали, что им делать, и... составляли библиотеку кабинета министра. Это уже была прямо синекура, тем более вредная, что она отрывала служащих от тех отделов, где была в них нужда.

Эта муравьевская свита, да и сам Муравьев были наглядным доказательством внутренней несерьезности Терещенко, и в душе я не раз вспоминал Нольде, отказавшегося работать с Терещенко. Правда, Нольде просчитался в смысле политического эффекта своего ухода, но лично Терещенко-министр был слишком легковесен для людей типа Нольде. Надо добавить, что тот же Муравьев, являвшийся оборотной стороной Терещенко, посмеивался над Терещенко и Временным правительством. Он в чиновничьей компании передавал, что Временное правительство обсуждает дела не по ведомости, а по каким-то бумажкам, которые вдруг вытаскиваются из кармана отдельными министрами, или же иногда на основании устных заявлений.

Муравьев сопровождал также Терещенко при его поездках в Ставку и вообще старался изображать из себя настоящего начальника кабинета министра, но, повторяю, на его несчастье, не было парламента и должность проигрывала, в действительности становясь новым видом «особых поручений», от которых

* В широких масштабах *(фр.)*.

Муравьеву не суждено было отделаться. С точки зрения реальной помимо «осведомительной» роли Муравьева надо отметить его постоянные хождения в Совдеп, где он, несомненно, злоупотреблял именем Терещенко.

Возвышение Муравьева крайне неблагоприятно отразилось на репутации министра в глазах его ближайших сотрудников, которые отлично знали Муравьева и считали его всегда бездельником, блефистом. Только однажды Муравьеву чуть не пришлось сыграть крупную политическую роль. Это было во время своеобразного конфликта, разыгравшегося между дипломатическим ведомством и Петроградским Совдепом по греческому вопросу.

Совдеп полагал, что союзники, поддерживая республиканское (оно же антантофильское) движение в Греции, оказывают давление на «суверенную волю греческого народа». Эта крайне странная защита русским Совдепом династических интересов в Греции, однако, не на шутку смутила Терещенко, который тут же на заседании Временного правительства, отойдя в сторону с Церетели и Муравьевым, набросал текст ноты союзникам. Текст этот оказался настолько резким, что, когда Терещенко передал его Нератову для посылки, тот категорически отказался это сделать, ссылаясь на тот странный, если не сказать губительный, эффект, который эта нота произведет. Тогда в первый раз Терещенко решился сказать Нератову, что эту ноту ему составил Муравьев. Нератов развел руками и, улыбнувшись, сказал: «Ну, перед таким советником я, конечно, пасую». Терещенко понял свою бестактность и больше в серьезные дела Муравьева не путал.

Долги будущей Польши

Прерванные уходом Милюкова заседания русско-польской комиссии при Терещенко продолжались в прежнем направлении, с той, однако, разницей, что напор поляков значительно усилился и Ледницкий с Терещенко считался неизмеримо меньше, чем с Милюковым. Сразу же после вступления Терещенко в должность министра я, прежде чем продолжать свою работу в комиссии, счел необходимым сделать доклад о положении вещей в комиссии, подробно остановившись на текущих делах и, в частности, на холмском вопросе. Терещенко слушал очень внимательно, по-видимому, для него все

это было совершенно ново, но в этом ничего удивительного не могло быть, так как вообще я не ожидал от Терещенко осведомленности в польском вопросе.

Когда я спросил об инструкциях, Терещенко несколько смутился; очевидно, он уже успел привыкнуть, что ему все решения подсказываются, и он спросил меня: «А ваше мнение как?» Мне пришлось сказать, что я, в сущности, продолжал нашу прежнюю царскую политику с тем решительным уклоном, который Временное правительство взяло в сторону польской независимости, но что ему с глазу на глаз я могу сказать, что поляки на меня производят впечатление людей, не подготовленных к практической государственной деятельности, и я не жду, что начатая «ликвидация», хотя бы и заочная, Царства Польского закончится гладко. Я привел несколько примеров, причем обратил его внимание на холмский вопрос как один из самых серьезных камней преткновения.

Терещенко, выслушав меня, со всем согласился, дал мне инструкции, если это так можно назвать, продолжать все по-прежнему и вдруг под самый конец спросил, что я думаю о проекте Ледницкого ввести в состав нашего дипломатического представительства специалистов по польскому вопросу, добавив, что Ледницкий считает это «секретом». Я улыбнулся последнему замечанию Терещенко, который должен был бы знать, что в его ведомстве все «секрет». На вопрос же об идее Ледницкого я ответил, что идея прекрасна, но все зависит от ее практической постановки. В составе МИД нет «специалистов по польскому вопросу».

Тут я рассказал, какие мытарства польский и прочие славянские вопросы претерпели за время войны, переходя из одного отдела в другой. Что же касается представителей со стороны, то это будут или поляки, или же полонофобы, так как, к сожалению, все русские, знающие поляков, например служившие в Царстве Польском люди старой административной школы, проводили политику «обрусения» Царства Польского. Терещенко замахал руками: «Их на пушечный выстрел нельзя подпускать к польскому вопросу!» Я вспомнил Горлова, который был в этот момент в Париже и писал какие-то весьма тенденциозные записки по польскому

вопросу. Что же до поляков в составе русской дипломатии, то я прямо сказал Терещенко, что при настоящих условиях считаю это утопией.

Несомненно, Временное правительство обещало полякам независимость, но обставив ее известными условиями (военный союз с Россией, этнографический принцип при размежевании границ, согласие на это учредительных собраний России и Польши). Если при этих условиях мы введем сейчас же поляков в состав наших посольств, то мы прежде всего окажем плохую услугу полякам, так как австрийские и прусские поляки будут говорить, что это «русские ставленники», и постараются их дискредитировать. С другой же стороны, такие польские члены русских посольств в условиях совместной дипломатической работы либо сольются с русскими — тогда они не будут иметь значения, либо будут говорить разное с русскими представителями, и это покажет всему миру, что Временное правительство не сумело с поляками столковаться.

Наконец, самый последний мой аргумент против допущения особого польского представительства в составе нашего — это то, что война далеко не кончена, никто с уверенностью не может знать, как она кончится, и если она, не дай Бог, обернется против нас, то поляки могут от нас отойти, и в этом случае неизбежно их представители, близко познакомившиеся с нашими международными отношениями, могут оказаться опасными соглядатаями. Не исключается также возможность и шпионажа во время самой войны. Это мое последнее соображение произвело сильное впечатление на Терещенко, который мне сказал, что он совершенно со мной согласен, беда только в том, что он дал уже согласие Ледницкому. Но тут же Терещенко мило улыбнулся. «Моя профессия теперь всех надувать»,— сказал он мне. Думаю, Ледницкий дорого бы дал, чтобы это услышать.

На этом мой разговор по польскому вопросу и кончился, предвещая мне и впредь полное благоволение министра и... преподнеся ряд неожиданностей, вроде только что услышанного признания. Я вспоминал тяжеловесные раздумья Милюкова, который никогда не обещал бы так легко Ледницкому «польское дипломатическое представительство», ну а уж если

бы обещал, то, наверное, сделал бы все, чтобы сдержать слово. В конце концов, я опять получал carte blanche и от Терещенко, который, при всей его обворожительности, явно не имел никакого плана по польскому вопросу.

В связи отчасти с польскими делами С. А. Котляревский, который был товарищем министра исповеданий и так и не захотел пойти к нам на место Нольде, ссылаясь именно на то, что раз Нольде ушел, значит, вообще это место опасное, устроил ряд совещаний по вероисповедным вопросам, одно из коих касалось весьма характерного для этого времени сюжета, а именно возможности освобождать от несения военной службы на фронте лиц, по своим религиозным убеждениям не могущих участвовать в войне, которую они не приемлют.

Случай возник в связи с менонитами, отрицающими, как известно, войну, но военное ведомство почему-то хотело придать этому общее значение и предлагало издать составленное в общих выражениях распоряжение о том, что вообще лица, не приемлющие войну в силу религиозных причин, освобождаются от службы на фронте. Не знаю, какие тайные пружины заставили военное ведомство так широко поставить вопрос, когда июньское наступление уже было решено, но, признаюсь, я был совершенно озадачен, когда генерал Абрамович предложил совещанию уже готовый проект указа Временного правительства. На этом редком по своему составу совещании были следующие лица: кроме председателя С. А. Котляревского барон Ропп, епископ Цепляк, Кони, профессор Петражицкий, князь Е. Н. Трубецкой, М. М. Винавер, присяжный поверенный Сахаров и представители ведомств. От МИД был я. Произошел обмен мнениями, не лишенный исторического интереса.

После горячей речи представителя военного ведомства в защиту проекта выступил прежде всего Кони, который в необыкновенно яркой форме рассказал несколько случаев из своей практики и поделился наблюдениями над сектантами, считая вопрос крайне интересным с юридической точки зрения, но в практической форме не допускающим постановки, подобно той, которую делало военное ведомство. Пет-

ражицкий, исходя из предпосылок психологического характера, выяснял всю неопределенность понятия «религиозной неприемлемости войны». Барон Ропп и Цепляк указывали на несообразность проекта, из которого следовало бы, что христианские религии вроде католичества или православия «приемлют войну».

Князь Е. Н. Трубецкой дал уничтожающую характеристику русского народа, отвечая на слова генерала Абрамовича, что, мол, в характере русского народа есть «неприятие войны». По этому поводу Трубецкой сказал: «Вы говорите — русский народ незлобив, трудолюбив и по характеру своему мирен и честен, а я говорю вам — он зол, ленив, буен и бессовестен. Если подобный указ будет издан, то вся русская армия как один человек «по религиозным причинам» признает для себя невозможным, «неприемлемым», как говорит генерал, воевать». Эти слова в то время, когда на официальных собраниях продолжали курить фимиам, были таким ярким диссонансом, что здесь, среди русских, евреев и католиков, они казались бы оскорбительными для национального чувства, если бы в применении к настоящему случаю не были более чем уместны.

Наконец, Винавер задал ядовитый вопрос представителю военного ведомства, почему именно эта тема обсуждается — или действительно наши дела на фронте настолько блестящи, что мы можем без риска ослаблять наши кадры?

Когда очередь дошла до меня, то я с точки зрения дипломатического ведомства высказал сомнение не только в своевременности постановки вопроса, но и в целесообразности ограничения его рамками «религиозных чувств»: ведь в этой войне могут быть не только конфликты с религиозной совестью сражающихся, но и, например, с национальным чувством. Я указал на поляков, сражающихся друг с другом, на австрийских славян, сражающихся с русскими, на эльзасцев, трансильванских румын и т. д. С точки зрения государства не может быть никакого сомнения, что в войне мы должны проходить мимо этих конфликтов и требовать от всех равно долга крови и жизни. Присяжный поверенный Сахаров говорил также о практической невозможности правильно регист-

рировать лиц, добросовестно «не приемлющих войну», и отличить их от просто желающих уклониться от военной службы. В результате этот совершенно неожиданный проект был всеми, кроме представителей военного ведомства, осужден и не получил дальнейшего движения.

Котляревский, идя со мной по окончании этого совещания, происходившего в министерстве внутренних дел, говорил, что ему понравилась моя речь и что у меня имеется, как он сказал, «государственный инстинкт». Я его спросил, не знает ли он, почему такой странный проект возник, да еще в военном ведомстве. Котляревский пробормотал: «Должно быть, векселя Совдепам». Так мне и не пришлось узнать, для чего столь парадное совещание имело место, поскольку никаких следов этого дела мне в дальнейшем найти не удалось. Терещенко, как оказалось, тоже ничего не знал и с большим удивлением услышал от меня все подробности совещания. Это было совсем незадолго до знаменитого наступления 18 июня. Думаю, если бы указ Временного правительства в том виде, как его спроектировало военное ведомство, вышел, он имел бы самое деморализующее значение для фронта.

Возвращаясь к польским делам, должен сказать, что Терещенко действительно «надул» Ледницкого в отношении польского представительства. Столь спутаны и сложны были отношения между поляками разных ориентаций, что создание в составе русской дипломатии польского ручейка вызвало бы среди них сильное волнение, которое отразилось бы крайне неблагоприятно на и без того хрупких русско-польских отношениях. Честолюбивая мечта Ледницкого стать, так сказать, польским министром иностранных дел, хотя бы временно, в составе нашего дипломатического ведомства, на этот раз рухнула. Помимо этого, как я указывал, в таком деле, как совместная дипломатическая служба, требующем доверия, ввести поляков в состав нашего дипломатического корпуса без обычной процедуры приема на дипломатическую службу значило бы иметь всегда потенциального шпиона.

Это обстоятельство не мог, конечно, учитывать Ледницкий, но Временное правительство при самых искренних симпатиях к полякам не могло с этим не считаться. Надо

отдать справедливость Ледницкому, он действительно старался все дело вести тайно, хотя в качестве одного из предположений оно все же попало в европейскую прессу, чем Ледницкий был крайне недоволен, так как против этого проекта высказалось, как и надо было ожидать, большинство зарубежных поляков.

Холмский вопрос, на время снятый с очереди, снова возник в нашей комиссии, возник, я должен сказать, в неожиданной и крайне неприятной форме. Среди спокойного обсуждения русских и польских делегатов один новый член комиссии еврейского вида вдруг напал на Котляревского и меня за наши замечания касательно польских утверждений и произнес громовую речь по поводу того, что «царские чиновники» саботируют волю революционного Временного правительства, что он, мол, член Петроградского Совета рабочих депутатов и что он там расскажет, как чиновники Временного правительства в польском вопросе стоят на «царской позиции», и т. д.

Когда он кончил, то Котляревский попросил занести в протокол все, что сказал новый польский делегат, и заявил, что, до тех пор пока будут произноситься подобные речи, он не будет участвовать в заседаниях комиссии. После этого Котляревский и я встали и ушли, к полному смущению Ледницкого, не ожидавшего такой реакции с нашей стороны. Это была первая и, к счастью, последняя попытка воздействовать на русских делегатов Временного правительства путем устрашения их Совдепом. Я сразу же по приходе доложил Терещенко обо всем и сказал, что вынужден был уйти, так как находил невозможным такие демагогические приемы. На это Терещенко заметил, что он мне завидует, что я могу уйти, а ему такие сцены приходится терпеть чуть ли не ежедневно.

После этого Ледницкий довольно долго не созывал нашей комиссии. Наконец, когда мы пришли снова, то злополучного «представителя польского пролетариата», как он себя называл, больше уже не было, вопросы, по-видимому, совершенно сознательно, были самые мирные, и Ледницкий был особенно с нами мил и предупредителен, в частной беседе

стараясь загладить происшедшее и уведомив нас, что этот делегат больше не будет участвовать в комиссии.

Одним из вопросов, фигурировавших в комиссии, был поднятый к большому неудовольствию польских делегатов товарищем министра финансов вопрос касательно перехода к Польше части русского государственного долга пропорционально территории количеству населения, экономической ценности и другим критериям, определяющим значение Царства Польского. В подробно разработанной справке представитель министерства финансов указывал, что после I, II и III разделов Польши в 1772, 1793 и 1794 гг., так же как после Венского акта 1815 г., русское правительство согласилось принять на русское государственное казначейство польские долги, равно как и долги Великого герцогства Варшавского. Отсюда естественно, что и будущая Польша должна также принять на себя соответственную часть долга Российского государства. При этом Шателен утверждал, что, само собой разумеется, соответственное распределение должно касаться всех общегосударственных русских долгов, так как Польша управлялась в бюджетном отношении на общих государственных основаниях, не имела, как, например, Финляндия, своего особого бюджета и, следовательно, должна отвечать за общие долги.

С польской стороны сама постановка этого вопроса считалась «преждевременной», так как по самому свойству он принадлежит-де компетенции польского Учредительного собрания. На это с русской стороны им отвечали: раз обсуждается холмский вопрос, хотя бы в подготовительной стадии, тогда как он, несомненно, может быть решен, согласно актам Временного правительства 15 и 16 марта 1917 г., только Учредительными собраниями России и Польши, то нет абсолютно никаких оснований уклоняться от крайне важного вопроса о долгах. Конечно, Шателен был прав, и Ледницкому ничего другого не оставалось, как включить этот вопрос в повестку следующего заседания. При этом он подчеркнул, что вопрос ставится лишь в подготовительной, ни для кого не обязательной стадии.

Несмотря на это предостережение, мы, конечно, отлично

понимали, какое существенное значение для будущего может иметь обсуждение этой проблемы. Действительно, на следующем заседании поляки, из коих самым основательным был, несмотря на свое неудачное выступление в начале деятельности комиссии, Грабский, по-видимому, подготовились. Они стали излагать свою точку зрения, согласно которой будущая Польша, конечно, должна будет принять на себя кое-какие долговые обязательства Российского государства, но только те, которые прямо относятся к Царству Польскому. К числу таковых принадлежат, несомненно, все те польские долги, которые Россия приняла на себя после разделов Польши в 1772, 1793 и 1794 гг., а также в 1815 г., после присоединения к России Царства Польского, а затем все те долги, ипотеки и т. п., которые были сделаны для нужд Царства Польского. Все остальные долги Грабский отрицал, говоря, что не в интересах России даже поднимать подобные вопросы, так как тогда придется поднять ряд «неприятных вопросов» касательно возвращения назад всяких художественных и музейных ценностей, вплоть до польской части Петроградской публичной библиотеки.

Этот маневр Грабского, однако, ни в малейшей мере не поколебал спокойного Шателена, который отвел вопрос о художественных, музейных и научных польских ценностях, вывезенных из Польши русскими, заявлением, что ему трудно усмотреть связь между русским государственным долгом и этим вопросом, прибавив не без яда, что неизвестно, в каком положении очутится в этом отношении Польша по окончании германской оккупации. И тут же он размежевал вопросы относительно местных ипотек, которые, конечно, переходили к Польше и не касались вообще государственных финансов, и общегосударственных долгов всего Российского государства, долгов, которые, бесспорно, имели общегосударственное значение и от которых Польша не могла отказываться.

На это из уст Шебеко, Ледницкого и даже барона Роппа посыпались возражения: почему молодая Польша будет расплачиваться за авантюры царского правительства в Корее, повлекшие русско-японскую войну, или железнодорожные

26 Зак. № 24

займы вроде, например, постройки Сибирской железной дороги и т. д., та самая Польша, которую русское правительство так беспощадно притесняло? Что это прямо безумие даже ставить так вопрос и что, мол, никогда будущее польское правительство и польский сейм на это не пойдут, ибо это был бы «IV, финансовый раздел Польши», как сказал под конец Грабский.

Шателен опять-таки на это ответил, что он изумлен подобными возражениями, что речь идет не о целесообразности тех или иных поступков царского правительства, а обо всей по меньшей мере столетней совместной жизни Царства Польского в составе России, что поляки наряду со всеми элементами русского населения пользовались теми же благами государства, что и коренные русские,— той же Сибирской железной дорогой и т. д. Расцвет польской промышленности и несомненное общее экономическое процветание Царства Польского нельзя объяснить иначе, как участием поляков и русской части Польши в общей русской жизни. Следовательно, именно с точки зрения справедливости следует, чтобы молодая Польша не только пользовалась активом своего пребывания в составе России, но и участвовала в пассиве пропорционально своему прежнему участию в активе русской жизни. Шателен, кроме того, сослался на международную практику, которая всецело согласуется с высказанными им положениями.

Здесь Ледницкий обратился ко мне, дабы узнать позицию нашего ведомства. Я, конечно, вполне присоединился к Шателену и осветил положение с точки зрения международной практики, которая, хотя и знает крайне редкие, правда, прецеденты и обратного, например отторжение от Франции Эльзаса и Лотарингии по Франкфуртскому миру 1872 г., когда на Германскую империю отошли лишь долги и ипотеки местного значения, но это объясняется вообще политической обстановкой франко-прусской войны, которая не может служить нам примером в русско-польских отношениях. Надо исходить из предположения, которое вообще вызвало к жизни настоящую русско-польскую комиссию, а именно добровольной передачи со стороны России Царства Польского новой

Польше, составленной из русской, австрийской и прусской частей, которую придется еще отвоевывать у врагов совместными русскими и польскими силами. Таким образом, союзные отношения, которые Временное правительство рассматривает как необходимые и в будущем, налагают на эту Польшу обязательства совершенно иного свойства по отношению к России, чем, например, образование Польши в силу победы австро-германской коалиции. Поэтому, вполне разделяя общие экономические и юридические предпосылки нашего финансового ведомства, я и с международно-политической точки зрения считал, что вопрос о польской части общерусского долга может быть поставлен только так, как его поставил Шателен.

Затем я сказал, что надо иметь в виду, что поскольку образование Польши будет результатом воссоединения трех частей, то данный вопрос будет, как это было и на Венском конгрессе в отношении долгов Великого герцогства Варшавского, решаться не только русскими и поляками, но и будущим мирным конгрессом, который, конечно, взглянет на дело под углом общесоюзных отношений и решительно отвергнет аналогию с франко-прусской войной, которая во многих других отношениях также является исключением из нормальной международно-правовой практики. Как и Шателен, я отметил, что центр тяжести вопроса лежит не в принципе участия Польши в русском государственном долге, а в методах и основаниях разверстки. Я указал на пример Балканских войн 1912--1913 гг., которые вызвали существование особой международной финансовой комиссии в Париже, где представителем русского правительства и экспертом по международному праву был барон Б. Э. Нольде.

Поскольку досье этой комиссии хранилось именно у нас в Юрисконсультской части, то я знал, какие практические трудности представляло именно это распределение при полном согласии всех сторон относительно самого принципа общего участия всех отходящих к другому государству территорий в долгах прежнего государства. При столь ясной постановке вопроса поляки, в том числе и Ледницкий и Грабский, при всех внесенных оговорках, что это их «личное мнение», не

могущее, очевидно, связывать волю будущего суверенного государства Польши, согласились с мнением всей русской части комиссии, что освобожденная в общей борьбе Польша не может уклоняться от участия в общегосударственных долгах России пропорционально общему положению Царства Польского в составе Российского государства. Единственная поправка, которую внесли поляки, заключалась в том, что это участие Польши в русском государственном долге подлежит санкции будущего мирного конгресса. Поскольку юридически это было бесспорно, то с нашей, русской стороны не было возражений, и поляки с удовлетворением это приняли, надеясь, очевидно, попробовать добиться каких-либо выгод для себя от союзников.

Ледницкий, Грабский, Шебеко, барон Ропп и другие польские делегаты, с такой неприязнью встретившие саму постановку вопроса, который, при условиях крайне благоприятного решения Временным правительством польского вопроса вообще должен был бы из чувства элементарного такта быть разрешен хотя бы в принципе так, как он после продолжительных и местами довольно острых прений был решен комиссией, выказали здесь и отсутствие понимания самой проблемы. Как я указывал, распределение долга и определение его оснований, как-то: площадь отходящей территории, количество населения, ценность природных богатств, торгово-промышленная и сельскохозяйственная мощность данной территории,— представляли крайне сложную и запутанную практическую проблему, и защита польских интересов должна была бы сосредоточиться на этом, а не на отрицании бесспорных положений международной практики и международного права.

Стремление неизменно ставить вопрос идеологически в практических государственных делах всегда оставляло неприятный привкус излишней полемики, что, конечно, отнюдь не способствовало надлежащему дружественному тону русско-польских отношений. Государственная неопытность и стремление к полемике в плоскости самых скользких исторических воспоминаний — вот отличительная черта польской части комиссии Ледницкого, продолжавшей свои работы до

самого большевистского переворота. Позже, когда поляки вникли, наконец, в существо поднятого Шателеном вопроса и ужаснулись его практической сложности, явно испугавшись встречи с опытными русскими чиновниками, они попросили отложить рассмотрение финансовых долгов русской части Польши «до детального ознакомления с вопросом», на что было дано согласие. Только в октябре, то есть накануне самого большевистского переворота, этот вопрос снова был поднят, и Грабский, докладчик с польской стороны, по-видимому подготовившись, стал уже конкретнее указывать на отдельные основания оценки участия Царства Польского в общегосударственной жизни России, но замечания его и тогда отличались крайней теоретичностью. Об этом, впрочем, я расскажу подробнее при описании этой фазы жизни Временного правительства и нашего ведомства.

МИД и национальный вопрос в России

Очень существенная перемена в русско-польских отношениях состояла в том, что наряду с польским вопросом в министерство Терещенко был поднят и вопрос литовский. Для того, однако, чтобы перейти к нему, я должен предварительно коснуться отношения вообще Терещенко и нашего ведомства к национальному вопросу в России. Здесь надо прежде всего отличать позицию дипломатического ведомства, с одной стороны, и личную роль М. И. Терещенко как члена Временного правительства в решении национальных вопросов вообще — с другой.

Что касается последнего — личной роли Терещенко, то я не буду ее касаться, потому что эта личная роль не связывалась им самим с его министерством. Если бы Терещенко оставался министром финансов, как это было в начале деятельности Временного правительства, то, весьма вероятно, он принял бы и в этой роли участие, скажем, в решении Временным правительством украинского вопроса. Можно сожалеть, что в глазах иностранцев известная поездка Терещенко с Керенским в Киев была сочтена за какое-то договорное соглашение не существовавшей тогда Украины и России именно потому, что здесь участвовал русский министр иностранных дел. Такого рода комментарии появились прежде всего в австро-венгерской и германской прессе, а уже затем

проникли в союзную печать и вызвали запросы к нашим послам и посланникам, как понимать это соглашение и вводится ли этим самым украинский вопрос в орбиту международной политики или же он по-прежнему считается «внутренним русским».

Эти запросы, вызванные соответственными комментариями иностранной прессы и тем интересом, который украинский вопрос, естественно, вызывал у союзников и у наших врагов, и должны были явиться поводом для неизбежно тонкого различия в отдельных выступлениях Терещенко. Очевидно, всякий министр иностранных дел является одновременно и членом своего правительства и, следовательно, может принимать участие в решении всех общегосударственных проблем страны. Но, с другой стороны, положение министра иностранных дел в составе кабинета всегда особое, так как для иностранцев он остается руководителем внешней политики государства, и слишком яркое участие его в каком-либо до сих пор считавшемся внутренним вопросе может не без основания рассматриваться как перенос его в разряд международных. Дело личного такта и умения — размежевать эту двойственность политической физиономии министра иностранных дел в каждом правительстве.

В частности, что касается Украины, то с самого начала войны Австро-Венгрия и Германия по вполне понятным причинам старались ввести украинский вопрос в число больших вопросов мировой политики. Россия же до Февральской революции самым решительным образом не допускала никаких дипломатических переговоров по этому предмету, отвергая всякую аналогию с вопросом польским, например. После Февральской революции Временное правительство не издало ни одного акта, который можно было бы счесть за перенос украинского вопроса в число международных, оно попрежнему продолжало считать его чисто внутренним делом России.

Терещенко вынужден был разослать всем нашим дипломатическим представителям подробный циркуляр, которым Временное правительство заявляло перед всем миром, что украинского вопроса в международно-политическом смысле не

существует, что же касается министра иностранных дел, то он участвовал в поездке исключительно как член правительства, а не как глава внешней политики.

Конечно, не только в парламентской жизни западноевропейских государств можно было бы найти прецеденты подобного участия руководителей внешней политики во внутренних делах (например, в случае довольно частого совмещения обязанностей председателя Совета министров с обязанностями министра иностранных дел), можно было бы сослаться и на прецеденты русские во время войны, например описанное мною в предшествующих моих записках участие Сазонова в решении еврейского вопроса в 1915 г. Но по поводу последнего надо добавить, что, во-первых, это участие не имело гласного характера, наоборот, Сазонов и все остальные члены правительства считали само поднятие вопроса «государственной тайной», а с другой стороны, это выступление Сазонова по внутриполитической проблеме вызвало острое недовольство Николая II и послужило одним из мотивов сазоновского увольнения в отставку.

Таким образом, все в таком всегда привлекающем внимание иностранцев шаге, как участие министра иностранных дел во внутриполитическом деле, особенно когда данный министр, как это было с М. И. Терещенко, не нес никаких других правительственных обязанностей, кроме дипломатических, зависит от конкретной политической обстановки. Очевидно, участие в нормальное время французского, скажем, руководителя внешней политики в эпоху III Республики в алжирском вопросе еще не давало права считать этот вопрос международным, но участие Терещенко в украинских делах в период войны и революции, в эпоху острой постановки национального вопроса в России, давало пищу для самых сенсационных подозрений не только у наших врагов, которые всегда только к этому и стремились, но и наших друзей и союзников.

Разосланный циркуляр не достиг своей цели в силу объективного положения Временного правительства и всей России, несмотря на прямое запрещение нашим представителям за границей входить в разговоры с союзниками об украинской

проблеме и предписание внушать им, что это чисто внутреннее русское дело. На деле же до самого конца Временного правительства им приходилось не раз объясняться по этому поводу с союзниками, дабы опровергать вражеские наветы, разъяснять истинную линию поведения Временного правительства. При этом в силу создавшегося положения вещей приходилось не только держаться на формально оборонительной позиции, но и переходить в решительное контрнаступление по всему дипломатическому фронту против всяческих украинских зарубежных организаций не только австрийского, но и русского толка, которые проявляли лихорадочную деятельность за границей, особенно под конец Временного правительства.

Эта все более и более оживленная внутренняя переписка наших заграничных представителей с нашим ведомством заставила, наконец, подумать о поручении одному лицу заниматься украинским вопросом с международной точки зрения. Этим лицом стал Обнорский, начальник Славянского стола в составе канцелярии министра иностранных дел, которым до Февральской революции заведовал Приклонский (о нем я писал в моих предшествующих записках). Обнорский — человек неглупый и остроумный, однако он слишком долго проходил дипломатическую карьеру в подчиненных должностях и, несмотря на свой уже значительный возраст, не пользовался никаким весом в министерстве, да и, кроме самого поверхностного знакомства со славянским вопросом, не имел никаких солидных знаний ни в одной области международной политики. Это был весьма распространенный тип дипломатов capable à tout, bon a rien*. Когда ему решили поручить украинский вопрос, он просто испугался его и захотел всеми правдами и неправдами от него избавиться. Он, кроме того, ничего по украинскому вопросу не знал и не был в курсе мероприятий правительства, а так как все дела Временного правительства хранились по-прежнему у нас в Юрисконсультской части и я был докладчиком по этим делам, то Обнорский зачастил ко мне.

* Которые могут сделать все, но ничего не могут сделать хорошо *(фр.)*.

Первая же докладная записка на имя Терещенко показалась тому слишком туманной, так как Обнорский, как человек старой школы, не столько предлагал то или иное решение, сколько старался угадать, что думает по этому поводу начальство, а с таким министром, как Терещенко, это было довольно трудно, ибо в большинстве случаев он не имел своего мнения и предпочитал пользоваться чужим. По украинскому вопросу у него, конечно, были взгляды, но речь шла не об этом, а о том, в какой форме можно было украинский вопрос преподнести союзникам, не делая его международным. Устные объяснения Терещенко с Обнорским привели к мысли о передаче украинского вопроса в другой отдел.

В конце концов, после некоторых колебаний Терещенко (этот вопрос домогался получить в свое ведение Муравьев, возглавлявший кабинет министра иностранных дел), он попал ко мне, так как в моем ведении были дела Временного правительства и я по своему положению не мог не быть в курсе всех правительственных мероприятий по этому предмету. Признаюсь, он имел мало общего с Международно-правовым отделом и моими прямыми обязанностями, но раз я занимался польским вопросом, а при Сазонове — еврейским, и так как всякий, кто бы ни вел это дело, неизбежно должен был бы обращаться ко мне за справками, то с точки зрения экономии сил и создавшихся отношений это имело некоторое основание. В министерстве все равно не было людей, изучавших этот вопрос специально. Была и другая сторона, а именно нежелание заниматься столь неблагодарным предметом, оказавшимся в центре внимания.

Как бы то ни было, мне пришлось к крайне усложнившимся прямым обязанностям прибавить и эту заботу, пришлось познакомиться и с австро-венгерской, и германской трактовкой вопроса и по окончании службы изучать разбросанные в разных отделах весьма скудные, должен сказать, сведения, если не считать, впрочем, архива нашей канцелярии по сношениям с нашим посольством в Вене до войны, где из донесений этого посольства уже совершенно явственно можно было видеть замыслы империи Габсбургов и Германии Гогенцоллернов касательно расчленения России и, прежде все-

го, создания самостоятельной Украины. Особенно в этом направлении работал граф Берхтольд, тогда как барон Эренталь занимался больше Балканами и Сербией в связи с аннексией Боснии и Герцеговины.

На основании этих донесений, подкрепленных многочисленными документальными данными и обзором австро-венгерской и германской прессы, я составил подробную докладную записку, дополненную обзором настоящего положения вопроса австрийской и германской прессы в 1915—1917 гг. В частности, известная поездка галицийских украинцев в Берлин к Вильгельму II в самом начале войны с выражением ему своей лояльности и горячей симпатии в войне против России и все обстоятельства, сопровождавшие ее, открывали глаза на истинную природу зарубежного «украинства».

В мае месяце во время кадетского съезда в Петрограде, на котором я присутствовал в качестве гостя, то есть простого зрителя, хотя благодаря родственным связям имел точное представление о политических взглядах той группы людей, которая так недавно располагала всей полнотой власти, но, несомненно, стала ее терять, я убедился, что жизнь уже успела поставить национальный (и украинский) вопрос гораздо острее, чем он был поставлен в прениях. Блестящая по своему содержанию и диалектическому блеску речь Кокошкина о том, что республиканская форма правления отнюдь не исключает идеи единства государства, его проект широкого местного самоуправления на основании прежнего деления на губернии, с возможностью объединения между собой отдельных губерний в областные союзы, отрицание этнографической основы за украинским вопросом в речи П. П. Гронского и полемика его с Н. М. Могилянским — все это было, в сущности, уклонением от всякой постановки украинского вопроса иначе, как в рамках единого монолитного Государства Российского, а также единого русского народа, триединого в неразрывной связи трех его ветвей.

Эта постановка вопроса совпадала с традиционным взглядом на украинский вопрос царского и императорского правительств и исторически казалась единственно возможной. Но в 1917 г. она требовала не милюковской тактики, она требовала

царских методов в смысле безжалостного подавления украинского сепаратизма, как это было до сих пор, якобинского осуществления республиканской идеи. Этого не было ни у кадетов, ни у их социалистических соседей слева. Государство медленно разлезалось по национальным швам, Временное правительство не поощряло этого, но и не препятствовало. Единственное, на чем оно стояло твердо,— что окончательный статус национальностей в России мог быть установлен лишь Учредительным собранием.

Однако это теоретически совершенно бесспорное решение вопроса приводило к тому, что национальности стремились захватить как можно больше позиций до Учредительного собрания, дабы поставить его перед свершившимся фактом. Временное же правительство, насколько я мог вывести из всей его практики по национальным вопросам, уступало довольно легко с определенной задней мыслью пересмотреть все часто шедшие против его воли широкие уступки в Учредительном собрании. Этот выжидательный метод мог иметь успех лишь при чрезвычайно быстром созыве Учредительного собрания, пока самые широкие круги населения еще не откатились далеко левее самых дерзких предположений.

Отмечу одно чрезвычайно характерное обстоятельство, о котором я знаю от моих родственников, работавших в кадетском клубе на Французской набережной по снабжению провинции партийной литературой. В марте 1917 г. этот отдел кадетского клуба был завален запросами с мест с требованиями немедленной присылки кадетской литературы и с жалобами на крайне медленную отправку ее руководителями клуба. Когда, наконец, в мае литературу начали отправлять, она вскоре стала возвращаться назад нераспечатанными тюками с извещением о том, что на местах больше не нуждаются в кадетской литературе, так как стали уже эсерами. Эти случаи были массовыми и повергали, конечно, кадетский клуб в уныние.

Такое же точно явление имело место и в национальном вопросе. Мне из моих докладов Терещенко как по украинскому, так и по другим национальным вопросам (литовский, финляндский) пришлось убедиться, что Временное прави-

тельство становилось с каждым днем все сговорчивее и сговорчивее, по мере того как требования национальностей все повышались. При таких условиях заниматься этими вопросами в МИД, где перед иностранцами приходилось делать вид, что все идет согласно желаниям правительства и согласно намеченной им программе, было очень трудно и не давало ни малейшего удовлетворения. Сравнивая мои первые записки, одобренные Терещенко, и последние, также им одобренные, я мог осязательно чувствовать, что Временное правительство все больше и больше теряло бразды правления.

«Выверты» барона Нольде

По странной случайности, в то время как мне пришлось заниматься национальными вопросами по поручению министра, Нольде, тогда уже сановник в отставке, вступивший официально в кадетскую партию и летом 1917 г. на московском съезде кадетов читавший доклад по национальному вопросу, тоже занимался, уже по поручению ЦК кадетской партии, национальным вопросом в России. Ознакомившись с этим докладом, который вышел затем отдельным изданием, я говорил о нем с Нольде, так как мне интересно было знать, в какой мере он сам думал то, что писал и докладывал.

В докладе Нольде с присущим ему мастерством указывал на существующие способы решения национальных проблем в свете современного государственного права. Осторожно и умело, как все, что он делал, Нольде подсказывал следующее решение национального вопроса в России: мирное и свободное развитие каждой из национальностей, независимо от того, составляют ли они осевшие на определенной территории этнографические группы или же это внетерриториальные национальные союзы. В последнем случае они могли пользоваться лишь культурно-религиозной автономией в смысле школы, языка, всевозможных научных, художественных и т. п. национальных учреждений. Когда же речь шла о прочных этнографических образованиях на определенной территории, то в зависимости от того, составляют ли данные национальности большинство или меньшинство, они могли пользоваться соответствующим влиянием в местном самоуправлении и даже государственном управлении краем.

При этом, однако, проект Нольде не выходил за пределы

существующих административных делений на губернии и области и не предусматривал того, что можно было назвать национальным федерализмом, то есть нового административного разделения России на автономные размежеванные по этнографическому признаку территории под названием областей или другими названиями, означающими превращение России из единого государства в федерацию по национальному признаку. Проект Нольде, принятый кадетским съездом, представлял из себя среднее между единым государством с некоторыми автономными областями и старым русским делением на губернии и области в смысле Свода законов, с широкой культурно-религиозной и муниципальной автономией отдельных национальных групп внутри этого старого административного деления. Окончательного признания не только национального федерализма, но и нового автономно-областного деления России, проведенного на основании национально-этнографического принципа, у Нольде не было.

Когда я спросил его как автора этого решения национального вопроса, может ли его проект в условиях 1917 г. удовлетворить какую-либо из национальностей, кроме разве евреев, которые могли в этом случае действительно иметь всяческие внетерриториальные персонально автономные союзы и учреждения, обслуживающие их национальные потребности, и мыслит ли он вообще возможность проведения в жизнь этого явно абстрактного проекта, он мне ответил следующее:

«В России национальный вопрос решится тем, что или инородцы нам перережут горло, или мы им. Федерация — утопия. Когда революционная волна спадет, Россия снова станет единым государством, если не распадется на составные части и не перестанет быть Россией. Все, на что могут рассчитывать национальности,— это на достойное положение их в будущей России: уважение их языка, религии, исторических воспоминаний и пр. Политической автономией внутри России по примеру Финляндии эти национальности пользоваться не могут, потому что это приведет к расчленению России».

После этого Нольде, написавший по-французски книгу об Украине, стал говорить об украинском вопросе, утверждая, что никакого компромисса здесь быть не может: «Или Украи-

на съест Великую Россию, или мы должны вырвать с корнем украинскую самостийность». Не скажу, чтобы меня удивили слова Нольде, но меня изумляло то, как при таких взглядах можно было думать о «мирном и свободном развитии каждой национальности и выявлении ее культурно-религиозного и государственно-политического национального лика». Когда я сделал вывод, что доклад Нольде может, судя по его словам, осуществиться через 50 лет, Нольде рассмеялся и сказал: «Ну, кое-что осуществится и раньше».

Разговор этот происходил в министерстве, откуда Нольде, А. И. Лысаковский, начальник Отдела печати МИД, вскоре после того назначенный посланником в Ватикан, и я вышли вместе и пошли завтракать в «Новый Донон», напротив министерства, где увидели Терещенко, мирно завтракавшего с другим «киевлянином» — Шульгиным. Нольде был в ударе и рассказывал свои впечатления о кадетской партии, которая, по его словам, была «соль земли русской», подлинный цвет русской интеллигенции, но в то же время практически «глуповата». Нольде со свойственным ему глумлением над теми, кому он в данный момент служил, продолжал, однако, после этого пространно доказывать, что он поступил совершенно правильно, уйдя из министерства, где так «бесславно» министерствовал Терещенко.

При этом Нольде весело посмотрел на Терещенко, сидевшего недалеко с Шульгиным. Лысаковский, большой друг Нольде, указывая на последнего, спросил меня, не нахожу ли я, что у Нольде есть политическое чутье. Конечно, Нольде был общественным деятелем из чиновников и готов был стать в любую минуту из общественного деятеля чиновником. И в данный момент, и после, несмотря на всю свою показную жизнерадостность, он очень остро чувствовал, что события уже опередили его, и, думаю, не раз жалел о том, что ушел вместе с Милюковым.

Встречаясь с ним уже позже, в августе 1917 г., накануне корниловских дней, я видел, что у Нольде произошла самая радикальная перемена во взглядах. Уйдя с Милюковым и Струве в мае из-за боязни, что Временное правительство в измененном составе пойдет на сепаратный мир с Германией,

Нольде стал убежденным сторонником немедленного заключения этого самого сепаратного мира. Он высказал свое мнение на заседании одного совещания, происходившего на квартире В. Д. Набокова, на котором присутствовали и Терещенко и Нератов. Он высказал его в статье в «Речи», направленной против В. М. Чернова, где доказывалось, что никакими заклинаниями вроде «мира без аннексий и контрибуций на основании самоопределения народов» мира не получить, что единственный способ заключить мир — это начать мирные переговоры. Так эта изумительная статья за полной подписью: «Барон Б. Э. Нольде» заканчивалась.

Впечатление, произведенное ею, было огромно, так как в МИД все еще оставались под впечатлением демонстративного ухода Нольде из-за «сепаратного мира с Германией», призыв же к началу мирных переговоров, когда Нольде не мог не знать, как к этому относились союзники, мог означать только сепаратный мир с Германией.

Статья Нольде вызвала очень горячее обсуждение в утро своего появления, прежде всего в нашем министерстве, где все единодушно, от Терещенко и Нератова до Петряева и начальников политических отделов, отнеслись к ней самым отрицательным образом, признав, что Нольде не обладает политическим чутьем, что сепаратный мир явился бы катастрофой для России, так как при создавшемся положении кто первый выйдет из войны, тот первый признает себя побежденным со всеми последствиями этого. Обсуждая возможный исход войны, в конечном счете все сходились также в том, что, несмотря на всю бешеную энергию Германии, энергию отчаяния, победа союзников обеспечена, вопрос только во времени.

Допускали, что Россия выйдет из войны ослабленной, в особенности в финансовом отношении, но считали, что, если Россия останется верной союзникам, эта общая победа откроет перед ней настолько блестящие перспективы в международном отношении, что, несомненно, будущее России быстро заставит забыть все испытания военного и послевоенного времени. Начало же мирных переговоров с Германией, означающее в настоящих условиях капитуляцию, отдаст Рос-

сию à la merci* Германии без всякой гарантии на ее победу и последующую награду за измену союзникам. Наоборот, со стороны последних отмщение за измену в случае победы, более чем вероятной, будет ужасно. Таким образом, мы променяем могущественных друзей на сомнительного союзника — исторического врага всего славянства. Мир союзников с Германией за счет России — вот реальная перспектива, которая ждет Россию в случае, если она пойдет по пути, предлагаемому ей Нольде. Таково было общее убеждение всех наших руководителей внешней политики. При этом относительно Нольде, признавая его научные знания и служебные заслуги, все единогласно высказались, что он никогда, в сущности, дипломатом не был и не имеет для этого данных.

Удивило, между прочим, всех нас то, что милюковская «Речь» решилась дать место такой статье, которая за границей, да и внутри страны могла быть понята только как «пробный шар» в весьма скользком направлении. Надо добавить, что статья Нольде появилась совершенно неожиданно, не будучи нисколько подготовлена какими-либо предшествующими выступлениями ни самого Милюкова, ни его ближайших сотрудников. Наоборот, Милюков повсюду выступал как поборник войны до конца рука об руку с союзниками. На другой день вся петроградская пресса обрушилась на Нольде, за исключением полуленинской интернационалистской «Новой жизни», которая очень сочувственно прокомментировала эту статью, назвав ее «первым проблеском здравого смысла» со стороны милюковского лагеря. В особенности зло прошлась газета на счет прямого выпада Нольде против В. М. Чернова, чье имя упоминалось в этой статье.

В ответ на это в ближайшем же номере «Речь» поместила небольшую редакционную, то есть без подписи, статью, озаглавленную «Не в бровь, а в глаз!». Статья метила в «Новую жизнь», которая высказала преждевременную радость по поводу того, что Милюков и его единомышленники будто бы перешли на сторону мечтающих о сепаратном мире, тогда как на самом деле единственной целью статьи Нольде было

* На милость *(фр.)*.

узнать настроение тех, кто, прикрываясь всяческими заклинаниями вроде черновских, только и ждут, когда можно будет начать разговоры с врагом. Мысль «нашего сотрудника барона Нольде» заключается в том, чтобы открыть глаза союзникам на опасную игру с «магическими формулами» вроде «без аннексий и контрибуций на основании самоопределения народов», которыми вообще никакого мира купить нельзя.

Эти пикантные комментарии, имевшие, очевидно, целью прикрыть Нольде и снять с Милюкова тень, которую на него, несомненно, накладывало выступление Нольде, лишний раз свидетельствовали, что Нольде вел свою собственную игру без всякой поддержки Милюкова и статья, возможно, была помещена только потому, что начиналась ядовитой полемикой с В. М. Черновым. Выверт «Речи» никак не умалял, однако, полной ясности основной мысли Нольде о том, что пора бросить всякие слова, а перейти в вопросе о мире к делу. Через два месяца большевики последовали совету Нольде. Дальнейших газетных дискуссий по этому поводу не было, так как Нольде до октябрьского переворота больше не выступал в печати с подобными предложениями, да и вообще, что называется, от политики отошел, правда, принимая участие в ЦК кадетской партии, членом которого был избран.

Случайный министр

Насколько лучше по сравнению с Милюковым удавалось Терещенко ладить и с союзниками, и с Совдепом, настолько же он был совершенно безличен внутри своего ведомства, чем дальше, тем больше становясь послушным орудием в руках его высшего персонала. Если Милюков по балканским вопросам, например по константинопольскому, занимал свою собственную позицию и заставлял ведомство ее принимать, то Терещенко, наоборот, очень внимательно слушал, что ему говорили, и всегда соглашался. Иногда, как, например, в той самой ноте союзникам, из-за которой Милюков ушел, Терещенко был прямо связан своими векселями. Но когда он не был ими связан, то был безукоризненным министром. Все директора департаментов и начальники отделов были им бесконечно довольны, так как он не мешал им управлять ведомством.

27 Зак. № 24

Когда же, как в вышеупомянутом случае в ноте по греческому вопросу, Совдеп требовал от него определенных действий, то Терещенко артистически умел делать вид, что проводит «советскую» политику. Эта грозная в ее первоначальном виде нота была настолько смягчена в МИД, что, когда она, наконец, достигла союзников, вид ее не вызвал у них никаких опасений и никакого неудовольствия. Все дело ограничилось двумя лишними нотами — запросом Терещенко, в вежливых и дружественных выражениях, и таким же ответом союзников. На решения союзной дипломатии этот шаг Терещенко не имел влияния. Союзники знали, что в основном вопросе, а именно о наступлении России и продолжении войны, Терещенко был их человек, и это для них было важнее, чем получение некоторых нот с туманностями словесного характера, которые всегда можно было выяснить, и притом в благоприятную для них сторону. Февральская революция в лице Терещенко нисколько не шокировала союзников, и в общем до самого конца существования Временного правительства отношения у Терещенко с Бьюкененом, Нулансом, Карлотти и другими союзными представителями были вполне удовлетворительными.

Наконец, по самой своей внешности Терещенко, менявший ежедневно костюм и ходивший летом в белых теннисных брюках, отказавшийся от своего двойного (на представительство, как министру иностранных дел) жалованья, стремился во всех отношениях быть элегантным представителем Февральской революции, который не мог бы отпугнуть ни дипломатическое ведомство, ни иностранцев. Если последние очень его за это ценили, то в ведомстве, где секреты терещенковских миллионов были известны, некоторые из завистливых дипломатов старой школы, перефразируя английские названия придворных чинов (a gentleman for waiting), называли Терещенко «waiting to be a gentleman»*, то есть «ожидающий быть джентльменом». Они находили элегантность Терещенко «бульварной», а лингвистические таланты «кельнерскими» (так,

* Игра слов: waiting *(англ.)* — придворная служба; второе значение — ожидающий.

например, аттестовал Сазонов своего преемника на посту главы дипломатического ведомства).

Вместе с тем эти же люди находили Терещенко вполне достойным занимать дипломатические должности, по рангу соответствовавшие его возрасту. Это снисходительное отношение было и у многих начальников отделов. Так о нем отзывался один из умнейших чинов нашего министерства Г. А. Козаков, считавший, что Терещенко, поступи он нормальным образом в наше министерство, мог бы впоследствии украсить ведомство; начав же дипломатическую карьеру с министра, он окажется «пустоцветом». Мне часто приходилось докладывать Терещенко по самым разнообразным делам, и при всей его несомненной эластичности, при его умении приноравливаться к каждому собеседнику, кем бы он ни был, я все же никогда не чувствовал в нем ничего своего, ничего из ряда вон выходящего, ничего необыкновенного, чего хотелось ждать от человека, при таком возрасте и при столь необычных обстоятельствах занимавшего такой высокий пост и, следовательно, имевшего возможность прямо влиять на судьбы России.

Именно то обстоятельство, что Терещенко ничем не отличался от всех тех молодых людей нашего ведомства, которые были по какому-то случаю отделены от него иерархически, что, в сущности, он был самым обыкновенным молодым человеком, что у него не было никакой одушевлявшей его идеи, никаких программ, взглядов, никакого плана внешней политики, никакого «трюка», на который бы он рассчитывал, что он плыл по течению и был управляем своим ведомством, а вовсе им не управлял,— все это именно тогда, когда невольно все ждали какого-то чуда, которое спасет Россию, действовало самым охлаждающим образом на всех сотрудников Терещенко и поистине делало его министерство, по выражению Нольде, «бесславным».

Нисколько не веря, что Терещенко заключит сепаратный мир с Германией, и считая, что он вообще ничего исключительного не сделает, видя, что, при всех салонных способностях, Терещенко — тот анекдотический «дипломат», какие обеспечивают состояние бульварным романистам и сочини-

телям легких комедий и водевилей, я часто ловил себя на мысли, что Терещенко не понимает серьезности ситуации и так до конца ее и не поймет; что он может по положению своему сделать решительный поворот и его не сделает; что он человек случайный или фатальный, который не начинает новую эпоху, а завершает. Это мое настроение принимало с каждым днем все более резкие формы, и уже перед самым концом Временного правительства я определенно заявил Нератову, что с 1 января 1918 г. прошу его назначить меня хотя бы временно за границу, так как думаю, что там я больше буду полезен ведомству.

Это было уже в октябре. Нератов смотрел на меня в совершенном изумлении. «А как же Учредительное собрание?» — спросил он меня и, решив, что я недоволен своим служебным положением, в экстренном порядке выхлопотал мне следующий класс должности (5-й, по чину соответствующий вице-директору департамента), что вызвало всеобщую зависть, но нисколько не изменило моего решения покинуть центральное ведомство. Впрочем, об этих симптомах неминуемого конца я расскажу ниже.

Удивительно, конечно, не то, что после июльских и корниловских дней у меня было впечатление полной безнадежности положения, а то, что, хотя в нашем ведомстве у всех, кому приходилось сталкиваться с Терещенко и вообще с Временным правительством, постепенно рассеивалась вера в какого-либо определенного человека или группу людей, все-таки так бесконечно много было еще оптимизма. Несмотря на всю очевидную несостоятельность ожидания именно чуда, которое спасет положение, это ожидание было. Это была неистребимая вера в какую-то безличную Россию, и осень 1917 г., несмотря ни на какие зловещие признаки, виделась нашему ведомству менее мрачной, чем осень 1916 г. со Штюрмером, может быть, потому, что мы уже попали в революционный смерч, а всякое ожидание конца всегда более страшно, чем самый конец.

Любопытно, что в дипломатическом ведомстве, где была такая легкая возможность устройства за границу, за время Февральской революции, как при Милюкове, так и при Тере-

щенко, никто из служащих центрального ведомства (за исключением очередных назначений) не добивался этого. Если принять во внимание, что все ответственные руководители министерства впоследствии с невероятными трудностями уже при большевиках бежали из Петрограда, а потом многие и за границу (Нератов, Петряев, Татищев, Некрасов, Беляев, Козаков), причем начальник Дальневосточного отдела Козаков, например, при переходе границы в Финляндии отморозил себе ноги и так сильно простудился, что заболел и умер исключительно из-за этого перехода, а его помощник Юдин, остававшийся в Петрограде, умер от истощения,— то удивительно, что эти люди, которые еще летом 1917 г. могли свободно выехать из Петрограда, получив почетное заграничное назначение, нисколько об этом не помышляли. То же самое надо сказать и о младшем персонале, который, тоже отказавшись служить с большевиками, вынужден был бежать из России и тоже не думал о заграничном назначении. Наоборот, то, что раньше было одной из самых соблазнительных особенностей службы в МИД,— курьерские поездки за границу сроком на 6 недель, теперь значительно сократилось, так как желающих ехать было мало (надо принять во внимание, что раньше спрос всегда превышал предложение, заранее вырабатывалась очередь, в которую все стремились попасть.

Боязнь покинуть в такой момент Россию — вот что руководило большинством, и огромным большинством, служащих. Заграничные назначения были сравнительно редки. За исключением Н. А. Базили, получившего назначение в Париж советником посольства, все остальные назначаемые либо отказывались, либо ехали à contre-coeur*. Любопытно, что даже чиновники министерства, находившиеся «не у дел», вроде, например, барона М. Ф. Шиллинга, игравшего такую роль при Сазонове, чьей правой рукой он был в качестве начальника канцелярии министра, продолжали оставаться в Петрограде даже довольно долго при большевиках. Уволенный Штюрмером товарищ министра В. А. Арцимович, равно как и его

* Неохотно *(фр.)*.

преемник, уволенный Временным правительством А. А. Половцов, и не думали уезжать за границу, когда это было так легко. Мой бывший начальник М. И. Догель, которому был предложен пост генерального консула в Копенгагене — завидное по своему спокойствию, безопасности и со всех точек зрения место, от назначения отказался, рассказывая нам, что поступает так на основании истории Польши (польские представители после II раздела Польши вынуждены были зарабатывать себе пропитание уроками иностранных языков) и не желает попасть в подобное положение.

Огромное большинство, однако, было настроено менее пессимистично, чем Догель. Его мрачность объясняли тем, что ему уже нечего было ждать от Временного правительства. Наконец, сам барон Б. Э. Нольде, гордившийся своим «политическим чутьем» и тоже с большими трудностями уехавший за границу, при Терещенко всегда мог бы получить почетное назначение и спокойно выехать из России. Он же, наоборот, не думал уезжать и даже в 1918 г. пытался играть политическую роль. С другой стороны, весь обширный бюрократический круг Петрограда, сильно пострадавший уже от Февральской революции и на верхах имевший широкие материальные возможности выезда за границу, не выехал в 1917 г. до октябрьского переворота, помещики не продавали своих имений иностранцам, несмотря на выгодные предложения, вице-директор Экономического департамента нашего министерства князь Л. В. Урусов, впоследствии один из главных руководителей саботажного движения, владевший богатейшим имением в Волынской губернии, так и не продал его летом 1917 г., несмотря на предложенные ему очень выгодные условия, и таких случаев в нашем министерстве была масса.

Эмиграционной тяги с февраля до октября 1917 г., безусловно, не было, несмотря на то что именно наши чиновники должны были предвидеть неминуемость катастрофы. Все чувствовали, что Россия тяжко больна, но именно поэтому и не хотели ее покидать. Правда, огромное большинство не предполагало, что кризис болезни так близок, и, пожалуй, больше всего обманывались те, кто неотступно был у постели боль-

ного. Терещенко, правда, имел в виду поехать на ноябрьскую конференцию союзников в Париж, но сам же назначил свой отъезд на ноябрь, тогда как от него в большой степени зависело назначить эту конференцию раньше. Он нарочно затянул ее, надеясь, что к ноябрю 1917 г. положение России исправится.

Июльские дни в Петрограде

Теперь я должен вернуться к общему положению в Петрограде, так как оно оказывало самое непосредственное влияние на жизнь и работу министерства. Так долго ожидавшееся наступление 18 июня, наконец, грянуло и подняло дух как в России, так и у союзников. После приказа и первых известий с фронта Терещенко снова собрал нас всех в своих апартаментах и сообщил нам о наступлении, произнеся при этом горячую речь, имевшую неожиданный эффект, а именно две канцелярские барышни поступили немедленно после этого в женский батальон, отправлявшийся на фронт. Одна из этих барышень служила с начала войны в нашей Юрисконсультской части и в сентябре приезжала в Петроград. Я ее едва узнал, так военная служба ее изменила. Двое наших чиновников — один из центрального ведомства, другой из посольства в Лондоне — пошли в авиацию.

Должен сказать, что как раз в этот период был пересмотр всех лиц, освобожденных по своим служебным обязанностям от военной службы. В эту междуведомственную комиссию с участием Петроградского Совдепа были привлечены и члены нашего комитета Общества служащих, и там были установлены списки освобождаемых. Ряд чиновников были при этом признаны подлежащими призыву на военную службу с 1 января 1918 г. (к тому времени им следовало приискать заместителей). Что касается меня, то, хотя я был освобожден по своему академическому положению, при представлении всего списка служащих моя фамилия вызвала внимание других ведомств, так как под ней стояла пометка «незаменимый специалист», что в 26 лет было ими признано невозможным. Я было очень обрадовался случаю променять свою мирную профессию на фронт, но министерство не допустило включения меня в списки подлежащих военной службе, хотя бы и с 1 января 1918 г., прикрепив меня, таким образом, к ведом-

ству и, к моему сожалению, доказав названному совещанию правильность указанной квалификации.

Это настроение короткого, но всеобщего подъема быстро прошло, в особенности в связи с июльскими днями в Петрограде. Я оставался там неотлучно и имел возможность собственными глазами все наблюдать. В эти дни министерство, конечно, пустовало, но привыкшая к автомобильным парадам и антиправительственным демонстрациям при начале событий петроградская публика с любопытством наблюдала происходящее. Когда, однако, послышалась стрельба и улицы наполнились приехавшими кронштадтскими матросами (как раз тогда было сказано В. М. Черновым крылатое слово о «красе и гордости революции» — кронштадтских матросах, которые оправдали это наименование в октябре 1917 г.), город вымер.

После Февральской революции не было такого положения в Петрограде. Я прошел в эти дни несколько раз весь город из неудержимого любопытства, хотя, признаюсь, несколько раз вынужден был пережидать перестрелку в первом попавшемся доме. Надо сказать, что эти столь знаменательные дни, которым предстояло стать грозным предвестником Октябрьской революции, ни в малейшей мере не походили на Февральскую революцию и даже на апрельскую попытку свержения Временного правительства, закончившуюся уходом Милюкова и первым кризисом Временного правительства. Июльские дни имели свое собственное cachet*, которое им придавали именно кронштадтские матросы, раньше не принимавшие такого участия в петроградских событиях.

Эти матросы группами и в одиночку, с ружьями наперевес, с загорелыми лицами и с лентами, перевернутыми внутрь на своих шапках, чтобы скрыть свою принадлежность к тому или иному судну, эта анонимная атака приехавших извне людей, ставшая надолго символом большевистской революции, не имели ничего общего с февральской толпой или же с апрельскими военными демонстрациями, несшими, правда, плакаты с надписями «Долой войну», «Долой Милюкова»,

* Отпечаток *(фр.)*.

но несшими их открыто, с полковыми знаменами и в строю. Здесь же это была не демонстрация, а нападение людей, которые опасались расплаты и скрывали свои воинские звания, перевертывая ленту с обозначением своей части или своего судна, как бы стыдясь того, что делают. И если до сих пор герои Февральской революции были «охотниками на львов», о которых я упоминал выше, то именно в июльские дни я впервые отдал себе отчет, что теперь они уже превратились в «охотников за черепами» — анонимных и всем своим видом невольно вызывавших подозрение в «наемности».

Они рассыпались по всем улицам, примыкавшим к Невскому, но особенно любили перебежки по набережным, как будто близость воды придавала им бодрость. Никогда еще уверенность, что чужая рука движет этими людьми, направляет их и оплачивает, не принимала у меня такой отчетливой формы. После июльских дней всякая тень сомнения в германской завязи большевистского движения у меня исчезла. В этих кронштадтских матросах не было ни малейшей искры энтузиазма или же того мрачного фанатизма, который заставляет человека идти на смерть за с в о е дело. Нет, как раз обратное — это было скорее хладнокровное и деловое исполнение определенного, заранее обдуманного другими плана, который мог и не удаться, и тогда эти анонимные наемники могли безнаказанно вернуться в свое разбойничье гнездо, не оставив даже видимых следов принадлежности к определенной воинской части. Наконец, невиданная до сих пор на петроградских улицах регулярная атака рассыпной цепью и в одиночку — все это были методы не народной революции и даже не гражданской войны, это была неприятельская вылазка, изменническое нападение внешнего врага, старавшегося врасплох овладеть городом.

Я нигде не видел той бестолковой суеты, митингования, призывов к толпе, искания сочувствия, которые были в апрельские дни и во всех антиправительственных демонстрациях доселе. Наоборот, эти люди к местному мирному населению относились с полнейшим равнодушием, как полагается в регулярном бою, когда все сводится к военным действиям враждующих армий, а мирное население, пока оно

не вмешивается в военные операции, является quantité négligible. Именно таково было отношение к петроградскому населению в июльские дни. Они были страшны именно тем, что все было сосредоточено на военной задаче.

Здесь не было никаких сцен разнузданных эксцессов, погромов и избиений мирных жителей — всего того, что я потом так часто видел в гражданскую войну, когда эмоции не поддаются контролю. В июльские дни я был поражен какой-то деловой планомерностью, холодным расчетом, отсутствием какого бы то ни было азарта или революционного увлечения, не говоря уже о совершенно неподходящем слове «пафос», отсутствием всяких излишних движений и, самое главное, чужеродностью, иноземщиной этого налета, как будто это были не русские люди, а латыши, китайцы, кавказские инородцы, впоследствии принявшие такое активное участие в гражданской войне.

В противоположность известным пушкинским словам о том, что русский бунт всегда бессмыслен и жесток, я в июльские дни не видел ни бессмысленности, ни излишней жестокости. Наоборот, немецкая печать деловитой аккуратности, впоследствии совершенно стершаяся в большевистской стихии в дни гражданской войны, как это ни грустно, ставшей «русской», вернее, «обрусевшей», в июльские дни сияла на этих кронштадтцах, даже и не русское имя носивших, каких-то анонимных иноплеменниках. Скажу, что в февральские дни, несмотря на сравнительно малое количество пролитой крови, было много национальной бессмысленности и жестокости русского бунта. Я собственными глазами видел тогда дикие расправы, чисто русские, с обезоруженными городовыми, которых с выколотыми глазами толпа водила по улицам Петрограда или вытаскивала тех же городовых из чердаков и подвалов и вершила зверский самосуд — все это было омерзительно и глубоко отвратительно, но все это было стихийно. В июле же не было и тени этого.

Когда эти дни закончились ночным приходом войск с фронта и когда я увидел кавалерийские части, покрытые пылью и засохшей грязью, измученные быстрым переходом, но при всем этом такие русские, то для меня не было ни

малейшего сомнения, что кронштадтские «гости» не были русской самодельщиной.

Значительно позже, в октябре 1918 г., в Киеве присяжный поверенный Бессарабов, заведовавший судебным следствием Временного правительства по делу о германских деньгах, данных большевикам для производства в России пораженческого переворота, рассказывал, как он в июльские дни со своим начальством объезжал казармы Преображенского полка и показывал солдатам, вопреки правилам закона, данные судебного следствия, чтобы убедить их выступить против наезжих кронштадтцев.

Как бы то ни было, приход войск с фронта решил участь восстания, и кронштадтский налет кончился неудачно. В самый вечер прихода войск с балкона нашего министерства, обращаясь к пришедшим войскам, говорили Терещенко и некоторые члены Временного правительства, в том числе и В. М. Чернов. Нератов, присутствовавший при этом, говорил нам о «решительной победе» и «подъеме», который чувствовался во встрече Временного правительства с войсками.

«Победа», конечно, была, но как она была использована? Мы все в Петрограде ждали суровой и беспощадной расправы с большевиками, которые от речей с балкона дворца Кшесинской и уличных митингов и даже вооруженных демонстраций уже перешли к делу, то есть к попытке вооруженной рукой захватить власть в самой столице России. Казалось бы, колебаниям больше не должно было быть места, между тем после известных арестов зачинщиков по требованию, как тогда говорили, Петроградского Совдепа главные виновники были выпущены, и когда стало известно, что Временное правительство и не собирается ликвидировать «смуту» энергичными мерами, то единодушное положительное отношение к Февральской революции, обнаружившееся в первые дни ее, стало быстро падать, переходя уже прямо в оппозицию.

Халатность и измена в МИД

Я не знаю, насколько все, что говорилось тогда по поводу будто бы ареста Троцкого, Ленина, Зиновьева, которые-де были выпущены по личному приказу Керенского, соответствовало истине, но неоспоримо одно, что именно тогда, когда за июльскими днями не последовало истребления большевист-

ского корня, именно тогда началась личная кампания против А. Ф. Керенского, которому как главе правительства ставилась в вину нерешительность в этом деле. Вспоминая при виде кронштадтских налетчиков доклад по Кронштадту В. Н. Пепеляева Временному правительству и ответ князя Г. Е. Львова, нельзя, конечно, всю вину за предшествующее сваливать на одного А. Ф. Керенского, но то, что происходило после июльских дней, уже подрывало его личную репутацию.

Теперь нельзя не поставить вопрос: какова же роль Терещенко в этой послеиюльской нерешительности? По существу, конечно, не меньшая, чем Керенского, хотя Терещенко впоследствии и говорил, что он настаивал на крайних мерах, но не встретил будто бы сочувствия у других членов Временного правительства. На это можно сказать, что если бы Терещенко придавал этому такое важное значение, как он потом рассказывал, то кто ему мешал уйти, доказав своей отставкой непричастность к дальнейшему? Терещенко не ушел, и о сколько-нибудь существенном разрыве с Керенским именно в это время у нас не только ничего не знали, но как раз, наоборот, в целом ряде случаев я был свидетелем обратного — прекрасных отношений Терещенко с Керенским.

Спрашивается, что же Терещенко как министр иностранных дел мог сделать в борьбе с большевизмом внутри страны? На это можно ответить двояко. Прежде всего, как один из важнейших министров Временного правительства Терещенко имел полную возможность повлиять на общую политику правительства и, в частности, на борьбу с большевиками, а второе — то, что в качестве главы дипломатического ведомства он обладал в своем собственном министерстве и организациями и отдельными лицами для участия в этом столь важном для внешней политики России деле.

Вот в связи с этим последним пунктом я и считаю необходимым указать, что Терещенко унаследовал от Милюкова не только стремление продолжать по возможности старую политику русского правительства во время войны и сохранять хорошие отношения с союзниками, но и халатность Милюкова по вопросу о большевистски настроенных «эмигрантах», которые прибывали целыми партиями в Россию и при

Терещенко. Последний, как и Милюков, совершенно не интересовался этим вопросом, хотя уже имевшиеся несколько случаев высылки таких «эмигрантов» из России за шпионаж и противоправительственную пропаганду на фронте должны были заставить подумать, не пора ли традиционное русское гостеприимство и бесконечно продолжавшуюся «амнистию» по отношению ко всем «царским» преступлениям ограничить хотя бы рамками военной безопасности.

Терещенко, так же как и его предшественник, предоставил все А. А. Доливо-Добровольскому, который на правах вице-директора Правового департамента по административной части единолично ведал как этим вопросом, так и всеми вопросами контрразведки. Доливо-Добровольский, которого военное ведомство, ведомство внутренних дел и юстиции держали в полном курсе всего, что делалось по большевистскому вопросу, конечно, при соответственной решимости и желании мог очень существенно влиять и на своего министра, и на остальные ведомства, но он, явно по мотивам, которые стали яснее только после его перехода к большевикам в момент Октябрьской революции, не желал этого. Доливо-Добровольский не только не докучал Терещенко, но если и проявлял в этом направлении активность, то лишь в устранении всяких препятствий возвращающимся «полубогам», как он выражался, занять впоследствии место на советском Олимпе.

Если Доливо-Добровольский несет всю ответственность за свои действия, которые ретроспективно можно смело обозначить «изменой», то и Терещенко и Нератов, непосредственные начальники Доливо, несут высшую государственную ответственность за его действия в историческом смысле. Они в полной мере «проморгали» эту измену: первый — по молодости и неопытности, второй — по трусости, и если Милюков не менее, а может быть, и более Терещенко виноват в том, что он впустил Ленина и знаменитый «запломбированный вагон», то Терещенко не менее виноват в том, что не выпроводил этих лиц за границу, не ограничивал их деятельность внутри России, не сделал то, что мог бы сделать как министр иностранных дел, а именно: собрать достаточно веские улики

против большевиков, касавшиеся денежной и военной связи с Германией, а затем их опубликовать, и уж во всяком случае в том, что он продолжал доставлять Ленину, Троцкому и К° готовые кадры в лице возвращающихся на родину амнистированных «эмигрантов».

Разница между Милюковым и Терещенко в отношении к Доливо-Добровольскому заключалась в том, что Милюков просто не интересовался этими делами и дал carte blanche Доливо, а Терещенко, после того как тот раскрыл свое давнишнее революционное прошлое, о чем я упоминал в начале настоящих записок, прямо побаивался его. Еще более, чем Терещенко, боялся Доливо-Добровольского Нератов, который в качестве «царского бюрократа» значительно для бывшего гофмейстера переменил свою политическую окраску, в одном разговоре со мной пожелав победы «умеренным социалистам» в Учредительном собрании, так как они одни, по его мнению, могли спасти положение.

Положение Доливо-Добровольского стало в министерстве inattaquable* не в силу того, что за спиной его стояли в тот момент какие-либо могущественные друзья, а исключительно в силу психологических обстоятельств, в силу моральной слабости Терещенко и Нератова. Доливо-Добровольский получил незадолго до ухода Милюкова предложение занять пост генерального консула в Париже, которое он отверг, не считая его для себя достаточно почетным (этот пост потом был замещен старым русским эмигрантом в Париже Аитовым), после того как он, еще недавно нововременский фельетонист, превратился в революционера. В прошлом он мечтал о заграничном назначении, но не о консульском, а о дипломатическом, и, внешне изображая крайнее подобострастие, отлично понимал, что его побаиваются и начальство и коллеги, среди которых было мало лиц (или, вернее, совсем не было), которые могли бы похвастаться заслугами перед революцией.

В то же время Доливо-Добровольский крайне иронически отзывался о главных фигурах того времени, называя Керенского «Жанной д'Арк, воодушевляющей устриц», по поводу

* Недоступным для критики *(фр.)*.

его объезда фронта перед наступлением, Терещенко называл всегда «notre petit sucrier»* из-за его сахарных заводов; по поводу утверждения молодого Коростовца, бывшего секретаря Милюкова, что кадеты и Милюков еще вернутся к власти, он стал смеяться самым недипломатическим смехом, обидев В. К. Коростовца, который долго еще после ухода Милюкова распространял всякие нелепицы о том, будто бы Милюков снова заменит Терещенко. Все эти остроты в своей компании не представляли из себя криминала, но после июльских дней mot d'ordre** Доливо-Добровольского был «мир».

То он рассказывал по поводу призыва 43-летних, как за этой толпой бежали их бабы, голосившие на всю улицу, в свертках неся за ними галоши и прочие невоенные предметы, то передавал в комичном виде массовые переходы в плен и т. п. Все это, несомненно, имело определенную цель — подготовить своих коллег к приходу «тех, кто заключит мир». Иногда без обычного, хотя и остроумного, но все же фиглярничества он говорил, что только та партия и то правительство, которые дадут мир, удержатся у власти, часто в порыве откровенности, ссылаясь на своего брата, капитана 1-го ранга, служившего в Морском генеральном штабе (я упоминал о нем как о будущем участнике брест-литовских переговоров), говорил, что мир неминуем, так как, если его не заключит Временное правительство, его заключат дезертиры.

Когда я его однажды спросил, неужели он советует делать «ставку на дезертиров», он сказал: «Вот именно, кто эту ставку сделает, у того в руках будет Россия». Когда я сказал: «Значит, она будет у большевиков», Доливо-Добровольский ответил: «Да, если не произойдет чуда», и после стал горячо убеждать меня, что единственная возможность перехватить власть у большевиков — это немедленно заключить сепаратный мир с Германией, то есть вырвать у них главный козырь в их игре. Когда появилась упомянутая выше статья Нольде в «Речи» с подобным же предложением, Доливо-Добровольский очень загадочно отозвался: «Об этом нельзя писать, это можно только делать».

---

* Наш маленький сахарозаводчик *(фр.)*.
** Паролем *(фр.)*.

Предвидение Доливо-Добровольского на самом деле было соучастием, но так как никто до наступления большевизма не ожидал, что Доливо прямо перекинется к большевикам, то тот имел возможность до самого конца продолжать свои большевистские парадоксы, возбуждая во всех чувство гадливости, но не подозрения в прямой измене. Нератов, при котором Доливо никогда на подобные речи не решался, но который знал о них, расценивал это как паясничание Доливо, не видя тут ничего серьезного. Наоборот, молодые люди, подчиненные Доливо, относились к нему крайне подозрительно, и на одном заседании нашего комитета Общества служащих князь Л. В. Урусов, наш новый председатель и ближайший географический сосед Доливо по департаменту, прямо поставил вопрос о нем как о вредном человеке. Урусов на основании собственных впечатлений и отзывов служащих Правового департамента провел через комитет требование о вызове Мандельштама и устранении Доливо.

Все это так и произошло бы, поскольку слова и поступки Доливо были слишком явно дефетистскими, но Нератов, с которым самым конфиденциальным образом говорил по этому поводу Урусов, сказал, что все, что он в состоянии сделать, это вызвать Мандельштама; до его приезда он, однако, не может изъять административную часть Правового департамента из рук Доливо, так как его ближайший помощник Чельцов — beau-fils* Протопопова и обиженный Доливо сейчас же это опубликует. Нератов прибавил, что Доливо как-то ему на это намекнул в связи с каким-то предполагавшимся повышением Чельцова и что самое лучшее — подождать приезда Мандельштама. Так этот вопрос и не решился до большевистского переворота из-за неприезда Мандельштама. Все функции по иностранному шпионажу и по делу о большевиках — все это оставалось до самого дня переворота в руках Доливо-Добровольского.

Как далеко зашла эта измена, находился ли он уже летом 1917 г. в сношениях с большевиками, прямо ли он информировал их о том, что делается в МИД, или просто знал досто-

* Зять *(фр.)*.

верно, как все произойдет, и заранее приготовил себе позицию — все это могут рассказать только большевики. Позже, при описании самого октябрьского переворота и поведения при этом Доливо-Добровольского, я приведу некоторые данные, из которых будет ясно, что согласованность действий нашего управляющего административной частью Правового департамента с большевиками, конечно, была, а раз так, то и вся его рассматриваемая ретроспективно деятельность по большевистским делам, вплоть до его участия в решении вопроса о впуске самых первых «эмигрантов», не может быть квалифицирована иначе, как измена.

Психологические обстоятельства, мешавшие бороться и вскрыть эту измену Доливо-Добровольского, заключались в том, что к моменту Февральской революции он был сотрудником «Нового времени», в разгар ее, то есть летом 1917 г., оказался «бывшим революционером», а в момент октябрьского переворота, точнее, через несколько дней, он не только перешел к большевикам, но и выпустил в «Правде» воззвание большевистского характера с призывом на службу бастовавших чиновников — призывом, вызвавшим ядовитую отповедь Философова, назвавшего его в «Речи» «елейным порнографом». Подробнее обо всем этом я расскажу ниже.

Доливо-Добровольский, выдвинутый из общей массы чиновников Нольде в бытность того директором II Департамента, между прочим, по случаю назначения Нольде товарищем министра произносил от имени служащих этого департамента напутственную речь Нольде, предрекая ему ослепительную будущность и говоря в необыкновенно выспренних выражениях о деятельности Нольде в департаменте (на что Нольде рассмеялся и махнул рукой, говоря, что «все это преувеличено», а про себя заметил: «Моя арфа уже повешена на гвоздь, и ее золотят последние лучи солнца». Он, однако, ошибся — его арфу позолотили лучи не февральского, а октябрьского солнца).

Здесь, в период между июльскими днями и корниловскими с Московским государственным совещанием 10 августа в промежутке, наш комитет Общества с его общими собраниями снова получил свое значение. Должен сказать, что до июль-

ских дней, при всей напряженности работы, при том внимании, которого требовали от каждого из нас текущие дела, и при сравнительно безболезненном переходе от Милюкова к Терещенко, после треволнений переходного момента мы сами старались не выдвигать на первый план наш комитет, сила которого возрастала по мере несколько феерического служебного возвышения его членов: Петряев, Некрасов, занявшие крупные должности, но не порывавшие связи с нами, наконец, князь Л. В. Урусов, который, после того как заместитель Струве в качестве директора Экономического департамента Н. Н. Нордман был отправлен в командировку за границу и оттуда не вернулся, так как его там застала большевистская революция, стал управляющим Экономическим департаментом. Все это уже само по себе придавало нашему комитету вес в силу значения личностей, в него входивших.

Повторяю, после того как Терещенко выдал нам вексель относительно незаключения сепаратного мира в присутствии всего ведомства, мы сознательно не желали саботировать его работу, видя, что он во всех отношениях подчиняется ведомству, двигаясь должным направлением. Но до июльских дней наша роль сводилась к тому, чтобы дать возможность новому министру беспрепятственно работать, и когда единственное облако в виде упомянутого обращения в советы присяжных поверенных, грозившего совершенно потрясти всю постановку дипломатической службы, рассеялось, наша позиция была благожелательной и вполне лояльной. Сам Терещенко по вопросам, касавшимся быта служащих, например по вопросу о материальном положении и не сходившему с повестки дня за всю войну вопросу о прибавках к жалованью на дороговизну, привлекал наш комитет.

Таким образом, все обстояло бы вполне благополучно, если бы не внешние обстоятельства, сдвинувшие наш комитет с идиллической позиции. Я говорю об июльских днях. Надо тут же сказать, что «чиновничий синдикализм», к которому Временное правительство в первый момент не выработало своего определенного отношения, теперь уже был формально легализован и Временное правительство в целом ряде случаев официально привлекало организации служащих в соответст-

венные совещания. Легализованные таким образом чиновничьи союзы слились в Петрограде в Союз союзов, который охватывал все ведомства в Петрограде и сыграл впоследствии решающую роль в организации саботажа чиновников в момент большевистского переворота.

От нашего комитета в состав Союза союзов вошли трое лиц: председатель комитета князь Л. В. Урусов, В. К. Коростовец и я. Из этих троих лиц до июльских дней только Урусов и Коростовец посещали Союз союзов, так как я был настолько занят, что не считал возможным ходить туда, зная от Урусова и Коростовца, что дело только начинается и находится в организационной стадии. Я стал бывать там уже в период после корниловских дней, потеряв веру в то, что Временное правительство спасет положение. Между тем Союз союзов получил приглашение на Московское государственное совещание, причем от Союза союзов поехали трое, в том числе князь Л. В. Урусов (его входной билет был написан на имя «гражданина Льва Владимировича Урусова», без обозначения княжеского титула). Таким образом, наш комитет втягивался в общую политическую игру.

Князь Урусов действительно ездил в Москву и по приезде сделал доклад на общем собрании нашего Общества. Сам Урусов в Москве не выступал, но этого от него и не требовалось. Зато его доклад был выслушан весьма внимательно, и мы решили пристегнуть себя не только формально, но и по существу к Союзу союзов, хотя там все еще продолжались организационные споры. По своему политическому существу Московское совещание уже кристаллизовало оппозицию Временному правительству, несмотря на внешнее примирение к концу совещания. Вставал вопрос, оставаться ли нам, то есть теперь уже всей чиновничьей массе, в оппозиции или же продолжать держаться прежней лояльной позиции. Огромное большинство как у нас в ведомстве, так и в других ведомствах продолжало оставаться на прежней позиции, несмотря на то что критика действий Временного правительства в нашем министерстве была очень сильна.

Начались первые переоценки и в вопросе о монархии. При этом большую роль сыграл у нас С. Д. Сазонов, который,

хотя и находился формально вне ведомства, однако фактически сохранял связь с ним благодаря долголетним личным знакомствам. Сазонов вскоре после его отставки Временным правительством от должности посла в Лондоне стал довольно открыто говорить, что свержение монархии было политической ошибкой, что в этом повинны два человека, а именно Гучков и Шульгин, отправившиеся к Николаю II и привезшие другой текст, а не тот, который должны были привезти, что добавление об отречении царя не только за себя, но и за сына было их ошибкой. Манифест Михаила — это уже последствие этой роковой ошибки. «Гучков и Шульгин — вот кто погубил монархию»,— говорил в это время Сазонов своим многочисленным друзьям.

Но исторически было бы неправильно утверждать, что монархическое движение выявилось в это время. В нашем ведомстве, да и вообще в Петрограде в чиновничьих массах монархические настроения сколько-нибудь заметно стали выявляться лишь после большевистского переворота, когда выяснилось, что Временное правительство не имеет никаких шансов восстановиться. Даже и после октябрьского переворота борьба с большевизмом сначала велась под флагом Комитета борьбы за спасение Родины и Революции. Эта типично февральская формула первое время была и лозунгом саботировавшего большевиков чиновничества.

Мне приходилось в моих предшествующих записках давать характеристику князя Л. В. Урусова, председателя нашего комитета. Поскольку его роль в министерстве стала все возрастать к концу Временного правительства, то нельзя не остановиться на его служебном положении в ведомстве, так как оно очень стимулировало комитетскую деятельность Урусова.

Положение его в самом начале Февральской революции определялось его должностью вице-директора II Департамента при Нольде в качестве директора. Нольде стал товарищем министра, из II Департамента и Юрисконсультской части были образованы Правовой и Экономический департаменты, во главе которых были поставлены П. Б. Струве, сразу вступивший в должность, и Мандельштам, который, как я

указывал, не приехал из-за границы, и управление Правовым департаментом в административной части легло на А. А. Доливо-Добровольского, а в юридической и международно-политической — на меня. Доливо был в одинаковом положении с Урусовым до Февральской революции, но он, так же как и я, фактически очень повысился в служебном положении, заведуя самостоятельной частью с правом доклада министру. Урусов же, хотя ничего не проиграл с революцией, но и не выиграл, а так как это был человек с большим темпераментом, то, несомненно, он был в обиде и стал инициатором создания Общества служащих МИД, где с самого начала занял главенствующую роль, даже когда председателем был Петряев.

Урусов был сверстником Нольде и одновременно с ним начал дипломатическую службу, когда же после ухода Струве по его рекомендации был назначен один из его учеников Н. Н. Нордман, не владевший в должной мере, как я отмечал выше, даже иностранными языками, Урусов был прямо оскорблен здесь, так как ему приходилось служить под начальством человека моложе его и бесспорно недостойного того поста, который ему был вверен. Только значительное время спустя Нордман был послан за границу в командировку, из которой так и не вернулся, но Урусов только временно стал его замещать. Это невысокое по сравнению с быстрым движением его коллег служебное положение заставляло его природное честолюбие довольствоваться своей ролью в комитете, которую он по шатким обстоятельствам момента сознательно углублял.

В основе этого сравнительно приниженного положения Урусова в министерстве была антипатия, которую питал к нему Терещенко. Последний не мог забыть того приема, который ему устроили в начале его деятельности, той дипломатической Каноссы, с которой он дебютировал. Этот эпизод Терещенко, справедливо или нет, всегда приписывал Урусову и видел в нем личный элемент. Одно время он даже думал его просто уволить из МИД, но не такие были времена — Урусов играл в ведомстве слишком видную роль и пользовался в связи с созданием по его инициативе Общества служащих большой

популярностью. Тогда Терещенко стал притеснять Урусова, как, очевидно, это легко может сделать всякий министр в отношении своего подчиненного, но Урусов долго служил в посольствах и миссиях и, хотя и не представлял из себя чего-либо исключительного, все же был достаточно опытный дипломат, чтобы показать неопытному министру, как опасно бывает иногда сводить личные счеты.

Эта личная игра Терещенко — Урусов продолжалась во все время министерства Терещенко. Почему-то Нольде с восторгом говорил об этом направо и налево, должно быть, из нелюбви к Терещенко. Когда, несмотря на личные чувства, Терещенко все же должен был дать Урусову управление Экономическим департаментом, то и здесь он отказался от предложения Нератова и Петряева сделать того директором департамента, а назначил его только временно управляющим. Урусов, спортсмен по природе (он был одним из лучших в мире игроков в теннис), очень остро воспринял новое свидетельство неприязни министра, друга Керенского, и даже отпустил себе по восточному обычаю бороду, с тем чтобы сбрить ее, только когда уйдут Терещенко и Керенский, которого он, хотя лично и не знал, но невзлюбил за его дружбу с Терещенко. Неудивительно, что, когда пришел час и Урусов в саботажные времена очутился во главе всех ведомств, он постарался это движение по возможности отдалить от истоков Февральской революции. Нужно отдать ему должное: в самый момент Октябрьской революции и во время, непосредственно за ней следовавшее, пока была тень надежды на восстановление Временного правительства, Урусов, как и все, был вполне лоялен. Лишь позже направление его деятельности изменилось.

Штрих к бытовой стороне Февральской революции

Мои непосредственные служебные обязанности за этот промежуток времени с июльских дней до корниловских продолжали расширяться. Так, после увольнения барона М. А. Таубе с поста члена Высшего призового суда в Петрограде, где он представлял министерство (как во время русско-японской войны это делал Ф. Ф. Мартенс), эти обязанности были возложены на меня. Бессменным прокурором суда был И. Е. Стеблин-Каменский, юрисконсульт морского ведомства, с которым мне так много пришлось поработать во время войны

в Совещании по морской войне, продолжавшемся по-прежнему в период Временного правительства, причем благодаря тому, что я занимался этими вопросами с самого начала войны и все участники совещания были те же, преемственность сохранялась полностью. Этот «старый морской волк» по случаю моего назначения нанес мне визит и очень пространно и с любовью говорил о новой моей должности, так как призовое право было его специальностью.

По закону в Высшем призовом суде участвовали адмиралы, представители морского ведомства, сенаторы как представители юстиции и представитель МИД как дипломатический член судебно-призовой коллегии, так как дела, подлежавшие разбору, были настолько крупны по своим материальным размерам, что не раз в прошлом вызывали дипломатические недоразумения. На представителе МИД лежала обязанность оценки именно этой международно-политической стороны каждого дела, помимо юридической, дабы предупредить при самом решении дела возможность конфликта. Но дух времени ворвался и сюда, прежний чрезвычайно высокий служебный состав Высшего призового суда был дополнен по предложению морского ведомства... представителями Центрофлота, то есть, другими словами, матросами, которые должны были заседать рядом с адмиралами.

По этому поводу я не могу не вспомнить, как Фромажо, впоследствии юрисконсульт французского МИД, во времена Версальского конгресса и после него — участник межсоюзных конференций в качестве эксперта по международному праву, говорил мне в Париже до войны о том, что во время Французской революции 1789 г. призовые суды во Франции 17 раз меняли свою компетенцию и свой состав, каждый раз по различным идеологическим причинам. То же в более скромных размерах приходилось видеть и мне, на деле изучая влияние революции на столь, казалось бы, отдаленное от нее явление, как призовой суд. Но я должен сказать, что, внимательно изучая по указанию Фромажо этапы французского революционного законодательства в этой области, я нигде не натолкнулся там на участие революционных матросских команд или хотя бы их центральных организаций. Это новшество —

самодельный продукт Февральской революции, и я с большим интересом ждал дня этого оригинального заседания адмиралов, сенаторов и революционных матросов, однако летом 1917 г. в этой апелляционной инстанции дел не было, и первое заседание преобразованного форума было назначено на 26 октября 1917 г.— дату, ставшую знаменитой. Об этом событии я расскажу ниже в связи с октябрьским переворотом, так как лично мне благодаря этому обстоятельству — я должен был присутствовать в качестве докладчика по назначенному на этот день делу — пришлось занять определенную позицию по отношению к Октябрьской революции единолично и за 24 часа до решения Союза союзов всех ведомств и нашего министерства в частности.

Но если мое участие в Высшем призовом суде самым неожиданным образом сочеталось со столь грандиозным событием, как большевистский переворот, то не могу не привести здесь одно из военно-морских совещаний летом 1917 г., в котором мне пришлось по обыкновению представительствовать от МИД. Разбирался вопрос, казалось бы, совершенно не имеющий отношения к революции,— вопрос о призовом вознаграждении. Привожу этот случай, так как он имеет самое прямое отношение к бытовой стороне Февральской революции, к преломлению ее в действительности.

Дело заключалось в том, что, по нашему действовавшему к моменту Февральской революции законодательству, известное как в английской, так и в западноевропейской практике вознаграждение за взятые призы, то есть неприятельские суда или нейтральные (в случае провоза на них контрабанды или прорыва блокады), полагающееся команде и офицерскому составу судна, было отменено по соображениям, высказанным еще на Гаагской конференции 1907 г., а именно потому, что это долг воинской чести, на который не должны влиять корыстные соображения. Россия шла впереди Англии, где призовое вознаграждение издавна служило приманкой для флотской службы, а в прежнее время даже на высших командных постах являлось одним из существенных элементов баснословных адмиральских состояний. Средневековый обычай совершенно не вязался с современной войной, и,

кроме того, призовое вознаграждение ставило в неравное положение военно-сухопутную добычу, где никто из чинов армии не имел права на вознаграждение, и военно-морскую, где они вознаграждались. По этим высоким мотивам русское правительство отменило призовое вознаграждение, и война 1914 г. должна была быть очищена от этого средневекового тяжелого наследия.

После Февральской революции Центрофлот по ходатайству черноморских моряков (равно матросских и офицерских организаций) поднял вопрос о восстановлении призового вознаграждения, ссылаясь на то, что из-за отсутствия этого вознаграждения огромное количество захваченных судов и вообще морской добычи попросту уничтожалось захватчиками на месте, пропадая, таким образом, и для команды и для государства. На этом совещании председательствовал, уже в новой форме, введенной Временным правительством, адмирал Бострем, бывший главнокомандующий Черноморским флотом, которого я лично знал еще по Севастополю. Состав совещания, происходившего в морском министерстве, был обычный, то есть междуведомственный, никаких иных элементов вроде Центрофлота и т. п. не было. Тем интереснее было то, что докладчик от морского ведомства, изложив историю вопроса и особенно подчеркивая наличие согласия офицерских и матросских элементов Черноморского флота в этом вопросе, со своей стороны, присоединился к ходатайству. После чисто формального замечания представителя министерства юстиции, заявившего, что этот вопрос может быть окончательно решен только во Временном правительстве, начались прения по существу.

Стеблин-Каменский, хотя он и занимал должность юрисконсульта по морскому ведомству, высказался против своего ведомства, весьма ярко и убедительно вскрыв реакционный характер ходатайства Черноморского флота и указав на те чисто корыстные интересы, которые воодушевляли авторов ходатайства. То обстоятельство, что офицерский состав был солидарен с матросским, Стеблин-Каменский справедливо не считал заслуживающим внимания, так как это дело общегосударственной политики и должно быть выше столь

низменных побуждений. Наконец, Стеблин-Каменский сказал, что офицерский элемент не только, наверное, искренне солидарен с матросами, но и был, должно быть, инициатором ходатайства, так как офицерские доли призового вознаграждения значительно выше матросских. В результате Стеблин-Каменский высказался самым решительным образом за отклонение ходатайства: «Если черноморские офицеры солидарны с командой, то из этого не вытекает, что мы должны быть солидарны с нашими офицерами. Наш долг — быть солидарными с интересами государства и правительства». Закончил он свою горячую речь, сославшись на то, что Временное правительство не может быть более реакционным, чем царское.

На это докладчик, представлявший Морской генеральный штаб, «по операционным соображениям» стал не менее горячо защищать ходатайство, говоря, что надо знать боевую обстановку на Черном море, что надо «реально подходить к вопросу» и т. д. Из его речи мне стало совершенно ясно, что мы имеем дело с «векселем», выданным морским ведомством Черноморскому флоту, векселем, который оно и не собиралось оставлять без оплаты. Остальные члены совещания, не аргументируя по существу вопроса, тоже «по тактическим соображениям» примкнули к представителю Морского штаба.

Я не мог не оказать поддержку Стеблину-Каменскому, хотя и отметил, что международно-правового элемента здесь не имеется, так как мы сделали эту отмену по собственному желанию, не будучи связаны никакими международными соглашениями. Я присоединился к Стеблину-Каменскому, так как отлично знал всю подоплеку дела. Наш представитель в Севастополе, член тамошнего призового суда Тухолка не раз писал мне по этому поводу. Кроме того, я знал, что именно морские офицеры были недовольны отменой призового вознаграждения, так как добыча в виде всяких восточных грузов, главным образом персидских ковров, была богатейшая и поневоле доставалась только государству. Я остановился и на том, что уничтожение призов, да к тому же нейтральных, практикуемое в таких широких размерах в Черном море, явно выходит за пределы нормального и что если «опе-

ративные соображения» того требуют, то я не понимаю, как восстановление призового вознаграждения может изменить «боевую обстановку» — наоборот, это восстановление может привести к тому, что военные суда будут гоняться за богатой добычей, рискуя собой. Как я ни старался завуалировать свои слова, всем стало ясно, что либо вообще Черноморский флот до сих пор зря истреблял захваченные суда, либо военные операции примут авантюристический характер с явно корыстным оттенком. Кроме того, я не мог не согласиться, что для Временного правительства конфузно делать бесспорный шаг назад и оказаться менее прогрессивным, чем царское правительство.

Бострем, осторожно резюмировавший прения, все же присоединился к большинству, и, таким образом, призовые вознаграждения оказались восстановленными. Когда дело слушалось во Временном правительстве, то я в записке на имя Терещенко изложил мотивы против принятия ходатайства Черноморского флота, однако тот со своей милой улыбкой сказал, что, «в сущности, меня как министра иностранных дел это не касается» — правильный ответ, если бы Терещенко всегда придерживался таких принципов. Не придавая этому делу чрезмерной важности, не могу не отметить, что оно было очень характерно для неприглядной обстановки момента. Судя по этому прецеденту, я ожидал, что Высший призовой суд с теми элементами, которые в описанном совещании находились за кулисами, а там должны были быть на сцене, проявит еще меньшую щепетильность по вопросам призового права, чем это собрание опытных бюрократов, связанных всяческими «векселями».

Урон от плохого делопроизводства

Временное правительство по технике своего делопроизводства сильно уступало прежнему царскому Совету министров. Если раньше канцелярия Совета министров (ныне переименованная в канцелярию Временного правительства), несмотря на частоту заседаний Совета, умудрялась довольно скоро изготовлять журналы заседаний, гладким канцелярским языком занося мотивы постановлений Совета министров, то по протоколам Временного правительства, составленным той же канцелярией, восстановить мотивы того или иного

постановления было просто невозможно, так как протокол заключался в кратких формулах «слушали — постановили». Кроме того, если раньше протокол заседания почти всегда соответствовал ведомости этого заседания, то при Временном правительстве этого никогда почти не было: очень часто о повестке дня просто забывали под влиянием срочных и злободневных вопросов текущей политики.

В самом начале Временного правительства целые заседания являлись импровизаций, так как вопросы возникали внезапно, вызывали горячие прения, попутно затрагивали другие, так что постановления нисколько не соответствовали намеченному порядку. Конечно, при таких катаклизмах трудно было сразу же ввести в точное размеренное русло канцелярского делопроизводства то, что приходилось делать Временному правительству, но немногие, кто внимательно присмотрелся к технической стороне деятельности Совета министров, как по долгу службы приходилось мне, могли видеть, что эти детали, вроде немотивированных постановлений Временного правительства, таили в себе опасность. Ведь Временное правительство в это время осуществляло полноту не только законодательной и исполнительной власти, но и верховной, отсюда всякое постановление имело характер веления абсолютной власти и каждая строчка в теории становилась законом.

Между тем первый кризис Временного правительства, повлекший выход Гучкова и Милюкова, а за ними и других, затем уход князя Г. Е. Львова и замену его Керенским,— все это сопровождалось очень существенной переменой взглядов, и мне приходилось не раз видеть, как Терещенко, желавший узнать, почему прежний состав Временного правительства в том или ином случае поступал так, а не иначе, должен был, за невозможностью узнать это по журналам соответственного заседания Временного правительства, обращаться к кладезю всяческой дипломатической и правительственной премудрости — А. А. Нератову. Но Нератов не всегда знал, что и почему конкретно делал Милюков. Тогда Терещенко приходилось либо самому измышлять мотивы данного постановления, либо посылать своего секретаря в наиболее заинтересованное ведомство, но и там часто ничего по этому поводу не знали.

Я уже не говорю об архивно-исторической стороне, которая, конечно, очень пострадала от указанного лаконичного способа ведения дел.

Дальше я укажу, как на холмском вопросе эта лаконичность записей постановлений Временного правительства отразилась самым пагубным образом, и я знаю, что в целом ряде случаев заинтересованные ведомства не могли доискаться затаенного смысла того или иного решения Временного правительства и вынуждены были «пересматривать» решение, мотивов коего не могли найти. Ныне покойный В. Д. Набоков не раз, еще в бытность Нольде товарищем министра, обращался к нему, как к знатоку в этой области (Нольде не только практически этими делами занимался в нашем министерстве, но и теоретически исследовал историю и технику делопроизводства в Совете министров; кроме того, при Витте отец Нольде был управляющим делами Совета министров). Нольде советовал ему по крайней мере в три раза увеличить состав служащих и распределить их по отделам, но это было безуспешно, так как для этого нужна была железная воля самого председателя Временного правительства, то есть князя Г. Е. Львова, и А. Ф. Керенского, которым в это время было не до того.

Поскольку я по-прежнему до самого конца Временного правительства продолжал заниматься его делами, то особенно остро чувствовал все недостатки техники делопроизводства, чему помочь не мог. При Милюкове дело было совершенно безнадежно, так как он просто не понимал, как такие «мелочи» могли иметь значение. С ним можно было говорить о чем угодно, но не об этом, и когда я попросил Нольде оказать давление на Милюкова в этом направлении, это доставило ему несколько веселых минут. Нольде чувствовал здесь такое превосходство над членами Временного правительства, что с особенной любовью язвил над Милюковым, князем Львовым и другими министрами по поводу того, что для них «искусство быть министром» — книга за семью печатями.

При Терещенко я смог добиться только одного — чтобы о делах, прямо касающихся нашего министерства, он сообщал Нератову, а тот передавал мне мотивы того или иного решения, я же на полях данного дела писал самым кратким образом,

почему такое-то постановление принималось. Таким кустарным способом я восполнял пробелы техники делопроизводства канцелярии Временного правительства, и то только в отношении дел, самым непосредственным образом нас касавшихся. Очевидно, что я не мог заставлять Нератова снимать допрос с Терещенко после каждого заседания, хотя бы и по важнейшим делам, если они не имели прямого отношения к нашему ведомству, тем более что времена переменились и по общеполитическим вопросам Терещенко мог иметь секреты и от самого Нератова, и от всего нашего ведомства.

Подготовка к созыву Учредительного собрания

Из общеполитических дел того времени дело о созыве Учредительного собрания стояло на первой очереди. Хотя оно было, естественно, чисто внутренним делом, но поскольку от него зависела судьба не только самого Временного правительства, но и всей России, то понятно, что Терещенко и наше ведомство этим делом чрезвычайно интересовались.

Упомяну мимоходом, что помимо общегосударственного значения в этом деле имелась и чисто дипломатическая сторона. Так, при определении границ действия положения о выборах в Учредительное собрание, которые были крайне широки, предстояло решить некоторые вопросы о фактически русских областях, находившихся в чужом владении. Например, так наз. «Урянхайский край», заселенный русскими, но находившийся в спорной русско-китайской полосе, был включен в число территорий, выбирающих в Учредительное собрание. Г. А. Козаков по поводу этого малоизвестного края и полосы отчуждения Восточно-Китайской железной дороги делал специальные доклады в связи с Учредительным собранием как Милюкову, так и Терещенко, и их положительным решением, несомненно, сфера если не территориальных владений России, то ее политического влияния значительно расширялась. Козаков перед этими докладами просил меня дать соответствующее международно-правовое освещение вопроса, что я и сделал в особой записке, присоединенной к делам Комиссии по выборам в Учредительное собрание. Комиссия эта включала в себя представителей заинтересованных ведомств (МИД в их числе, конечно, не было) и всех известных государствоведов, находившихся в Петрограде (барона

Б. Э. Нольде, В. Д. Набокова, П. П. Гронского, Н. Н. Лазаревского и др.), были и представители политических партий.

Наиболее интересным пунктом был вопрос о пропорциональном избирательном праве и партийных списках, связанных с отсутствием оседлости в данной местности, другими словами, то, что депутатом мог быть всякий, даже совсем не местный человек. Это положение открывало возможность выставить любое лицо от данной местности, сообразуясь исключительно с партийными надобностями, что впоследствии и случилось (в качестве курьеза укажу, что барон Б. Э. Нольде, например, был выставлен от Волынской губернии, с которой буквально ничем не был связан). С другой стороны, положение совершенно обезличивало в глазах населения данные партийные списки и, естественно, устанавливало партийную диктатуру, давая возможность заранее производить социальный отбор в том смысле, что интеллигенция получала полный перевес над простым народом, представители коего, то есть крестьяне от сохи и рабочие с фабрик, могли попасть лишь в виде совершенного исключения.

Это не была оплошность комиссии, это был твердо установленный догмат, родившийся после долгих прений внутри комиссии,— «интеллигентность» состава Учредительного собрания совершенно сознательно была поставлена выше «местной связи» депутата с населением, неизбежная однородность состава в отношении «интеллигентности» была, по мнению комиссии, таким плюсом, который определенно превышал минусы отсутствия «местной связи».

Предполагалось, что на Учредительное собрание ляжет вся тяжесть общегосударственных вопросов, все переустройство Российского государства, а для этого от депутата требуется прежде всего понимание этих вопросов, и так как все будет решаться в общегосударственном масштабе, а «местные дела» будут иметь второстепенное значение, то «интеллигентность» Учредительного собрания — самое важное его качество. В какой мере партийный эгоизм ослеплял комиссию, мне после июльских дней стало ясно из ряда разговоров с ее членами — Гронским, Нольде, Макаровым и другими, которые совершенно не считались с тем, что при этих условиях связь народа с

Учредительным собранием будет настолько слаба, если не вовсе фиктивна, что в минуту опасности народ не поддержит своих избранников — опасности, с которой тогда никто из моих собеседников не желал считаться. Они говорили, что опасность Учредительному собранию может грозить только от правительства, как это было с Государственной думой, а в лояльности Временного правительства по отношению к Учредительному собранию никто из них не сомневался.

Да и, действительно, опасности от Временного правительства Учредительному собранию быть не могло. То, что ретроспективно нельзя квалифицировать иначе, как величайшую наивность, но что удивляло меня больше всего, так это то, что и после июльских дней многие продолжали думать, что правительство, избранное Учредительным собранием, будет в совершенно иных условиях, чем Временное, и что никто не осмелится занести руку над народным, избранным всеобщим голосованием правительством. Ни среди правых, ни среди левых я нигде не слышал сомнений на этот счет. Наоборот, всеобщее убеждение этой комиссии, бюро которой было потом арестовано большевиками, состояло в том, что полоса тревог и волнений, окружавших Временное правительство, сменится полосой напряженной, правда, но спокойной работы, а ахиллесовой пятой Временного правительства считалось то, что оно не санкционировано «народом», представленным в парламенте. Так думали в комиссии по созыву Учредительного собрания.

В моем докладе Терещенко при утверждении положения о выборах в Учредительное собрание я не скрыл от него моих опасений, что, учитывая основные предпосылки этого положения, в особенности отсутствие связей избранных депутатов с местным населением, которые совершенно сознательно разрывались в угоду не вполне убедительным доводам о более высоком культурном цензе избранных таким образом депутатов (что отразит, конечно, известные партийные круги, но ни в малейшей мере не выявит лика русского народа), «народным» Учредительное собрание нельзя будет назвать хотя бы уже потому, что многомиллионная масса русского крестьянства

не имеет ни малейшего представления о партийной организации.

«Беспочвенность» Учредительного собрания, по моему мнению, представляла большее зло, чем давала преимуществ его «интеллигентность», так как очевидно, что вся работа государственного характера ляжет как на правительственные органы, так и на парламентские комиссии. Кроме того, я знал, что будущая канцелярия Учредительного собрания должна быть построена на привлечении в нее очень крупных научных сил и знатоков отдельных вопросов. Терещенко на мои замечания ответил очень предупредительно, что он тоже считает, как «беспартийный» член Временного правительства, что отрицание всякого значения «местных связей» депутата с населением при настоящих условиях неправильно и неполитично, но что он в меньшинстве, что все остальные члены Временного правительства стоят на противоположной точке зрения и что «один в поле не воин», партийные интересы победят, это бесспорно. Тут Терещенко лукаво улыбнулся. «Дай Бог вообще нам довести дело до Учредительного собрания, каково бы оно ни было»,— сказал он, и впервые я услышал у него пессимистическую ноту. Он невольно высказал ту затаенную мысль, которая, вероятно, была не у него одного, а и у других членов Временного правительства: лишь бы продержаться до Учредительного собрания, на плечи которого можно было бы перекинуть и власть, и ответственность.

Положение о выборах в Учредительное собрание было утверждено Временным правительством с незначительными изменениями редакционного характера. Основная мысль об отсутствии «местной связи» у депутата была оставлена в неприкосновенности, и, таким образом, действительность оправдала опасения о «беспочвенности» этого собрания, служившего маяком во все время деятельности Временного правительства. Партийные соображения и интересы не только господствующей эсеровской, но и кадетской партии (последняя была фактически по принадлежности своих членов господствующей в Комиссии по созыву Учредительного собрания) не оправдались, ничтожное число мест, полученных кадетами, свидетельствовало лишь о том, что они просчитались, надеясь, что

29 Зак. № 24

Учредительное собрание, которое они в начале Февральской революции всячески отсрочивали, будет их опорой.

Да позволительно будет мне, близко наблюдавшему Милюкова в период его министерства, высказать парадоксальное предположение, что его уход и несоответствовавшая моменту демонстративная постановка константинопольского вопроса являлись в известной мере также неудавшимся избирательным маневром, предвыборной позой, а не искренним убеждением, что другого выхода не было (Милюков был крайне польщен теми знаками внимания — яствами и проч., которые он получил от своих единомышленников в день ухода из Временного правительства). Может быть, и без того участь Милюкова была решена в недрах Временного правительства, но предлог его ухода («цели войны») был фальшив, так как Терещенко, как бы ни оценивать его деятельность, ни единым письменным актом не отступился от тайных соглашений касательно Константинополя и других эвентуальных приобретений, о которых договорилось царское правительство с союзниками, следовательно, и Милюков мог бы без ущерба для дела включить в свою ноту некоторые слова, магическое действие коих им было переоценено. А пущенный Струве и Нольде слух о «сепаратном мире с Германией» со стороны последнего был прямо недобросовестен, тем более после его недвусмысленного выступления в «Речи», по достоинству оцененного остальной прессой.

В особенности от кадетов я слышал, с момента ухода Милюкова, что Учредительное собрание должно оценить «героический акт» Милюкова, не пожелавшего ради участия в правительстве предавать «исторических целей» России. Следовательно, это не был просто «исторический жест» Милюкова, а во всяком случае и расчет на его эффект при выборах в Учредительное собрание. Конечно, если бы выборы состоялись в атмосфере свободной конкуренции партий и сразу после ухода Милюкова, то все это обнаружилось бы с полной яркостью, но и без того в бесчисленных выступлениях кадетские представители на всяческих собраниях не раз возвращались к уходу Милюкова и его мотивам, считая, очевидно,

этот момент крайне выигрышным для своей избирательной кампании.

Что мне бросалось в глаза, так это стремление Комиссии по выборам в Учредительное собрание устранить подлинный народный элемент (сиречь «местный») и заменить его партийно-интеллигентским в тех или иных расчетах. Не берусь утверждать, в какой мере искренними были слова Терещенко о том, что он будто бы смотрел иначе на вопрос о «местных связях» депутата с населением, чем большинство Временного правительства, его «беспартийность» могла ему диктовать такую позицию, но во всяком случае он никакой четкой оппозиции этому положению не противопоставил. Нератов довольно много времени спустя, незадолго до конца Временного правительства, говорил о том, что Терещенко очень пессимистически смотрит на Учредительное собрание, что он боится результатов выборов и т. д. и что вообще парламентаризм еще чрезвычайно «абстрактная» вещь для русского народа, что надо ждать от Учредительного собрания «сюрпризов». Но все это нисколько не оправдывает его индифферентного отношения к вопросу о положении, выработанном комиссией.

Сознание ошибочности предпосылок всех основных положений статуса об Учредительном собрании появилось у Терещенко, как, вероятно, и у других членов Временного правительства, лишь гораздо позже, а что касается его «пессимизма» по вопросу об Учредительном собрании и его действительной нервозности в самом конце Временного правительства, то они объясняются, по-моему, всем положением Терещенко, не связанного органически ни с одной русской партией и попавшего как-никак в министры иностранных дел благодаря случайному стечению обстоятельств.

Равнодушие к отрекшемуся царю

Удивительно, до какой степени мало внимания в дипломатическом ведомстве при Временном правительстве уделялось участи бывшего императора и всей царской семьи, удивительно по контрасту с тем, какое внимание уделялось Николаю II в нашем министерстве в 1914—1917 гг., до Февральской революции. Конечно, его отречение и уход с политической сцены не могли не отразиться на чувствах к нему бывших верных его сановников. Думаю, что причина несомненного равноду-

шия к бывшему царю кроется в отношении к нему высшей бюрократии до Февральской революции, о чем я упоминал в моих предшествующих записках. Думаю также, что, случись то, что случилось с Николаем II, не с ним, а с другим лицом, то и отношение к нему, например, нашего ведомства, игравшего в общей императорской системе такую важную роль, было бы иное.

Увольнение Сазонова, которое имело тогда символическое значение, приход Штюрмера, непонятное появление Покровского, обычная манера «лукавого византийца», как его аттестовал Бьюкенен, в обращении со своими министрами и вообще со своими приближенными в связи со столь унизительной распутинской историей — все это было так свежо, что ореола мученичества не было и не могло быть у Николая II при Временном правительстве и все располагало к забвению. Все в нашем министерстве, в особенности старшие чины, начиная с Нератова и Нольде (последний, один из авторов манифеста Михаила Александровича, был прямо настроен республикански, как я отмечал выше) и кончая директорами департаментов и начальниками политических отделов, к личности Николая II и даже к его семье оставались совершенно безучастными.

Отмеченные мною выше слова Сазонова о Шульгине и Гучкове, виновных в падении монархии, относились отнюдь не к Николаю II, а к монархическому принципу вообще. Не только к самому Николаю II и его семье, но и вообще ко всей династии Романовых в нашем ведомстве относились без всякого энтузиазма. Если не все были республиканцами, то эта скрытая тогда монархическая позиция основывалась не на убеждении в необходимости для России продолжать царствование Романовых, а скорее на абстрактном трудноустранимом привычном представлении об исторических заслугах монархии и его неизжитости в глубине народных масс, да на полезности конституционно-монархической формы правления для международного положения России, ее целостности и устойчивости.

Что же касается личных чувств к династии, то после ее непонятного бездействия во время между убийством Распутина и Февральской революцией, а в особенности после мани-

феста Михаила Александровича и его отказа последовать совету Милюкова, то есть принять власть, в нашем ведомстве прямо говорили, что династия утратила вкус к власти. Война и революция требовали от нее для сохранения престола высшей энергии, если не исключительных дарований, но ни того, ни другого не было. Что до легитимной психологии, то манифест Михаила Александровича освобождал монархическую совесть призывом к поддержке Временного правительства и спокойному ожиданию решения вопроса о форме правления от Учредительного собрания. Монархия из законного долга присяги превращалась в партийную доктрину, такую же легальную, как республиканская.

Напрасно было бы думать, что манифест Михаила Александровича придал внутреннюю силу монархии, сочетая ее с идеей народного суверенитета. Не был это и тактический ход, который в глазах прежних верных слуг монархии мог сделать ее популярной после распутинской истории. Как раз обратное — манифест Михаила Александровича в бюрократических кругах был понят как капитуляция монархии перед революцией. Отсутствие отпора со стороны династии, именно всей династии, не сумевшей после убийства Распутина произвести дворцовый переворот, а в момент революции не сумевшей противостоять явно республиканским течениям, было совершенно очевидно петербургской бюрократии, которая отлично знала, что среди династии нет исключительных личностей и никто не способен на жест Николая I на Сенатской площади, спасший Романовых в декабре 1825 г. Николай Николаевич, единственный из великих князей по своему недавнему прошлому в роли верховного главнокомандующего, мог бы, конечно, встать во главе контрреволюции и встретить в армии преданных ему и офицеров и солдат, но после манифеста Михаила Александровича и передачи верховного командования генералу Алексееву это была бы именно контрреволюция, если не гражданская война, на которую, как говорили люди, лично знавшие Николая Николаевича, он никогда не мог бы пойти из патриотических мотивов, в особенности во время войны такого калибра, как мировая.

От моего младшего брата, в 1916 г. бывшего вместе с кня-

зем Юсуповым, будущим убийцей Распутина, и его beau-frère'ом* сыном Александра Михайловича — Андреем Александровичем в Пажеском корпусе на кавалерийском отделении, я задолго до знаменательного происшествия в Юсуповском дворце знал, что Юсупов человек очень общительный и светский, но пустой и неспособный на роль дворцового заговорщика с определенным государственным планом.

В апреле 1917 г. мой брат, служивший в это время в штабе Одесского округа, приехал к нам в Петроград и виделся с Юсуповым и Андреем Александровичем, с которыми был на «ты», и они подробно и откровенно описали ему сцену убийства и ужас, овладевший им (Юсуповым), когда отравленные конфеты не подействовали на Распутина и его пришлось застрелить. Как только он был убит, убийцы расстегнули ему штаны и осмотрели половой член, про который ходили в Петрограде легенды, но нашли его обыкновенным и, удовлетворив свое любопытство, поехали его топить в Неве, боясь, что он снова оживет. Когда мой брат спросил, почему они убили Распутина и имели ли они план дворцового переворота, который от них ожидался всеми, Юсупов сказал, что они убили, дабы «смыть пятно с царской семьи и династии». О дворцовых переворотах он простодушно ответил, что это уже не их дело, что это дело старших великих князей. Дело их, молодых, было избавить страну от «распутинского позора», так как это угнетало всю династию. Они считали, что устранением Распутина они укрепят монархию, на что им не раз указывалось в гвардейских офицерских кругах, считавших Распутина единственным источником всех несчастий, окружавших царя за время войны, и тайным сторонником сепаратного мира с Германией.

Другими словами, и Юсупов, и вел. кн. Дмитрий Павлович считали, что, совершая физическое убийство Распутина, они одним этим спасают и династию и Россию. О дальнейшем они просто не думали. После же убийства они думали о себе, так как ожидали от царского правительства наказания за свое как-никак «преступление». Ни о каких планах великих князей произвести дворцовый переворот они не знали, когда соверша-

---

* Шурином *(фр.)*. Юсупов был женат на дочери вел. кн. Александра Михайловича Ирине.

ли убийство Распутина, но знали, что всей династии это будет приятно. Из этого подробного рассказа мой брат вынес определенное впечатление, что убийство Распутина не было звеном в большом дворцовом заговоре, а совершенно законченным отдельным актом молодых членов династии, действовавших при общем сочувствии ее, но не являвшихся орудием ни определенного кружка лиц, ни большой группы. Это был акт, вызванный общим настроением, но неправильно истолкованный в Петрограде и во всей стране как прелюдия к дворцовому перевороту.

Как бы то ни было, все вышеотмеченные обстоятельства настолько понизили у самых фанатичных монархистов в эпоху Февральской революции монархические чувства, что полнейшее равнодушие ко всей царской семье было господствующим в дипломатическом ведомстве. Всем нам был известен, конечно, шаг Бьюкенена, предложившего в самом начале революции отправить Николая II и всю его семью в Англию. Предложение исходило от короля Георга V. Милюков в первую минуту взялся его поддержать перед Временным правительством, и Б. А. Татищев под строжайшим секретом собирался даже поручить светлейшему князю П. П. Волконскому, своему вице-директору, отвоз царской семьи в Англию. Однако отрицательный ответ Временного правительства, вызванный опасением создать за границей очаг монархической агитации против него, заставил оставить этот вопрос. Повторяю, только полным равнодушием к личной судьбе царя и его семьи можно объяснить то, что никогда в среде нашего ведомства никем серьезно не поднимался вопрос о вывозе царской семьи за границу, никакой аналогии с Людовиком XVI, пытавшимся уехать за границу, не было.

Единственный из бывших столпов монархии — наше министерство по своей прежней близости к царю и иностранцам могло бы при желании что-нибудь сделать. Не надо забывать, что та же Англия могла бы при поддержке нашего ведомства принять известные меры на случай, скажем, крушения Временного правительства для спасения царя и его семьи. Никаких таких мер со стороны великобританского посольства за все время Февральской революции не было принято, и в

ведомстве не было ни одного лица, не исключая и Нератова, кто бы серьезно думал или высказывал мысль о необходимости вывоза царской семьи за границу. Этого нельзя объяснить одной только уверенностью в прочности Временного правительства. Такое поведение вытекало из постоянного раздражения и даже ненависти к Николаю II высшей бюрократии, которая никогда не могла простить ему того коварства, с каким тот умел отделываться от самых преданных ему сановников. Пример Сазонова в нашем ведомстве был правилом, а не исключением.

После бьюкененовского предложения в самом начале Временного правительства только одна иностранная попытка была сделана в отношении вывоза царской семьи за границу — это было предложение датского посланника графа Скавениуса, который обратился с просьбой разрешить ему перевезти царя, вдовствующую императрицу и всю царскую семью в Данию. Демарш был предпринят в самой конфиденциальной форме, но официально, от имени датского королевского правительства, исключительно ввиду тесных родственных связей двух династий — датской и русской, со всеми политическими гарантиями, которых захотело бы Временное правительство. На это Терещенко сразу же ответил категорическим отказом, заявив, что не может быть никакой речи о вывозе царской семьи за границу, хотя бы в Данию, и при правительственной гарантии, вопрос может стоять только о вдовствующей императрице Марии Федоровне как бывшей датской принцессе. Что же касается ее, то он, Терещенко, не стал бы возражать ввиду того, что, по его мнению, ее выезд за границу не может иметь политического значения, но что это все же вопрос такой государственной важности, что он даже не берется его лично передать Временному правительству без разрешения главы правительства А. Ф. Керенского.

Получив категорический отказ по вопросу о вывозе царя с семьей в Данию, граф Скавениус отправился к Керенскому в Зимний дворец говорить о Марии Федоровне. По словам Скавениуса, который все это рассказывал князю Л. В. Урусову, с которым был хорошо знаком лично, Керенский принял Скавениуса с помпой, но ответил и насчет выезда Марии Федо-

ровны решительным отказом, заявив, что «политические обстоятельства» не позволяют даже возбуждать этот вопрос во Временном правительстве. На слова Скавениуса, что положение вдовствующей императрицы, датской принцессы, настолько обособлено в династии, что он не может объяснить себе, как «политические обстоятельства» могут препятствовать ее выезду, Керенский ответил, что Временное правительство имеет по этому вопросу твердо установившийся взгляд и он не может передать просьбу Скавениуса правительству, так как отказ неминуем и он, без сомнения, совершенно напрасно обострит русско-датские отношения. Керенский мог только уверить посланника, что Временное правительство как в отношении Марии Федоровны, так и царской семьи принимает самые тщательные меры охраны и что он сам об этом заботится. Потерпев и здесь крушение, Скавениус ушел от Керенского крайне раздраженным.

Как мне передавал князь Урусов, видевший его сразу же после аудиенции у Керенского, Скавениус считал прием главы Временного правительства «холодным и даже надменным» и сказал Урусову, что его правительство, наверное, крайне огорчится, что его просьба не удовлетворена, в особенности же в отношении вдовствующей императрицы, которую Терещенко не считал фигурой политического значения. Само собой разумеется, что Скавениус не стал продолжать своих попыток, которые могли бы быть сочтены Временным правительством за вмешательство во внутренние дела. Это была единственная дипломатическая попытка вывезти царскую семью и Марию Федоровну за границу за все время существования Временного правительства, за исключением бьюкененовского предложения в самом начале Февральской революции, но и эта попытка не вызвала в нашем министерстве, где было так много чиновников, носивших придворные звания и вообще близко стоявших ко двору, никакого волнения.

Отмечу в то же время, что республиканская идея в чистом виде тоже не имела сторонников. Когда двое чиновников — вице-директор Среднеазиатского отдела, бывший секретарь герцога П. Ольденбургского М. М. Гирс и начальник Славянского стола Обнорский — официально вступили в сформиро-

вавшийся в Петрограде республиканско-демократический клуб, это вызвало не подражание, а скорее удивление. Поистине это было какое-то переходное время, и характерен случай с одним из моих родственников, Константином Дмитриевичем Батюшковым (братом критика Ф. Д. Батюшкова), заведовавшим у нас Отделом военнопленных, который, желая продолжать носить придворное звание, хотя бы на визитной карточке, спросил нашего начальника канцелярии министра, Б. А. Татищева (тоже камергера), как надо ему писать — бывший камергер двора его императорского величества или камергер бывшего двора его императорского величества. Тот ему сказал, что по духу времени им всем придется скоро писать «бывший Татищев», «бывший Батюшков» и ставить букву «б» перед всей Россией. Случилось все это гораздо скорее, чем Татищев предполагал.

Корниловские дни

Корниловские дни не могли, конечно, не отразиться на жизни министерства. Те, кто близко знал Л. Г. Корнилова, а такие у нас были, еще тогда, когда Временное правительство не выпустило своего воззвания, объявлявшего Корнилова изменником, говорили, что Корнилов не государственный деятель и, если ему даже удастся захватить власть, он не исправит положения, так как он при всем своем героизме не политический человек. Несмотря на этот скептический отзыв, шедший от людей беспристрастных, общие симпатии всего ведомства были в огромном большинстве не на стороне Временного правительства, а на стороне Корнилова.

Эти дни глубоко отличались от июльских, хотя и очень опасных для правительства, но представлявших лишь набег кронштадтских матросов, нападение извне с изменнической подоплекой. Если в эти дни все искренне сочувствовали Временному правительству, то именно потому, что оно, отражая нападение кронштадтских наймитов, совершало национальное и даже патриотическое дело. В корниловском же движении все было иначе. Подлинно русский характер этого выступления, быть может, действительно возникшего из бестолковой сумятицы с двух сторон, внезапно рассеченный словом «изменник» по отношению к верховному главнокомандующему армии,— квалификация, вздорность коей была тогда ясна

всем,— все это отвратило от Временного правительства ту массу, которая перестала быть монархической после Февральской революции и не стала республиканской.

Укажу на то, что муравьевская информация, о которой я говорил уже выше и которой, при всей ее легковесности, питалось наше заграничное представительство, накануне выступления Корнилова в циркулярной осведомительной телеграмме извещала наших послов и посланников, что между Петроградским Совдепом, Временным правительством и Ставкой существует «полное соглашение» касательно мер поднятия воинской дисциплины и вообще положения на фронте.

Спокойствие Терещенко в самом начале корниловского выступления было прямо изумительно — он говорил об этом направо и налево в нашем ведомстве с самым благодушным видом, и он был бы незаурядным дипломатом, если бы делал это, только желая успокоить ведомство. Но когда по всей России разошлось воззвание Временного правительства с объявлением Корнилова изменником, на Терещенко было страшно смотреть — до такой степени он был взволнован. От моих коллег по комитету, которые были в дипломатической канцелярии при Ставке (от князя С. А. Гагарина), я знаю, что, действительно, готовилось примирительное соглашение, которое в последний момент было «сорвано», как тогда говорили, посредниками, оказавшимися либо бестолковыми, либо нечестными маклерами.

Наиболее ходовая версия того времени приписывала эту роль Б. В. Савинкову, который будто бы в решительную минуту заколебался и спутал все дело. Скажу, например, что когда Савинков написал свою известную оправдательную записку по корниловскому делу, то тогда говорили, что он опять написал «То, чего не было» (название его нашумевшего в свое время романа). Говорилось, что между Керенским и Корниловым было соглашение о разгроме Петроградского Совдепа и его большевистского крыла, соглашение, расстроившееся благодаря тому, что об этом узнали в Совдепе, а Ставку не успели предупредить; из-за этого заранее подготовленному движению войск был придан антиправительственный характер, которого оно не имело, его цель была антисоветская, и только.

Передавая эту версию, я хочу только сказать, что в нашем ведомстве благодаря Терещенко были осведомлены о взглядах Временного правительства и в то же время знали воззрения Ставки, где у нас с самого начала войны была дипломатическая канцелярия, которой к моменту корниловского кризиса заведовал князь Г. Н. Трубецкой. В высшей степени странную роль играл помощник правительственного комиссара (Филимоненко) Фонвизин, наш чиновник, о котором я упоминал в начале настоящих записок, ставший к этому времени из дореволюционного секретаря константинопольского посольства и камер-юнкера страстным поклонником Советов и интернационалистических воззрений (при Милюкове — запись в кадетскую партию). Незадолго до корниловских дней он приезжал в Петроград и завтракал в министерстве в нашем Обществе бывшего Азиатского департамента, где и он и я были членами и я ежедневно завтракал. Он был в восторге от Советов и армейских комитетов, говорил, что это все люди с высшим образованием и представляют из себя подлинный цвет русской интеллигенции. Фонвизин, совсем еще молодой человек 29—30 лет, ушел из министерства и беззастенчиво проделывал то, что ретроспективно можно было бы назвать «советской карьерой». Он не был большевиком, но называл себя «левым эсером» — таково было это пикантное, но совсем не единичное обращение в иную веру бывшего молодого придворного и дипломата.

Как я только что сказал, самое поразительное в начале корниловскиех дней — это спокойная уверенность М. И. Терещенко, которую он старался сообщить всем, уверенность, имевшая, несомненно, какое-то объективное основание. За несколько часов до обнародования воззвания Временного правительства с объявлением Корнилова изменником Петряев, у которого я был по одному делу и которого спросил о положении Временного правительства, сказал мне, что он уверен, что все кончится благополучно, что никакого разрыва между правительством и Корниловым не произойдет и что с минуты на минуту будет образован «боевой комитет» из трех лиц — А. Ф. Керенского, Н. В. Некрасова и М. И. Терещенко, каковому будет передана диктаторская власть над всей Россией.

Когда я с удивлением спросил, почему же столь боевое название для новой Директории и как это совместить с его уверенностью, что все кончится благополучно; если такой «боевой комитет» действительно образуется, то скорее надо ждать чего-то вроде гражданской войны, Петряев ответил, что корниловское выступление есть, несомненно, «подрыв» престижа Временного правительства и диктатура названных трех лиц есть «тактический ход», чтобы этот престиж поднять и взять бразды правления в «железные руки», дабы предупредить возможность выступлений справа и слева; что как только этот «боевой комитет» будет образован, то он войдет в переговоры с Корниловым, заставит его отказаться от выступления и потребует торжественного отречения от него. Петряев не только не имел вида человека, выболтавшего правительственную тайну, но попросил меня как секретаря комитета сообщить новость Урусову и другим членам комитета, дабы успокоить их насчет твердых намерений Временного правительства путем диктатуры предохранить Россию от потрясений.

После выпуска воззвания Временного правительства уже никакой почвы для «соглашения» не оставалось, и в эти серые, дождливые петербургские дни мы с трепетом ожидали, чем кончится корниловское выступление. Дожидаясь приема у Терещенко, в приемной министра собрались от Нератова и Петряева все высшие чины министерства, единодушно высказывая надежду, что Корнилов победит. Это собрание ближайших помощников министра, открыто высказывавшихся против него, мне напомнило то, что было ровно год назад, при Штюрмере, когда точно так же вокруг него было безвоздушное пространство. Мы слишком хорошо знали Терещенко, чтобы относиться к нему, как к Штюрмеру, но мы также знали, что, как бы мил и симпатичен ни был он как человек, как член Временного правительства он был уже теперь на противоположной стороне.

Вспоминались именно теперь оказавшиеся пророческими слова Терещенко, говорившего в начале своего министерства, что если мы при Штюрмере служили, хотя и не симпатизировали ему, то и при нем, несмотря на разность взглядов, будем продолжать нести службу. Эти слова сбылись, так как

теперь именно образовалась эта «разность взглядов», которой вначале не было, ибо то, что Терещенко тогда называл «взглядами», мы называли «тактикой».

Финал корниловского выступления и самоубийство генерала Крымова, которого у нас многие знали как серьезного и порядочного человека,— все это создало пропасть, временную во всяком случае, между правительством и ведомством. Думаю, что таково же было настроение и других ведомств, судя по новому поведению Союза союзов всех ведомств, который все больше и больше ввязывался в политику. Образование Директории из пяти лиц, куда попали и все три лица, которые должны были образовать «боевой комитет», указывало победу во Временном правительстве более умеренных взглядов: диктатура трех и Директория из пяти — не совсем то же самое, это было ясно нам, посвященным в подробности колебаний правительства. Было ясно и то, что если после июльских дней Временное правительство не решилось прибегнуть к полной ликвидации большевиков, то не решится оно и теперь искоренить «корниловцев» (слово, которое тогда не было в ходу, но стало ходовым позже).

Опасность справа, выросшая, несомненно, за спиной Корнилова, несмотря на все его демократические воззвания (об этом у нас в ведомстве были прекрасно осведомлены через нашу дипломатическую канцелярию при Ставке), ни в малейшей мере не устраняла опасность слева, принимавшую все более и более грандиозные размеры. Должен сказать, что в нашем комитете Общества служащих, становившемся опять во главе ведомственных политических настроений, весть об образовании «боевого комитета», несмотря на то что мы неизмеримо больше сочувствовали тогда Корнилову, чем Временному правительству, была принята радостно, так как твердая государственная власть, будь она левой или правой, быть может, почистила бы кулисы корниловского движения, не такого уж невинного в политическом отношении, как думала тогда широкая публика, но зато справилась бы с гораздо более насущной опасностью — большевистской. Какое-то наступление на правых психологически в глазах умеренных элементов, которые были и в Советах, дало бы право на свирепый разгром

левых. Образование пятичленной Директории и дальнейшая мягкость Временного правительства в отношении как правых, так и левых, показывали нам, привыкшим к разным правительственным курсам, что у настоящего правительства России не было «курса»; что у него не было власти — это мы уже знали давно.

Акт минутного значения

Декрет Временного правительства 1 сентября, устанавливавший в России республику, «дабы положить конец внешней неопределенности государственного строя России», не произвел надлежащего впечатления, так как корниловское выступление, ставшее «корниловским делом», все еще поглощало внимание всех. Но, в частности, мне как юрисконсульту министерства пришлось им заняться, так как Терещенко настаивал на его сообщении иностранцам, и требовалось решить, в какой форме это сообщение должно было иметь место. В связи с этим не мог не встать вопрос и о юридическом существе этого акта — объявлении республики.

Как я указывал в начале настоящих записок, сразу же после образования Временного правительства столь официальные акты этого правительства, как верительные грамоты наших послов и посланников, писались в форме республиканского обращения к монархам, а именно «mon ami» вместо монархического «mon frère». Грамоты подписывались главой Временного правительства: сначала князем Г. Е. Львовым, потом А. Ф. Керенским. Фактически в международных отношениях Россия уже давно стала республикой. Но, спрашивается, какое значение могло иметь, кроме чисто декларативного, провозглашение России республикой накануне Учредительного собрания? Ведь именно оно, согласно манифесту Михаила Александровича, на котором было построено международное признание Временного правительства, должно было окончательно решить вопрос о форме правления в России. Был ли названный декрет Временного правительства узурпацией прав Учредительного собрания, постановкой его перед совершившимся фактом или же это был, как тогда любили говорить, «тактический ход» и только, то есть демонстрация республиканских чувств Временного правительства? Без решения по существу трудно было установить должную форму извещения

об этом иностранцев, в глазах которых подобный «тактический ход» мог явиться республиканским coup d'etat*.

В силу всех этих соображений Борис Алексеевич Татищев, начальник канцелярии ныне уже республиканского министра, и пришел ко мне за консультацией. Естественно, от формальной стороны перешли к существу дела, и я спросил мнения Татищева, который имел по этому предмету разговор с Терещенко и, следовательно, мог плохо ли, хорошо ли ответить по существу. Татищев полагал, что здесь никакой узурпации прав Учредительного собрания нет и быть не может, как ему сказал Терещенко, который даже просил упомянуть об этом в тексте ноты иностранцам. Тогда я откровенно сказал Татищеву, что если бы декрет сообщал иностранцам я, то сделал бы это наименее торжественным образом, так как всякое подчеркивание значения этого акта явится, что бы там ни говорили, все же если не узурпацией прав Учредительного собрания, то приготовлением к тому; если же, что при настоящей обстановке было маловероятно, Учредительное собрание примет монархию, то наше извещение явилось бы конфузным актом.

Татищев, которому это поручение Терещенко совсем не нравилось и который пришел ко мне со специальной целью, как бы похуже его исполнить, не мог не понимать, что он поневоле связывает свою карьеру с республикой, а будучи дипломатом старой школы, он не хотел идти на столь рискованный шаг, как составление ноты касательно утверждения, со всех точек зрения незаконного, республики. Правда, тому же Татищеву пришлось принимать участие в составлении ноты о «перемене формы правления в России» после манифеста Михаила Александровича, но ведь тогда был именно этот манифест, дававший абсольвенцию монархической совести, здесь же этого не было, как не было аналогии и в значении этой ноты.

Сознание того, что мы имеем дело с актом, который будет или вовсе смыт последующими событиями, или покрыт решением Учредительного собрания, актом минутного значения и

* Государственным переворотом *(фр.)*.

случайного происхождения (надо было как-то по-новому ознаменовать появление Директории), привело нас к следующей уловке. Декрет о республике, распубликованный по всей России, уже не мог не появиться за границей в периодической прессе. Кроме того, о нем было упомянуто и в «осведомительной» телеграмме Муравьева за подписью Терещенко нашим послам и посланникам за границей. Для большей уверенности мы решили через наше ведомственное бюро прессы, кстати сказать, чрезвычайно разросшееся при Временном правительстве и имевшее всюду своих агентов, придать ему полную газетную гласность за границей. Когда же известия об этом появятся повсюду, то особой телеграммой мы решили уполномочить наших послов и посланников якобы «в разъяснение» газетных сведений официально известить особой нотой, что настоящий декрет ни в малейшей мере не предвосхищает прав и решения Учредительного собрания касательно установления той или иной формы правления в России.

Таким образом и поступил Татищев. Ему удалось официальную ноту о введении в России республики выставить в виде «разъяснения», которое по смыслу было опровержением. Вместо официального торжественного акта явился из МИД документ, решительно предостерегавший все иностранные государства от мысли, что Россия уже стала республикой. По совести должен сказать, что немалая доля в этой мысли принадлежала мне, так как если «внутреннее употребление» декрета и оправдывалось корниловскими событиями, то за границей простодушная передача подобного акта произвела бы самое неблагоприятное для новорожденной Директории впечатление явной узурпации основного права Учредительного собрания.

Любопытно и то, что появление декрета такой важности, каким был акт 1 сентября 1917 г., не только не отразилось на наших международных отношениях, но даже не было отдано распоряжение о перемене бланков, где слова «Временное правительство» были бы заменены или дополнены словом «республиканское». Все наши формулы обращений от имени «gouvernement provisoire» остались без изменения, и ни в одном

акте, ни в одной ноте министерства не говорилось о России как о республике.

Здесь сказалась вся разница между Милюковым и Терещенко. Милюков никогда не позволил бы своим чиновникам в таком важном вопросе фактически свести на нет решение Временного правительства, Терещенко же допустил это, смотря на все сквозь пальцы, может быть, именно потому, что редко в чем был «убежден». Как часто он принимал самый решительный тон в каком-либо вопросе, но если чиновник почему-либо медлил с исполнением, то через короткое время он забывал, а потом мог и совсем отменить еще не исполненное приказание. Несомненно, Терещенко нравилась роль «надувателя» Совдепа, но я помню только раз его попытку «надуть» ведомство, а именно в его обращении к советам присяжных поверенных по поводу консульских кандидатур, притом попытку неудачную. Зато Терещенко приходилось снисходительно относиться к тому, что ведомство иногда заставляло его идти туда, куда он не хотел или делал вид, что не хочет идти.

Истоки белого движения

Чтобы закончить рассказ о корниловских днях, должен прибавить несколько слов о «кулисах» корниловского выступления. Несмотря на безупречную в демократическом отношении позицию самого Корнилова, наша дипломатическая канцелярия отлично знала, что генерал П. Н. Врангель (впоследствии главнокомандующий Добровольческой армией в Крыму) и адмирал Бубнов именно в эту эпоху верховного командования Корнилова составляли штаты Добровольческой армии, которая, по их плану, должна была географически изолироваться от остальной русской армии, состояние коей признавалось ими совершенно безнадежным ввиду зараженности большевизмом, дезертирства и низкой воинской дисциплины; эта выведенная из состава всей «зараженной» армии Добровольческая армия должна была и принять на себя все бремя борьбы за правительственную власть, если Временное правительство не вступит на путь решительной борьбы с большевизмом, и продолжать войну с Германией вместе с союзниками, нисколько не меняя установленной ориентации нынешней политики России. Таковы были зачаточные стремления вы-

лившегося впоследствии в грандиозное событие так наз. «белого движения».

Об этом в нашем комитете рассказывал нам член комитета, вместе со мной несший в нем секретарские обязанности, князь С. А. Гагарин, который одно время был прикомандирован к дипломатической канцелярии при Ставке и наезжал к нам в Петроград. Интересовался этими планами и Муравьев, пресловутый «начальник кабинета» М. И. Терещенко, ездивший с ним в Ставку и даже сразу же после большевистского переворота полетевший в Ставку, дабы там организовать отпор большевикам. Победа Корнилова, несомненно, выдвинула бы тогда же проекты генерала П. Н. Врангеля и адмирала Бубнова, хотя, конечно, в то время, когда был внешний фронт, эти планы были бы приспособлены к обстановке и существенно отличались бы в практическом осуществлении от позднейшей организации Добровольческой армии.

Читал я также по долгу службы и записки Ставки, подписанные Корниловым до его выступления и содержавшие целую сеть мер, намеченных для оздоровления страны и армии. Мне она казалась тогда малоосуществимой, если не утопией. Я говорю о милитаризации железных дорог, фабрик и заводов и т. п. Для проведения этих мер нужна железная власть, а если бы она была у Временного правительства, то все эти меры оказались бы излишни. Каким образом дать власть Временному правительству, записки молчали, предоставляя это, очевидно, устным переговорам. Для многих из нас, которые в корниловские дни сочувствовали больше Корнилову, чем Временному правительству, было ясно, что эти записки развивают часть плана, и при том часто второстепенную, наибольшую же важность, по нашему мнению, представлял вопрос о реорганизации и оздоровлении центрального правительства и его отношений к фактически утвердившейся «советской системе».

Те же, как, например, А. М. Петряев, кто был лично знаком с Корниловым, утверждали, что у Корнилова никаких широких государственных планов нет, что он военный до мозга костей, и только, а в политике пойдет на поводу у своего окружения. Петряев рассказывал нам также, что Корнилов

вообще человек исключительной настойчивости и редкой трудоспособности, так, например, он выучился иностранным языкам, никогда не прибегая к урокам, а при помощи самоучителей. В результате, он не говорил ни на одном иностранном языке, но читал и понимал все официальные акты, представляемые ему на французском и английском военными атташе союзников при Ставке в бытность его верховным главнокомандующим. Читать вслух он, однако, не мог за неправильностью произношения, которое он и не пытался исправлять, изучая язык только в пределах понимания читаемого.

Несмотря на геройскую личность Корнилова и его военные достоинства, все эти аттестации и, главное, неизвестность планов окружения Корнилова, который символизировал в наших глазах военную диктатуру, конечно, ослабляли впечатление от возможного успеха его выступления. Вера и симпатия, окружавшие выступление Корнилова в нашем ведомстве, покоились больше на безнадежности внутреннего положения Временного правительства в его настоящем виде, чем на твердой уверенности, что сам Корнилов в состоянии принять на себя и военную и гражданскую власть. Напротив, считалось, что в случае успеха Корнилова он по-прежнему останется только верховным главнокомандующим, а правительство будет в других руках, но в чьих — не знали. Все это спутало представление о военной диктатуре. Русский бонапартизм в лице Корнилова в этот момент явно не созрел, и мы считали Корнилова в конце концов переходной, а не центральной фигурой момента.

Оптимизм союзников

В связи с корниловскими днями нельзя не остановиться на самом главном вопросе времени, а именно на отношениях России и союзников в министерство Терещенко и до корниловских дней. Надо сказать, что при всей легковесности Терещенко, а может быть, именно в силу ее, союзники, увидя искренность в его стремлении продолжать войну на прежних основаниях и даже с большей энергией, чем до этого (наступление 18 июня, которое приписывалось не только Керенскому, но и Терещенко), и расшифровать по-своему знаменитую формулу «без аннексий и контрибуций, на основании

самоопределения народов», установили с Терещенко самые дружественные отношения. Сделав вид, что они приняли «новую» русскую программу, союзники на самом деле заставили Временное правительство принять свою старую.

Цели войны получили новую форму — идеологически противоречивую, но словесно более идеальную. В то же самое время союзники отлично понимали, что центр тяжести не в словах и не в тайных соглашениях о целях войны (которые оказались бы просто клочками бумаги в случае победы Германии и ее союзников), а в военных действиях. Была надежда только в том отношении, что февральская Россия могла не продержаться до победы союзников, но что касается намерений Временного правительства, то милюковский уход не только не создал трещины, которая должна была все расти и расти между ними и союзниками, а, наоборот, оздоровил дипломатическую атмосферу, так как, поставив союзников лицом к лицу с Керенским и Терещенко, то есть прежним «левым» крылом Временного правительства первого состава, дал им уверенность, что Февральская революция, представленная в правительстве, целиком на их стороне.

Об опасности свержения Временного правительства справа (только так можно расценивать корниловское выступление, вопреки всем его воззваниям) союзники не думали, так как они, несомненно, знали, что и справа, во всяком случае в окружении Корнилова, у них друзья. Опасность слева они, так же как и Временное правительство, недооценивали. Кроме того, оптимизм союзников в отношении внутреннего положения России усиливался благодаря ряду чисто дипломатических причин, увеличивавших шансы на окончательную победу,— это, прежде всего, выступление Америки, происшедшее, как я указывал, в самой непосредственной связи с Февральской революцией. Указанный фактор был такой грандиозной важности, что невольно заставлял союзников из-за одного этого испытывать признательность к революционной перемене в России.

Но это было не все — Февральская революция (а в нашем ведомстве об этом имелись точные сведения) при всем том хаосе, который она внесла в Россию, отразилась могущест-

венным образом на внутреннем настроении наших главных врагов — более чем половины славянской Австро-Венгрии и Германии. В первой правительство вынуждено было для борьбы с революционным движением не только передать всю полноту военного командования в германские руки, но и выставить программу превращения Австрии в федерацию, где немецкий и мадьярский элемент в конце концов был бы совершенно поглощен славянскими народами. А в Германии пацифистское движение перестало быть только дипломатической маской, как до тех пор, а, по сведениям нашего министерства, становилось парламентской, если не правительственной силой. Резолюция рейхстага о «мире на основаниях длительного примирения народов», принятая летом 1917 г., по нашим сведениям, означала серьезную внутреннюю оппозицию в Германии, в особенности в германских католических кругах, так как и папа занял также пацифистскую позицию в ноте, приглашавшей прекратить войну.

К сожалению, разложение на фронте в России и успехи немцев (из них первейший — взятие Риги) позволили германскому правительству возложить все надежды на большевиков и поставить дерзкую, но, увы, осуществившуюся задачу вынудить Россию выйти из войны не путем соблазнов правительства, как это практиковалось до сих пор, а путем его свержения и замены таким, которое могло бы решиться на сепаратный мир.

Это была новая тактика германского правительства. Она давала ему возможность игнорировать, как и в бисмарковские времена, парламентскую оппозицию, которая, по нашим сведениям, была бы не прочь сговориться с Временным правительством на умеренных началах. Если бы Временное правительство захотело последовать примеру германского вмешательства в русские дела и поддержать парламентскую оппозицию так, как германское правительство поддерживало большевиков, то финал войны мог бы быть иным. Но Временное правительство было бессильно справиться с большевиками внутри страны, планировать же революцию в Германии было задачей слишком исполинской для такого министра иностранных дел, как Терещенко.

Все вышеотмеченные обстоятельства чисто дипломатического характера психологически, несмотря на бросавшееся в глаза тяжелое военное и политическое положение России, заставляли союзников оптимистически смотреть на Восточный фронт. После того как ими была переварена нота о «целях войны» Терещенко, центр их внимания сосредоточился на Ставке, с которой они находились в самых тесных отношениях.

Упомяну между прочим, что с французской стороны в Ставке помощником французского военного агента был офицер французской армии Зиновий Пешков, приемный сын М. Горького, потерявший в мировой войне руку, тот самый Зиновий Пешков, про которого тогда говорили, что он родной брат известного большевистского столпа — Свердлова, и который потом состоял неизменным помощником французского представителя при белых войсках де Мартеля (последним постом Мартеля и с ним Зиновия Пешкова было представительство Франции при генерале П. Н. Врангеле в Крыму в 1920 г.). Про своего приемного сына М. Горький говорил: «Сделал мальчик карьеру на контрреволюции», так мне лично в 1920 г. рассказывал Зиновий Пешков.

Отношение к Терещенко союзных послов нисколько не уступало в сердечности их отношению к Милюкову и, несомненно, выигрывало в искренности, так как, не решаясь поднимать некоторые вопросы (о «целях войны» — константинопольский), Милюков фактически, как я отмечал выше, оказывал медвежью услугу Временному правительству. Не пытался также Терещенко и скрывать правду касательно положения на фронте. Отсюда, естественно, все внимание союзников от теоретического вопроса, каким в условиях момента был вопрос о целях войны, перешло к самому злободневному — о восстановлении прежней боеспособности нашей армии. Тут мало было вести оживленную переписку со Ставкой, мало было посылать делегации вроде приезда Альбера Тома, который совещался с Терещенко и всеми видными лицами правительства, мало было посылать и технических инструкторов в специальных областях военного дела (авиации, тяжелой артиллерии и т. д.), мало, потому что

болезнь армии была политической, то есть тесно связанной с положением страны.

Но даже если абстрагироваться от общеполитической обстановки, оставались наглевшая с каждым днем большевистская пропаганда и массовое дезертирство. Для этого под вежливым предлогом общедипломатической конференции союзников Терещенко пригласили в Париж. Вопрос об этом был поднят французами сразу же после июльских дней, и Временное правительство согласилось. Намечен был Терещенко как главный представитель Временного правительства. Его должны были окружать технические помощники, как всегда полагается, однако некоторые из них (представитель военного ведомства) должны были быть на совершенно особых началах.

Представителем военного ведомства прочили генерала Головина, который и был представлен Терещенко. В приемной у министра, где я дожидался Терещенко, Петряев познакомил меня с ним и сказал, что генерал Головин поедет на Парижскую конференцию с Терещенко. Я знал, что хотя на конференции будет обсуждаться и общедипломатическое положение в связи с войной, но центральным пунктом станет положение русского фронта, при этом военно-технические вопросы вообще будут определять весь характер этой конференции, так же как предшествующая Парижская конференция 1916 г. носила исключительно экономический характер. Вместе с Терещенко во всяком случае должен был ехать Татищев, Петряев — не наверняка, Нератов должен был остаться управлять ведомством. Предполагалось также послать и меня как находившегося в курсе всех юридических вопросов, но так как я сказал, что не знаю, на кого я мог бы оставить в это время исполнение юрисконсультских обязанностей в министерстве, то решено было предварительно вызвать Мандельштама, а по его приезде я должен был присоединиться к Терещенко.

Однако время шло, а конференция откладывалась, несмотря на то что положение на фронте у нас не улучшалось. Терещенко сознательно оттягивал конференцию, потому что, как он откровенно говорил Петряеву, он не ожидал от нее больших перемен на фронте, а в интересах России не считал

удобным начинать какие-либо переговоры общего характера, боясь, что союзники, воспользовавшись слабостью России, захотят пересмотра тех самых тайных соглашений, защитником коих волею судеб сделался теперь Терещенко. Сквозила у Терещенко и боязнь сделать faux pas, отчего в ведомстве его могли предостеречь. Приходилось действовать по пословице: «Взялся за гуж — не говори, что не дюж», а между тем положение русского министра иностранных дел на Парижской конференции явилось бы крайне сложным, и нужно было иметь много самоуверенности или опытности. Ни того, ни другого у Терещенко не было, и для большого дипломатического плавания в открытом море он не чувствовал себя готовым.

Как бы то ни было, Терещенко после долгих колебаний, разрешившихся только после корниловских дней, положил не ехать на Парижскую конференцию до выборов в Учредительное собрание, авторитетом коего ему было бы легче оперировать, чем подорванным июльскими днями и корниловским выступлением, а также военными неудачами престижем Временного правительства. Конференция была отсрочена, а потом и вовсе не состоялась после большевистского переворота в октябре, так как Временное правительство перестало существовать. Трудно сказать, насколько она исправила бы положение в военном отношении, а следовательно, в целом, но во всяком случае шанс использован не был, и всецело в этом повинен Терещенко, так как он должен был быть главным представителем Временного правительства, а что он не хотел ехать на Парижскую конференцию до Учредительного собрания, об этом все окружавшие Терещенко были прекрасно осведомлены.

Отказ от сепаратного мира с Австро-Венгрией

Взятие Риги впервые подняло вопрос об обращении за помощью к союзникам. До этого ни со стороны самих союзников, ни с нашей стороны практической постановки вопроса о призыве на помощь союзников для улучшения внутреннего или внешнего положения не было. Как это ни странно, но мысль о «хирургической операции» для избавления от большевистской опасности в виде присылки некоторого количества союзных войск на наш фронт, мысль, столь популярная в эпоху белого движения, тогда не принимала еще конкретного

характера. Но взятие Риги серьезно ухудшало ситуацию на Северо-Западном фронте, угрожая уже столице России, не подвергавшейся со времени ее основания иноземному нашествию.

Как психологически ни казалось невероятным занятие немцами Петрограда, вопрос этот был поставлен, и надо было принимать решительные меры. Тогда и возникла мысль о присылке английской эскадры в Балтийское море — прежде всего для охраны Петрограда и, может быть, для отбития Риги, если обстоятельства будут благоприятствовать, а также для поддержки духа армии и усмирения совершенно развратившегося Балтийского флота. Не надо думать, что английский флот предназначался исключительно для полицейских целей. Даже перед самым октябрьским переворотом большевистская опасность, как я укажу ниже, продолжала недооцениваться. Но нет ни малейшего сомнения, что призыв английской эскадры в Кронштадт сделал бы совершенно невозможной бесстыдную немецко-большевистскую работу. Один факт присутствия англичан послужил бы самым радикальным средством для устранения большевистской опасности, какое только могло придумать Временное правительство в этот момент.

Все эти соображения заставили Терещенко обратиться к великобританскому правительству с предложением по этому поводу, несмотря на то что вероятность отказа была очень велика ввиду трудности осуществления плана с военно-морской точки зрения. Ответ последовал очень скоро и был отрицательным — великобританское правительство не решалось посылать часть своих сил в такую дерзкую авантюру. Опасалось оно не только трудностей прорыва на Балтийское море, но и закупорки прорвавшейся части, учитывая маловероятную, но все же существовавшую возможность присоединения Швеции к Германии.

Не берусь судить о солидности английских аргументов, но впечатление от неудачи этого плана было в нашем ведомстве убийственное. Приготовления к эвакуации начались в Петрограде уже тогда, хотя вопрос этот не был в деталях готов и к моменту октябрьского переворота. Разочарование

в Англии и союзниках было очень велико, так как Англия и Франция в ответ на предложение Временного правительства, как бы оно ни было объективно трудноосуществимо, не выдвигали никакого другого плана союзной помощи. Конечно, если бы в это время в правительстве было сознание надвигающейся большевистской опасности, то, вероятно, и язык в отношении союзников был бы неизмеримо более энергичный и настойчивый.

Мы отлично понимали, что Россия в первые годы столько раз выручала союзников не только своим участием в войне, но и посылкой войск во Францию для усиления Западного фронта, то есть прямым участием на стороне союзников, что бесспорно имела право обратиться к ним с просьбой о помощи. С другой стороны, союзники, по-видимому, продолжали ошибаться насчет внутреннего положения России, если считали, что Временное правительство сможет выйти победителем из схватки с большевиками. Для великобританского же правительства, если бы оно предвидело выход России из войны, потеря части своего флота была бы, очевидно, не так ощутима, как заключение Россией, очутившейся в руках у большевиков, Брест-Литовского мира. Недооценка положения была, таким образом, с двух сторон — Временного правительства и союзников — в равной мере, несмотря на то что Терещенко не прилагал ни малейших усилий, как я упоминал выше, для того, чтобы скрывать или фальсифицировать истинное положение вещей на фронте.

Заслуживает внимания в связи с этим и то, что германское правительство, так охотно пускавшееся в разнообразные предложения сепаратного мира при царском правительстве, при Временном, как при Милюкове, так и при Терещенко, хотя и работало усиленно над разложением армии, флота и страны, не прибегало к серьезным и открытым предложениям сепаратного мира, зная, что ни Милюков, ни Терещенко на них не пойдут, боясь, по-видимому, и того, что подобные шаги, став известными, усилят пацифизм в германском рейхстаге. Так, по крайней мере, гласили те сведения, которые доходили до нашего ведомства о внутреннем положении Германии. Германское правительство, как видно из после-

дующего, было гораздо лучше осведомлено о положении России, чем не только союзники, но и само Временное правительство.

Что же касается Австро-Венгрии, то здесь преобладало пацифистское течение, и правительство, будучи бессильно с ним бороться и предчувствуя близкий крах всей империи, осторожно, но настойчиво щупало почву при Временном правительстве в эпоху управления нашим ведомством М. И. Терещенко. Эти попытки австро-венгерского правительства, которым не сочувствовали германские власти, начались сразу же после посылки Терещенко союзникам от имени Временного правительства знаменитой ноты о целях войны. Австро-Венгрия не мечтала уже, по-видимому, об аннексиях и контрибуциях, но она должна была, очевидно, опасаться принципа самоопределения народов, упоминавшегося в ноте, так как это «самоопределение народов» едва ли высказалось бы в пользу сохранения империи Габсбургов, тем не менее Австрия откликнулась и в туманной, но настойчивой форме стала зондировать почву в Петрограде.

Вопрос о сепаратном мире с Австрией у нас в министерстве рассматривался под совершенно иным углом зрения, чем сепаратный мир с Германией. Если в первом случае речь шла о выходе из войны Австро-Венгрии вопреки воле Германии, то во втором вопрос мог стоять только о капитуляции России перед Германией, и при этом капитуляции на милость победителя. Выход же из войны Австро-Венгрии представлялся делом настолько важным, что для этого, конечно, стоило взвесить все последствия такого шага, прежде чем принимать бесповоротно отрицательное решение, как было в случае с Германией, где за сепаратный мир стояли только германские ставленники — большевики. Конечно, выход Австро-Венгрии из войны с оккупацией ее союзными войсками означал бы изоляцию Германии и победоносное для союзников скорое окончание всей войны, но вопрос заключался в том, может ли австро-венгерское правительство осуществить сепаратный мир, когда вся австро-венгерская армия находилась в руках германского генерального штаба. Это последнее обстоятельство побуждало военных экспертов крайне осторожно относиться к

принятию австро-венгерского предложения, так как практически оно не открывало дороги к миру.

Знали мы и то, что германские немцы не только являются хозяевами Австро-Венгрии, но и не остановятся перед смещением пацифистского правительства и заменой его правительством войны. Практическая неосуществимость сепаратного мира с Австро-Венгрией заставляла учитывать и другое обстоятельство — славянские народы Австрии и Венгрии. Славянские народы (равно и румыны и итальянцы, конечно) при возвещенной новой форме правления Австро-венгерской федерации становились с каждым днем все влиятельнее и влиятельнее. Только их влиянию и можно было приписать обнаружившийся совершенно явственно с лета 1917 г. пацифизм австро-венгерского правительства. Народы Австро-Венгрии завтра могли уже — даже при сохранении Габсбургской империи и осуществлении австрийской программы 1917 г.— стать полными хозяевами империи.

Как же при этих условиях можно было идти на сепаратный мир Австро-Венгрии с Россией, принимая во внимание, что Россия вступила в войну исключительно из-за славянского вопроса? Как же могли мы игнорировать австро-венгерских славян в такой момент? При всех соблазнах быстрого окончания войны, что теперь для России было неизмеримо важнее, чем в 1916 г., вопрос о сепаратном мире с Австро-Венгрией, даже если бы Габсбургам удалось сбросить с себя тяжелую руку Гогенцоллернов, которая, конечно, не позволила бы своей союзнице без жестокой и, может быть, даже вероятно, успешной борьбы выйти из войны, был чреват последствиями, крайне важными для славянского положения России.

Мы знали, что чехи, словаки, хорваты, словенцы, трансильванские румыны не желали больше Габсбургов. Мы знали поэтому, что сепаратный мир с Австро-Венгрией мог быть заключен только за счет австрийских славян и других подвластных народов Австро-Венгрии, как-то: австрийских итальянцев и венгерских румын. Самая широкая федерация Габсбургской империи все же явилась бы деспотизмом после тех ожиданий, которые породила мировая война. Только полное уничтожение власти Габсбургов — вот что было лозунгом этих наро-

дов, так долго угнетаемых австро-венгерским правительством. В этих условиях идти на мирные переговоры с Габсбургами означало бы еще один раз спасти последних — для чего? Для того, чтобы при первом же удобном случае те же Габсбурги с помощью Гогенцоллернов смогли вновь при благоприятно сложившихся обстоятельствах овладеть положением и вернуть себе былое могущество?

Все эти соображения неоднократно обсуждались между Терещенко, Нератовым и Петряевым, теперь уже товарищем министра, который занимался еще с самого начала войны австро-венгерским вопросом. По всем вышеотмеченным мотивам Терещенко мог только ответить тем, через кого делалось осторожное зондирование почвы, что австро-венгерское правительство должно сделать общее всем союзникам предложение сепаратного мира, на каковое все союзники сообща и ответят; что же касается сепаратных австро-русских разговоров, то он, Терещенко, самым категорическим образом отказался от них, считая себя связанным Лондонским соглашением 1914 г. о незаключении союзниками сепаратного мира без общего согласия.

Через принца Сикста Бурбонского Карл Габсбургский повторил свое предложение Франции. Свержение Временного правительства не позволило союзникам принять какие бы то ни было условия Австро-Венгрии, так как выход России из войны снова ставил империю Габсбургов в полную зависимость от Германии. Любопытно, что последнее предложение австро-венгерское правительство сделало в середине октября 1917 г. и Терещенко после консультации с Нератовым и Петряевым собирался сообщить об этом Временному правительству на последнем заседании в Зимнем дворце, но заседание это было посвящено вопросам более насущного характера. Закончилось же оно взятием Зимнего дворца и переходом Временного правительства в Петропавловскую крепость. Вопрос об Австро-Венгрии был, между прочим, предложен в программу неосуществившейся Парижской конференции. В зависимости от того, в каком разрезе этот вопрос был бы там поставлен, участие Петряева либо являлось необходимым, либо нет, так

как он у нас считался знатоком Австро-Венгрии и вел это дело еще при Сазонове.

Сентябрь 1917 г.: «революция на местах»

В самом начале сентября я получил, наконец, короткий отпуск до 1 октября, на более долгий срок Нератов меня не отпускал. Я сдал те дела, которые мог сдать без ущерба, то есть текущие, моему помощнику М. Н. Вейсу. Он, однако, не мог в силу личного характера заместить меня полностью. Это последнее обстоятельство, как я скажу ниже, принесло нам неожиданный урон в польском вопросе касательно судьбы Холмской губернии. Уехал я на это время, как и в 1915 г. (в 1916 г. ввиду увольнения Сазонова и прихода Штюрмера я отпуска из ведомства не получил), в Севастополь, на Бельбек, к нам на дачу, запасшись книгами, так как накануне отъезда узнал, что совет Психо-неврологического института в Петрограде избрал меня на кафедру международного права и истории международных отношений. Я с радостью уезжал с одним моим родственником беспересадочным поездом Петроград — Севастополь, но наш вагон международного общества во все время пути осаждался солдатской Русью, спешившей без всякого права к себе на родину, и беспрестанные сражения проводника с солдатами из-за нашего вагона говорили о том, что война еще не кончилась, но скоро, по-видимому, кончится.

Аналогии с приятным путешествием 1915 г. не было никакой. В Бахчисарае весьма элегантный представитель революционного Черноморского флота — матрос, весь в белом,— не пустил нас в Севастополь, несмотря на то что мы были снабжены служебными паспортами и всяческими удостоверениями. Нам не хватало местного разрешения, и мы должны были сутки прожить в Бахчисарае, пока от нашего представителя МИД в севастопольском призовом суде Тухолки, которому я послал телеграмму, не был получен ответ с телеграфным разрешением въезда. Как я узнал, это была общая мера по случаю военного положения, и Нольде с женой, после своей отставки поехавший в Крым, подвергся совершенно таким же неприятностям и вынужден был обратиться к тому же Тухолке.

Когда я приехал, наконец, в Севастополь и после попал к себе

на дачу, запасшись уже всяческими разрешениями на въезд и выезд в самый Севастополь (наша дача на Бельбеке в четырех верстах от Северной стороны), то через некоторое время мог убедиться, что из себя представляет «революция на местах». Так как Тухолка, исполнявший помимо своих призовых обязанностей обязанности чиновника МИД для связи с главным командованием Черноморского флота, уже давно служил в нашем министерстве и отлично знал моего дядю Н. В. Чарыкова, то при первом моем к нему визите он рассказал мне всю историю Черноморского флота за время революции.

Описав правление Колчака, его не лишенный театральности решительный уход из Черноморского флота с бросанием кортика в воду и все, что было после приезда Керенского в Севастополь, он разъяснил весьма сложную флотско-советскую систему, господствовавшую там, говоря, что он так втянулся в ежедневную эквилибристику, что чувствует себя вполне сносно. Рассказал он и про призовой суд и посмеялся над простодушным участием в нем матросских организаций. Тухолка действительно перестал уже видеть надвигавшуюся опасность, и на мой вопрос, не кончится ли здесь дело плохо, ответил, что если общее положение будет плохо, то, конечно, и здесь будет неважно, но что все же никогда не дойдет до того, что происходило в это время в Кронштадте. Это правда, что весь город в настоящий момент (в сентябре 1917 г.) находится фактически во власти матросов, но надо знать, что это за матросы — многие из них кондукторы флота с высшим образованием, другие — «умеренных убеждений» и т. д., другими словами, во всех отношениях «отбор». Когда я спросил о Колчаке, об отношении к нему в настоящий момент офицерства, то Тухолка мне ответил: «Это герой, о котором никто не говорит, но многие думают». Позже из встреч с офицерами Черноморского флота, среди которых у меня были родственники, я мог убедиться, что Колчак оставил глубокий след своим уходом и, главное, своим предшествующим командованием, так как не раз, дабы поднять дисциплину, делал внезапные наезды во время плавания, другими словами, заставал Севастополь врасплох и мог видеть, как его распоряжения исполняются. Имя Колчака среди морского офицерства поль-

зовалось огромным престижем, и объединение впоследствии всего белого движения под Колчаком, несмотря на его территориальную отдаленность от юга России, надо искать в престиже этого имени на Черном море.

Севастополь самим своим внешним видом — матросы, почему-то крайне щеголевато одетые, но не отдающие честь офицерам и с новорежимной развязностью гуляющие по городу, офицеры, одетые в новую, под англичан, форму, скромно появлявшиеся на улицах с деловым видом, катера с военных судов, где офицеров не было совсем или где они равноправно сидели рядом с матросами,— был в сентябре 1917 г. совершенно не похож ни на довоенный праздничный морской и офицерский город, чинный и чистый и в то же время по-южному беззаботный, ни на во всех отношениях военный и подтянутый, озабоченный и деловой Севастополь 1915 г., где дисциплина была написана на лицах всех.

Предбольшевистский Севастополь 1917 г., где праздник уже настал для тех, для кого его никогда не было прежде, и где лица начальства говорили еще о военной напряженности и дисциплине, имел облик военно-революционного города, где революция понималась народом по-русски, то есть как праздник для одних и как бедствие для остальных. Вышло так, что мне пришлось этот самый Севастополь, который я так хорошо знал, видеть буквально во всех обличьях и позже — при немцах, при большевиках, при добровольцах и при генерале Врангеле, так что отличительные особенности каждой эпохи очень ярко врезались мне в память.

Именно в 1917 г. Севастополь имел самый необыкновенный вид какого-то неестественного равновесия двух столь характерных для этого города элементов — офицерского и матросского. Нельзя сказать, чтобы город не был оживлен или же был уныл и подавлен, не чувствовалось в нем и дьявольской большевистско-германской руки, как у тех кронштадтских матросов, атаковавших Временное правительство по всем правилам на улицах Петрограда, нет, много было и простодушно простецкого в черноморских матросах, явно подражавших в изысканности туалета офицерам. Но при всем видимом простодушии севастопольского облика мне, местному жителю, знав-

шему внутренние отношения команды и офицерства, было ясно, что это кажущееся равновесие долго продолжаться не может: либо, как в 1906 г. при восстании лейтенанта Шмидта, это закончится кровавой расправой с матросами, либо обратное — матросский элемент совершенно захватит власть в свои руки, подлинно матросский, а не этот «отбор», о котором говорил Тухолка.

Многие из моих знакомых офицеров, которых я тогда видел в Севастополе, были расстреляны в памятную февральскую ночь 1918 г. (мой дядя Чарыков был отведен к расстрелу, но его опознали как посла в Константинополе, один из расстреливавших вспомнил, как он устраивал елку для матросов, и отпустил его; моя мать, жившая с ним в одной квартире, провела ужасную ночь с семьей дяди, считая его уже погибшим), некоторые бежали, и на их долю выпали страшные скитания, один пришел пешком из Севастополя в Москву, опасаясь быть узнанным как морской офицер, но почти все оставались и после большевистского переворота в Севастополе. Никакого предчувствия близкого конца не было видно у черноморского офицерства, и мне, свежему человеку, приехавшему из Петрограда и видевшему июльские дни, это было очень странно.

В своей компании офицерская молодежь говорила, конечно, о Колчаке, но, как ни сходились все на положительной оценке его личности, его уход все же не означал, по их мнению, начала конца. Понимали, что создавшееся положение временное и переходное, надеялись, что старое вернется, но без всякого фанатизма, без каких бы то ни было конспираций. Оппозиция революции выражалась у молодежи лишь в пении «Боже, царя храни» во время попоек, в каком-нибудь отдаленном от центра доме в ночное время. Если при этом приходил милиционер, то забавлялись вместе с ним, разыскивая авторов криминальной песни. Все это было мальчишество и забава, ни о какой монархии серьезно не думали, как не думали о возможной кровавой развязке царившей идиллии.

Редко-редко прорывались затаенная злоба или оскорбительное и унизительное чувство за ненадлежащее по военному времени положение офицерства, вспоминали 1906 г. с его

окончанием. Старые моряки, конечно, с тяжелым чувством приспосабливались к революционной эпохе, а в общем жили, как вся Россия тогда, со дня на день, в ожидании чуда, которое изменит положение. Офицерская молодежь одобрила новую форму наподобие английской, введенную Временным правительством, и старалась по возможности сохранять прежний train* жизни, выражавшийся в шуточном стихотворении: «Chaque jour — дежурь, chaque soir — boire, naviguer, naviguer, après mourir»**.

Благодатная крымская природа сама по себе внушала такой оптимизм, что я с наслаждением провел этот месяц с книгами, морем и прогулками по Южному берегу Крыма, стараясь забыть о существовании дипломатического ведомства и Временного правительства. Одно, что не могло не поражать,— это наполнение Крыма аристократическими владельцами дач. Уже тогда эта тяга в Крым обнаружилась в придворных и даже великокняжеских кругах, имевших в Крыму недвижимость или же просто клочок земли. Н. В. Чарыков рассказывал мне в виде курьеза, что в принадлежавшем теперь ему родовом имении моей матери крестьяне, уже распоряжавшиеся его землей (имение в Самарской губернии, 7 тыс. десятин), прислали ему требование участвовать в расходах по содержанию «комитета народной власти», который орудовал в его имении. Получая все же сведения от своего управляющего, который безопасности ради жил в самой Самаре, посылая в имение «ходоков», он, зная местные условия, говорил, что независимо от решений Учредительного собрания помещичье землевладение можно считать оконченным, от крестьян землю можно отобрать только силой.

Отмечу здесь, что в качестве сенатора, назначенного еще в 1912 г., будучи в марте 1917 г. в Петрограде, Чарыков сделал визит А. Ф. Керенскому, «своему» министру юстиции, «социалисту», а потом был у Милюкова, вспомнив те времена, когда Милюков состоял профессором в Софийском универси-

---

* Ход *(фр.)*.

** «Каждый день — дежурить, каждый вечер — пить, плавать, плавать, а потом помереть» *(фр.)*.

тете, а Чарыков — русским посланником, с которым тогда у Милюкова отношения были вполне мирные (следующий посланник, Бахметев, как я отмечал, выслал, или, вернее, настоял на высылке Милюкова из Болгарии). О внешней политике Милюкова и Терещенко мой дядя говорил, что весь секрет — до общей победы союзников быть с ними. В этой победе после вступления в войну Северной Америки он больше не сомневался.

Приготовления к концу

Когда точно 1 октября я снова очутился в Петрограде и вернулся к своим служебным обязанностям, то нашел поразительную перемену, заключавшуюся в том, что наше ведомство, как и остальные, готовилось к эвакуации из Петрограда. Эти приготовления шли быстрым темпом и служили главной темой дня. Центральной междуведомственной комиссией по эвакуации являлась комиссия под председательством Кишкина. Об этой кишкинской комиссии все и говорили в нашем ведомстве, причем у нас были там представители как от самого ведомства, так и от нашего комитета служащих. Сам Терещенко особенно настаивал, чтобы наш комитет был представлен во всех комиссиях и во всех органах, которые занимались вопросами эвакуации.

Эти приготовления к эвакуации не только поглощали все внимание ведомства, но и житейски затмевали все другие вопросы. Наш курьер Губарь, один из старых чиновников, был отправлен в Москву, чтобы там найти нам помещение. Его доклад был в бытовом отношении самым интересным для служащих, так же как и все мелочи касательно количества комнат и всякого рода денежных выдач, связанных с эвакуацией. Суеверные люди могли бы приготовления к эвакуации, оказавшиеся запоздавшими, поскольку мы уже так никогда и не эвакуировались, приписывать предчувствию конца.

Наше министерство готовилось невольно к своему концу, и это ярко сказывалось на ликвидации не только квартирных и прочих обязательств, связанных с отъездом из Петрограда, но и на министерских делах. Все дела по предложению начальства надо было рассортировать на архив, который практически совсем не имел никакого актуального значения, куда

должны были быть отнесены дела до войны 1914 г. (этот архив предполагалось оставить в Петрограде), затем на дела военного времени — «законченные» и «незаконченные». Только «незаконченные» дела должны были оставаться до последнего момента с нами, «законченные» же дела военного времени должны были уехать в Москву раньше нас, дабы облегчить эвакуацию.

Таковы были умонастроение ведомства и его интересы. Помню, что я настолько заразился общим приготовлением к отъезду, что за несколько дней до переворота купил себе новый кожаный чемодан, рассчитав, что для моих вещей он понадобится. Этот слишком кокетливый чемодан с чехлом у меня задержала украинская пограничная стража на переезде в 1918 г., при благодушном содействии немцев, усмотревших в чемодане с завидным несессером нечто опасное для гетманства Скоропадского.

И в нашей Юрисконсультской части, называвшейся теперь Международно-правовым отделом, шла классификация дел на три разряда, хотя это деление на «довоенные», военные «законченные» и «незаконченные» для моего отдела не имело значения, так как все дела были нужны, ибо помимо своего конкретного назначения служили мне прецедентами, и поскольку они были неизмеримо портативнее по сравнению с бесконечными консульскими архивами наших восточных политических отделов, то я добился от Терещенко и Нератова разрешения увезти с собой весь наш архив, чем освободил и себя и своего помощника М. Н. Вейса, который без меня увлекся было классификацией нашего архива, от излишних и оказавшихся ненужными забот.

«Мошенничество поляков»

Избавив себя от всех «эвакуационных» приготовлений и просмотрев дела Временного правительства, я не мог не ахнуть, дойдя до совершившейся в мое отсутствие отмены огулом всего так нашумевшего в свое время закона о самоуправлении в Царстве Польском 1910 г., где в одной из последних статей имелась прибавка об исключении из Царства Польского Холмской губернии. Таким образом, под видом отмены архаичного столыпинского закона поляки в лице Ледницкого добились того, чего не могли добиться от нас, русской части

комиссии по ликвидации Царства Польского,— обратного включения в Царство Холмской губернии. Мошеннический прием, который им удался только потому, что я отсутствовал, а я был в это время единственным человеком, который в нашем министерстве был полностью в курсе и знал историю включения Холмской губернии и все относящиеся сюда официальные акты.

Я немедленно бросился к Нератову и показал ему, что произошло. Он, конечно, не подозревал, что, отменяя такой непопулярный закон, как вышеназванный, Временное правительство лишало Россию Холмской губернии. Когда я, видя полную неосведомленность Нератова, обратился к Терещенко, тот, поняв, в чем дело, воскликнул: «Вот мошенники!», но опять-таки уверил меня, что во Временном правительстве никто не подозревал, что, принимая, по их мнению, само собой разумеющуюся меру, против которой ни у кого не было возражений, они решали судьбу Холмской губернии, о которой я не раз докладывал Терещенко. Если к этому прибавить, что практического значения отмена закона 1910 г. для поляков не имела (не считая статьи о Холмской губернии), так как все Царство Польское продолжало оставаться во вражеской оккупации, то трюк Ледницкого получал самый пикантный характер.

Отмена указанного закона не позволяла теперь в нашей русско-польской комиссии поднимать отдельно вопрос о Холмской губернии и давала полную победу полякам. Винить в этом моего помощника Вейса нельзя было, так как и Терещенко и Нератов отлично знали, что все это дело я вел единолично и Вейс не был уполномочен за меня вести дела Временного правительства, которые за время моего отсутствия посылались прямо Нератову. Эта оплошность случайного характера, вскрывавшая «дипломатические» способности Ледницкого, замыслившего свой трюк, который при всей его дерзости ему удался, была, однако, настолько чревата последствиями, что я, рискуя испортить отношения с Ледницким, обратился к Нератову с заявлением, что если на ближайшем же заседании Временного правительства не будет пересмотрено решение о Холмской губернии, то поляки поставят

нас перед совершившимся фактом и Учредительному собранию станут доказывать, ссылаясь на решение Временного правительства, что русское правительство будто бы само признало Холмскую губернию принадлежащей к составу Царства Польского.

Нератов со мной согласился, что нельзя успокаиваться на польском трюке и нужно немедленно реагировать, но сказал, чтобы я предварительно снесся с министром внутренних дел. На другой же день на основании всех имевшихся у меня материалов я составил письмо в министерство внутренних дел по холмскому вопросу с разъяснением того, что произошло в связи с отменой закона о местном самоуправлении в Царстве Польском. Ответ пришел довольно скоро, в нем говорилось о необходимости «включения добавления, что отмена закона не влечет обратного водворения Холмской губернии в Царство Польское». На основании этого ответа Терещенко подписал изготовленное мною представление о том, чтобы решение Временного правительства об отмене вышеупомянутого закона было дополнено указанием, что Холмская губерния впредь до окончательного размежевания Польши и России должна по-прежнему оставаться вне Царства Польского.

За несколько дней до свержения Временного правительства в одном из последних его заседаний это добавление было принято, и таким образом положение Холмской губернии было восстановлено, что было не только парированием польского трюка, но и явно невыгодным для поляков прецедентом, который мог быть приведен лишь в пользу русского решения этого вопроса. Не знаю, какими глазами посмотрел бы на меня Ледницкий, но происшедший октябрьский переворот лишил меня случая с ним увидеться после этого решения Временного правительства. Не думал я тогда, что моя записка по холмскому вопросу очутится впоследствии в Брест-Литовске и сыграет роль при решении отдать Холмскую губернию Украине. Но об этом я расскажу в своем месте.

Будущее Литвы

В связи с этим решением Временного правительства нельзя не упомянуть и о литовском вопросе, который еще летом 1917 г. был поднят М. М. Ичасом, литовским депутатом в

IV Государственной думе. Ичас был принят Терещенко и обнадежен им в надлежащем решении. Тогда же мне было поручено в связи с моими обязанностями референта по польскому вопросу подготовить и литовский. Терещенко просил меня наметить основные вехи по аналогии с польским вопросом — так, по крайней мере, просил об этом Ичас.

С последним я был знаком и раньше, встречаясь с ним в доме члена Государственной думы, моего родственника П. П. Гронского. Виделся я с ним и летом 1917 г., причем веселый и общительный представитель будущей Литвы и впоследствии ее министр поразил меня тогда крайне пессимистичным взглядом на исход войны. То, что он говорил, представляло исключительный интерес, так как он имел сведения и из Германии, и из Царства Польского и считал еще до июльских дней положение Временного правительства безнадежным, а победу Германии над Россией обеспеченной. Это все совершенно не гармонировало с общим убеждением Временного правительства, что с помощью могущественных союзников нам удастся сломить в конце концов Германию. Все, что говорил Ичас об общем положении России, было до такой степени ново в тот момент, что я считал нужным доложить об этом Нератову, дабы дать ему картину германских предположений. Тот отнесся к этому очень серьезно, так как знал об иностранных связях Ичаса.

Что касается постановки литовского вопроса, то, хотя Ичас и не мог считаться литовским шовинистом (он в IV Государственной думе был членом кадетской фракции), он все-таки определенно указал на то, что раз полякам дается независимость, то надо что-либо сделать и для литовцев, в общем всегда гораздо больше русофильствовавших, чем поляки. Вместе с тем для меня было ясно, что ставить литовский вопрос по точной аналогии с польским значило бы открыть двери для полного расчленения России. Если из-за того, что поляки получают независимость, давать независимость литовцам, то как можно было бы отказать затем Финляндии, а потом и всем многочисленным народностям России — эстонцам, латышам и т. д.? Кроме того, польский вопрос действительно находился в особом положении, так как русское правительство

в воззвании вел. кн. Николая Николаевича от 1 августа 1914 г. обещало восстановить полякам Польшу, составленную из трех частей — русской, австрийской и прусской, следовательно, польский вопрос был с самого начала вопросом международным (наподобие, скажем, армянского), самым тесным образом связанным со славянским освободительным характером войны 1914 г. К тому же, в начале войны он ставился как присоединение к России восстановленной Польши, хотя бы и с очень широкой автономией. Польша целиком втягивалась в международную орбиту России в силу того, что Россия выступала защитницей всех славян в этой войне.

Литовский же вопрос в постановке Ичаса был прежде всего вопросом русским, так как все литовские земли находились в России, международного элемента в этом вопросе вовсе не имелось, это была добрая воля России — давать или не давать Литве независимость, следовательно, он должен был решаться на общем основании всех национальных вопросов, и прежде всего в интересах целостности Российского государства и суверенного свободного решения Учредительного собрания.

Больше того, если Временное правительство обещало Польше независимость, то взамен требовало русско-польский военный союз, и, принимая во внимание, что новая Польша должна была быть составлена не только из русской, но и из австрийской и прусской частей, Россия в международном отношении не проигрывала, а выигрывала. Постановка польского вопроса при Временном правительстве по сравнению с постановкой его в царской России в международном отношении была та же, менялись только отношения внутренние в смысле полного размежевания местных русско-польских дел. «Независимость» Польши всегда понималась условно и при Временном правительстве, так как революционная Россия не меньше царской не могла кровью русских солдат создавать потенциального или эвентуального врага.

Что же касается Литвы, то военный союз России с Литвой представлял соединение столь несоизмеримых величин, что не стал бы компенсацией для литовской «независимости». Не было и никаких международных побуждений выделять литов-

32 Зак. № 24

ский вопрос из числа других национальных, наоборот, были все мотивы за то, чтобы его не возбуждать, дабы не поднимать смежных латышского, эстонского, финляндского вопросов.

Оставалось только две стороны дела: первое — не отдавать литовцев Польше, а второе — тактически не отвратить от себя неосторожным жестом литовцев, чье русофильство нам действительно было выгодно всячески поддерживать. Что до первого, то литовцы были достаточно ограждены в отношении Польши актом Временного правительства 15 марта, по которому граница между Россией и Польшей определялась «этнографическим принципом», а касательно выбора тактичной формы, способной не оттолкнуть литовцев и сохранить русофильские чувства, я считал, что Ичасу могло бы быть дано обещание подготовить решение в Учредительном собрании сообща с литовскими представителями, дабы максимально удовлетворить их пожелания, не обещая, однако, им международной независимости, поскольку в литовском вопросе только Учредительное собрание компетентно дать окончательное решение. Издание же особой декларации я считал прямо вредным для русских интересов, тем более что международные соображения к этому не толкали и нельзя было издавать декларацию по одному лишь литовскому вопросу почти накануне созыва Учредительного собрания.

Все вышеизложенное было мной занесено на бумагу и в особой записке представлено Терещенко, который не ожидал такого отсрочивающего решения. Мне, однако, оказалось нетрудно убедить Терещенко, что, поступая иначе, мы грозим разворошить весь национальный муравейник России и вызвать справедливое недовольство остальных национальностей, в особенности прибалтийских. Учреждение особой литовско-русской комиссии я считал действительно желательным, но опять-таки, дабы не осложнять и без того достаточно остро стоявшие русско-польские отношения, я думал приурочить образование этой комиссии к началу деятельности Учредительного собрания, которое, как полагали тогда, было не за горами. Кроме того, я просил Терещенко разрешить мне сделать официальное заявление в комиссии Ледницкого о том, что под

этнографическим принципом размежевания России и Польши надо понимать выделение из будущей Польши не только русских, но и литовских элементов.

Терещенко утвердил как мою записку, так и мое предполагаемое заявление в комиссии Ледницкого. При этом он оставил записку у себя, дабы прочесть ее еще раз перед приемом Ичаса. То, что теперь сказал Ичасу Терещенко, было не совсем то, что он говорил ему в первый раз, когда Ичасу почти обещали решение литовского вопроса, «аналогичное» польскому, но Терещенко было не впервые выпутываться из подобных положений. Хитрый Ичас, не знавший, конечно, что я докладывал Терещенко, рассказывал мне после: «Ваш Терещенко — настоящий министр иностранных дел, при втором приеме он говорит диаметрально противоположное тому, что говорил на первом по тому же предмету».

Но все же, несмотря на свои жалобы кадетам, коллегам по фракции, на Терещенко, Ичас уехал из Петрограда довольный, в уверенности, что литовцы не будут отданы полякам, чего он больше всего боялся. Кроме того, обещание создать особую русско-литовскую комиссию при Учредительном собрании давало возможность Ичасу в будущем занять такую же позицию у литовцев, которую занимал у поляков А. Р. Ледницкий.

К большому неудовольствию последнего, я в его комиссии подал письменное заявление о том, что толковать акт Временного правительства 15 марта можно лишь в том смысле, что в будущей Польше останутся только чисто польские элементы, а части русского и литовского населения, согласно вышеназванному акту, останутся вне пределов Польши. Правда, поляки сделали вид, что это их удивило, поскольку-де в этом акте специально о литовцах не упоминается и говорится, что размежевание будет происходить между Польшей и Россией, а не между Польшей и Литвой. На это я возразил, что пока Временное правительство и не думает поднимать вопроса о независимой Литве и мое заявление относится к размежеванию России и Польши; области, населенные литовцами, останутся в пределах России, если, конечно, противоположное решение не будет принято Учредительным собранием.

Как ни неприятно было полякам поданное мною заявление

по литовскому вопросу, но оспаривать его соответствие акту 15 марта 1917 г. им не приходилось. Ледницкий ограничился замечанием, что поляки также подадут меморандум по этому предмету, но до большевистского переворота они его так и не подали. Таким образом решался литовский вопрос при Временном правительстве, никаких особых деклараций по этому поводу до самого конца последним издано не было.

Управление по делам Туркестана

Из восточных вопросов, подвергшихся существенной перемене в эпоху Терещенко, должен остановиться на туркестанском и бухаро-хивинском, где сказалось влияние В. И. Некрасова, желавшего вообще связать персидский вопрос с туркестанским и создать из Туркестана, Бухары и Хивы и Северной Персии одно экономическое, а в будущем и политическое целое. Этот план, не лишенный грандиозности, требовал прежде всего более спокойного международного положения России, чем то, которое было в 1917 г., требовал он, конечно, и недюжинных исполнителей.

Летом 1917 г., вскоре после того как Некрасов заменил Клемма в Среднеазиатском отделе, Временное правительство образовало Управление по делам Туркестана по аналогии с тем, что раньше было для Кавказа. Управляющий делами Туркестана должен был быть на правах министра членом Временного правительства. Этот пост был отдан Николаю Николаевичу Шнитникову, известному общественному деятелю, гласному Петроградской городской думы, присяжному поверенному и члену Петроградского совета присяжных поверенных, назначенному Временным правительством сенатором.

Я давно знал Н. Н., так как вместе с его сыновьями учился в Тенишевском училище, и, кроме того, мы были хорошо знакомы по Крыму. Ничего удивительного, что после своего назначения, мотивы коего мне неизвестны, он пришел ко мне в министерство с просьбой найти подходящего чиновника для занятий должности правителя канцелярии, что в новом деле было, конечно, важно. Я обещал узнать, хотя сразу же разочаровал Шнитникова, говоря, что все хорошие чиновники на счету и начальство их не выпустит, а плохих он не захочет и сам. Тем не менее я сделал просимое, и так как здесь требовалось знание Востока, а желательно было и Средней Азии, то я обра-

тился за советом к князю Л. В. Урусову, который служил на Востоке и знал лучше меня кадры «восточников». К моему удивлению, сам Урусов, несмотря на то что занимал уже тогда большое положение в министерстве, заинтересовался этим местом, но через некоторое время, разузнав, что к делу близок В. И. Некрасов, с которым он был в довольно холодных отношениях, остыл и не мог назвать ни одного лица, в настоящий момент свободного, которое бы удовлетворяло требуемым условиям и в то же время согласилось бы покинуть министерство.

Для объяснения этого обстоятельства надо сказать, что в то тревожное время наши чиновники предпочитали дипломатическое ведомство всем проблематичным выгодам нового места. Сам Шнитников, прося меня найти ему помощника, говорил, что он не предлагает этого мне, так как знает мое «блестящее» положение в министерстве и боится вовлечь меня в невыгодную сделку. Не найдя подходящее лицо в нашем ведомстве, он обратился к моему двоюродному брату С. Н. Слободзинскому, который служил в министерстве путей сообщения, где его отец занимал крупный пост. Слободзинский, математик по образованию, на год старше меня, был на отличном счету в своем министерстве, но с Туркестаном ни малейшим образом связан не был. В помощники себе он взял одного только что выпустившегося экономиста-политехника, вот и все Управление по делам Туркестана. Никто из них не был знатоком Средней Азии. Мне пришлось моего кузена познакомить с Некрасовым и М. М. Гирсом, помощником Некрасова по Среднеазиатскому отделу, и Управление по делам Туркестана начало работу.

Правда, оно функционировало меньше месяца и было, если не ошибаюсь, последним по времени крупным центральноправительственным учреждением, созданным Временным правительством. Планы управления были очень широкими, стоял даже вопрос о создании в Ташкенте мусульманского университета. Шнитников, как он мне рассказывал, имел в свое время адвокатские дела с французами в Бухаре, но Туркестана он все же бесспорно не знал.

Одновременно с созданием этого управления посланником в Бухару, к моему удивлению, был назначен сын извест-

ного писателя С. Я. Елпатьевского присяжный поверенный В. С. Елпатьевский, до того исполнявший обязанности председателя сиротского суда в Петрограде. В. С. имел какие-то виноградные плантации в Туркестане, туда изредка наезжал и в 1917 г. оказался членом исполкома Ташкентского Совдепа. Будучи хорошо знаком с А. Ф. Керенским, он, никогда до сего не имея ни малейшего отношения к дипломатическому ведомству, внезапно был назначен нашим посланником в Бухару. Когда я говорю внезапно, то подразумеваю наше ведомство — В. И. Некрасов не только знал об этом назначении, но и всячески его одобрял, считая Елпатьевского энергичным человеком. Со Шнитниковым Елпатьевский был в наилучших отношениях, так как в свое время состоял при нем помощником присяжного поверенного. Семью Елпатьевских я знал давно по литературным отношениям отца и по Крыму, где у Елпатьевских была дача (в Ялте).

Признаюсь, всеми этими назначениями я был ошарашен, и когда Терещенко, Шнитников и Елпатьевский заперлись в кабинете Терещенко для обсуждения инструкции Елпатьевскому как посланнику в Бухаре, а мне пришлось ожидать конца их совещания, длившегося более 40 минут, мне невольно пришла в голову мысль: кто из них троих менее пригоден для занимаемой им должности? Мне трудно было это решить. После аудиенции у министра Шнитников и Елпатьевский пришли ко мне в наш Международно-правовой отдел и шутя сказали, что они все втроем никак не могли вспомнить название главнейшего источника мусульманского права, начинающегося на букву «ш». Я воскликнул: «Шариат?», и они ответили: «Вот именно!»

Знаменательно, что столь почетное звание, как звание русского посланника в Бухаре, Елпатьевский продолжал совершенно сознательно совмещать со званием члена исполкома Ташкентского Совдепа. Таково было время, что и дипломатическое ведомство в лице Нератова и Петряева не возражало против этого пикантного совмещения, вносившего революционный дух в самые прочно установленные дипломатические формы. Должен сказать, что со строго юридической точки зрения это было незаконно, и я как юрисконсульт ведомства

не скрыл от Терещенко, что международное право не позволяет совмещения внутренних административных должностей с положением посланника, но, принимая во внимание, что пост в Бухаре на самом деле носил административный характер и походил на должность русского губернатора, я не только не возражал против этого совмещения, но и приветствовал его как установление более тесной связи Бухары с Туркестаном.

Я сам был очень хорошо осведомлен о Бухаре, так как мой дядя Чарыков был там в свое время первым дипломатическим агентом, и те, кто бывал там, знают Чарыковскую улицу — след его пребывания. Миссия Елпатьевского отцвела, не успев расцвести, подобно Управлению по делам Туркестана, так как октябрьский вихрь с Временным правительством унес и это, но сам Елпатьевский успел приехать в Бухару и там даже принял участие в очередном русско-бухарском конфликте, явившись сам на место происшествия.

Этот слишком необычный для положения посланника в Бухаре поступок Елпатьевского вызвал восторг Некрасова, нашедшего, что это «ново и смело», и недоумение Нератова, по-старому смотревшего на дело и считавшего, что Елпатьевский, действуя так, скоро потеряет престиж посланника. Как бы то ни было, грандиозный план Некрасова, задумавшего превратить в одно монолитное целое все прямые и завуалированные приобретения России в Средней Азии, не успел развернуться, и, думаю, если бы большевистский переворот не опрокинул этот план, при проведении его в задуманных размерах нам, конечно, пришлось бы столкнуться с Англией, которая, несомненно, расшифровала бы эти усилия как попытку основательно пододвинуться к Индии. Одно было несомненно, что Линдли, бывший заместителем Бьюкенена к моменту большевистского переворота, начинал жалеть, что нет больше Клемма, которого так опасался когда-то Бьюкенен.

То, что замышлялось при Временном правительстве в Средней Азии, далеко превышало прежние мечты и дела царского правительства. Грандиозность предприятия ослаблялась только его полной несвоевременностью и парадоксальным выбором людей. Кроме Некрасова, никто, даже из его ближай-

ших помощников вроде М. М. Гирса, знавшего практически Персию и Среднюю Азию, не верил в то, что миссия Елпатьевского и управление делами Туркестана Шнитниковым приведет к благополучному концу. Зато в финансовых банковских сферах этот план произвел впечатление, и как раз под осень 1917 г. в Северную Персию, Туркестан и даже Бухару направилась солидная финансовая разведка, подкрепленная русскими инженерными силами.

Когда уже в октябре, до переворота, мне пришлось коснуться этого вопроса в разговоре с Некрасовым (последний относился ко мне особенно хорошо, зная, что его креатуры — мои давнишние знакомые) и указать ему на возможный конфликт с Англией, идущий вразрез с нашей общей политикой, он мне ответил: «Из всей моей восточной практики я вынес одно убеждение — никогда не надо бояться конфликтов». Этот утешительный вывод помогал Некрасову не слушать прежде всего своих помощников и в своих назначениях (не говорю о туркестанском квазиминистерстве, которое нас не касалось, а о миссии Елпатьевского) пренебрегать мнением всего личного персонала ведомства, увидевшего начало конца прежнего чисто канцелярско-дипломатического подбора людей.

На наш комитет в связи с этим назначением аутсайдеров оказывалось большое давление, дабы мы вмешались и поставили Терещенко на вид, что этим разрушается традиционная система дипломатической службы. Нам стоило больших трудов успокоить наших чиновников, так как подобное вмешательство в чисто государственные дела, как бы мы внутренне ни соглашались с критиками этого назначения, означало бы прямую узурпацию власти министра. Любопытно, что Некрасов до такой степени боялся нашего вмешательства, что страшно торопился с назначением, прося даже меня ходатайствовать перед Нератовым о скорейшем назначении Елпатьевского. Временная отлучка Керенского заставила его отложить этот вопрос, несмотря на то что Терещенко готов был подписать назначение и в отсутствие Керенского.

Нератов признал это некорректным в отношении главы правительства, спасая, таким образом, по старой бюрократи-

ческой привычке молодого министра — Терещенко — от упрека в недостатке уважения к председателю Временного правительства. Это внимание к Керенскому во время исполнения им обязанностей главы правительства и государства было со стороны Нератова таким же, как в свое время к И. Л. Горемыкину. Нератов представлял из себя редкий тип настоящего чиновника, для которого его монархическое прошлое и придворное звание совершенно затмевались революционным «сегодня».

Трагедия теоретического народовластия

Далеко не во всех ведомствах понимали значение сохранения служебной дисциплины и должного отношения к правительству как таковому, кто бы в него ни входил. Весьма часто именно высшие служащие, старые бюрократы, бывшие безукоризненными чиновниками в царское время, подавали младшим служащим пример неуважения к Временному правительству. В нашем ведомстве этого не было, может быть, потому, что в царское время «служебная дисциплина» в чиновничьем смысле была не в моде и ведомство старалось быть именно дипломатическим, а не просто казенным учреждением.

Как раз перед самым концом Временного правительства мне пришлось снова начать свои хождения в Главный земельный комитет В. М. Чернова. Я выше говорил о том «бесстрастно-академическом характере» первого заседания, который так поразил меня в апреле 1917 г. Это впечатление быстро сгладилось, когда на дальнейших заседаниях комитета развернулась во всю ширь картина фактического положения земельного вопроса. К октябрю положение действительно зажатого в тиски помещичьего землевладения настолько ухудшилось, что Учредительному собранию оставалось только примириться с совершившимся фактом и дать последний штрих, дополняющий и завершающий то, что уже произошло, в виде законодательного акта. Nudum jus* — вот что в огромном большинстве случаев оставалось у помещиков.

Конечно, на необъятном пространстве России картина не всюду была одинакова. В. М. Чернов во время июльской сессии призывал Земельный комитет к тщательной подготовке

* «Голое право» *(лат.)*, то есть право без возможности его реализации.

реформы, дабы не сделать из Учредительного собрания «всероссийский митинг», по его выражению. Работа в Земельном комитете действительно была большая, но жизнь до такой степени опередила подготовку реформы, что со стороны нерешительность Временного правительства произнести последнее слово бросалась в глаза. Здесь, как и в ряде других вопросов первостепенной важности, был один и тот же трагический конфликт — выжидательная позиция «до Учредительного собрания», трагедия теоретического народовластия в верхах и практического подхода к делу в народных низах.

Я ходил в Земельный комитет на пленарные заседания не потому, что наше ведомство было заинтересовано в разрешении тех или иных вопросов, а просто из любопытства, да и должен сказать, что в нашем министерстве, где огромное большинство служащих были помещиками, очень по-человечески интересовались работами комитета.

В октябре, однако, мне пришлось участвовать в заседаниях комитета по ведомственному поручению. Дело в том, что Временное правительство ликвидировало ряд мероприятий царского правительства по немецкому землевладению, в выработке которых я в свое время принимал участие. Ликвидировало не потому, что проявляло симпатии к немцам, а дабы не портить общего плана аграрной реформы. Здесь, однако, произошли курьезные осложнения. Так, например, в Волынской губернии, где состоялся уже фактический раздел земель немецких колонистов между местными крестьянами, эти крестьяне категорически воспротивились мерам Земельного комитета по обратному возвращению земель немецким колонистам.

Мне пришлось присутствовать как раз на одном таком заседании комитета в октябре, когда представители этих крестьян Волынской губернии, к большому неудовольствию профессора Посникова, председательствовавшего в комитете, настаивали на отмене мер Земельного комитета и восстановлении царских законов. Доводы были настолько убедительны — бесповоротность совершившегося,— что комитет вынужден был уступить крестьянам, и для Волынской губернии решили сделать исключение, но поскольку, однако, не было возможности делать исключение только для одной губернии в России,

то приняли не без моего вмешательства, резолюцию о том, чтобы в случаях уже совершившихся разделов, подобно тому, как было в Волынской губернии, старые царские законы о немецком землевладении оставались в силе.

Само собой разумеется, что все работы Земельного комитета велись исключительно в целях защиты интересов крестьянского землевладения, но когда я слушал напитанный статистическими данными проект «уравнительного распределения земель», мне, в детстве близко знавшему русскую помещичью деревню, все это казалось утопичным, а нежелание сказать по земельному вопросу последнее слово до Учредительного собрания — чистейшей теорией, и, по разным сведениям с мест, в Земельном комитете докладчики не раз говорили, что крестьяне этого не понимают. Внимательно слушая эти заявления в комитете, нетрудно было видеть огромную разницу правовоззрений крестьянства и Временного правительства, хотя по существу казалось, что цель одна — дать крестьянам помещичью землю. Самые ретроградные помещики, до Февральской революции и слышать не хотевшие о каких бы то ни было «аграрных реформах», в 1917 г. считали свое дело безвозвратно проигранным.

Таким образом, для окончательного разрешения вопроса оставалось единственное препятствие — боязнь узурпировать права Учредительного собрания. Чем ближе подходили к назначенному сроку выборов, тем щепетильнее становилось настроение Главного земельного комитета, действительно стремившегося преподнести «Хозяину Земли Русской» вполне продуманный и согласованный в основах и частях проект аграрной реформы.

Переворот, заставший всех врасплох

Переходя к главному вопросу того времени, которое предшествовало октябрьскому перевороту,— к вопросу о том, насколько главные действующие лица предчувствовали надвигающуюся грозу, остановлюсь прежде всего на М. И. Терещенко, министре иностранных дел и участнике пятичленной Директории.

22 октября вечером я случайно встретил на улице профессора С. А. Котляревского, принимавшего столь деятельное участие во Временном правительстве. Мы зашли с ним в конди-

терскую Филиппова на Невском и пили чай, обмениваясь впечатлениями о явно сгущавшихся тучах, главным образом из-за злополучного вопроса о выводе Петроградского гарнизона из столицы. Котляревский передавал мне последние новости и рассказывал, кто как смотрит на положение вещей. Говоря о Терещенко, он назвал его «неисправимым оптимистом». Последний, несмотря ни на что, утверждал, что все страхи преувеличены, никакой непосредственной опасности для Временного правительства нет и т. д. Котляревский, который с проницательностью, делающей ему честь, смотрел тогда на положение правительства крайне пессимистично, приписывал весь этот оптимизм молодости Терещенко, так как считал, что объективных данных для оптимизма не было. Вышло так, что это оказалась моя последняя встреча с Котляревским. Дальше наши пути разошлись, и эта встреча была, пожалуй, самым ярким предчувствием неизбежности конца, которое я тогда видел.

Терещенко действительно был оптимистом — он не только готовился к переезду всего ведомства в Москву, но и не спешил с этим. Думаю, его гораздо больше волновало предложение сепаратного мира со стороны Австро-Венгрии, о котором он серьезно совещался с Нератовым и Петряевым, не для того чтобы на него согласиться, но для того чтобы ловким маневром окончательно рассорить Австро-Венгрию с Германией. Подписанные Терещенко и составленные Муравьевым осведомительные циркулярные телеграммы нашим послам и посланникам за границей о внутреннем положении звучали так же оптимистично, как и накануне корниловского выступления. Не только ничто в поведении Терещенко не предвещало близости катастрофы, но его самоуверенность, как видно из отмеченной встречи с Котляревским, поражала посторонних, поражала и его собственное ведомство. Не думаю, чтобы здесь была намеренная поза, нет, это действительно был искренний оптимизм Терещенко, «здорового молодого человека», как раздраженно выразился о нем А. А. Доливо-Добровольский, который тогда не был ни молод, ни достаточно здоров и страшно нервничал.

Была и другая черта Терещенко, которая поддерживала

его природную склонность к оптимизму: помимо того что он был покладистым министром и элегантным денди, он, несомненно, был молодым человеком с большим самомнением. В. К. Коростовец, ездивший с Терещенко и неизбежным спутником того, Муравьевым, в Ставку незадолго до октябрьского переворота, рассказывал мне, что Терещенко разговаривал с солдатами как государь, спрашивая, «участвовал ли он в сражениях», «был ли ранен», «какие имеет награды», и после этих классических вопросов заявил Муравьеву и Коростовцу, что его «популярность в войсках» очень велика. Когда на обратном пути министерский вагон был осажден солдатами, уходившими с фронта, и когда, несмотря на предосторожности проводника и «популярность» Терещенко, стекла на вагонной площадке оказались выбитыми, а самому Терещенко со спутниками пришлось спрятаться в купе, то Терещенко мрачно сидел запершись до самого Петрограда. Он, несомненно, не подозревал о столь близкой катастрофе или ничем не выявлял своих предчувствий.

Настроение вообще в нашем ведомстве было угнетенное, так как по городу носились разные слухи, но никаких признаков тревоги не было и в широких обывательских кругах. Я знаю, например, такие случаи: одна моя родственница, у которой муж и два сына служили в Петрограде, занимая видные места при Временном правительстве, уехала 23 октября в Екатеринослав на три дня и вернулась в Петроград через пять лет. Другой случай — с одним моим сослуживцем, семья которого продала дом в Петрограде и получила за него 500 тыс. руб. 24 октября, не успев положить в этот день деньги в банк, и благодаря этому случайному обстоятельству спаслась эта крупная по тем временам сумма.

Октябрьский переворот застал Петроград врасплох, правительственный и обывательский одинаково. Никакой предоктябрьской паники совершенно не было, и это было удивительно, так как симптомов для тревоги было сколько угодно. Все знали, что Петроградский гарнизон не желает уходить, знали, что и Съезд Советов настроен недоброжелательно к Временному правительству.

У меня лично это историческое событие — падение Вре-

менного правительства — совпало, как я говорил выше, с заседанием Высшего призового суда в Петрограде, назначенным на 26 октября 1917 г. Для этого заседания мне надо было быть в форме, то есть в мундире, которого у меня не было, так как в нашем министерстве форма не признавалась, а для прочих торжественных случаев, даже для дипломатических раутов в посольствах, фрак отлично заменял форму. Между тем Стеблин-Каменский, которого я спросил по телефону, в каком виде я должен был быть в этом торжественном судилище, где сенаторы, адмиралы и Центрофлот должны были заседать вместе, сказал мне, что я должен быть в мундире.

За несколько дней до переворота вышло мое назначение на должность V класса по Правовому департаменту на правах вице-директора, пришлось заказать мундир, который и оказался готовым 24 октября. Мундир с золотым шитьем старого царского образца (форма не была отменена Временным правительством) явился у меня символом октябрьского переворота, так как я, тщательно скрыв его под английским пальто защитного цвета, все же надел его 26 октября, явившись на заседание суда в форме. Это был единственный раз, когда я надел форму,— на другой день после ареста Временного правительства, когда этот вид одежды представлял криминал и таил прямую опасность для носившего. Я никогда не мог предполагать, что, надевая этот мундир, я буду чувствовать всю одиозность чиновника, правительство которого находится в Петропавловской крепости и который сам своим видом являет исторический анахронизм.

Конечно, зная о происшедшем, я уже нисколько не готовился к роли докладчика в призовом суде и 25 октября, зная о положении вещей, не просматривал дела, так как мне было сообщено, что в этом суде мы не будем заниматься призовыми делами. Но, снесшись по телефону со Стеблиным-Каменским еще 25 октября, мы решили во что бы то ни стало быть на заседании суда. Стеблин-Каменский как прокурор суда заявил мне, что дел в этом заседании быть не может, так как все здание морского министерства в настоящий момент — военный лагерь. Наше заседание происходило на большой лестнице морского министерства, где в назначенный час (1 час

дня) собрались судьи и в несколько минут решили, что заседание суда не может состояться, ибо мы не знаем, от чьего имени судить. От имени Временного правительства, как было до сих пор, очевидно, нельзя было, так как оно сидело в Петропавловской крепости, а от имени нового правительства — единодушно решили, что не будем. Ввиду этого заседание Высшего призового суда было отсрочено sine die*. Так оно впоследствии никогда и не состоялось, но отрицательным решением в отношении нового «рабоче-крестьянского правительства» я вынужден был определить свою принципиальную позицию за сутки до решения ведомства и Союза союзов.

Для меня лично саботаж начался уже 26 октября 1917 г. После этого мимолетного заседания, сознавая все значение переворота в смысле необходимости соответственных предосторожностей, я пошел не к себе домой, а в пустовавшую тогда квартиру моего родственника П. П. Гронского на Шпалерной улице. Из моей каменноостровской квартиры я перевез два чемодана с необходимыми вещами. Две квартиры мне казались надежнее одной, и по всему предшествующему я знал, что мне не избежать известной роли в министерстве, которая могла закончиться плохо, если бы я продолжал жить в прежнем месте. Поступал я так «на всякий случай», не отдавая себе отчета в том, что пассивным к наступающим событиям я не останусь. Для этого у меня были следующие данные.

Если Терещенко с полной беспечностью мог рассылать телеграммы по всему свету нашим заграничным представителям о том, что «в Петрограде все спокойно», то такой наивный оптимизм не разделялся нашим комитетом и даже Союзом союзов всех ведомств. Последнее время, уже в октябре, я стал, наконец, ходить в этот самый Союз союзов, хотя до решительного дня 27 октября там ничего особенного не произошло.

Начало саботажа

Во главе Союза союзов стоял чиновник министерства внутренних дел Кудрявцев, другой чиновник того же ведомства, уже немолодой, по фамилии Соколов, был типичным

* Без указания даты *(лат.)*.

петербургским чиновником, деятельную роль играл чиновник министерства финансов Харьковцев. В Союзе союзов до 27 октября только в частных беседах говорилось о его тактике в случае свержения Временного правительства. Центральным пунктом заседаний до этого дня была информация — общая и по ведомствам. Информация эта была очень тревожна, в том что касалось близости большевистского взрыва, и была очень утешительна в отношении твердого антибольшевистского настроения во всех ведомствах.

Наш комитет в лице князя Л. В. Урусова и В. К. Коростовца уже с июльских дней поддерживал самое близкое общение с Союзом союзов, и Урусов был избран там товарищем председателя (председателем был Кудрявцев, другим товарищем председателя — Харьковцев). С октября к Урусову и Коростовцу присоединился от нашего ведомства я, хотя наш комитет с самого начала избрал меня представителем в Союз союзов. К октябрьскому перевороту все ведомства были представлены в Союзе союзов, не исключая и ВИКЖЕЛЯ, то есть Союза железнодорожников и почтово-телеграфных служащих. Должен сказать, что ВИКЖЕЛЬ, впоследствии занявший особую позицию, был, кроме того, представлен и в Союзе служащих министерства путей сообщения.

Таким образом, весь центрально-государственный аппарат Петрограда заключался в Союзе союзов, мы имели сведения обо всех самых главных учреждениях столицы, и оттуда наши щупальца протягивались по всей России. В Союзе союзов не были представлены лишь два ведомства — военное и морское. Если бы они входили туда, то это был бы не Союз союзов, а правительство России. В том виде, в каком он существовал ко дню большевистского переворота, Союз союзов персонифицировал всю гражданскую правительственную власть или, вернее, весь государственный аппарат, за исключением армии и флота. Даже дипломатия благодаря участию нашего комитета служащих МИД была в распоряжении Союза союзов.

27 октября 1917 г. является исторической датой для дипломатического ведомства и для всего антибольшевистского движения, так как в этот день Союзом союзов всех правительст-

венных учреждений Петрограда была объявлена всеобщая забастовка по случаю большевистского переворота и был выпущен призыв к забастовке в провинцию.

В этот день я явился в наше министерство в 11-м часу утра. Обезглавленное ведомство было в полном сборе. Накануне (26 октября) «товарищ Залкинд» пришел к Б. А. Татищеву с требованием от «рабоче-крестьянского правительства» выдать ему все «тайные соглашения с союзниками», на что Татищев ему ответил, чтобы он обратился к Нератову. Тот, со своей стороны, заявил, что будет разговаривать только с лицом, которому новое правительство поручит внешние сношения России. Залкинд ответил, что таким лицом является Л. Троцкий — народный комиссар по иностранным делам. Вечером по телефону Нератов был извещен, что на другой день, 27 октября, днем Л. Троцкий сам приедет в министерство. Залкинд был совершенно один, без всякого эскорта.

27 октября утром наше министерство, помещавшееся на Дворцовой площади против Зимнего дворца, на котором уже развевался красный флаг, было совершенно свободно от какой бы то ни было охраны солдат и матросов, по-прежнему мы оставались хозяевами в ведомстве. Нератов и Петряев и все чиновники были на местах, но предстоящий приезд Троцкого, конечно, действовал на всех возбуждающе. Князь Урусов и Коростовец, увидев меня, сказали, что в 12 час. дня назначено заседание Союза союзов, и в половине двенадцатого собирались идти вместе со мной, условившись, что зайдут за мной в мой отдел.

Не успел я, однако, прийти к себе в отдел, как меня вызвал А. А. Доливо-Добровольский. Заботливо притворив дверь и сказав курьеру никого не пускать, он с самым конфиденциальным видом, волнуясь, стал мне говорить всяческие комплименты насчет того, что я-де пользуюсь таким влиянием в министерстве и такими симпатиями среди служащих министерства, что и в служебном отношении мое положение так высоко и т. п. Я слушал спокойно, зная, что любезность Доливо-Добровольского на этот раз была неспроста, но когда тот стал мне объяснять, что «новая власть» есть власть, то есть обладает всеми принудительными аксессуарами, и что, ко-

33 Зак. № 24

нечно, всякий волен принимать какую угодно «позу», по выражению Доливо, однако «новое правительство» может и в тюрьму посадить, и вообще «принудить к повиновению», я ушам своим не поверил, несмотря на все то, что я раньше слышал от Доливо. Прямых угроз я не ожидал, в ответ на его таинственный шепот я рассмеялся, говоря, что он мне «угрожает» от имени «нового правительства», как будто он имеет право говорить так.

Я спросил его, что же он советует делать, так как мне этот разговор начинал казаться любопытным. Доливо-Добровольский вскочил и заходил по комнате: «Что делать? Капитулировать, немедленно, немедленно, не теряя ни одной секунды. Через месяц вся Россия будет в руках нового правительства». Я поблагодарил Доливо за его откровенность и сказал, что являюсь членом ведомственного комитета и членом Союза союзов всех ведомств и поступлю так, как решат они, а что касается моего личного мнения, то я вчера на заседании Высшего призового суда его высказал, и заключается оно в том, что признавать «рабоче-крестьянское правительство» правительством России только потому, что оно посадило в Петропавловскую крепость Временное правительство, как ни значителен этот акт, нельзя или по меньшей мере преждевременно.

Доливо-Добровольский опять набросился на меня, убеждая, что никаких сомнений в конечной победе «новой власти» (Доливо почему-то избегал слово «большевики») не может быть и т. д. Но, к моему удивлению, когда я еще раз повторил, что буду действовать согласно решению Союза союзов, тот вдруг без всякого перехода сказал: «Ну, если Союз союзов выскажется против, если все ведомства не признают переворота, тогда другое дело, лишь бы нашему ведомству не вести сепаратную линию». Я успокоил собеседника на этот счет, изумляясь лишний раз эластичности Доливо, который не то что колебался, а делал вид, что колеблется, так как боялся еще тогда окончательно раскрыть карты.

В это время без всякого доклада вошел Урусов и вместе с Коростовцом и мной пошел в министерство внутренних дел, где в кабинете Кудрявцева должно было происходить заседание Союза союзов. Наш комитет мы решили собрать уже

после того, как станет известным решение Союза союзов. Придя к зданию у Чернышева моста, мы застали всю компанию в сборе, и Урусов сразу же сказал, что в нашем министерстве ждут сегодня Троцкого и что желательно поэтому прямо перейти к главному вопросу о тактике Союза союзов в связи с большевистским переворотом, чтобы успеть вовремя сообщить решение Союза союзов нашему ведомству.

Политическая физиономия этих подлинных представителей петроградского чиновничества была в высшей степени неясна с точки зрения партийной принадлежности. Все почти были беспартийными, но зато диапазон был велик. Так, в Союз союзов входили меньшевик-интернационалист Абрамсон и октябрист (будущий ярый монархист) С. С. Ольденбург. Это была единственная организация, в которой я видел действительно «единый антибольшевистский фронт». Тогда это казалось совершенно естественным и не вызывало ни малейших трений в работе Союза союзов. Как ни пытался Кудрявцев обойтись без прений или, во всяком случае, сократить их, однако они были, несмотря на сразу выявившееся единодушие в вопросе о непризнании большевиков в качестве всероссийского правительства.

Были сомнения в вопросе борьбы с большевиками, все понимали, что решение о непризнании «новой власти» вовлекает нас в борьбу с ней. Забастовка, или, как тогда говорили, саботаж, выдвигалась большинством, но против нее выступил Харьковцев. Он ставил ряд вопросов: каков охват забастовки, какие учреждения должны быть исключены из нее, на какое время должна быть объявлена забастовка, что делать, если большевики упрочатся, нельзя же бастовать до бесконечности, наконец, не принесет ли забастовка больше вреда государству, чем пользы антибольшевикам. Все эти вопросы были жгучи и уместны, так как, берясь за борьбу, надо было знать, не только против кого борешься (это мы знали), надо было знать, насколько пригодны для этой борьбы те средства, которые у нас имелись.

Мы, конечно, не могли не понимать, что, не имея за собой армии и флота, будем бессильны сопротивляться большевикам бесконечно, но, с другой стороны, мы понимали, что

передача большевикам государственного аппарата явится страшнейшим орудием в их руках и что она ускорит и облегчит им борьбу за власть. Передавать этот аппарат в тот момент, когда еще неизвестно, как отзовется на петроградский переворот вся остальная Россия, было бы, с нашей точки зрения, прямо предательством. В то же время, не имея возможности точно определить момент забастовки и не считая допустимым по тактическим условиям объявлять ее срок, мы предполагали его сравнительно коротким — две-три недели, не больше, считая, что если в этот срок в России не найдется достаточной силы сбросить большевиков, то борьба примет длительный характер и забастовка как средство не будет годиться; нам, говоря революционным языком, придется «уйти в подполье».

Таким образом, по мнению присутствовавших, забастовка должна была быть сильным ударом, охватить все учреждения, кроме имеющих чисто продовольственное значение, ударом сильным, но коротким. Эта предположенная краткость забастовки казалась залогом ее успешности и широты охвата, но мы не могли говорить о сроке забастовки точно и снизить ее политический эффект теми размышлениями, которые я привел выше и которые должны были остаться между нами. Голосование по первому вопросу — об объявлении всеобщей забастовки как протесте против большевистского переворота — дало следующие результаты: 17 — за забастовку, 1 — против (это был Харьковцев), 3 — воздержались (среди них, как это ни странно, князь Урусов, ставший затем одним из вождей саботажного движения). Всего присутствовал на собрании 21 человек. Так решился основной вопрос о забастовке.

После этого, можно сказать, исторического голосования принялись составлять резолюцию, которую можно было бы объявить от имени всех антибольшевиков. Коростовец, со свойственной ему экспансивностью, предлагал заявить, что Петроград захвачен германским генеральным штабом. Как ни ярка была бы такая резолюция и как бы ни соответствовала она настоящему положению вещей, принять такую мотивировку было нельзя. Когда мотивировочная часть, содержавшая упоминание об Учредительном собрании, во имя коего

начиналась борьба с большевиками, была кратко, но решительно проредактирована, был поставлен вопрос, надо ли упоминать точно, какие учреждения должны остаться вне забастовки. Экстремисты настаивали, чтобы забастовка была по возможности абсолютной, дабы самые широкие слои населения поняли все значение большевистского переворота, чтобы были закрыты вода, газ, электричество и даже все продовольственные учреждения. На это основательно возражали, что такая забастовка не поможет делу, но отвратит от нас население, которое не пожелает самоудушаться по случаю свержения Временного правительства.

Компромисс заключался в том, что решили не перечислять учреждения, изъятые из забастовки, но заставить каждое учреждение, не примыкающее к забастовке «из-за нужды в нем населения», испрашивать предварительное разрешение у Союза союзов. Освобождались учреждения продовольственного характера, освещения, отопления, водопроводные — и только. Все министерства без изъятия должны были примкнуть к забастовке, а просьбы об исключении — направляться в Союз союзов через соответственную ведомственную организацию. Положено было немедленно оповестить все ведомства и всю Россию о решении петроградского Союза союзов о забастовке и выпустить воззвание к провинции. Одновременно нашему комитету было поручено о декретировании забастовки известить и все наши дипломатические представительства за границей. После этого Урусов, Коростовец и я с карандашной копией резолюции Союза союзов полетели в наше ведомство, дабы известить министерство о принятом решении.

Троцкий в министерстве

Придя в министерство, мы узнали, что Троцкий уже находится у Нератова. Он пришел, как до того Залкинд, совершенно один, без всякого эскорта. Сколько раз после этого мы, вспоминая этот день, перебирали мысленно все фантастические планы его похищения и даже уничтожения (в нашем министерстве для особо секретных дел имелись железные стенные шкафы, запиравшиеся американским замком; если бы мы туда втиснули щуплого Троцкого, а человек там помещался свободно, то будущего диктатора России не скоро можно было бы разыскать).

Решение Союза союзов, которое мы принесли с собой и сразу же сделали известным, стало определяющим фактором в настроении нашего ведомства. Как я узнал позже, Доливо-Добровольский после нашего ухода пустился в самую бесшабашную агитацию за признание большевистской власти, но при виде нас трех — Урусова, Коростовца и меня, пришедших с резолюцией Союза союзов, он заметно изменился в лице и отошел в сторону, заявив, что остается только смириться с решением Союза союзов. Мы хотели собрать наш комитет, чтобы обсудить дальнейшую тактику, но не успели, так как в это время Петряев позвал нас всех на общее собрание в апартаменты министра, в тот самый зал, где немногим больше года назад мы прощались с Сазоновым и где так недавно ораторствовал Терещенко, для встречи с Троцким.

Здесь я вынужден прервать рассказ, чтобы объяснить, что произошло при разговоре Троцкого с Нератовым. Об этом Нератов впоследствии нам подробно рассказывал.

Троцкий, отрекомендовавшись народным комиссаром по иностранным делам, сказал Нератову, что их — новое правительство — интересуют две вещи: во-первых, все секретные документы министерства, а во-вторых, им нужно перевести декрет о мире нового рабоче-крестьянского правительства на главнейшие европейские языки, а именно немецкий, французский и английский, и он просит Нератова отдать распоряжение «переводчикам» о переводе.

На первый вопрос Нератов, улыбаясь, сказал, что если под словом «секретный документ» Троцкий понимает всякую бумагу, на которой есть надпись «секретно», то все шкафы министерства полны этими бумагами, а на вторую «просьбу» о переводе декрета Нератов сказал, что в министерстве нет особых кадров «переводчиков» на названные языки, так как все чиновники обязаны знать их и держат для этого специальный экзамен; что же касается того, захотят ли они его переводить, то при настоящем положении вещей он не может ни «приказывать», ни «отдавать распоряжений» и советует Троцкому созвать всех и со всеми переговорить сообща.

Троцкий на это согласился, но продолжал настаивать на выдаче «тайных договоров с союзниками». Нератову при-

шлось ответить, что эти договоры хранятся в разных отделах и Троцкий, ознакомившись с министерством, найдет их сам. Тогда Троцкий выразил надежду, что Нератов будет продолжать работать с ними, как он работал с Временным правительством, «на пользу России», по словам Троцкого. На это Нератов тут же заметил, что вынужден отклонить это предложение, так как его взгляды на главный вопрос внешней политики России, а именно на войну, коренным образом расходятся со взглядами нового правительства, и вызвал через курьера Петряева, чтобы передать ему Троцкого. Последний на отклонение Нератовым сотрудничества сказал: «Я надеюсь, что вы передумаете».

В это время вошел Петряев, и Троцкий с ним ушел в кабинет Петряева. Нератов же отправился домой и весь дальнейший разговор Троцкого с ведомством происходил уже без него, а общее собрание министерства шло под председательством Петряева.

Пока наши чиновники собирались в зале министерских апартаментов, Троцкий успел сказать Петряеву, что новое правительство не собирается никого увольнять и не намерено причинять никаких репрессий тем, кто пожелает уйти сам, но что он не может допустить «саботажа» при работе министерства. Другими словами, Троцкий боялся, что чиновники останутся в ведомстве не для работы, а для того, чтобы эту работу тормозить и направлять в другую сторону,— то, что он понимал под словом «саботаж», как он объяснил Петряеву. Тот, воспользовавшись словами Троцкого о неприменении репрессий, попросил его выдать бланки-пропуска за его подписью, дабы чиновники ведомства были спокойны за свою участь. Троцкий согласился, и пока происходило наше собрание, в I Департаменте были изготовлены пропускные бланки, удостоверявшие нашу личность и освобождавшие нас от обысков и арестов. Находчивость Петряева дала возможность еще много времени спустя пользоваться этими бланками за магической крупной подписью Троцкого.

Когда мы пришли вниз, Петряев и Троцкий были уже там. Имя Троцкого к тому времени было нам хорошо известно. Неудивительно, что все взоры обратились на него с нескрывае-

мым любопытством, сменившимся затем таким же нескрываемым раздражением. Еврейский вид Троцкого, напомаженного и завитого, бледного, небольшого роста, скорее худощавого, чем полного, с тонкими ногами, вызвал труднопередаваемую реакцию в этом бесспорно самом аристократическом ведомстве Петрограда. Ничто логически не может объяснить всего, что произошло в дальнейшем. Никакие резолюции Союза союзов, никакие абстрактные рассуждения не доказывали с такой очевидностью, что большевистский переворот есть катастрофа, как эта, я бы сказал, животно-этнографическая реакция дипломатического ведомства, внутренне глубоко оскорбленного тем, что во главе его отныне будет находиться этот, как его тотчас же прозвали, «тонконогий жид».

Впечатление было так сильно, что эти воспитанные и светские люди смотрели на Троцкого так, как смотрят хотя и на опасное и омерзительное, но все же любопытное животное. Национальное чувство было уязвлено настолько сильно в самой зоологической его основе, что Урусов, Коростовец и я, переглянувшись, улыбнулись, так как поняли, что нам никого ни в чем убеждать не придется. Думаю, будь вместо Троцкого Чичерин, например, наш бывший служащий, едва ли бы так единодушно и гладко сошло это собрание. Говоря «гладко», я подразумеваю только единодушие ведомства, а не самое течение собрания, которое скорее было бурным. Надо добавить, что в зале собралось все ведомство, не исключая нештатных канцелярских служащих и машинисток. Курьеры, как это было в других министерствах, не принимали у нас никакого участия в Обществе служащих.

После двух-трех слов Петряева — вступительного характера — заговорил Троцкий. Он начал с того, что объявил нам, что «Временное правительство — правительство национального позора и измены — пало, на его месте — рабоче-крестьянское правительство, членом которого я являюсь». Эти слова вызвали такое возмущение, что один из чиновников, не игравших в нашем ведомстве никакой особой роли, Чемерзин, выступил и спросил в упор: «С кем мы, собственно, говорим?» — вопрос риторический, так как хотя Петряев и не упоминал имени Троцкого, но мы все его знали.

Прерванный Троцкий, не ожидавший такого вопроса, обернулся и ответил: «Я народный комиссар рабоче-крестьянского правительства по иностранным делам, моя фамилия Троцкий-Бронштейн». Чемерзин снова повторил вопрос: «Кто же вы — Троцкий или Бронштейн?» Троцкий сразу вышел из себя и, хлопнув кулаком по столу и побагровев, ответил: «Я Троцкий, это имя я заслужил 20-летней борьбой с царским правительством, тюрьмой и ссылкой».

После этого, потеряв, видимо, нить своей речи, он вдруг сказал, что мы все будем получать одинаковое жалованье — от помощника народного комиссара до курьера. На это Чемерзин, кстати сказать, бывший офицер лейб-егерского полка, самовольно взявший на себя роль собеседника Троцкого, снова прервал его заявлением, что нас интересует не количество жалованья, которое мы будем получать, а политика, которую он, Троцкий, собирается вести. Здесь опять-таки совершенно неожиданно выступила одна барышня-машинистка, фамилии которой я не знал, и сказала: «Политика известна — она привезена из Германии». При этих словах Троцкий опять потерял самообладание. Обернувшись к ней, он спросил: «Кто вам это сказал?» Она так же спокойно, как и до этого, ответила: «Все говорят». «Все лгут! — снова вскрикнул Троцкий.— Я никогда в жизни в Германии не был».

Тогда вмешался Петряев, прося не перебивать «оратора», как он назвал Троцкого. Тот прямо перешел к делу и заявил, что мы свободны выбирать и что мы можем быть спокойны — нас не ожидают никакие репрессии, если мы не пожелаем работать с «рабоче-крестьянским правительством». «Я знаю,— сказал Троцкий,— большинство из вас — наши враги, но и этому большинству я предлагаю работать с нами, выполняя только техническую работу и не неся никакой политической ответственности, которую мы, народные комиссары, берем на себя. Я могу вам выдать письменную гарантию в этом. Тех, кто пожелает работать и политически с нами, мы с радостью примем, те, кто откажутся, могут уйти, но одного мы не допустим — «саботажа» во время работы. С этими лицами мы будем безжалостны».

Затем Троцкий предложил нам тут же разделиться на

три группы — те, кто готов служить только технически, без политической ответственности, те, кто готов служить и политически с новым правительством, и те, наконец, кто вовсе не согласны служить. Конец речи Троцкого вышел много импозантнее смятенного начала с истерическими выкриками, когда перед нами был не министр, а взбешенный и в то же время растерянный «оратор». Пассус* с «Бронштейном» вызвал в чиновничьих рядах, несмотря на серьезность положения, смех, равно как и упоминание Германии и уверение Троцкого, что он никогда там не был.

Однако и конец речи Троцкого был скомкан тоже неожиданным выступлением одного из чиновников, Ревелиотти, заведовавшего денежными переводами для военнопленных, который вдруг набросился на Троцкого и стал его спрашивать, что ему делать с переводами. Тот ему ответил — продолжать во что бы то ни стало, спросил его фамилию и сказал, что он ее запомнит. Петряев, бледный и нервный, заботившийся о том, чтобы собрание, вышедшее из рамок из-за всех вышеотмеченных инцидентов, хотя бы внешне имело достойный вид, попросил всех уйти в соседний зал, чтобы обсудить положение, так как мы по революционному времени не желали доставлять Троцкому удовольствие пересчитать своих сторонников и врагов. Достаточно было того, что в его мозгу уже застряла фамилия Ревелиотти.

Петряев и Троцкий остались одни, мы вышли в соседний зал и при закрытых дверях стали совещаться. Собрание, в котором не успели выбрать председателя, настолько все были возбуждены, началось речью князя Л. В. Урусова, который в нескольких словах изложил решение Союза союзов и прочел резолюцию о забастовке. После этого ввиду ясности положения решено было без прений приступить к голосованию. Голосование дало следующие результаты (голосовали все, т. е. как штатные, так и нештатные канцелярские служащие и машинистки): единогласно, без воздержавшихся, было решено отказаться от всякой работы с большевиками и присоединиться к всеобщей забастовке. Доливо-Добровольский, со-

* От лат. «passus» — шаг, движение.

вершенно бледный, поднял руку за забастовку со всеми другими, что не помешало ему уже на другой день приступить к штрейкбрехерству. Тогда, однако, под взорами всего ведомства он не решился голосовать против.

Затем было принято решение создать стачечный комитет, образовав его из нашего комитета Общества служащих и дав право кооптации. Кроме того, по моему предложению было принято решение не подавать новому правительству никаких прошений об отставке и считать себя на службе министерства. После этого Урусов от имени собравшихся пошел к Троцкому и Петряеву сообщить о решении ведомства.

Троцкий был поражен, узнав, что в министерстве не нашлось ни одной даже барышни-машинистки, ни одного канцелярского служащего, не говоря уже о штатных чиновниках, кто пожелал бы с ним работать. Тогда он сказал Урусову: «Ах так, тогда в нашем распоряжении имеются крепости и тюрьмы». Урусов ответил: «Не запугаете». Все это нам тотчас же, выйдя от Троцкого, сказал Урусов, прибавив, что он Троцкому руки не подал.

Как потом говорил Петряев, Троцкий сказал ему до ухода Урусова: «Я никогда не думал, что среди этой сволочи (буквальное выражение Троцкого) не найдется ни одного человека, согласного с нами служить». Тут же он обратился к Петряеву с вопросом, бывшим и просьбой в то же время, будет ли он работать с ним. Петряев, как и Нератов перед ним, ответил отказом, мотивируя его тем, что он «к новым методам дипломатии» не способен и что новое правительство, по его мнению, вообще не нуждается в дипломатии старой школы. Троцкий ему на это заметил: «Не скажите, для нас отказ вашего ведомства — страшный удар». Это признание Троцкого и его потрясенный вид после единодушного отказа свидетельствовали и о том, что он питал, по-видимому, иллюзии насчет нашего министерства, а может быть, и рассчитывал кое на кого, кто не решился выступить при этом поистине стихийном решении.

Но наша беседа с Троцким этим не кончилась. Как я упоминал выше, Петряев вырвал у Троцкого обещание дать всем пропуска. Когда после решения министерства Троцкий соби-

рался уходить, Петряев подал ему пачку бланков и попросил их подписать. Тот не отказался. И вот Троцкий сел за стол и после столь оскорбительного для нового министра приема в своем ведомстве стал подписывать пропуска чиновникам, ставшим в очередь все вместе,— директорам департаментов, канцелярским служащим, машинисткам и даже курьерам, которые тоже по революционному времени пожелали запастись пропусками.

Вид Троцкого, подписывавшего своим врагам, которых он так ярко квалифицировал Петряеву, пропуска на бланках министерства с казенной печатью, был не лишен комизма, но он этого не замечал. Пропустив человек 25, он вдруг, увидев Ревелиотти, сказал: «А вы будете делать переводы?» Тот ответил: «Нет».— «Так я вам пропуска не дам». Следующего он спросил (это был мой помощник М. Н. Вейс): «А вы будете мне сдавать дела?» Тот ответил: «Я не имею права их сдавать, это может сделать только мой начальник». Троцкий выдал ему пропуск. Я стоял за несколько человек от Троцкого и слышал реплику Вейса. Когда очередь дошла до меня и Троцкий, который стал уже всех спрашивать, кто будет и кто не будет сдавать дела, задал такой же вопрос и мне, я ответил: «Я не директор департамента». Троцкий, не зная, что директор, А. Н. Мандельштам, находится вне пределов досягаемости нового правительства, в Швейцарии, выдал мне пропуск.

Начало антибольшевистского движения за границей

В коридоре меня ждал Урусов, также, несмотря на свой острый диалог с Троцким, получивший от него пропуск. Хотя час был поздний (8 часов вечера), наш комитет решил собраться в помещении общежития нашего министерства для «восточников», то есть слушателей наших драгоманских курсов восточных языков, помещавшихся рядом с министерством (Морская, 20). Тут же во время выдачи нам Троцким пропусков мы кооптировали несколько человек в наш ныне уже стачечный комитет и пошли все вместе в общежитие «восточников». Когда мы выходили из министерства, швейцар показал нам пальто Троцкого, висевшее на общей вешалке. Троцкий, очевидно, не знал, что в нашем министерстве имеется, помимо общего входа, министерская передняя, которой имели право пользоваться из чинов ведомства министр и его товари-

щи, и вошел, как все, с общего входа. Никакой охраны в передней не было, не было и автомобиля, на котором он подъехал.

В то время как мы спешили на заседание, Троцкий еще продолжал выдавать пропуска, хотя под конец становился все более и более скуп на них, осознав, по-видимому, комичность своего положения. Здесь, в общежитии министерства, в маленькой комнате одного из молодых чиновников Среднеазиатского отдела министерства, где на стене висел вышитый на шелку на красном фоне тигр, очень хорошо сделанный (длина его была около сажени), мы под свежим впечатлением встречи с Троцким смеялись, сравнивая Льва Троцкого и этого тигра на красном фоне, не зная, сколько в этом было правды.

Кончилась политическая часть дня. Исполняя внесенное нами же предложение о посылке извещения за границу, мы тут же составили телеграмму на французском языке о том, что наше ведомство в полном согласии с Союзом союзов всех правительственных учреждений Петрограда постановило не признавать большевистского переворота и единогласно отказалось работать с новым правительством. Мы приглашали всех наших заграничных дипломатических представителей последовать нашему примеру, сообщить союзникам о нашей забастовке и настаивать перед иностранцами о непризнании нового правительства. В той же телеграмме мы упоминали о том, что Союз союзов приглашает всю Россию примкнуть к всеобщей забастовке.

Эту телеграмму мы поручили Урусову, нашему фактическому новому министру иностранных дел, передать лично Линдли, советнику великобританского посольства, управлявшему посольством за отлучкой Бьюкенена, с просьбой зашифровать и отправить ее как свою депешу в Foreign Office, с тем чтобы оттуда ее передали в наше посольство в Лондоне для дальнейшего распространения всему нашему дипломатическому корпусу за границей. Телеграмма эта была подписана «комитетом Общества служащих МИД», председателем его князем Урусовым. Она была действительно переслана и явилась первой ведомственной телеграммой после переворота 25 октября 1917 г., послужив началом антибольшевистского

движения за границей, так как весь наш дипломатический корпус там присоединился к нам. Уже позднее поверенный в делах в Лиссабоне барон Унгерн-Штернберг перешел к большевикам, тогда же было полное единодушие.

Должен прибавить, что на том же общем собрании, на котором была решена забастовка министерства, наш стачечный комитет, образованный из комитета служащих и тех, кого мы захотели бы кооптировать, был поставлен под почетное председательство А. М. Петряева, так как он был почетным председателем комитета Общества и мы не желали рвать преемственную связь с начальством. Но, конечно, он фактически не принимал участия в дальнейшем, и вся власть по ведомству на это время перешла исключительно к нашему стачечному комитету.

«Если это будет в наших силах...»

После посылки телеграммы, явившейся центральным пунктом заседания нашего комитета, и установления списка вновь кооптированных членов комитета, а также назначения следующего заседания на другой день наше заседание кончилось. Но и здесь еще не кончился для меня этот бесконечный день, так как Урусов, Коростовец и я — три представителя ведомства в Союзе союзов — остались после заседания в комнате нашего восточного коллеги и переписали в двух экземплярах все документы, сюда относящиеся: резолюцию общего собрания ведомства, телеграмму, предназначавшуюся для посылки за границу, краткий протокол заседания, дабы потом всего не забыть и не растерять, и только тогда уже я ушел из министерства, вернее, его филиала, каким было названное общежитие «восточников».

Урусов и я вышли вместе, так как нам было по дороге. Шли мы по Невскому проспекту с необыкновенным ощущением спокойствия в это тревожное время, так как у обоих у нас в кармане были пропуска за подписью Троцкого. Мы могли не бояться с этими пропусками никаких неприятных встреч, и наш уверенный вид давал понять всем этим солдатам и матросам, которые ходили тогда отдельными группами и в одиночку, что мы «свои». На углу Невского и Литейного с гармоникой шла группа совершенно пьяных солдат и горланила песню. Это были явно герои дня, быть может, те, которые по

взятии Зимнего дворца добрались и до погребов. Где-то вдали слышались выстрелы и изредка пролетал автомобиль, несомненно «правительственный», так как частные в это время не ездили.

Прощаясь с Урусовым, я спросил его — вопрос, который все время в этот день был у меня в голове,— почему он в Союзе союзов воздержался при голосовании за забастовку, хотя ему и пришлось затем ее возглавить в нашем ведомстве. Он мне ответил: «Потому что гораздо легче выпустить из банки духа, чем потом посадить его обратно. Вот вы увидите, как нам будет трудно разбастоваться. Мы пустили забастовочную волну по всей России и за границу, мы стали правительством без армии и флота, мы чиновники. Если нас не поддержат в самый короткий момент, наша забастовка станет ошибкой, так как загнать наше ведомство обратно в министерство не удастся. Мы ставим ставку на две-три недели. Если за это время у нас не будет правительства, придется ставить крест на всем начатом сегодня. Если это будет в наших силах...»

В этот день я так и не добрался домой, почувствовав страшный голод, так как с утра не пришлось есть. Зайдя по дороге на мою новую квартиру к родственникам, я остался у них ночевать за поздним временем. Обедал я в 12 час. ночи, чувствуя, что в этот день, 27 октября 1917 г., я свой обед заработал.

Содержание

Предисловие. *В. Филатов, Чрезвычайный и Полномочный Посол* 3

Заметки на полях рукописи, найденной в архиве... *А. Ермонский* 7

Часть 1. Три года дипломатической службы при царском правительстве (август 1914 г.— февраль 1917 г.) 17

Часть 2. Дипломатическая служба при Временном правительстве (март — октябрь 1917 г.) . 243

Мемуары

Георгий Николаевич Михайловский

ЗАПИСКИ
Из истории российского внешнеполитического ведомства, 1914—1920 гг.
В 2-х кн.— Кн. 1.
Август 1914 г.— октябрь 1917 г.

Редактор *Н. Б. Кузнецова*. Редактор издательства *Л. А. Завальная*.
Оформление художника *К. К. Федорова*. Художественный редактор *С. С. Водчиц*.
Технический редактор *Г. В. Лазарева*. Корректор *Э. С. Казанцева*.

ИБ № 1821

Сдано в набор 14.12.92. Подписано в печать 17.05.93. Формат 70×90¹/₁₆. Бумага офсетная. Гарнитура «Таймс». Печать офсетная. Усл. печ. л. 38,02. Усл. кр.-отт. 38,02. Уч.-изд. 26,58. Тираж 1000 экз. Заказ № 24. Изд. № 40-И/90.

Издательство «Международные отношения»
107053, Москва, Садовая-Спасская, 20

Тульская типография
300600, г. Тула, пр. Ленина, 109